



Ch. Baudelaire

Велюксин

КОПЛЕКЦИЯ

Charles

BAUDELAIRE



Шарль

БОШАЕР

проза

Перевод с французского

Харьков
«ФОЛИО»
2001

Серия «Вершины. Коллекция»
основана в 1999 году

Составитель
Е. Витковский

Комментарии
Е. Витковского, Е. Баевской

Художник
Е. Шиян

Cet ouvrage publié dans le cadre du Programme d'Aide
à la Publication SKOVORODA, bénéficie du soutien
de l'Ambassade de France en Ukraine

Дане видання здійснено у межах програми
підтримки видавничої діяльності «СКОВОРОДА»
за сприяння Посольства Франції в Україні

Данное издание осуществлено в рамках программы
поддержки издательской деятельности «СКОВОРОДА»
при содействии Посольства Франции в Украине

Бодлер Ш.

Б 75 Проза: Пер. с фр. / Сост. Е. Витковский; Коммент.
Е. Витковского, Е. Баевской; Художник Е. Шиян. —
Харьков: Фолио, 2001. — 527 с. — (Вершины. Коллек-
ция).

ISBN 966-03-1454-X.

В настоящее издание вошли прозаические произведения знаменитого французского поэта и прозаика Шарля Бодлера (1821—1867). Впервые публикуются на русском языке его работы об Эдгаре По; художественно-критические статьи о литературе, преимущественно французской; воспоминания о современниках: Т. Готье, Л. де Лиле, Э. Моро и др. Включены также «Искусственный рай» — книга о вине и наркотиках; максимы, афоризмы и дневники, в которых автор с горькой, а порой язвительной насмешкой вглядывается в себя и окружающий мир.

ББК 84.4 Фр

© Е. Витковский, составление, 2001
© Е. Витковский, Е. Баевская, комментарии, 2001
© Е. Шиян, художественное оформление, 2001
© Издательство «Фолио», марка серии, 2001

ISBN 966-03-1454-X

Искусственный
рай





ВИНО И ГАШИШ КАК СРЕДСТВА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ГРАНИЦ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Вино

I

Один очень знаменитый и в то же время очень глупый человек (два качества, очень часто идущих рука об руку, что, без сомнения, я буду еще не раз иметь печальное удовольствие доказать) отважился в книге, трактующей «о кушаньях и напитках» и преследующей двоякую цель — гигиеническую и гастрономическую, — в главе, посвященной *Вину*, написать нижеследующее: «Патриарх Ной считается изобретателем вина; это напиток, приготовляемый из плодов винограда».

Вот и все; больше — ни слова. Перелистывайте книгу сколько угодно, переворачивайте ее как хотите — справа налево и слева направо, — вы не найдете в «Физиологии вкуса» весьма знаменитого и весьма почтенного Брийя-Саварена ничего кроме: «*Патриарх Ной...*» и «*это напиток...*»

Представляю себе, что обитатель Луны или какой-нибудь далекой планеты, путешествующий по нашему миру и утомленный длинными переездами, хочет утолить жажду и согреть свой желудок. Он желает войти в курс удовольствий и обычаев нашей земли. Он смутно слышал кое-что о восхитительных напитках, из которых граждане этого шара почерпают, по своему желанию, бодрость и веселье. Чтобы не ошибиться в выборе, житель Луны раскрывает оракул в вопросах вкуса — книгу знаменитого и непогрешимого Брийя-Саварена — и находит там, в главе «Вино», драгоценное указание: «*Патриарх Ной...*» и «*этот напиток готовится...*» Вполне ясно и чрезвычайно вразумительно. Прочитав эту фразу, нельзя не иметь совершенно

правильного, точного представления о всех винах, о различных их свойствах, их недостатках их влиянии на желудок и мозг.

Ах, дорогие друзья, не читайте вы Брийя-Саварена! *Господь охраняет своих любимцев от бесполезного чтения*, — вот: основное изречение небольшой книжки Лафатера, философа, любившего людей больше, чем все властители древнего и нового мира. Именем Лафатера не названо никакое кушанье или печенье, но память об этом ангеле во плоти все же будет жить среди христиан, когда сами добрые буржуа позабудут о Брийя-Саварене — этой нелепой разновидности сдобной булки, наименьший из недостатков которой состоит в том, что она дает повод к изрыганию невероятно глупых правил, почерпнутых из пресловутого сочинения, украшенного тем же именем. И если новое издание этого сочинения отважится оскорбить здравый смысл современного человечества, то неужели же вы все, кто пьет с горя или радости, вы все, кто ищет в вине воспоминаний или забвения и, не находя его в достаточно полной степени, смотрит на свет исключительно сквозь дно бутылки*, — вы, о которых забыли и с которыми не считаются, неужели же кто-нибудь из вас купит хоть один экземпляр этой книги и воздаст добром за зло, благодеянием за невнимание?

Открываю «Крейслериану» божественного Гофмана и читаю там любопытное наставление. Добросовестный музыкант, чтобы сочинить оперетку, должен пить шампанское. В нем найдет он игривую и легкую веселость, нужную для этого жанра. Религиозная музыка требует рейнвейна или юрансонского вина. Как в основе всех глубоких мыслей, в них есть опьяняющая горечь, но при создании героической музыки нельзя обойтись без бургундского; в нем настоящий пыл и патриотическое увлечение. Вот это читать приятнее, чем Брийя-Саварена; помимо любовного отношения знатока — какое удивительное беспристрастие, поистине делающее честь немцу!

* Бероальд де Вервиль. «Средство преуспевания».

Здесь и далее подстрочные примечания (кроме особо оговоренных случаев и переводов иностранных текстов) принадлежат Бодлеру.

Гофман установил своеобразный психологический барометр, назначение которого — отмечать различные явления духовной жизни; в нем мы находим следующие деления: «слегка ироническое, смягченное снисходительностью настроение; стремление к одиночеству, сопровождаемое глубоким чувством самоудовлетворения; музыкальная веселость, музыкальный энтузиазм, музыкальная буря, саркастическая веселость, несносная для самого себя, стремление отрешиться от своего «я», крайняя объективность, слияние моего существа с природою». Разумеется, деления духовного барометра Гофмана были расположены в порядке их последовательного развития, как в обыкновенных барометрах. Мне кажется, что существует несомненное родство между этим психическим барометром и описанием музыкальных свойств вина.

Гофман начал зарабатывать деньги как раз к тому времени, когда его должна была похитить смерть. Счастье улыбалось ему. Как и наш милый и великий Бальзак, только к концу дней своих он увидел, как стала загораться заря его заветнейших упований. В эту эпоху издатели, наперерыв старавшиеся заручиться его рассказами для своих сборников, — чтобы заслужить его благоволение, прилагали к денежной посылке еще ящик французских вин.

II

Кто не изведал вас, глубокие радости вина? Всякий, кто чувствовал потребность заглушить угрызения совести, вызвать воспоминания пережитого, утопить горе, построить воздушный замок, — все в конце концов прибегали к вам, таинственному божеству, скрытому в фибрах виноградной лозы. Как величественны зрелища, вызываемые вином и освещенные внутренним солнцем! Как неподдельна и как жгуча эта вторая молодость, почерпаемая из него человеком! Но вместе с тем как опасны его молниеносные восторги и его расслабляющие чары! И все же, скажите по совести, вы, судьи, законодатели, люди общества, все те, которых счастье делает добрыми, которым так легко быть добродетельными и здоровыми, при вполне обеспеченном существовании, — скажите, у кого из вас хватит жестокой

смелости осудить человека, вливающего в себя творческий дух?

К тому же вино не всегда оказывается таким страшным, уверенным в своей победе борцом, который поклялся не оказывать ни жалости, ни благодарности. Вино напоминает человека: никогда нельзя знать, до какой степени его можно уважать или презирать, любить или ненавидеть и на какие возвышенные подвиги или чудовищные преступления он способен. Поэтому не будем к нему более жестоки, чем к самим себе, и будем смотреть на него, как на равного.

Иногда мне кажется, что я слышу, как вино говорит — оно говорит языком своей души, тем голосом духов, который могут слышать только духи: «Человек, возлюбленный мой! мне хочется, невзирая на мою стеклянную тюрьму и пробковые засовы, обратиться к тебе с песней, исполненной братской любви, радости, света и надежды. Я не могу быть неблагодарным, я знаю, что тебе обязано я жизнью. Я знаю, что ради меня ты работал, обливаясь потом, в то время как солнце палило твою спину. Ты дал мне жизнь, я отблагодарю тебя. Я щедро уплачу мой долг, ибо я испытываю необычайную радость, когда я вливаюсь в пересохшую от труда глотку. И мне гораздо приятнее находиться в груди хорошего человека, чем в мрачных и безжизненных погребах. Это для меня — радостная могила, в которой я с восторгом выполню мое назначение. Я произведу хорошую встряску в желудке работника, а оттуда, по невидимым ступеням, я поднимусь к нему в мозг и там исполню мой последний танец.

Слышишь ли, как бродят и звучат во мне мощные песни старых времен, песни любви и славы? Я — душа отечества, я наполовину ловелас, наполовину воин, я — надежда воскресений. *Трудовые дни создают благополучие*; вино дает счастье в воскресные дни. Облокотившись на свой семейный стол, с засученными рукавами, ты с гордостью воздашь мне честь и будешь воистину доволен.

Я зажгу огонь в глазах твоей старой жены, твоей старой подруги, делившей с тобой твои повседневные горести и твои заветнейшие надежды. Я сделаю нежным ее взор

и в глубине ее зрачков зажгу огонь ее юности. И твоему дорогому малышу, слабенькому и бледному, этому бедному ослику, запряженному в тот же тяжелый воз, что и коренник, я возвращу румянец, каким он цвел в колыбели, я буду маслом, укреплявшим мускулы атлетов древности — для этого нового, вступающего в жизнь борца.

Живительной амброзией прольюсь я в груди твоей. Я буду зерном, оплодотворяющим с трудом вспаханную борозду. И от союза нашего родится Поэзия. Вдвоем с тобой мы создадим себе Божество и понесемся в бесконечность, как птицы, как бабочки, как сыны непорочной Девы, как благоухания, как все, что есть крылатого на земле».

Вот что поет вино на своем таинственном языке. Горе тому, чье эгоистическое и закрытое для страданий своих братьев сердце никогда не слышало этой песни!

Мне часто приходила мысль, что если бы Иисус Христос снова оказался в наши дни на скамье подсудимых, то какой-нибудь прокурор наверное стал бы доказывать, что преступления его усугубляются рецидивом. Что касается вина, то оно повторяет свои преступления изо дня в день. Изо дня в день повторяет оно свои благодеяния. Без сомнения, этим и объясняется та ярость, которую оно вызывает во всех наших моралистах. Говоря о моралистах, я разумею ложных моралистов, фарисеев.

Однако я хотел говорить о другом. Спустимся немного ниже. Всмотримся в одно из таинственных существ, живущих, так сказать, извержениями больших городов; бывают ведь такие странные ремесла; число их огромно. С ужасом думал я иногда о том, что существуют ремесла, не приносящие никакой радости, ремесла, не дающие никакого удовольствия; тяжкий труд — без какого-либо утешения, горести — без воздаяния; но я ошибался. Вот человек, на обязанности которого лежит собирать дневные отбросы столицы. Все, что было извергнуто огромным городом, все, что было потеряно, выброшено, разбито, — все это он тщательно сортирует, собирает. Он роется в остатках развратных кутежей, в свалке всевозможной дряни. Он всматривается, производит искусный отбор; он собирает, как скупец, сокровища — всякие нечистоты, которые, вновь побывав между челюстями божественной Промыш-

ленности, станут предметами потребления или наслаждения. Вот идет он при смутном свете трепещущих от ночного ветра фонарей, вверх по извилистой улице холма Св. Женеьевы, сплошь заселенной беднотой. Он покрыт своей *рогожной накидкой*, с крючком, изображающим цифру *семь*. Он идет, покачивая головою, спотыкаясь о камни мостовой, совсем как юные поэты, слонящиеся целые дни по улицам и подыскивающие рифмы. Он говорит сам с собою; он изливает свою душу в холодный, сумрачный воздух ночи. Это великолепный монолог, по сравнению с которым покажутся жалкими самые чувствительные трагедии. «Вперед! марш! дивизия, первая колонна, армия!» Совершенно как Бонапарт, умирающий на острове Святой Елены! Как будто, *семерка* превращается в железный скипетр и *рогожная накидка* — в императорскую мантию. Вот он приветствует свою армию. Сражение выиграно, но день был жаркий. Он проезжает верхом под триумфальными арками. Сердце его полно счастья. С восторгом прислушивается он к крикам восхищенной толпы. Сейчас он продикует законы, превосходящие все существующие. Он торжественно клянется осчастливить свои народы. Человечество избавлено от нищеты и порока!

И однако спина и поясница его истерты тяжелой корзиной. Он истерзан семейными заботами. Он весь изломан сорокалетним трудом и беготней. Старость мучит его. Но вино, как новый Пактол, осыпает изнемогающее человечество золотом своих щедрот. Подобно добрым королям, оно властвует своими благодеяниями и прославляет свои подвиги устами своих подданных.

Есть на земном шаре несметные, безымянные толпища людей, страдания которых не могут быть утолены сном. Для них вино слагает свои песни и поэмы.

Без сомнения, многие найдут меня чересчур снисходительным. «Вы оправдываете пьянство, вы идеализируете распущенность». Признаюсь, что при виде благодеяний у меня не хватает духу считать обиды. К тому же я уже заметил, что вино уподобляется человеку и что преступления того и другого равны их высоким качествам. Чего же больше! С другой стороны, вот еще одно соображение. Представим себе, что вино вдруг исчезло из человеческого

производства; я думаю, что в физическом и духовном благоденствии нашей планеты от этого произошел бы только ущерб, — образовалась бы какая-то пустота, пробел, уродство гораздо более страшное, чем все те излишества и извращения, которые происходят будто бы от вина. Не имеем ли мы оснований признать, что субъекты, никогда не пьющие вина (по наивности ли или по убеждению), — просто глупы или же лицемеры? Глупцы, то есть люди, не понимающие ни человечества, ни природы; художники, отрицающие выработанные веками средства искусства, рабочие, презирающие технику. Лицемеры, то есть сластолюбцы, стыдящиеся своего сластолюбия, фанфароны, выставляющие напоказ свою трезвость, но выпивающие втихомолку от людей и имеющие какой-нибудь тайный порок? Человек, ничего не пьющий, кроме воды, что-то скрывает от своих ближних.

Вот вам пример. Несколько лет тому назад, на художественной выставке, толпа глупцов осаждала одну картину — вылощенную, зализанную, отлакированную, как предмет промышленности. Это была прямая противоположность тому, что мы именуем художественным производением; нечто, напоминающее стряпню Дроллинга и в то же время отличное от нее, как сумасшествие отлично от глупости, исступленный фанатик — от простого правоверного. В этой кишашей подробностями картине отчетливо видны были даже летящие мухи. Меня, как и всех других, тоже потянуло к этому чудовищному произведению; однако я стыдился своей слабости, ибо это было влечение к отвратительному. Наконец я заметил, что мною бессознательно руководит своего рода философская любознательность — непреодолимое желание понять, каков мог быть нравственный облик человека, создавшего эту необычайную мерзость. Я внутренне бился об заклад с самим собою, что человек этот должен быть скверным. Я навел справки, и оказалось, что мой психологический инстинкт мог торжествовать: я узнал, что этот изверг ежедневно встает с зарею, что он погубил свою кухарку и что он *никогда ничего не пил, кроме молока*.

Еще один-два примера, и мы установим тезисы. Однажды я заметил на тротуаре большую толпу. Мне удалось

заглянуть через плечи зевак, и вот какое зрелище представилось моим глазам. Растянувшись на земле, лицом вверх, лежал человек; глаза его были открыты и устремлены в небо; другой стоял перед ним и вел с ним переговоры исключительно жестами; человек, лежавший на земле, отвечал ему только глазами, причем оба казались преисполненными какой-то удивительной благожелательностью. Жесты того, что был на ногах, давали понять распростертому: «Пойдем, пойдем еще раз; ведь счастье так близко — всего в двух шагах; дойди только до угла улицы. Берег скорби еще не совсем скрылся из виду, мы еще не выплыли в безбрежное море грез; мужайся! Пойдем, дружище, прикажи ногам своим выполнить твою мысль».

Все это сопровождалось гармоническими покачиваниями и пошатываниями. Без сомнения, другой уже выплыл в *безбрежное море* (к тому же он плавал в луже), ибо его блаженная улыбка говорила: «Оставь в покое твоего друга. Берег скорби уже скрыт благодетельными туманами; мне более нечего просить у бога грез». Я уверен даже, что слышал, как едва внятная фраза, или, вернее, вздох, смутно слагавшийся в слова, слетел с его уст: «Надо и честь знать!» Вот — высшая степень возвышенного! Но в состоянии опьянения существует, как вы сейчас увидите, еще и сверхвозвышенное. Приятель, преисполненный снисходительностью, уходит в кабачок один и возвращается с веревкой в руке. Очевидно, он не мог примириться с мыслью о том, что ему придется плыть и искать счастья в одиночку, а потому явился в карете за своим другом. Карета — это веревка; он обмотал эту «карету» вокруг поясницы приятеля. Распростертый улыбнулся: без сомнения, он оценил эту материнскую заботливость. Другой завязал узел, затем двинулся шагком, как смиренная и умная лошадь, и повез своего друга навстречу счастью. Тот, которого везли, или, лучше сказать, волокли (причем он вытирал мостовую своей спиной), продолжал улыбаться неизъяснимо-блаженной улыбкой.

Толпа стояла неподвижно, пораженная изумлением; ибо слишком прекрасное, превосходящее поэтическую восприимчивость человека, всегда порождает скорее удивление, чем умиление.

Был один человек, испанец, гитарист, который долго путешествовал с Паганини: это было еще до того, как Паганини стал официальной знаменитостью. Они вели вдвоем бродячую цыганскую жизнь, жизнь странствующих музыкантов — людей без роду, без племени. Оба они — скрипка и гитара давали концерты всюду, где проходили. Так скитались они довольно долго по разным странам. Испанец мой обладал таким талантом, что, подобно Орфею, мог сказать: «Я — повелитель над природой».

Всюду, где он проходил, пощипывая свои струны и заставляя их гармонически трепетать под пальцами, он мог быть уверен, что целая толпа будет ходить за ним. Обладатель такого секрета никогда не умрет с голоду. За ним идут, как за Иисусом Христом. Как отказать в обеде и ночлеге человеку, гению, волшебнику, который наполняет вашу душу прекраснейшими мелодиями, самыми таинственными, самыми неизведанными, самыми волшебными? Меня уверяли, что человек этот из инструмента, дающего только ряды последовательных звуков, умел извлекать длящиеся звуки. Паганини заведовал кассой; он распоряжался общими фондами, что никому не покажется удивительным.

Касса путешествовала непосредственно на управителе; она то поднималась вверх, то находилась внизу; сегодня она помещалась в сапогах, завтра зашивалась в складках одежды. Когда гитарист, который любил хорошо выпить, осведомлялся, в каком положении их финансы, Паганини отвечал, что в кассе нет ничего или почти ничего; в этом случае Паганини походил на тех старцев, которые всегда боятся *несостоятельности*. Испанец ему верил или делал вид, что верит, и со взорами, устремленными на горизонт, он шел по дороге, щипая и терзая свою неразлучную спутницу. Паганини шел по другой стороне дороги. Таков у них был договор — чтобы не стеснять друг друга. Каждый упражнялся, таким образом, и работал на ходу.

Придя в какое-либо место, где была кое-какая надежда на сбор, один из них играл одно из своих сочинений, а другой тут же импровизировал вариацию, аккомпанемент, втору. Никто никогда не узнает, какое наслаждение и какую поэзию несла в себе эта жизнь трубадуров. Не знаю,

по какой причине они расстались. Испанец стал путешествовать один. Однажды вечером он пришел в небольшом городке в Юрском департаменте; он распорядился расклеить афиши и объявить концерт в зале мэрии. Концерт составлял лишь он один — единственно на гитаре. Он дал о себе некоторое понятие, побренчав в нескольких кафе, и в городке нашлось несколько музыкантов, которые были поражены этим дивным талантом. Как бы то ни было, народу собралось много.

Испанец мой — в каком-то закоулке города, недалеко от кладбища — откопал другого испанца, *земляка*. Он был чем-то вроде подрядчика по устройству похорон, мраморщика, изготовлявшего памятники. Как и все люди, по ремеслу своему имеющие отношение к похоронам, он любил выпить. Таким образом, бутылка и общее отечество завели их далеко; музыкант не расставался уже с мраморщиком. В самый день концерта, в назначенный час, они были вместе, но где? — вот это-то и составляло вопрос, который необходимо разрешить. Обыскали все кабаки в городе, все кафе. Наконец откопали его вместе с приятелем в какой-то невообразимой конуре и совершенно пьяного; в таком же состоянии был и его товарищ. Далее следуют сцены, достойные Кина и Фредерика. Наконец он соглашается играть, но ему пришла в голову неожиданная идея: «Ты будешь играть со мною», — говорит он своему приятелю. Тот отказывается; у него была скрипка, но играл он на ней, как самый ужасный тапер. «Ты будешь играть, или я отказываюсь играть». Никакие увещания, никакие доводы не помогают; необходимо было уступить. Вот они на эстраде, перед сливками местной буржуазии. «Принесите вина», — говорит испанец. Похоронных дел мастер, известный всему городу, но отнюдь не как музыкант, был слишком пьян, чтобы стесняться. Когда принесли вино, то уже терпения не хватило подождать, пока раскупорят бутылки. Мои неприличные повесы сносят им головы ударами ножа, как люди самого дурного тона. Можете себе представить, какой эффект это произвело на нарядную провинциальную публику! Дамы удаляются, и при виде этих двух пьяниц, имевших вид полусумасшедших, многие уходят, чувствуя себя оскорбленными.

Но благо было тем, у которых брезгливость не заглушила любопытства и которые имели мужество остаться. «Начинай», — сказал гитарист мраморщику. Невозможно выразить, что за звуки извлек пьяный скрипач; Вахх в иступлении, режущий пилою камень. Что он играл или что он пытался сыграть? Не все ли равно? — первую попавшуюся арию. Вдруг энергичная и нежная мелодия, прихотливая и вместе с тем цельная, облекает, затушевывает, сглаживает, заслоняет визгливые звуки. Так громко поет гитара, что скрипки уже не слышно. И тем не менее это была несомненно та же ария, хмельная ария, начатая мраморщиком.

Гитара звучала с удивительной выразительностью; она болтала, она пела, она декламировала с поразительной силой, с неслыханной верностью и чистотой дикции. Гитара импровизировала вариацию на тему, данную скрипкой. Она позволяла вести себя и с материнской заботливостью облекала пышным покровом тощую наготу скрипичных звуков. Читатель поймет, что подобные вещи не поддаются описанию; достоверный и серьезный очевидец рассказывал мне эту историю. Публика в конце концов опьянела гораздо больше, чем сам музыкант. Испанца приветствовали, чествовали, осыпали похвалами с горячим энтузиазмом. Но, по-видимому, характер местной публики не понравился ему, ибо это был единственный раз, когда он согласился играть. Где он теперь? Какое солнце видело его последние грезы? Какая земля приняла его прах? Какой ров служил ему убежищем в его предсмертной борьбе? Где опьяняющие благоухания опавших цветов? Где волшебные краски прежних закатов?

III

Я, разумеется, не сообщил вам ничего особенно нового. Всякий знает, что такое вино; все любят вино. Когда появится врач, который будет и философом — чего до сих пор совсем не встречается, — он сможет написать глубокомысленное исследование о вине, о той особой двуединой психологии, которая создается соединением вина и человека. Он объяснит нам, как и почему известного рода

напитки обладают способностью безгранично усиливать индивидуальность мыслящего существа, создавая таким образом как бы новую личность, — таинство, в котором человек и вино, бог животного царства и бог растительного царства, играют роль Отца и Сына в Троице и порождают собою Святой Дух — того высшего человека, который обязан своим происхождением в равной степени тому и другому.

Есть люди, у которых вино производит такой могущественный прилив энергии, что они еще крепче держатся на ногах и слух их становится удивительно тонким. Я знал одного человека, у которого — когда он находился в состоянии опьянения — ослабевшее зрение вновь приобретало всю свою природную остроту. Вино превращало крота в орла.

Один старинный неизвестный писатель говорит: «Ничто не может сравниться с радостью человека, который пьет, — разве только радость самого вина, когда его пьют». Действительно, вино играет роль интимного друга в жизни человека, такого интимного друга, что я не удивился бы, если бы некоторые последовательные умы, увлекшись пантеистической идеей, признали его живым, одушевленным существом. Вино и человек представляются мне двумя друзьями-борцами, вечно сражающимися друг с другом и вечно примиряющимися, причем побежденный всегда обнимает своего победителя.

Бывают, правда, злые пьяницы; это люди, дурные от природы. Плохой человек становится от вина отвратительным, тогда как добрый делается превосходным.

Теперь мне предстоит говорить об одном веществе, вошедшем в моду несколько лет тому назад, об одном снадобье, восхитительном с точки зрения известного рода дилетантов, но гораздо более страшном и могущественном в своем воздействии на человека, чем вино. Я постараюсь описать все производимые ими эффекты, затем, возвратившись к картине различных последствий употребления вина, сравню эти два искусственных средства, с помощью которых человек, усиливая свою личность, творит из нее некое божество.

Я укажу на вредные стороны гашиша, из которых самая меньшая, несмотря на бесчисленные сокровища благожелательства, которые он, по-видимому, раскрывает в сердце или, вернее, в мозгу человека, — самая меньшая, говорю я, это его противообщественность, тогда как вино — глубоко человечно и, я сказал бы даже, представляет собою подобие деятельного человека.

Гашиш

IV

Во время сбора конопли случаются иногда странные явления с работниками — как мужчинами, так и женщинами. Какое-то опьяняющее дыхание поднимается от срезанных стеблей растения, словно обвивается вокруг ног и коварно бросается в мозг. Голова у работника кружится, иногда им овладевает мечтательность. Члены слабеют и отказываются служить. Впрочем, в детстве со мной происходили подобные же явления, когда я, ради забавы, валялся на копнах скошенной люцерны.

Многочисленные попытки получить гашиш из французской конопли не увенчались успехом, и одержимые желанием испытать волшебные наслаждения, продолжают употреблять гашиш, доставляемый Средиземным морем, то есть приготовленный из индийской или египетской конопли. Гашиш получается из отвара индийской конопли, масла и небольшого количества опия.

Вот перед вами зеленоватое варенье, с странным запахом — до того сильным, что он возбуждает отвращение, что, впрочем, свойственно даже самому тонкому запаху, если довести до максимума его силу и, так сказать, уплотнить его. Возьмите на ложечку некоторое его количество, величиною с орех, и вы будете обладать счастьем — счастьем безусловным, со всеми его восторгами, со всем его юношеским безумием, полным бесконечного блаженства. Вот оно, это счастье, в виде маленького комочка варенья. Не бойтесь проглотить его — от этого не умирают; физические органы не испытают серьезного вреда. Быть может, ваша воля потерпит от этого некоторый ущерб, но теперь

мы не будем касаться этого. Чтобы придать гашишу больше силы, нужно распустить его в горячем черном кофе и выпить натошак; обед необходимо отложить до десяти часов вечера или до полуночи; разрешается только чистый суп. Несоблюдение этого простого правила влечет за собою рвоту, так как обед и гашиш не уживаются друг с другом. Многие невежды или глупцы, не считающиеся с этим условием, жалуются, что гашиш слабо действует.

Едва вы проглотили эту небольшую дозу (что, впрочем, требует известной решимости, ибо, как я уже заметил, вещество это столь пахуче, что вызывает у некоторых субъектов позывы к тошноте), как вами овладевает некоторое беспокойство. Вы слышали кое-какие разговоры о чудодейственных последствиях принятия гашиша, ваше воображение создало уже свое представление, свой идеал опьянения, и вы горите нетерпением знать, насколько результат оправдает ваше представление. Период времени между принятием и первыми симптомами колеблется в зависимости от темпераментов, а также от привычки. Люди, знакомые с действием гашиша и уже принимавшие его, иногда через полчаса после приема чувствуют уже начало действия.

Я забыл сказать, что так как гашиш производит в человеке усиление всех его способностей и в то же время делает его чрезвычайно восприимчивым к окружающей среде, то необходимо подвергать себя его действию при возможно благоприятных условиях и благоприятной обстановке. Всякая радость, всякое благополучие принимают чрезвычайные размеры, всякая горечь, всякая забота становятся необычайно глубокими. Не производите над собою подобного опыта, если вам предстоит платить по векселям. Я уже сказал, что гашиш не обладает творческой способностью. Он не дает утешения, подобно вину; он только безмерно расширяет человеческую личность в тех условиях, в каких она находится. Необходимо позаботиться, чтобы помещение было возможно красиво обставлено, чтобы окружающая природа была довольно живописна, чтобы настроение духа было свободно и непринужденно; желательно присутствие нескольких собеседников, умственный уровень которых приближался бы к вашему, и возможность слышать музыку.

Обыкновенно новички, в первой фазе этого посвящения, жалуются на медленность действия яда. Они ожидают его с нетерпением, и так как оно не наступает так скоро, как им хотелось бы, они начинают издеваться и изливать свое неверие, что очень забавляет людей, знакомых со всеми фазами действия гашиша. Чрезвычайно забавно наблюдать, как появляются новые приступы, как число их увеличивается именно среди этого скептицизма. Первоначально вами овладевает какая-то нелепая, непобедимая смешливость. Самые обыденные представления, самые простые слова принимают какую-то новую и крайне странную окраску. Эта смешливость невыносима для вас самих, но противиться ей бесполезно. Демон овладел вами: все усилия, какие вы станете употреблять, чтобы побороть ее, только усилят припадок. Вы смеетесь над собственной глупостью и безумием; ваши товарищи смеются над вами в лицо, и вы не сердитесь на них, ибо благодушие — одна из характерных черт при отравлении гашишем — начинает уже проявлять себя.

Эта странная веселость, эта болезненная радость, эта неуверенность и нерешительность состояния продолжают, обыкновенно, недолго. Иногда люди, совершенно неспособные к игре слов, импровизируют бесконечные вереницы каламбуров, сочетаний идей совершенно невероятных, способных поставить в тупик самых солидных знатоков этого искусства.

По прошествии нескольких минут соотношения между идеями становятся настолько неопределенными, нити, связующие ваши понятия, делаются так неуловимы, что ваши сообщники, ваши единоверцы одни только в состоянии понимать вас. Ваше безумие, ваши взрывы смеха показались бы верхом глупости всякому человеку, не находящемуся в таком же состоянии, как и вы.

Благоразумие этого бедняка забавляет вас безмерно; его хладнокровие вызывает в вас самое ироническое отношение; он кажется вам самым глупым и самым смешным человеком. Что касается ваших товарищей, то вы прекрасно понимаете друг друга. Вскоре вы будете объясняться друг с другом только глазами. На самом же деле довольно комично положение именно тех, кто предается веселости,

непонятной для того, кто не живет в том же мире, как и они. Они смотрят на него с величайшим изумлением. С этого момента идея превосходства появляется на горизонте вашего рассудка. Вскоре она примет необъятные размеры.

Я был свидетелем довольно странного и любопытного явления: служанка, которая должна была разносить табак и прохладительное людям, принявшим гашиш, видя себя окруженной странными физиономиями, с глазами, выходящими из орбит, как бы отравленная нездоровой атмосферой — этим общим безумием, — разразилась припадком бессмысленного смеха и, уронив поднос, который разбился вместе со всеми чашками и стаканами, в ужасе убежала из комнаты. Все рассмеялись. На следующий день она призналась, что в течение нескольких часов она испытывала что-то невыразимо странное, была *совсем чудная, сама не своя*. Между тем она не принимала гашиша.

Вторая фаза дает знать о себе ощущением холода в конечностях и страшной слабостью; руки у вас совершенно расслаблены, а в голове и во всем теле чувствуется тягостное оцепенение. Глаза расширяются и как бы стремятся выступить из орбит в неудержимом экстазе. Лицо покрывается бледностью, становится влажным и зеленоватым. Губы сжимаются, сокращаются и, кажется, сейчас войдут внутрь. Глубокие, хриплые вздохи вырываются из груди, как будто ваша старая природа не может вынести тяжести вашей новой природы. Чувства приобретают необычайную тонкость и остроту. Глаза проникают в бесконечность. Слух воспринимает самые неуловимые звуки посреди самого невероятного шума.

Начинаются галлюцинации. Внешние предметы принимают чудовищные очертания. Они являются перед вами в неведомых до сих пор формах. Затем они теряют постепенно свои формы и, наконец, проникают в ваше существо, или, вернее, вы проникаете в них. Происходят самые странные превращения, самая необъяснимая путаница понятий. Звуки приобретают цвет, краски приобретают музыкальность. Музыкальные ноты превращаются в числа. С поразительной быстротой вы производите удивительные математические вычисления — по мере того как музыкаль-

ная пьеса развивается перед вашим слухом. Вы сидите и курите; вам кажется, что вы сидите в вашей трубке, а трубка курит вас, и вы выпускаете себя в виде синеватого дыма. При этом вы чувствуете себя прекрасно; вас занимает и беспокоит только один вопрос: что вы предпримете, чтобы выйти из трубки?

Этот бред продолжается целую вечность. С большим усилием вам удастся в светлый промежуток взглянуть на часы. Вечность, оказывается, длилась всего одну минуту. Но вот вас уносит другой поток идей; в течение одной минуты он захватит вас своим несущимся вихрем, и минута эта снова окажется вечностью. Отношения между временем и бытием нарушены благодаря количеству и интенсивности ощущений и представлений. В один час можно прожить несколько человеческих жизней. Это и составляет сюжет «Шагреновой кожи». Соизмеримости между органами и отправлениями более не существует.

Время от времени личность исчезает, и объективность, присущая поэтам-пантеистам, так же как и великим актерам, достигает такой степени, что вы смешиваете себя с внешними предметами. Вот вы делаетесь деревом, стонущим под напорами ветра и передающим природе свои растительные мелодии. Теперь вы парите в небесной лазури, бесконечно раздвинувшей свои пределы. Всякое страдание исчезает. Вы более не сопротивляетесь, вас уже захватило, вы уже не владеете собою, но вы несколько этим не огорчены. Сейчас совершенно исчезает всякое представление о времени. Время от времени наступают моменты просветления; вам кажется, что вы выходите из чудесного фантастического мира. Правда, вы сохраняете способность наблюдать самого себя, и завтра у вас сохранится воспоминание о некоторых ваших переживаниях. Но вы не можете использовать эту способность: вам не удастся очинить перо или карандаш — это было бы выше ваших сил.

Иногда музыка рассказывает вам бесконечные поэмы, делает вас участником самых фантастических, порою ужасных драм. Она сливается с предметами, находящимися перед вашими глазами. Рисунки на потолке, даже посредственные или никуда не годные, начинают жить поразительную жизнью. Прозрачная вода течет по волнующему-

ся зеленому лугу. Нимфы с роскошными формами смотрят на вас очами более ясными, чем вода и лазурь. Я замечал, что вода обладает роковыми чарами над всеми сколько-нибудь художественными натурами, просветленными гашишем. Струящиеся воды, фонтаны, гармонически звучащие каскады, голубая ширь моря — катятся, спят, поют в глубине вашего духа. Быть может, небезопасно оставлять человека в таком состоянии на берегу прозрачных вод; подобно рыбаку в балладах, он, быть может, поддается чарам Ундины...

К концу вечера можно поесть, но действие это совершается не без труда. Принявшие гашиш обыкновенно чувствуют себя настолько выше всего материального, что, конечно, предпочли бы лежать, вытянувшись во весь рост на лоне своего воображаемого Рая. Иногда развивается необычайный аппетит; но требуется огромное мужество, чтобы взяться за бутылку, вилку и нож.

Третья фаза, отделенная от второй новым кризисом, каким-то головокружительным опьянением, сопровождаемым новыми болезненными ощущениями, представляет нечто не поддающееся описанию. Это то, что жители Востока называют *кейф*; это — абсолютное блаженство. В нем нет уже ничего вихреобразного и беспорядочного. Это тихое и неподвижное блаженство. Все философские проблемы решены. Все проклятые вопросы, с которыми сражаются богословы и которые приводят в отчаяние мыслящее человечество, ясны и понятны. Всякое противоречие разрешилось в единстве. Человек сделался богом.

Что-то говорит внутри вас: «Ты выше всех людей; никто не понимает того, что ты теперь думаешь, что чувствуешь. Они не способны даже понимать безграничную любовь, которую ты питаешь к ним. Но не следует ненавидеть этих несчастных, они заслуживают сожаления. Никто никогда не узнает, какой высоты добродетели и разумения ты достиг. Живи в одиночестве твоей мысли и избегай огорчать людей».

Одним из самых странных проявлений гашиша является доходящая до безумия боязнь причинить огорчение кому бы то ни было. Вы даже постарались бы скрыть, если бы

это было в ваших силах, то неестественное состояние, в котором вы находитесь, чтобы не причинить беспокойства самому ничтожному из людей.

В этом приподнятом состоянии любовь — у натур чувствительных и художественных — принимает самые странные формы и выражается в самых странных сочетаниях. Самый необузданный разврат может соединяться с самым пламенным и трогательным отеческим чувством.

Отмечу еще одно интересное явление: когда, на следующий день, солнце проникнет в вашу комнату, вы прежде всего почувствуете глубокое удивление. Представление о времени совершенно исчезло. Только что была ночь, а теперь — день! «Спал ли я или не спал? Длилось ли мое опьянение целую ночь? Имела ли для меня целая ночь значение одной секунды, так как представление о времени отсутствовало? Или я был окутан покровами сна, полного видений?» Узнать это — невозможно. Вам кажется, что вы чувствуете себя прекрасно; состояние духа удивительно спокойное; ни малейшей усталости. Но едва вы станете на ноги — последствия опьянения сказываются. Вы робко ступаете ослабевшими ногами, вы боитесь разбиться, как хрупкий предмет. Страшная слабость, не лишенная некоторой прелести, охватывает ваш дух. Вы неспособны к труду и к проявлению вашей воли.

Это вполне заслуженное наказание за незаконную расточительность, с какою вы произвели такую огромную растрату нервного вещества. Вы развеяли на все четыре стороны вашу личность — сколько вам предстоит теперь усилий, чтобы собрать и сосредоточить ее!

V

Я не утверждаю, что на всех людей гашиш производит то действие, которое я только что описал. Почти все, что я рассказал об этом, наблюдается, обыкновенно, с теми или иными видоизменениями, у людей, обладающих философским умом и художественными наклонностями. Но есть субъекты, у которых этот препарат вызывает лишь бурное бешенство, неистовую веселость — вроде головокружительных танцев, прыганья, топанья, взрывов смеха. На них

гашиш действует, так сказать, лишь материально. Они невыносимы для одухотворенных людей, которые смотрят на них с величайшим сожалением. Вся их пошлая натура прорывается в этом состоянии. Я видел однажды, как одно уважаемое должностное лицо — человек почтенный, как говорят о себе светские люди, один из тех людей, которые импонируют своим искусственно важным видом, — в тот момент, когда гашиш начал овладевать им, стал вдруг плясать самый неприличный канкан. Этот муж, который призван был судить поступки своих ближних, этот *Togatus**, тайком выучился плясать канкан.

Итак, можно с уверенностью сказать, что то полное отрешение от личности, тот объективизм, о котором я говорил и который есть не что иное, как доведенное до высокой степени развитие поэтического духа, — никогда не проявится при опьянении гашишем у этой породы людей.

VI

В Египте правительство запрещает торговлю гашишем — по крайней мере внутри страны. Несчастные, подверженные этой страсти, приходят к аптекарю под предлогом покупки какого-нибудь лекарства и берут заранее приготовленную для них небольшую дозу. Правительство Египта поступает правильно. Никакое государство не могло бы существовать при широком употреблении гашиша. Оно не дает ни хороших воинов, ни добрых граждан. И действительно, человеку, под страхом вырождения и умственной смерти, не дозволено нарушать основные условия своего существования и разрушать равновесие между своими способностями и тою средою, в которой он проявляет себя. Если бы нашлось правительство, которому почему-либо оказалось бы выгодным развращать своих подданных, ему стоило бы только поощрить употребление гашиша.

Говорят, что вещество это не причиняет никакого физического вреда. Верно, но лишь в известных пределах. Ибо я не знаю, в какой мере позволительно считать здоровым человека, который только мечтает и не способен ни к ка-

* Облаченный в тогу (лат.).

кой деятельности, — если даже все члены его находятся в нормальном состоянии. Воля его поражена, а ведь это самый драгоценный его орган. Человек, который с помощью ложечки варенья может приобрести себе в любой момент все блага земли и неба, не станет и тысячной доли их добиваться посредством труда. А нужно прежде всего — жить и работать.

Мне пришла в голову мысль повести беседу о вине и гашише в одной и той же статье потому, что действительно между ними есть нечто общее: чрезвычайное развитие поэтических склонностей, которое они вызывают в человеке. Безумное влечение человека ко всем веществам, полезным или вредным, которые приподнимают его личность, свидетельствует о его величии. Он вечно стремится окрылить свои надежды и подняться к бесконечному. Но нужно считаться с последствиями всего этого. С одной стороны — напиток, способствующий пищеварению, укрепляющий мускулы и обогащающий кровь. Принятый даже в большом количестве, он причиняет лишь довольно кратковременное расстройство. С другой стороны — перед нами вещество, останавливающее пищеварительные процессы, расслабляющее члены и опьяняющее человека на целые сутки. Вино ободряет волю, гашиш ее парализует. Вино служит физической поддержкой; гашиш — орудие самоубийства. Вино делает добрым, общительным; гашиш влечет к уединению. Вино, так сказать, трудолюбиво; гашиш, по существу, — лентяй. К чему, в самом деле, работать, пахать, писать, производить что бы то ни было, если можно попасть в рай без всякого труда? Наконец, вино предназначено для народа, который работает и который достоин его пить. Гашиш же принадлежит к разряду одиноких наслаждений; он создан для презренных бездельников. Вино полезно, плодотворно. Гашиш бесполезен и опасен*.

* Следует заметить — исключительно для памяти — о недавней попытке применения гашиша при лечении сумасшествия. Сумасшедший, приняв гашиш, заболевает новым безумием, вытесняющим старое, а когда опьянение проходит, то настоящее безумие, которое является нормальным состоянием для сумасшедшего, снова вступает в свои права, как у нас разум и здоровье. Кто-то написал целую книгу на эту тему. Но врач, который изобрел этот метод, едва ли может быть назван философом.

VII

Закончу эту статью несколькими прекрасными словами, принадлежащими не мне, а одному замечательному, хотя малоизвестному философу, Барберо, музыкальному теоретику и профессору консерватории. Я был с ним в одном обществе, несколько членов которого наглотались волшебной отравы, и он сказал мне тоном невыразимого презрения: «Я не понимаю, зачем это разумный, духовно развитый человек прибегает к искусственным средствам для достижения поэтического блаженства, если достаточно истинного воодушевления и воли, чтобы подняться до того сверхъестественного состояния, когда человек становится одновременно причиной и следствием, субъектом и объектом, магнетизером и ясновидящим».

Я думаю совершенно так же, как он.



ИСКУССТВЕННЫЙ РАЙ

Ж. Ж. Ф.

Мой милый друг, здравый смысл говорит нам, что все земное мало реально и что истинная реальность вещей раскрывается только в грезах. Наслаждаться счастьем, естественным или искусственным, может только тот, кто имеет решимость принять его; но для тех, которые поистине достойны высшего счастья, — благополучие, доступное смертным, всегда казалось тошнотворным.

Люди ограниченные сочтут странным и, быть может, даже дерзким, что книга об искусственных наслаждениях посвящается женщине — самому естественному источнику самых естественных наслаждений. Однако нельзя отрицать, что подобно тому, как реальный мир входит в нашу духовную жизнь, являясь материалом для нее и, таким образом, способствуя образованию того неопределимого сплава, который мы называем нашей личностью, — так и женщина входит в наши грезы, то окутывая их глубоким мраком, то озаряя ярким светом.

Впрочем, не все ли равно, будет ли понятно другим это посвящение? Разве для удовлетворения автора непременно нужно, чтобы книга его была понята кем-нибудь — кроме того или той, для кого она написана? Да и наконец, неужели уж так необходимо, чтобы она была написана для кого-нибудь? У меня, например, так мало влечения к живым существам, что, подобно праздным и чувствительным женщинам, посылающим свои излияния воображаемым приятельницам, я хотел бы писать только для умерших.

Но эту книжку я посвящаю не мертвой: та, к которой я обращаюсь — хотя больная, — всегда деятельна, всегда жива в моей душе, и мысли ее обращены теперь к Небу, этому источнику всех просветлений. Ибо человеческое существо обладает особенным даром извлекать — как лекарство из опаснейших ядов — целый ряд новых и самых тонких наслаждений даже из страдания, бедствия и рокового несчастья.

Ты увидишь в этих набросках одинокого, угрюмого путника, затерявшегося в подвижных волнах толпы и уносящегося сердцем и мыслью к далекой Электре, которая так недавно еще отирала пот с его чела и освежала его лихорадочно-запекшиеся губы, — и ты поймешь благодарность Ореста, которого ты оберегала от кошмаров, рассеивая тихой материнской лаской его ужасные, мучительные сны.

Ш. Б.



ПОЭМА О ГАШИШЕ

I. Влечение к бесконечному

Тем, которые умеют наблюдать самих себя и запоминать свои переживания, тем, которые сумели, подобно Гофману, установить свой духовный барометр, приходилось отмечать в обсерватории своих мыслей — ясные периоды, счастливые дни, чудесные минуты. Бывают дни, когда человек просыпается юный и мощный духом. Едва только веки его освобождаются от сна, смыкавшего их, как перед ним разворачивается внешний мир — в сильном рельефе, в удивительной ясности контуров и поразительном богатстве красок. Духовный мир также раскрывает ему свои необъятные владения, полные новых откровений. Человек, который находится в таком состоянии — к сожалению редко и непродолжительном, — чувствует себя более одаренным, более справедливым, более благородным. Но самое удивительное в этом исключительном состоянии ума и чувств — состоянии, которое я, без преувеличения, могу назвать райским, если сравниваю его с тяжелой мглой пошлой повседневности, — самое удивительное в нем то, что невозможно уловить видимую и поддающуюся объяснению причину, вызывающую его. Быть может, оно является следствием особенного образа жизни, удовлетворяющего требованиям гигиены и мудрости? Это самое простое объяснение, которое приходит в голову; однако приходится признать, что это необыкновенное состояние, это чудо, ниспосланное высшей, невидимой силой, лежащей вне человека, часто наступает именно после периода, когда человек злоупотребляет своими физическими способностями. Или, может быть, это награда за пламенную молит-

ву и напряжение духовных сил? Несомненно, что упорная напряженность желанья — устремление всех духовных сил к Небу — могла бы создать условия, наиболее благоприятствующие наступлению такого душевного здоровья. Но в силу какого нелепого закона наступает оно после самых преступных оргий воображения, после софистического злоупотребления разумом, которое отличается от честного, нормального мышления, как отличаются фокусы акробата от укрепляющей здоровье гимнастики? Что касается лично меня, то я нахожу более правильным рассматривать это ненормальное состояние духа как истинную *благодать*, как дарованное чудом волшебное зеркало, в котором человек видит самого себя, но более привлекательным — таким, каким он мог бы и должен был бы быть всегда; это какое-то небесное опьянение, напоминание о гармонии в самой обаятельной форме. Существует школа спиритуалистов, имеющая своих представителей в Англии и в Америке, которая рассматривает сверхъестественные явления — привидения, призраки и т. д. — как проявления Божественной воли, желающей пробудить в душе человека воспоминание о невидимых реальностях.

В самом деле, это чудесное и своеобразное состояние, в котором уравниваются все способности, в котором воображение, несмотря на поразительную силу, не увлекает за собой в опасные странствования наши нравственные чувства, в котором повышенная чувствительность не страдает от больных нервов, этих неизменных руководителей преступления или отчаяния, — это необыкновенное состояние не имеет предвестников. Оно является внезапно, как привидение. Это точно внушение свыше, но внушение, периодически повторяющееся, — и если бы мы обладали истинной мудростью, мы могли бы извлечь из него уверенность в существовании иной, лучшей жизни и надежду приблизиться к ней — путем упорного упражнения нашей воли. Эта острота мысли, этот экстаз ума и чувств во все времена казались человеку высшим благом: вот почему, стремясь только к непосредственному наслаждению, которое дает такое состояние, и не боясь насилловать законы своей природы, человек искал в естественных науках, в разных снадобьях, в самых грубых напитках и в самых тон-

ких ароматах — искал во всех странах и во все времена — магического средства, которое дало бы ему возможность унести, хотя бы на несколько часов, из этой *юдоли праха* и — как говорит автор «Лазаря» — «мгновенно овладеть Раем». Ах, человеческие пороки, несмотря на все ужасы, которые мы в них усматриваем, доказывают (уже самой своей распространенностью) неудержимое влечение человека к Бесконечному... Но увы! влечение это часто сбивается с пути! Можно было бы воспользоваться как метафорой избитой поговоркой: *все дороги ведут в Рим*, — и применить ее к духовному миру; все в конце концов ведет к награде или наказанию, этим двум формам вечности. Человеческий дух кипит страстями: их у него — употребляя другое тривиальное выражение — хоть отбавляй. Но этот несчастный дух, природная извращенность которого так же велика, как и его непосредственная, почти парадоксальная способность к милосердию и к самым суровым добродетелям, — этот дух удивительно склонен к парадоксам, которые позволяют ему употреблять во зло избыток его необъятной страсти. Он никогда не желает продавать себя целиком. Но в своем ослеплении он забывает, что играет с более лукавым и более сильным, чем он сам, и что Дух Зла, получив один его волосок, завладеет его головой. И вот этот видимый Владыка видимого мира (я говорю о человеке) захотел создать себе Рай при помощи фармацевтических средств и возбуждающих напитков, уподобляясь маньяку, который вздумал бы заменить солидную мебель и настоящие сады — рисунками на холсте, вставленными в рамы. Этим извращением влечения к Бесконечному и объясняются, по-моему, все преступные эксцессы — от уединенного, сосредоточенного опьянения писателя, который случайно прибег к опию для облегчения физических страданий и, открыв в нем источник убийственных наслаждений, сделал его светилом своего духовного мира и подчинил ему весь склад своей жизни, — до самого последнего пьяницы предместий, который с душой, объятый пламенем славы и величия, валяется в грязи на проезжей дороге...

Среди веществ, способных создать то, что я называю *Искусственным Идеалом*, — если не упоминать ни о спиртных напитках, сразу приводящих в буйное состояние силы

телесные и парализующих духовную силу, ни об ароматах, слишком частое употребление которых хотя и создает более утонченную фантазию, но постепенно истощает физические силы, — наиболее действенными являются *гашиш* и *опий*; их сравнительно легко достать, и обращаться с ними не затруднительно. В этом очерке я намерен исследовать таинственные явления и болезненные наслаждения, вызываемые этими веществами, рассмотреть неизбежные последствия, которые влечет за собою их продолжительное употребление, и, наконец, указать на моральное зло, вытекающее для человека из столь опасного преследования ложного идеала. У нас есть уже обстоятельное исследование об *опии* — научное и вместе с тем поэтическое, и столь блестящее, что я не решился бы прибавить к нему что-либо. Я ограничусь тем, что в одном из следующих очерков остановлюсь на этой книге, которая целиком никогда не была переведена во Франции. Автор ее, человек известный, обладающий сильным и очень тонким воображением, удалившийся от мира и живущий в тихом уединении, поведал нам с трагической правдивостью о тех наслаждениях и терзаниях, которые он в былые дни находил в опиум. Самая драматическая часть его книги — это рассказ о тех сверхчеловеческих усилиях воли, которые ему пришлось употребить, чтобы избавиться от проклятия, которое он так неосторожно сам навлек на себя.

В настоящем очерке я буду говорить только о *гашише*, пользуясь многочисленными исследованиями, извлечениями из записок и признаний образованных людей, более или менее долгое время употреблявших его. Я собираюсь объединить в моем труде все эти документы и представить их в виде монографии, останавливаясь для этой цели на возможно менее сложной душе, проявления которой нетрудно было бы уловить и объяснить, — как на типе, наиболее удобном для такого рода экспериментов.

II. Что такое гашиш?

Рассказы Марко Поло, над которым напрасно издевались, как и над многими другими древними путешественниками, были проверены известными учеными, и оказа-

лось, что они вполне заслуживают нашего доверия. Я не буду выписывать его рассказа о том, как Старец с Горы опьянял гашишем (отсюда название *гашишины* или *ассасины*) и запирал в чудесный сад тех из своих юных учеников, которым он — в награду за покорность и послушание — хотел дать представление о Рае. Читатель может найти указания относительно тайного общества гашишинов в книге де Гаммера и в записках Сильвестра де Саси, помещенных в XVI томе «Исследований Академии по надписям и беллетристике», а относительно этимологии слова *ассасин* в его письме к редактору «Монитор», помещенном в 359 № за 1809 г. Геродот сообщает, что скифы сгребали в кучи конопляное семя, кидали на них раскаленные на огне камни и таким путем получали паровую баню, более душистую, чем любая греческая ванна; и наслаждение, доставленное ею, было так велико, что оно исторгало у них крики радости.

Гашиш действительно перешел к нам с Востока; возбуждающие свойства конопли были хорошо известны Древнему Египту; в Индии, в Алжире, в счастливой Аравии она — под разными названиями — пользовалась широким употреблением. Но и у нас наблюдаются довольно часто любопытные случаи опьянения растительными выделениями. Известно, что дети, повалившись в кучах скошенной люцерны, испытывают странное головокружение; известно также, что во время жнитва конопли работники — мужчины и женщины — страдают такими же головокружениями, словно от жатвы поднимаются миазмы, коварно затуманивающие мозги работников. В голове жнеца несутся вихри, иногда являются сновидения. По временам члены ослабевают и отказываются повиноваться. Мы слышали о сомнамбулических явлениях, довольно часто наблюдаемых среди русских крестьян и, как говорят, вызываемых употреблением конопляного масла при изготовлении пищи. Кто не знает странного поведения кур, поевших конопляного семени, или сильного возбуждения, наступающего у лошадей, съевших порцию конопли, иногда политую вином, которую крестьяне дают им для возбуждения перед скачкой с препятствиями на деревенских празднествах.

Однако, несмотря на многочисленные опыты, из французской конопли не удалось получить гашиша; или, вернее, из нее не удалось получить вещества, равного по силе гашишу. Гашиш, или индийская конопля, *canabis indica*, — растение из семейства крапивных, отличается от конопли нашего климата только тем, что стебель ее никогда не достигает такой высоты, как стебель нашей конопли. Индийская конопля обладает необыкновенно сильной опьяняющей способностью, которая в последние годы и во Франции привлекла к себе внимание ученых и светского общества. Ценится она различно, смотря по своему происхождению; выше других ценится любителями бенгальская конопля; впрочем, египетская, константинопольская, персидская и алжирская обладают теми же свойствами, но в более слабой степени.

Гашиш (что значит *травя*, т. е. трава по преимуществу, как если бы арабы соединяли с этим словом представление о всех нематериальных наслаждениях, источником которых может быть трава) носит разные названия, смотря по своему составу и в зависимости от способа приготовления его в той стране, где он растет: в Индии он называется *банжи*, в Африке — *терияки*, в Алжире и в счастливой Аравии — *маджунд* и т. д. Весьма важно знать, в какое время года собирать его; наибольшей силой он обладает во время цветения — для тех препаратов, на которых мы должны остановиться, употребляются только цветущие верхушки индийской конопли.

Жирный экстракт гашиша получается (так готовят его арабы) кипячением верхушки свежего растения в масле с небольшим количеством воды; прокипятив смесь до полного испарения воды, получают вещество, имеющее вид помады, зеленовато-желтого цвета, и издающее неприятный запах — запах гашиша и прогорклого масла. В таком виде, в шариках от двух до четырех граммов каждый, его и употребляют; но ввиду его отвратительного запаха, который при хранении его еще усиливается, арабы готовят из этого экстракта варенье.

Самое распространенное варенье такого рода — *dawamesk* — представляет смесь жирного экстракта, сахара и различных ароматических веществ, как-то: ванили, корицы,

фисташек, миндаля, мускуса. Иногда прибавляют даже немного препарата шпанской мухи — с целью, не имеющей никакого отношения к обычному действию гашиша. В таком виде гашиш не представляет ничего неприятного, и его можно принимать дозами в пятнадцать, двадцать, тридцать граммов, завернув его в облатку или распустив в чашке кофе.

Опыты, сделанные Смитом, Гастинелем и Декуртивом, имели главным образом целью получить из гашиша то вещество, которое придает гашишу его опьяняющие свойства. Несмотря, однако, на все их усилия, химический состав этого вещества так и не удалось определить; установлено только, что характерные свойства гашиша принадлежат смолистому веществу, которое содержится в нем в довольно значительном количестве (около 10%). Чтобы получить эту смолу, высушенное растение превращают в порошок, промывают спиртом и подвергают выпариванию до известной плотности; полученный экстракт промывается водою, которая растворяет посторонние примеси; остается чистый *гашишин*.

Это вещество мягкое, темно-зеленого цвета, с сильно выраженным, характерным запахом гашиша. Пяти, десяти, пятнадцати сантиграммов достаточно, чтобы получить удивительные эффекты. Вещество это, которое принимается в виде шоколадных пастил или имбирных пилюль, производит — подобно давамеску и жирному экстракту — различные по силе и характеру эффекты, в зависимости от темперамента и нервной организации субъекта. Мало того, действие его на одного же субъекта неодинаково при разных условиях. Иногда он приводит к безумной и неудержимой веселости, иногда — к ощущению радости и полноты жизни, иногда — к тревожному сну, прерываемому сновидениями. Однако известные явления повторяются довольно правильно, особенно у людей, сходных по темпераменту и воспитанию; существует какое-то единство в этом разнообразии, что и дает мне возможность набросать эту монографию об опьянении, о которой я только что упоминал.

В Константинополе, в Алжире и даже во Франции некоторые люди курят гашиш, смешанный с табаком; но при

этом явления, о которых идет речь, происходят в более слабой, так сказать вялой, форме. Я слышал, что недавно, путем перегонки, стали извлекать из гашиша эфирное масло, по-видимому, обладающее несравненно более сильными опьяняющими свойствами, чем все до настоящего времени полученные препараты; но так как оно еще не вполне исследовано, я не буду останавливаться на его действии. Нужно ли упомянуть еще, что чай, кофе и спиртные напитки являются могущественными вспомогательными средствами, более или менее ускоряющими наступление этого таинственного опьянения?

III. Китайские тени

Что испытываешь при этом? Что видишь? Чудесные вещи, не правда ли? Необыкновенные зрелища? Это красиво? страшно? опасно? — вот вопросы, которые непосвященные обыкновенно задают адептам — с любопытством, не лишенным некоторого страха. Такую же ребяческую жажду знания обнаруживают люди, никогда не покидавшие своего угла, при встрече с человеком, возвращающимся из далеких, незнакомых стран. Они отождествляют опьянение гашишем с чудесной страной, с обширным театром, где действуют факиры и жонглеры, где все полно чудес и непредвиденностей. Но это предрассудок, глубокое заблуждение. И так как большинство читателей и любопытных связывают слово гашиш с представлением об удивительном, хаотическом мире, с ожиданием волшебных снов (или, вернее, галлюцинаций, которые, впрочем, встречаются реже, чем предполагают), то я отмечу тут же весьма существенное различие между явлениями, вызванными действием гашиша, и явлениями нормального сна. Сон — это полное приключений путешествие, предпринимаемое каждый вечер, — поистине заключает в себе нечто чудесное; это — чудо, правильное повторение которого разрушило бы его таинственность. Сны наши бывают двух различных категорий: одни, тесно связанные с обыденной жизнью человека, его заботами, желаниями и пороками, слагаются более или менее причудливым образом из всего того, что он пережил за истекший день и что случайно

закрепилось на обширном поле его памяти. Это — естественный сон, это — выражение самого человека. Но есть сон другой категории! Сон нелепый, неожиданный, не имеющий никакой связи с характером, с жизнью и страстями спящего! Этот сон, который я назову иероглифическим, знаменует, очевидно, сверхъестественную сторону жизни, и потому именно, что он нелепонепонятен, древние признавали его божественным. Не находя для него естественных объяснений, они подыскивали причину, лежащую вне человека; и даже в настоящее время, не говоря уже о снотолкователях, существует школа философов, которая находит в такого рода сновидениях — то упреки, то наставления; в общем это — нравственно-символическая картина, возникающая в уме спящего человека. Это — словарь, который нужно изучить, таинственный язык, ключ к которому могут найти только мудрецы.

В опьянении гашишем нет ничего подобного. Мы не выйдем за пределы естественного сна. Весь период опьянения является, правда, одним непрерывным, необъятным сном благодаря силе красок и быстроте концепций; но оно все время сохраняет индивидуальную окраску данного лица. Человек ищет сна, сон овладевает человеком, но этот сон будет настоящим сыном своего отца. Пребывая в бездействии, человек искусственным путем вводит сверхъестественное в свою жизнь и в свое мышление; но не смотря на этот внешний, случайный подъем его чувств, он остается тем же человеком, тем же числом, лишь возведенным в очень высокую степень. Он поработен; но, к несчастью, поработен самим собою, той частью своего «я», которая господствовала в нем; *он захотел сделаться ангелом — и стал зверем*, в данный момент могущественным зверем, если только можно назвать могуществом чрезмерную чувствительность при отсутствии воли, сдерживающей или направляющей ее.

Пусть же светские люди, непосвященные, желающие ознакомиться с этими исключительными наслаждениями, твердо запомнят, что они не найдут в гашише ничего чудесного, ничего, кроме чрезвычайно яркой действительности. Мозг и весь организм, на которые действует гашиш, дают только свои обычные, индивидуальные проявления,

правда, более интенсивные, как по своему количеству, так и по своей силе, но всегда верные своему происхождению. Человек не может освободиться от фатального гнета своего физического и духовного темперамента: для чувств и мыслей человека гашиш будет лишь зеркалом — зеркалом увеличивающим, но совершенно гладким.

Вот перед вами это вещество: комочек зеленой массы в виде варенья, величиною с орех, с странным запахом, возбуждающим некоторое отвращение и даже позыв к тошноте — что, впрочем, вызывает даже самый тонкий запах, если довести до максимума его силу и, так сказать, уплотнить его. Я позволю себе заметить мимоходом, что это утверждение может быть превращено в обратное: самый противный, самый отталкивающий запах, быть может, способен был бы доставить удовольствие, если бы можно было довести до минимума его свойства и силу распространения... Итак, вот перед вами источник счастья! Оно вмещается в чайной ложке, это счастье, со всеми его восторгами, его безумием и ребячеством! Вы можете без страха проглотить его: от этого не умирают. Ваши физические органы несколько от него не пострадают. Впоследствии слишком частое обращение к его чарам, быть может, ослабит силу вашей воли, быть может, понизит вашу личность; но кара еще так далека, и предстоящее разрушение организма так трудно предсказать с уверенностью! Чем же вы рискуете? Завтра вы будете чувствовать только слабость, нервное утомление. Разве вы не подвергаетесь ежедневно более тяжким терзаниям из-за менее заманчивой награды? Итак, решено: вы разводите вашу порцию жирного экстракта в чашке кофе, чтобы придать ему больше силы и обеспечить более быстрое всасывание; необходимо позаботиться о том, чтобы желудок ваш был свободен, откладывая ваш обед до девяти или до десяти часов вечера; нужно предоставить яду полную свободу действия; в крайнем случае, вы подкрепитесь через час после приема чистым супом. Теперь вы достаточно подкреплены для столь далекого и необычайного путешествия. Свисток дан, паруса натянуты, и вы пользуетесь перед другими путешественниками тем удивительным преимуществом, что сами не зна-

ете, куда едете. Ведь вы хотели этого: да здравствуют роковые силы!

Я полагаю, что вы позаботились выбрать благоприятный момент для этого фантастического путешествия. Полнота оргии возможна только при полной свободе. Вы должны иметь в виду, что в гашише, как в увеличительном зеркале, принимает чудовищные размеры не только сам находящийся в его власти, но и все окружающее его, обстоятельства и среда; у вас не должно быть ни обязанностей, требующих срочного и точного исполнения, ни семейных забот, ни любовных терзаний. Не нужно забывать этого. Заботы, беспокойство, воспоминание об обязанностях, угнетающих вашу волю и ваше внимание, будут звучать среди ваших приключений точно погребальный звон и отравят вам ваше удовольствие. Беспокойство превратится в какой-то страх, печаль — в муку. Если все эти предварительные требования соблюдены, если стоит хорошая погода, если вы находитесь в благоприятных условиях, например среди живописной природы или в поэтически обставленном помещении, если притом вы имеете возможность слышать музыку, то у вас есть все, чего можно пожелать.

В опьянении гашишем наблюдаются обыкновенно три легко различимые фазы, и первые симптомы первой фазы представляют у новичков необыкновенно любопытное зрелище. Вам приходилось, вероятно, слышать рассказы о чудесном действии гашиша; ваше воображение заранее создало представление о каком-то идеальном состоянии опьянения; вы с нетерпением ждете, будет ли соответствовать действительность вашим ожиданиям. Этого достаточно, чтобы с самого начала уже вызвать у вас беспокойство, весьма благоприятное для подчинения вас завоевательным наклонностям яда. Большинство новичков в первой фазе этого посвящения жалуется на медленность действия гашиша; они ждут его с ребяческим нетерпением, и когда ожидаемые явления не наступают, они начинают издеваться и изливать свое неверие, очень забавное для старых ветеранов, которым хорошо знакомы все фазы действия гашиша. Первые признаки, подобно симптомам давно ожидаемой грозы, появляются и разрастаются на фоне этого самого

неверия. Прежде всего вами овладевает какая-то веселость, бессмысленная и неудержимая. Эти приступы беспричинной веселости, которых вы почти стыдитесь, упорно повторяются, сменяясь приступами оцепенения, во время которых вы тщетно пытаетесь сосредоточиться. Самые простые слова, самые обыденные представления принимают какую-то новую и крайне странную окраску; вас поражает даже, что вы не замечали этого раньше и находили их такими простыми. В вашем мозгу непрерывно создаются самые несообразные, самые непредвиденные ассоциации и сопоставления, бесконечная игра слов, полные комизма сцены. Демон окончательно овладел вами; бесполезно бороться против этой веселости, мучительной, как щекотка. Время от времени вы смеетесь над собою, над собственной глупостью и безумием, и ваши сотоварищи, если они у вас есть, также будут смеяться над вашим состоянием — и над своим собственным; но так как они смеются добродушно, то вы не сердитесь на них. Эта странная веселость — то затихающая, то вновь вспыхивающая, эта радость, смешанная с болью, эта неуверенность, нерешительность болезни длятся обыкновенно не долго. Вскоре связь между идеями становится так слаба, общая нить, руководящая вашими восприятиями, так трудно уловима, что разве только ваши сотоварищи в состоянии понимать вас. Но и это нет никакой возможности проверить: быть может, им только кажется, что они понимают вас, и заблуждение это обоюдное. Все эти безумства, эти взрывы хохота производят на зрителя, не охваченного опьянением, впечатление настоящего сумасшествия или какой-то дикой забавы маньяков. Точно так же благоразумие трезвого свидетеля, правильное течение его мысли забавляют и развлекают вас, как проявления особенной формы безумия. Вы обменялись ролями. Его хладнокровие толкает вас к самой резкой иронии. Не правда ли, что положение человека, охваченного безумной веселостью, непонятною для того, кто не находится в таком же состоянии, — глубоко комично? Безумный начинает смотреть с жалостью на разумного, и с этого момента идея собственного превосходства появляется на горизонте его интеллекта. Идея эта будет развиваться, расширяться, вспыхивать, как метеор.

Я был свидетелем подобной сцены, в которой действующие лица зашли довольно далеко; но смешная сторона ее была видима только тем, кто был знаком, хотя бы по наблюдениям над другими, с действием гашиша и с той огромной разницей душевного диапазона, которую он создает между двумя людьми, приблизительно равными в нормальном состоянии. Известный музыкант, совершенно незнакомый со свойствами гашиша, попадает в общество, где несколько человек уже приняли гашиш. Ему стараются объяснить чудесное действие этого вещества. В ответ на эти удивительные рассказы он томно и любезно улыбнется, как человек, желающий немного порисоваться. Но чувства их обострены действием яда; они насквозь видят его внутреннюю усмешку и отвечают ему оскорбительным смехом. Эти взрывы радости, эта игра слов, эти искаженные лица — вся эта нездоровая атмосфера раздражает его, заставляет его, быть может даже против воли, заявить им, что все это довольно плохие шутки и, вероятно, утомительные для самих шутников. Точно блеском молнии, все лица озаряются комизмом. Веселость удвоилась. «Эта шутка, быть может, доставляет удовольствие вам, — говорит он, — но мне нисколько». «Вполне достаточно, чтобы она доставляла удовольствие нам», — отвечает кто-то с присущим больному эгоизмом. Не зная, имеет ли он дело с настоящими сумасшедшими или с симулирующими сумасшествие, наш герой полагает, что благоразумнее всего удалиться; но кто-то запирает двери и прячет ключ. Другой, опустившись перед ним на колени, просит у него прощения от имени всего общества и очень решительно, хотя и со слезами на глазах, заявляет ему, что все они, глубоко скорбя о его духовной ограниченности, тем не менее относятся к нему с искренней симпатией. Он покоряется и остается; он уступает даже настойчивым просьбам — усладить их своей игрой. Но звуки скрипки, разливаясь по зале, точно разносят новую заразу и *охватывают* (слово недостаточно сильно) то одного, то другого больного. Раздаются хриплые вздохи, громкие рыдания, слезы текут ручьями. Изумленный скрипач останавливается и, подойдя к тому, который громче всех проявляет свой восторг, спрашивает, что с ним и чем можно помочь ему? Один из при-

сутствующих, хорошо знакомый с этими явлениями, предлагает лимонад и кислоты. Но больной, охваченный экстазом, смотрит на обоих с невыразимым презрением. Лечить человека, который болен от избытка жизни, от безмерной радости!

Как видно из этого эпизода, какое-то удивительное *благодущие* окрашивает собою все другие чувства, вызываемые гашишем, — благодущие мягкое, ленивое, немое, обусловленное расслаблением всей нервной системы. В подкрепление этого наблюдения я приведу рассказ одного лица, испытавшего это состояние опьянения.

Рассказчик сохранил необыкновенно отчетливое воспоминание о всех своих ощущениях, и мне стало совершенно ясно, к какому нелепому и почти безвыходному положению привело его это несоответствие между его собственным настроением и окружающей средой. Не помню в точности, был ли это первый или второй опыт этого человека с употреблением гашиша. Принял ли он слишком большую дозу, или гашиш, без всякой видимой причины (что случается довольно часто), произвел более сильное действие? Он рассказывал мне, что на фоне его радости, этой высшей радости от чувства полноты жизни и сознания своей гениальности, появилось вдруг какое-то ужасное предчувствие. Слепленный вначале красотой своих переживаний, он вдруг пугается их. Он спрашивает себя, во что превратится его интеллект и как будут функционировать его органы, если этот процесс, который он считал сверхъестественным, будет развиваться и усиливаться? Благодаря способности увеличивать все до чудовищных размеров, присущей духовному зрению отравленного гашишем, этот страх должен был вызвать невероятные терзания. «Я походил, — говорит он, — на лошадь, которая понесла и мчится к пропасти: она хочет остановиться и не может. Это был действительно ужасный галоп, и моя мысль, игрушка обстоятельств, среды, случая — всего того, что может быть охвачено словом *случайность*, — приняла чисто рапсодический размах. Поздно! — повторял я все время с глубоким отчаянием. Едва прошла эта форма переживаний — которая, казалось мне, длилась бесконечно долгое время, хотя, быть может, это продолжалось всего несколько

минут, — и я вознадеялся наконец погрузиться в блаженный покой, столь ценимый сынами Востока, как на меня вдруг обрушилось новое *несчастье*. Новое беспокойство, самое мелочное и ребяческое, внезапно овладело мною. Я вспомнил вдруг, что приглашен на обед, на котором будет много солидных людей. И я увидел себя среди толпы корректных и благовоспитанных людей, прекрасно владеющих собой, — вынужденным, при свете многочисленных ламп, скрывать свое состояние. Я был уверен, что это удастся мне, но вместе с тем падал духом при мысли о том ужасном напряжении воли, которое требовалось для этого. Не знаю, какая случайность вызвала вдруг в моей памяти слова Евангелия: «Горе приносящему соблазн!» — и, желая забыть их и напрягая для этого все усилия, я беспрестанно повторял их в моем уме. И вот мое несчастье (да, это было истинное несчастье) приняло грандиозные размеры. Несмотря на слабость, я решился сделать энергичное усилие и обратиться к аптекарю: я не знал противоядий, а мне хотелось явиться в общество, куда призывал меня долг, свежим и здоровым. Но на пороге магазина меня осенила внезапная мысль, которая остановила меня на несколько секунд и заставила задуматься. По пути я увидел в витрине магазина свое отражение, и вид мой поразил меня. Эта бледность, эти сжатые губы, эти широко раскрытые глаза! «Зачем, — подумал я, — тревожить этого милого человека — и по такому пустяку!» К этому присоединялся «страх смешного» и желание избежать его и вместе с тем боязнь застать людей в магазине. Но мое необъяснимое расположение к этому аптекарю подавляло все остальные чувства. Я представлял себе этого человека таким же болезненно чувствительным, каким был и сам в тот роковой момент, и, воображая, что его слух и его душа должны содрогаться от малейшего шума, решил войти к нему на цыпочках. Нужно быть — говорил я себе — в высшей степени деликатным по отношению к человеку, вниманием которого я хочу воспользоваться. И я старался сдерживать звуки моего голоса, заглушать шум моих шагов. Вы знаете голос людей, отравленных гашишем? Торжественный, низкий, гортанный — в общем, напоминающий голос закоренелых опиоманов. Результат получился

совершенно противоположный тому, какого я ожидал. Желая успокоить аптекаря, я напугал его. Он ничего не знал о такой *болезни*, никогда не слышал о ней. Он смотрел на меня с любопытством и недоверием. Не принимал ли он меня за сумасшедшего, за злоумышленника или попрошайку? Вероятно, ни за того, ни за другого; но все эти нелепые мысли промелькнули в моем мозгу. Я должен был подробно объяснить ему (с каким усилием!) о существовании варенья из конопли и о том, для чего оно употребляется; я все время повторял, что опасности здесь никакой нет, что *ему* нечего беспокоиться, что я прошу у него только средства для ослабления действия яда или противодействия ему, подчеркивая беспрестанно, насколько я удручен необходимостью обращаться к нему по такому скучному делу. Наконец — поймите, сколько унижения было для меня в его словах, — он просто попросил меня *удалиться*. Такова была награда за мое расположение и мое преувеличенное благодушие. Я отправился на вечер; я никого не шокировал там. Никто не догадался о сверхчеловеческих усилиях, которые я употреблял, чтобы походить на всех. Но я никогда не забуду терзаний ультрапоэтического опьянения, связанного необходимостью соблюдать приличия и отравленного сознанием долга!»

Хотя я вообще склонен сочувствовать страданиям, созданным воображением, я не мог удержаться от смеха, слушая этот рассказ. Автор его не исправился. Он продолжал искать в проклятом варенье того возбуждения, которое нужно находить в самом себе; но так как это человек осторожный и благоразумный, человек *из общества*, то он стал уменьшать дозы яда — и в то же время чаще прибегал к нему. Со временем он увидит пагубные последствия такой системы.

Возвращаюсь к последовательному описанию опьянения гашишем. После первого периода, выражающегося в ребяческой веселости, наступает кратковременное успокоение. Но вскоре наступают новые явления — ощущение холода в конечностях (в некоторых случаях довольно значительное) и страшная слабость во всех членах: руки ваши совершенно расслаблены, а в голове и во всем вашем существе вы ощущаете какое-то онемение и тягостное оце-

пенение. Глаза ваши расширяются, они словно растягиваются во всех направлениях силой неудержимого экстаза. Лицо ваше покрывается страшной бледностью. Губы высыхают и как бы втягиваются ртом — тем вдыхательным движением, которое характеризует честолюбивого человека, охваченного грандиозными планами, погруженного в великие мысли и вдыхающего воздух перед тем, как отдаться полету своего ума. Горло как бы сжимается. Небо пересохло от жажды, которую было бы бесконечно приятно усилить, если бы сладость лени не казалась еще приятнее и не противилась бы малейшему перемещению тела. Хриплые и глубокие вздохи вырываются из вашей груди, словно ваше *старое* тело не может вынести желаний и деятельности вашей *новой* души. Время от времени вы вздрагиваете, вы вынуждены делать произвольные движения, по своему характеру напоминающие те подергивания, которые после утомительного дня или во время бурной ночи предшествуют наступлению глубокого сна.

Прежде чем перейти к дальнейшему, я остановлюсь на случае, который относится к упомянутому выше ощущению холода в конечностях и может служить доказательством того, насколько разнообразны даже чисто физические явления при действии яда, находясь в тесной зависимости от индивидуальности отравленного. В данном случае мы имеем дело с литератором, и многие моменты его рассказа отмечены печатью писательского темперамента.

«Я принял, — говорит он, — умеренную дозу жирного экстракта — и все шло прекрасно. Приступ болезненной веселости длился недолго, и мною овладело состояние истомы и недоумения, которое почти граничило с блаженством. Я надеялся на спокойный вечер, свободный от всяких забот. К несчастью, обстоятельства сложились так, что мне пришлось в этот вечер сопровождать в театр одного из моих знакомых. Я мужественно подчинился необходимости, затаив свое безграничное желание отдаться лени и неподвижности. Не найдя ни одного свободного фиакра в моем квартале, я должен был совершить длиннейший путь пешком, подвергая слух свой неприятному шуму экипажей, глупым разговорам прохожих, целому океану пошлости.

В кончиках пальцев я испытывал уже ощущение холода; холод этот все усиливался и наконец стал настолько резок, как будто руки мои были опущены в ведро ледяной воды. Но я не испытывал никакого страдания; наоборот, это острое чувство холода доставляло мне какое-то странное наслаждение. Но ощущение холода все усиливалось; раза два или три я спрашивал лицо, которое я сопровождал, действительно ли так холодно, как мне кажется; мне отвечали, что, напротив, погода очень теплая. Очутившись наконец в зале, запертый в предназначенной мне ложе, имея в своем распоряжении три или четыре часа отдыха, я почувствовал себя в обетованной земле. Чувства, которые я сдерживал во время ходьбы напряжением моей ослабшей воли, теперь сразу прорвались, и я свободно отдался немому восторгу. Холод все увеличивался, а между тем я видел людей в легких костюмах, с усталым видом отиравших вспотевшее от жары лицо. Меня осенила радостная мысль, что я человек исключительный, который один пользуется правом мерзнуть летом в театральной зале. Холод, все увеличиваясь, становился угрожающим, но любопытство узнать, до какого предела он может пойти, было во мне сильнее других чувств. Наконец он сделался безусловным и охватил меня всего; мне казалось, что даже мои мысли застыли: я превратился в мыслящую льдину, в статую, высеченную в глыбе льда; и эта дикая галлюцинация вызывала во мне гордость, возбуждала духовное блаженство, которое я не в состоянии передать. Моя безумная радость усиливалась еще благодаря уверенности, что никто из присутствующих не знает ничего ни о моей природе, ни о моем превосходстве над ними. И какое счастье я испытывал при мысли, что товарищ мой даже не подозревает, во власти каких диких ощущений я нахожусь! Скрытность моя была вполне вознаграждена, и полное сладострастия наслаждение, которое я пережил, осталось моей нераздельной тайной.

Должен еще заметить, что, когда я вошел в ложу, ощущение мрака поразило мои глаза, и это ощущение казалось мне очень близким к тому ощущению холода, которое я испытывал. Быть может, оба эти ощущения поддерживали друг друга. Вы должны знать, что гашиш вызывает обык-

новенно чудесные световые эффекты, яркое сияние, каскады расплавленного золота; он радуется всякому свету — и тому, который льется широким потоком, и тому, который, подобно рассыпавшимся блесткам, цепляется за острия и верхушки, и канделябрам салонов, и восковым свечам процессии в честь Богоматери, и розовым закатам солнца. Вероятно, эта несчастная люстра в театре давала свет, недостаточный для этой ненасытной жажды блеска; мне показалось, что я вхожу в царство мрака, который постепенно сгущался, в то время как я грезил о вечной зиме и о полярных ночах. Что касается сцены (на сцене этой давалась комедия), которая одна была освещена, то она казалась мне поразительно маленькой и очень далекой — как бы в глубине бесконечного стереоскопа. Я не буду утверждать, что я слушал актеров, — вы понимаете, что это было невозможно; время от времени мысль моя подхватывала обрывок фразы и, подобно искусной танцовщице, пользовалась ею, как упругой доской, отталкиваясь от нее и бросаясь в область грез.

Можно было бы предположить, что драма, воспринятая при таких условиях, теряет всякий смысл и всякую логическую связь; спешу разуверить вас: я находил очень тонкий смысл в драме, созданной моим рассеянным воображением. Ничто в ней не смущало меня; я походил на того поэта, который, присутствуя в первый раз на представлении «Эсфири», находил вполне естественным, что Аман объясняется царице в любви. Вы, конечно, догадываетесь, что дело шло о той сцене, когда Аман бросается к ногам Эсфири, умоляя ее простить ему его преступления. Если бы все драмы слушались таким образом, они значительно выиграли бы от этого, даже драмы Расина.

Актеры казались мне совсем крошечными и обведенными резкими и отчетливыми контурами, подобно фигурам Месонье. Я не только ясно различал самые мелкие детали их костюмов, рисунки материй, швы, пуговицы и т. д., но даже линию парика, белила и румяна, и все изощрения грима. И все эти лилипуты были окутаны каким-то холодным, волшебным покрывалом, подобным тому, которое дает очень ясное стекло масляной картине. Когда я вышел наконец из этого вместилища ледяного мрака, когда внут-

ренняя фантасмагория рассеялась и я пришел в себя, я испытывал такое страшное утомление, какого никогда не вызывала во мне даже самая напряженная работа, вынужденная необходимостью».

Действительно, именно в этом периоде опьянения обнаруживается необыкновенная утонченность, удивительная острота всех чувств. Обоняние, зрение, слух, осязание принимают одинаковое участие в этом подъеме. Глаза созерцают бесконечное. Ухо различает почти неуловимые звуки среди самого невероятного шума. И тут-то начинают возникать галлюцинации. Все окружающие предметы — медленно и последовательно — принимают своеобразный вид, постепенно теряют прежние формы и принимают новые. Потом начинаются разные иллюзии, ложные восприятия, транспозиции идей. Звуки облекаются в краски, в красках слышится музыка. Мне могут заметить, что тут нет ничего сверхъестественного, что всякая поэтическая натура — в здоровом и нормальном состоянии — склонна к таким аналогиям. Но ведь я предупредил читателя, что в состоянии, сопровождающем опьянение гашишем, нет никаких сверхъестественных явлений; вся суть в том, что эти аналогии приобретают необыкновенную яркость: они проникают в нас, овладевают нами, поработают ум своим деспотическим характером. Музыкальные ноты становятся числами, и если вы одарены некоторыми математическими способностями, то мелодия и гармония, сохраняя свой страстный, чувственный характер, превращаются в сложную математическую операцию, в которой числа вытекают из чисел и за развитием и превращениями которой вы следите с удивительной легкостью, равной беглости самого исполнителя.

Случается иногда, что личность исчезает, и объективность — истинная сущность пантеистической поэзии — развивается в вас до такой ненормальной степени, что созерцание окружающих предметов заставляет вас забыть о своем собственном существовании, и вы сливаетесь с ними. Ваш глаз останавливается на стройном дереве, раскачиваемом от ветра: через несколько секунд то, что вызвало бы только сравнение в мозгу поэта, становится для вас реальностью. Вы переносите на дерево ваши страсти, ваши

желания или вашу тоску; его стоны и раскачивания станут вашими, и вскоре вы превращаетесь в это дерево. Точно так же птица, парящая в глубине лазури, в первый момент является как бы олицетворением вашего желания парить над всем человечеством; но еще момент — и вы превратились в эту птицу... Вот вы сидите и курите. Ваше внимание остановилось на синеватых облаках, поднимающихся из вашей трубки. Представление об испарении — медленном, постепенном, вечном — овладеет вашим умом, и вы свяжете его с вашими собственными мыслями, с вашей мыслящей материей. И вот, в силу какой-то странной перестановки, какого-то перемещения или интеллектуального *qui pro qui**, вы вдруг почувствуете, что вы испаряетесь, и вы припишете вашей трубке (в которой вы ощущаете себя сжатым и сдавленным, как табак) поразительную способность *курить вас*.

К счастью, эта особенная способность воображения длится не более минуты: промежуток ясного сознания дал вам возможность, при громадном напряжении воли, взглянуть на часы. Но вот новый порыв мыслей уносит вас: он будет крутить вас еще минуту в своем безумном вихре, и эта новая минута будет новой вечностью. Ибо соотношение между временем и личностью совершенно нарушено благодаря количеству и интенсивности ощущений и мыслей. Можно сказать, что в течение одного часа переживается несколько человеческих жизней. Не уподобляетесь ли вы фантастическому роману — не написанному, а осуществленному в действительности? Нет прежнего отношения между органами чувств и переживаемыми наслаждениями; и это последнее обстоятельство служит наиболее существенным доказательством вреда этих опасных экспериментов, при которых исчезает свобода личности.

Когда я говорю о галлюцинациях, не следует понимать это слово в его обычном значении. Очень существенный оттенок разделяет чистую галлюцинацию, которую приходится так часто наблюдать врачам, от той галлюцинации — вернее, обмана чувств, — которая наблюдается при отравлении гашишем. В первом случае галлюцинация появля-

* Недоразумения; *буквально*: одно вместо другого (*лат.*).

ется неожиданно и фатально и отличается законченностью; притом она не имеет никакого отношения к окружающим предметам, никакой связи с ними. Больной видит образы, слышит звуки там, где их нет. Во втором случае галлюцинация развивается постепенно, вызывается почти произвольно и достигает законченности только работой воображения. Притом она всегда мотивирована. Музыкальный звук будет говорить, произносить очень отчетливые вещи, но самый звук все-таки существует в действительности. Пьяный глаз человека, принявшего гашиш, увидит странные вещи; но прежде чем они сделались странными и чудовищными, он видел эти вещи простыми и естественными. Сила и кажущаяся реальность галлюцинации при опьянении гашишем несколько не противоречат этому основному различию. Последняя возникает на почве окружающей среды и данного времени, первая независима от них.

Для более полного представления об этой кипучей работе воображения, этом созревании галлюцинации, этом неустанном поэтическом творчестве, на которые обречен мозг, отравленный гашишем, я расскажу еще один случай. Тут мы имеем дело не с праздным юношей и не с литератором: это рассказ женщины, женщины немолодой, любознательной и легковозбудимой; уступив желанию познакомиться с действием яда, она описывает другой женщине одно из главных своих видений. Я выписываю ее рассказ дословно:

«Как ни удивительны, как ни новы ощущения, испытанные мною во время моего безумия, которое длилось двенадцать часов (двенадцать или двадцать? — этого я, собственно, не знаю), я никогда больше не вернусь к ним. Духовное возбуждение слишком сильно, усталость, следующая за ним, слишком велика; и, говоря откровенно, я нахожу в этом ребячестве много преступного. Но я уступила любопытству; и притом это было безумие, совершенное сообща, в доме старых друзей, среди которых я не боялась немножко унизиться в своем достоинстве. Прежде всего вы должны знать, что этот проклятый гашиш — крайне коварное вещество; иногда вам кажется, что вы уже освободились от яда, но это самообман. Периоды успоко-

ения чередуются с периодами приступов. И вот около десяти часов вечера я находилась в одном из таких периодов просветления; мне казалось, что я освободилась от этого избытка жизни, который доставил мне, правда, много наслаждений, но который внушал мне какое-то беспокойство и страх. Я с удовольствием села ужинать, чувствуя себя изнуренной, как после долгого путешествия; до этого я из осторожности воздерживалась от пищи. Но еще до окончания ужина безумие снова овладело мною, как кошка мышью, и яд снова стал играть моим несчастным мозгом. Хотя дом мой находился недалеко от замка моих друзей и их коляска была к моим услугам, я чувствовала такую властную потребность отдаться грезам, отдаться этому неудержимому безумию, что с радостью приняла их предложение переночевать у них. Вы знаете этот замок; вы знаете, что в нем отремонтированы и заново отделаны в современном стиле те помещения, в которых живут владельцы; но необитаемая половина замка осталась совершенно нетронутой, со всей своей ветхой обстановкой в старинном стиле. Мне предложили приготовить для меня спальню в этой части замка, и выбор мой остановился на одной маленькой комнатке, вроде будуара — немного поблекшего и старого, но тем не менее очаровательного. Я попытаюсь, насколько возможно, описать вам эту комнату — для того чтобы вы могли понять те странные видения, которые овладели там мною и не покидали меня всю ночь, пролетевшую для меня с незаметной быстротой.

Будуар этот — маленький и очень узкий. Потолок начиная от карниза закругляется в виде свода; стены покрыты длинными узкими зеркалами, между ними — панно: пейзажи, написанные в небрежном стиле декораций. На высоте карниза на четырех стенах изображены различные аллегорические фигуры — одни в спокойных позах, другие на бегу или в полете. Над ними — несколько ярких птиц и цветы. Позади фигур изображена решетка, поднимающаяся и округляющаяся по своду потолка. Самый потолок позолочен. Таким образом, все промежутки между багетами и фигурами покрыты золотом, а в центре потолка золото прорезывается только переплетом мнимой решетки. Как видите, это походит на очень богатую *клетку*, пре-

красную клетку для какой-нибудь большой птицы. Прибавлю еще, что ночь была чудесная, прозрачная и ясная, а луна светила так ярко, что, потушив свечу, я очень ясно видела всю эту декорацию, и видела не при свете моего воображения, как вы могли бы подумать, а именно при свете этой дивной ночи, блеск которой скользил по этой нежной ткани из золота, зеркал и пестрых красок.

Прежде всего я была очень удивлена, увидев вокруг себя огромные пространства: то были чистые, прозрачные реки и зеленые ландшафты, отражающиеся в спокойной воде. Вы догадываетесь, конечно, что это была игра картин, отраженных зеркалами. Когда я подняла глаза, я увидела заходящее солнце: оно напоминало остывающий расплавленный металл. Это было золото потолка; но решетка вызвала во мне представление о том, будто я нахожусь в клетке или в доме, открытом со всех сторон, с видом на бесконечные равнины, от которых меня отделяют лишь прозрачные сетчатые стены моей великолепной тюрьмы. Вначале я рассмеялась над этой иллюзией, но чем больше я всматривалась, тем больше усиливались чары, тем больше жизненности, ясности и навязчивой реальности приобретало видение. Теперь идея заключения заняла центральное положение в моем уме, хотя я должна признать, что это нисколько не мешало тем разнообразным наслаждениям, которые доставляло мне все, что было вокруг меня и надо мною. Мне стало казаться, что я заключена надолго, быть может на миллионы лет, в эту роскошную клетку, посреди этих волшебных ландшафтов, этой божественной панорамы. Я думала о *Спящей красавице*, об искуплении и будущем освобождении. Над моей головой летали яркие тропические птицы, и так как с большой дороги доносился звон колокольчиков, подвешенных к шеям лошадей, то эти два впечатления сливались в одно и я приписывала птицам это таинственное пение меди, и мне казалось, что у этих птиц металлический голос. Очевидно, они беседовали обо мне и прославляли мое пленение. Кривляющиеся обезьяны, насмешливые сатиры, казалось, потешались над распростертой пленницей, обреченной на неподвижность. Но все мифологические божества смотрели на меня с чарующей улыбкой, как бы умоляя меня терпеливо нести

свою судьбу; и все глаза направлялись на меня, как бы ища моего взгляда. И я решила, что если я обречена нести это наказание за какие-нибудь старые заблуждения, за какие-нибудь мне самой неизвестные грехи, то все-таки я могу надеяться на высшее милосердие, которое осудило меня на неподвижность, но зато обещает мне бесконечно более ценные наслаждения, чем те ребяческие удовольствия, которые заполняют наши юные годы. Вы видите, что грезы мои не лишены были нравственных размышлений, но я должна признать, что наслаждение, которое доставляли мне эти прекрасные образы и блестящие краски, и сознание, что я составляю центр фантастической драмы, постоянно прерывало все другие мысли. Это состояние длилось долго, очень долго... Длилось ли оно до самого утра? На это я не могу ответить. Я увидела утреннее солнце прямо против себя, и очень удивилась этому; но, несмотря на все усилия моей памяти, мне не удалось установить, спала ли я или провела дивную бессонную ночь. Только что была глубокая ночь, а теперь — день! А между тем я прожила долгую, о, очень долгую жизнь!.. Представление о времени, или, вернее, чувство времени, отсутствовало, я измеряла эту ночь только количеством пронесившихся в моем мозгу мыслей. Однако, хотя с этой точки зрения она представлялась мне бесконечно долгой, все-таки мне казалось, что она длилась всего несколько секунд или, быть может, даже вовсе не занимала места в Вечности...

Я не рассказываю вам о моей усталости... она была безмерна. Говорят, что экстаз поэтов и творцов напоминает то состояние, которое я испытала; мне, однако, всегда казалось, что те, которые призваны волновать сердца людей, должны быть одарены невозмутимо-спокойным темпераментом; но если экстаз поэтов действительно походит на те наслаждения, которые доставила мне чайная ложка варенья, то думаю, что бедные поэты расплачиваются слишком дорогою ценою за удовольствия публики. И какое чувство благополучия, прозаического удовлетворения овладело мною, когда я опять почувствовала себя *дома*, то есть в *моем* духовном мире — в действительной жизни!»

Вот рассказ несомненно разумной женщины, и мы воспользуемся им, извлекая некоторые полезные указания,

которые дополняют это краткое описание основных ощущений, вызываемых гашишем.

Она упомянула об ужине, как об удовольствии, которое явилось очень кстати, когда временное прояснение (казавшееся ей окончательным) позволило ей вернуться к действительности. Я говорил уже, что в опьянении гашишем бывают периоды прояснения и обманчивого затишья; очень часто гашиш вызывает чувство жестокого голода и почти всегда — необыкновенную жажду. Но обед или ужин не приводят к успокоению, а наоборот, вызывают новый приступ — то удивительное состояние, которое описывает рассказчица, состояние, сопровождающееся целым рядом волшебных видений, тех слегка окрашенных ужасом видений, перед которыми она выказала такую очаровательную покорность. Замечу еще, что на удовлетворение этого тиранического чувства голода и жажды, о которых мы упомянули, приходится затрачивать порядочные усилия, ибо отравленный гашишем чувствует себя настолько выше материальных вопросов, или, вернее, так поработан опьянением, что ему нужно немало времени собираться с силами для того, чтобы взять в руки бутылку или вилку.

Последний приступ, вызванный процессом пищеварения, проявляется в очень бурной форме: с ним невозможно уже бороться; к счастью, эта фаза опьянения непродолжительна; она сменяется другой фазой, которая в приведенном мною случае сопровождалась чудесными видениями, возбуждавшими некоторый страх и вместе с тем глубокое умиротворение. Это новое состояние обозначается на Востоке словом *кейф*. В нем нет уже бурных и головокружительных порывов; это блаженство покоя и неподвижности, необыкновенно величественная покорность. Вы давно потеряли власть над собой, но это не печалит вас. Страдание и представление о времени исчезли, и если порою они все-таки всплывают, то совершенно измененные, соответствуя господствующему чувству, и столь же далекие от своей обычной формы, как поэтическая грусть — от настоящего страдания.

Но отметим прежде всего, что в рассказе этой дамы мы имеем дело с псевдогаллюцинацией — галлюцинацией, обусловленной окружающей средой; мысль является только

зеркалом, в котором окружающее отражается в чудовищных размерах. Затем наступает явление, которое я назвал бы моральной галлюцинацией: субъект думает, что он подвергается искуплению; благодаря женскому темпераменту, не склонному к анализу, рассказчица не обратила внимания на оптимистический характер приведенной выше галлюцинации. Благосклонный взгляд богов Олимпа опозитивирован чисто *гашишистской* дымкой. Я не скажу, что рассказчица миновала обычный момент угрызений совести, но мысли ее, внезапно охваченные грустью и сожалением, быстро окрасились надеждой. У нас еще будет возможность подтвердить это наблюдение.

Она говорит об усталости следующего дня; действительно, усталость эта очень велика; но она чувствуется не сразу, и, когда вы замечаете ее, вы недоумеваете. Прежде всего, когда вы окончательно убедились, что новый день поднялся над горизонтом вашей жизни, вы испытываете чувство необыкновенного благополучия. Но как только вы стали на ноги, вы чувствуете, что последствия опьянения еще держат вас в своей власти, опутывают вас, как цепи недавнего рабства. Ваши слабые ноги едва поддерживают вас, и вы ежеминутно боитесь разбиться, как хрупкий предмет. Страшная слабость (некоторые утверждают, что она не лишена прелести) томит ваш дух и окутывает туманом ваши способности. И вот вы еще на несколько часов лишены возможности работать, действовать, проявлять свою волю. Это наказание за ту беззаботную расточительность, с которой вы расходовали вашу нервную энергию. Вы развеяли на все четыре стороны вашу индивидуальность — и сколько усилий должны вы употребить теперь, чтобы вновь собрать и сосредоточить ее!

IV. Человек-бог

Пора, однако, оставить это жонглерство, эти видения, созданные ребяческим воображением. Не предстоит ли нам говорить о более важном: об изменении человеческих чувств — словом, о *нравственном* воздействии гашиша?

До сих пор я набросал лишь общую картину опьянения; я ограничился указанием основных особенностей его, глав-

ным образом физических. Но что, как я полагаю, гораздо существеннее для серьезного человека — так это ознакомление с воздействием яда на духовную сторону человека, то есть усиленное извращение, разрастание его обычных чувствований и внутренних восприятий, представляющих в это время, в этой исключительной атмосфере, настоящий феномен преломления.

Человек, который в течение долгого времени предавался опию или гашишу, а затем, при всем ослаблении, обусловленном привычкою к их употреблению, нашел в себе достаточно энергии, чтобы освободиться от них, кажется мне похожим на узника, убежавшего из тюрьмы. Он внушает мне гораздо более уважения, чем иной благоразумный человек, не изведавший падения, старательно избегавший всяких соблазнов. Англичане часто называют опиоманов именами, которые покажутся слишком сильными только невинным, незнакомым с ужасами этого падения: *enchained, fettered, enslaved!** — В самом деле, это настоящие цепи, рядом с которыми все другие — цепи долга, цепи незаконной любви — являются не более как воздушную тканью, нитями паутины! Ужасный брак человека с самим собой! «Я сделался рабом опиия; он наложил на меня свои оковы, и все мои работы, все мои планы приняли окраску моих снов», — говорит супруг Лигейи, и сколько других замечательных описаний мрачных и завлекательных чудес опиия находим мы у Эдгара По, этого несравненного поэта, этого неопровергнутого философа, на которого приходится ссылаться всякий раз, когда затрагивается вопрос о таинственных болезнях духа. Любовник прелестной Беренисы, метафизик Эгей, говорит об изменении своих способностей, благодаря которому самые простые явления получают для него неестественное, чудовищное значение: «Размышлять по целым часам, устремив внимательный взгляд на какое-нибудь незначительное изречение на полях или в тексте книги; в течение большей части долгого летнего дня уходить в созерцание длинной причудливой тени, косо падающей на стены или на поле; целую ночь наблюдать за ровным пламенем лампы или за угольями камина; грезить

* Посажённый на цепь, закованный, порабощённый (англ.).

целые дни о запахе какого-нибудь цветка; повторять монотонным голосом какое-нибудь обыкновенное слово, пока звук его от частого повторения терял для ума связь с каким бы то ни было представлением, — таковы были некоторые из самых обыкновенных и наименее вредных уклонений моих душевных способностей, уклонений, которые, правда, не являются исключительными, но которые, без сомнения, не поддаются никакому объяснению или анализу». А нервный Август Бедло, принимающий каждый день перед прогулкой дозу опия, признается, что главная привлекательность этого ежедневного опьянения состоит в том, что всем, даже самым обыденным вещам оно придает особый интерес: «Между тем опий произвел свое обычное действие — окутал весь внешний мир интенсивным интересом. В дрожащем листе — в цветке былинки — в блеске капельки росы — в стоне ветра — в неопределенном запахе леса — во всем создавался мир откровений, и мысли неслись беспорядочным, рапсодическим, роскошным потоком».

Так выражается, устами своих персонажей, царь ужасов, владыка тайн. Эти две характеристики опия вполне применимы и к гашишу; как в том, так и в другом случае дух, свободный до опьянения, становится рабом; но слово *рапсодический*, так хорошо определяющее ход мыслей, подсказанных и внушенных внешним миром и случайною игрою внешних обстоятельств, еще с большей и более ужасной правдивостью применимо к действию гашиша. Тут человеческий разум является какою-то щепкою, уносимой течением потоков, и ход мыслей здесь *несравненно более стремителен и рапсодичен*. Из этого, я полагаю, достаточно очевидно следует, что непосредственное действие гашиша гораздо сильнее, чем действие опия, что он в гораздо большей степени нарушает нормальную жизнь, словом — гораздо вредоноснее опия. Я не знаю, вызовет ли десятилетнее отравление гашишем столь же глубокие разрушения, как десятилетнее употребление опия; я утверждаю только, что действие гашиша по отношению к данному моменту и к следующему за ним является гораздо более ужасным: опий — это тихий обольститель, гашиш — это необузданный демон.

Я хочу, в этой заключительной части, определить и проанализировать нравственное опустошение, причиняемое этой опасной и соблазнительной гимнастикой, — опустошение столь великое, опасность столь глубокую, что люди, которые выходят из борьбы, отделавшись лишь незначительными повреждениями, кажутся мне храбрецами, ускользнувшими из пещеры многоликого Протея, Орфеями, победившими преисподнюю. И пусть мой способ выражения принимают, если угодно, за преувеличенную метафору, но я должен признаться, что возбуждающие яды кажутся мне не только одним из самых страшных и действительных средств, которыми располагает Дух Тьмы для завлечения и покорения злосчастливого человечества, но и одним из самых удивительных его воплощений.

На этот раз, чтобы сократить труд и придать большую ясность моему анализу, я не стану приводить отдельных рассказов, а соединю всю массу наблюдений в применении к одному вымышленному лицу. Итак, я должен представить себе какую-нибудь человеческую душу, по своему выбору. Де Квинси в своей «Исповеди» справедливо утверждает, что опиум не усыпляет, а возбуждает человека, но возбуждает в направлении его естественных склонностей, и потому, чтобы судить о чудесах, совершаемых опиумом, было бы нелепо изучить его действие на торговце скотом, ибо этому последнему грезилось бы только воли и пастбища. Итак, я не буду описывать грубые фантазии какого-нибудь коннозаводчика, опьяненного гашишем, — кому это может доставить удовольствие, кто стал бы о них читать? Чтобы идеализировать предмет моего анализа, я должен собрать на нем все лучи, поляризовать их; и тем заколдованным кругом, в котором я соберу их, будет, как я уже сказал, избранная — с моей точки зрения — душа, нечто подобное тому, что XVIII век именовал *чувствительным человеком*, романтическая школа называла *непонятым человеком*, а нынешние представители семейного начала и буржуазная толпа поносят обыкновенно под наименованием *оригинала*.

Наполовину нервный, наполовину желчный темперамент — вот что служит особенно благоприятной почвой для ярких проявлений такого опьянения; прибавим к этому

развитой ум, воспитанный на изучении форм и красок, нежное сердце, истомленное горем, но не утратившее способности молодеть; представим себе, кроме того, если угодно, ряд ошибок, совершенных в прошлом, и все, что связано с этим для легковозбудимой натуры: если не прямые угрызения совести, то, во всяком случае, скорбь о низменно прожитом, плохо растроченном времени. Склонность к метафизике, знакомство с философскими гипотезами относительно человеческого предназначения, тоже, конечно, не будут бесполезными дополнениями, точно так же, как и любовь к добродетели, отвлеченной добродетели, стоического или мистического характера, о которой говорится во всех книгах, составляющих пищу современных детей, как о высочайшей вершине, достижимой для возвышенной души. Если мы присоединим ко всему этому большую утонченность ощущений, которую я опустил как сверхдолжное условие, то, кажется, мы получим в результате соединение всех основных черт, свойственных современному чувствительному человеку, — всех элементов того, что можно было бы назвать *обычной формой оригинальности*.

Посмотрим теперь, во что превратится такая индивидуальность, вздутая до чрезмерных пределов действием гашиша. Проследим за этим процессом человеческого воображения вплоть до его последней, наиболее роскошной обители — до уверования личности в свою собственную божественность.

Если вы принадлежите к числу таких душ, наша прирожденная любовь к формам и краскам найдет огромное удовлетворение в первых же стадиях вашего опьянения. Краски приобретут необычайную яркость и устремятся в ваш мозг с победительной силой. Тусклая, посредственная или даже плохая живопись плафонов облечется ужающей жизненностью; самые грубые обои, покрывающие стены каких-нибудь постоянных дворов, превращаются в великолепные диорамы. Нимфы с ослепительными телами смотрят на вас своими большими глазами — более глубокими и прозрачными, чем небо и вода; герои древности в греческих воинских одеяниях обмениваются с вами, при посредстве одного молчаливого взгляда, глубочайшими признаниями. Изгибы линий говорят с вами необычай-

но понятным языком, раскрывают перед вами волнения и желания душ. В это же время развивается и то таинственное и зыбкое настроение духа, когда за самым естественным, обычным зрелищем окружающего — разверзается вся глубина жизни, во всей ее цельности и во всем многообразии ее проблем, когда первый попавшийся предмет становится красноречивым символом. Фурье и Сведенборг — один со своими *аналогиями*, другой со своими *откровениями* — воплотились в растительный и животный мир, который распадается на ваших глазах, открывая вам истину — не голосом, а своими формами и красками. Смысл аллегорий разрастается в вас до небывалых пределов; заметим кстати, что аллегория, этот в высшей степени *одухотворенный* вид искусства, который бездарные живописцы научили нас презирать, но который является одним из самых первобытных и естественных проявлений поэзии, приобретает для ума, озаренного опьянением, всю свою прежнюю, законную значительность. Гашиш заливает всю жизнь каким-то магическим лаком; он окрашивает ее в торжественные цвета, освещает все ее глубины. Причудливые пейзажи, убегающие горизонты, перспективы городов, белеющих в тускло-мертвом освещении грозы или озаренных рдеющими огнями заката; глубины пространства, как символ глубины времени; пляска, жест или декламация актеров, если вы очутились в театре, первая попавшаяся фраза, если взгляд ваш упал на страницу книги, — словом, всё, все существа и всё существующее встает перед вами в каком-то новом сиянии, которого вы никогда не замечали до этих пор. Даже грамматика, сухая грамматика превращается в чародейство и колдовство; слова оживают, облачаются плотью и кровью: существительное во всем своем субстанциальном величии, прилагательное — цветное, прозрачное облачение его, прилегающее к нему, как глазурь, и глагол — этот ангел движения, сообщающий фразе жизнь. Музыка — другой язык, излюбленный язык для ленивых или же для глубоких умов, ищущих отдохновения в разнообразии труда, — музыка говорит вам о вас самих, рассказывает вам поэму вашей жизни: она переливается в вас, и вы растворяетесь в ней. Она говорит о владеющей вами страсти — не расплывчато и неопределенно, как в один из

праздных вечеров, проводимых вами в опере, но обстоятельно, положительно: каждое движение ритма отмечает определенное движение вашей души, каждая нота превращается в слово, и вся поэма целиком входит в ваш мозг, как одаренный жизнью словарь.

Не нужно думать, что все эти явления возникают в нашем сознании хаотически, в крикливых тонах действительности, в беспорядке, свойственном внешней жизни. Внутренний взор наш все преобразует, всякую вещь дополняет красотой, которой ей недостает, чтобы она могла стать действительно достойной и привлекательной. К этой же фазе, преимущественно чувственной и сладострастной, нужно отнести влечение к прозрачной, текучей или стоячей воде, которое с такой удивительной силой развивается в опьяненном мозгу некоторых художников. Зеркала дают повод к возникновению этой грезы, столь похожей на духовную жажду в соединении с иссушающей горло физической жаждой, о которой я уже говорил выше; бегущая вода, игра струй, гармонические каскады, синяя беспредельность моря — все это несетя, поет или дремлет, проникнутое неотразимой прелестью. Вода разливается, как настоящая обольстительница, и хотя я не очень верю в припадки буйного помешательства, вызываемые гашишем, однако я не стал бы утверждать, что созерцание прозрачной бездны вполне безопасно для души, влюбленной в пространство и хрустальные глади, и что древнее сказание об Ундине не может превратиться для энтузиаста в трагическую действительность.

Мне кажется, что я достаточно говорил о чудовищном разрастании времени и пространства — двух идей, тесно связанных между собою, которые разум в состоянии опьянения созерцает без скорби и без страха. С каким-то меланхолическим восторгом всматривается он в глубь годов и смело устремляется взором в беспредельность пространств. Было правильно подмечено, что это неестественное, все подчиняющее себе разрастание распространяется также на все чувства и на все идеи, в том числе и на чувство симпатии; полагаю, я привел достаточно убедительный пример этого; то же самое относится и к любви. Идея красоты должна, конечно, занимать важное место в духовной

личности предположенного нами склада. Гармония, изгибы линий, соразмерность движений представляются грезящему как нечто необходимое, *обязательное* — не только для всех существ творения, но и для него самого, грезящего, одаренного в этой стадии опьянения удивительной способностью понимать бессмертный мировой ритм. И если наш фанатик сам не одарен красотой, не думайте, что он будет долго страдать от этого неприятного сознания, что он будет смотреть на себя как на дисгармоническую ноту в мире гармонии и красоты, созданном его воображением. Софизмы гашиша, многочисленные и непостижимые, в общем направлены в сторону оптимизма, и один из главных и наиболее действенных состоит в том, что желаемое приобретает характер осуществившегося. То же самое очень часто наблюдается, конечно, и в условиях обычной жизни, но насколько это здесь ярче и тоньше! Да и как могло бы существо, одаренное таким разумением гармонии, существо, являющееся как бы жрецом Прекрасного, — как могло бы оно допустить исключение, пятно по отношению к собственной теории? Нравственная красота и могущество ее, изящество со всеми его оболочениями, красноречие с его смелыми подъемами — все эти представления являются сначала как бы коррективами к режущей некрасивости, потом — утешителями и наконец — утонченными льстецами воображаемого владыки.

Что касается любви, то я видел многих людей, которые с любопытством, достойным школьника, старались разузнать что-нибудь на этот счет у лиц, знакомых с употреблением гашиша. Во что может превратиться любовное опьянение, столь могущественное уже само по себе, когда оно находится в другом опьянении, как солнце в солнце? Таков вопрос, возникающий у многих, кого я назвал бы праздными гуляками интеллектуального мира. Чтобы ответить на подразумеваемую здесь непристойность, на ту часть вопроса, которую не решаются предложить открыто, я отошлю читателя к Плинию, который, говоря где-то о свойствах конопли, рассеивает на этот счет множество иллюзий. Общеизвестно, впрочем, что самым обычным результатом злоупотреблений нервными возбуждениями и возбуждательными средствами является расслабление орга-

низма. Но так как в данном случае приходится говорить не об активных способностях, а о чувствительности и возбудимости, то я только попрошу читателя обратить внимание на то, что фантазия нервного человека, опьяненного гашишем, доведена до чудовищных размеров, которые так же трудно поддаются определению, как сила ветра во время бури, ощущения же его утончены также до степени, не поддающейся измерению. Можно допустить поэтому, что самая тихая, самая невинная ласка, как, например, пожатие руки, приобретает значение, во сто крат увеличенное данным состоянием души и чувств, и вызывает — притом очень быстро — то судорожное замирание, которое считается обыкновенными смертными *вершиною* наслаждения. Но что в душе, много занимавшейся любовью, гашиш пробуждает нежные воспоминания, которым страдание и скорбь придают еще большую, сияющую прелесть, это не подлежит никакому сомнению. Столь же несомненно, что ко всем этим движениям духа примешивается значительная доля чувственности; и будет бесполезно отметить, чтобы констатировать на этом пункте всю безнравственность употребления гашиша, что секта исмаилитов (из которой выделились ассасины) перешла в своем обожествлении известных вещей даже за пределы беспристрастного Лингама и создала абсолютный и исключительный культ одной только женской половины символа. И так как жизнь каждого человека повторяет собою историю, не было бы ничего сверхъестественного в том, чтобы такая же непристойная ересь, такая же чудовищная религия выросла и в уме человека, малодушно отдавшегося воздействиям дьявольского зелья и с улыбкою созерцающего извращения собственных способностей.

Мы уже видели, что при опьянении гашишем с особенной силой проявляется чувство симпатии к людям, даже незнакомым, своего рода филантропия, основанная скорее на жалости, чем на любви (здесь уже дает себя чувствовать первый зародыш сатанинского духа, которому предстоит развиваться до необычайных размеров), но доходящая до опасения причинить кому-либо малейшее огорчение. Можно себе представить после этого, во что превращается при данных условиях чувствительность более сосредоточенная,

направленная на дорогое существо, играющее или игравшее серьезную роль в нравственной жизни больного. Преклонение, обожание, молитвы и мечты о счастье несутся стремительно, с победоносной силою и с блеском фейерверка; подобно пороху и разноцветным огням, они вспыхивают и рассыпаются во мраке. Нет такого сочетания чувств, которое оказалось бы невозможным для гибкой любви порабощенного гашишем. Склонность к покровительству, отцовское чувство, горячее и самоотверженное, могут соединяться с преступною чувственностью, которую гашиш всегда сумеет извинить и оправдать. Но действие его идет еще дальше. Предположим, что совершенные некогда проступки оставили в душе следы горечи, и муж или любовник с грустью созерцает (в своем нормальном состоянии) свое омраченное тучами прошедшее; теперь самая эта горечь преобразуется в наслаждение; потребность в прощении заставляет воображение искусно измышлять примирительные мотивы, и самые угрызения в этой сатанинской драме, выливающейся в одном длинном монологе, могут действовать, как возбудитель, могущественно разжигающий энтузиазм сердца. Да, даже угрызения! Не был ли я прав, утверждая, что для истинно философского ума гашиш является совершеннейшим орудием дьявола? Угрызения, составляющие своеобразную приправу к удовольствию, вскоре совершенно поглощаются блаженным созерцанием угрызений, своего рода сладострастным самоанализом; и этот самоанализ совершается с такой быстротой, что человек, этот прирожденный дьявол, как говорят последователи Сведенборга, не отдает себе отчета в том, как он произволен и как, с секунды на секунду, он приближается к дьявольскому совершенству. Человек *восхищается* своими угрызениями и преклоняется перед самим собою в то самое время, когда он быстро идет к окончательной потере свободы.

И вот изображаемый мною человек, избранный ум, достиг той ступени радости и блаженства, когда он *не может* не любоваться самим собою. Все противоречия сглаживаются, все философские проблемы становятся ясными или, по крайней мере, кажутся такими. Полнота его переживаний внушает ему безграничную гордость. Какой-то голос

внутри него (увы! это его собственный голос) говорит ему: «Теперь ты имеешь право смотреть на себя как на высшего из людей; никто не знает и не мог бы уразуметь все, что ты думаешь, и все, что ты чувствуешь; они не способны даже оценить той благосклонности, которую они вызывают в тебе. Ты — царь, не признанный окружающими, живущий в одиночестве своих мыслей; но что тебе до этого? Не вооружен ли ты тем высшим презрением, которое обуславливает доброту души?»

Между тем легко представить себе, что время от времени жгучее воспоминание пронизывает и отравляет это блаженство. Какое-нибудь впечатление, идущее из внешнего мира, может воскресить тягостное для созерцания прошедшее. Сколько нелепых и низких поступков наполняет это прошлое, поступков, поистине недостойных этого царя мысли и оскверняющих его идеальное совершенство! Но будьте уверены, что человек, находящийся во власти гашиша, смело взглянет в глаза этим укоризненным призракам и даже сумеет извлечь из этих ядовитых воспоминаний новые элементы удовольствия и гордости. Ход его рассуждений будет таков. Едва прекратилось первое болезненное ощущение, как он начнет с любопытством анализировать этот поступок или это чувство, воспоминание о котором нарушило его самовозвеличение, мотивы, которые побуждали его тогда поступить таким образом, обстоятельства, в которых он тогда находился; а если и эти обстоятельства не дадут достаточных оснований для оправдания или, по крайней мере, смягчения проступка, не подумайте, что он сочтет себя побежденным! Вот его рассуждения, подобные, в моих глазах, игре какого-то механизма под прозрачным стеклом: «Этот нелепый, подлый или низкий поступок, воспоминание о котором на минуту смутило меня, находится в полном противоречии с моей истинной, с моей настоящей натурой, и самая энергия, с какою я порицаю его, то инквизиторское рвение, с каким я исследую и сужу его, доказывают мою высокую, божественную склонность к добродетели. Много ли найдется людей, способных так осудить себя, произнести над собой столь суровый приговор?» И вот он не только осуждает, но и прославляет себя. Ужасное воспоминание потонуло, таким образом, в созер-

цании идеальной добродетели, идеального милосердия, идеального гения, и с чистым сердцем он предается своей торжествующей духовной оргии. Мы видим, что, святотатственно разыгрывая таинство исповедания, являясь одновременно исповедующимся и исповедником, он с легкостью отпустил себе все грехи или, еще хуже, извлек из своего осуждения новую пищу для своей гордости. Теперь из созерцания своих грез и стремлений к добродетели он выводит заключение о своей способности быть добродетельным на деле; сила влюбленности, с какою обнимает он призрак добродетели, кажется ему достаточным, неопровержимым доказательством того, что у него хватит активной силы, необходимой для осуществления своего идеала. Он совершенно смешивает грезу с действительностью, воображение его все более и более разгорячается обольстительным зрелищем собственной — исправленной, идеализированной — природы; он подставляет этот обаятельный образ на место своей реальной личности, столь бедной волею, столь богатой чванством, и кончает полным апофеозом самого себя, выражая его в ясных и простых словах, заключающих для него целый мир безумнейших наслаждений: *«Я — самый добродетельный из всех людей»*.

Не напоминает ли вам это Жана Жака, который точно так же, поведав вселенной, не без некоторого сладострастия, о своих грехах, дерзнул испустить тот же торжествующий крик (разница если и есть, то, во всяком случае, она очень невелика) — с такою же искренностью, с такою же убежденностью? Восторг, с которым он поклонялся добродетели, нервическое умиление, наполнявшее слезами его глаза при виде благородного поступка или при мысли обо всех тех прекрасных поступках, которые он хотел бы совершить, — все это внушало ему преувеличенное представление о своей нравственной высоте. Жан Жак умел опьяняться без гашиша.

Следовать ли мне дальше в анализе этой победоносной мономании? Объяснять ли, каким образом мой герой под действием яда скоро становится уже центром мироздания? Каким образом он оказывается живым, доведенным до последней крайности воплощением пословицы, что страсть все относит к самой себе? Он уверовал в свою добродетель

и в свою гениальность; трудно ли угадать заключение всего этого? Все окружающие его предметы стали источником внушений, которые шевелят в нем целый мир мыслей — более ярких, живых, более тонких, чем когда-либо, и как бы покрытых магическим лаком. «Эти великолепные города, — говорит он, — роскошные здания которых громоздятся друг над другом, словно на декорации, эти прекрасные суда, покачивающиеся на водах рейда в мечтательном безделье и как бы выражающие нашу мысль: когда поплывем мы навстречу счастью? — эти музеи, переполненные дивными формами и опьянительными красками, эти библиотеки, в которых собран труд Науки и мечтания Музы, эти инструменты, сливающие свои голоса воедино, эти обольстительные женщины, прелесть которых еще возвышается искусными туалетами и скромностью взгляда, — все это было создано для меня, для меня, для меня! Для меня человечество трудилось, мучилось, приносило себя в жертву — чтобы послужить пищею, *pabulum*, моему ненасытному стремлению к волнующим впечатлениям, к знанию, к красоте!» Я пропускаю звенья, сокращаю. Никому уже не покажется удивительным, что последняя фатальная мысль вспыхивает вдруг в мозгу мечтателя: «Я стал Богом», — что дикий горячечный крик вырывается из его груди с такою силою, с такою потрясающей мощью, что, если бы желания и верования опьяненного человека обладали действенной силой, этот крик низверг бы ангелов, блуждающих по путям небесным: «Я — Бог!» Но скоро этот ураган гордыни переходит в состояние тихого, молчаливого, умиротворенного блаженства, и все сущее предстает в окраске и освещении какой-то адской зари. Если в душе злосчастного счастливица случайно промелькнет смутное воспоминание: «А не существует ли еще другой Бог?» — будьте уверены, что он гордо поднимет голову перед Тем, что он будет отстаивать свои права и ничего не уступит Ему. Какой это французский философ, высмеивая современные немецкие учения, сказал: «Я бог, но только плохо пообедавший»? Эта ирония нимало не задела бы человека, находящегося во власти гашиша; он преспокойно ответил бы: «Возможно, что я плохо пообедал, но я — Бог».

V. Выводы

Но завтра! ужасное завтра! расслабленные, утомленные органы, упавшие нервы, щекочущие приступы плача, невозможность отдалиться систематической работе — все это жестоко доказывает вам, что вы играли в запрещенную игру. Безобразная природа, лишенная освещения предыдущего дня, походит на грустные остатки пиршества. В особенности поражена воля, самая драгоценная из всех способностей. Говорят — и это, кажется, верно, — что это вещество не причиняет никакого физического вреда, во всяком случае никакого серьезного вреда. Но разве можно назвать здоровым человека, непригодного к деятельности и способного только мечтать, хотя бы все члены его и были невредимы? Мы слишком хорошо знаем природу человека и можем утверждать, что человек, который за ложку варенья может получить все блага земли и неба, не станет и тысячной доли их добиваться трудом. Возможно ли представить себе государство, все граждане которого опьянялись бы гашишем? Каковы были бы эти граждане, эти воины, эти законодатели! Даже на Востоке, где употребление его так распространено, есть государства, в которых запрещено употребление гашиша. В самом деле, человеку под страхом духовного разложения и смерти не дозволено изменять основные условия своего существования и нарушать равновесие между своими способностями и тою средою, в которой ему суждено проявлять себя; словом, не дозволено изменять свое предназначение, подчиняясь вместо того фатальным силам другого рода. Вспомним Мельмота, этот удивительный прообраз. Его ужасные страдания заключаются в противоречии между его чудесными способностями, мгновенно приобретенными в сделке с дьяволом, и той обстановкой, в которой он, как создание Божие, осужден был жить. И никто из тех, кого он пытается соблазнить, не соглашается купить у него, на тех же условиях, его страшного преимущества. В самом деле, всякий человек, отвергающий условия жизни, продает свою душу. Легко понять соотношение между демоническими образами поэзии и живыми существами, предавшимися употреблению возбуждающих средств. Человек захотел

стать Богом, и вот, в силу неуловимого нравственного закона, он пал ниже своей действительной природы. Это душа, продающая себя в розницу.

Бальзак несомненно думал, что нет для человека большего стыда, более жгучего страдания, как отречение от своей воли. Я видел его раз на одном собрании, где речь шла о чудесном действии гашиша. Он слушал и расспрашивал с удивительным вниманием и оживлением. Люди, знавшие его, поймут, насколько это должно было интересоваться его. Но идея произвольного мышления возмущала его. Ему предложили давамеска; он рассмотрел его, понюхал и возвратил, не прикоснувшись к нему. Борьба между его почти детским любопытством и отвращением к потере воли изумительно ярко отражалась на его выразительном лице. Чувство человеческого достоинства победило. В самом деле, трудно представить себе, чтобы этот теоретик *воли*, этот духовный близнец Луи Ламберта согласился отказаться хоть от малейшей частицы этой драгоценной *субстанции*.

Несмотря на удивительные услуги, оказанные эфиром и хлороформом, мне кажется, что с точки зрения спиритуалистической философии такое же нравственное осуждение применимо ко всем современным изобретениям, которые стремятся уменьшить человеческую свободу и неизбежное страдание. Не без некоторого восхищения выслушал я однажды парадокс одного офицера, рассказавшего мне о тяжелой операции, которая была сделана одному французскому генералу в Эль-Агуате и от которой этот последний умер, несмотря на хлороформ. Этот генерал был очень храбрым человеком и даже более того — одною из тех душ, к которым естественно применяется понятие рыцарства. «Ему нужен был не хлороформ, — сказал офицер, — а взоры всей армии и полковая музыка. Тогда, быть может, он был бы спасен!» Хирург не разделял мнения этого офицера, но полковой священник несомненно пришел бы в восхищение от его чувств.

Было бы излишне после всех этих соображений распространяться о безнравственном характере гашиша.

Сравню ли я его с самоубийством, с медленным самоубийством, с всегда отточенным и всегда окровавленным

смертоносным оружием — ни один разумный человек не сможет возразить мне. Уподоблю ли я его чародейству, магии, пытающимся (при помощи таинственных всеисцеляющих средств, ложность или действительность которых одинаково нельзя доказать) достигнуть власти, недоступной человеку или доступной лишь тому, кто признан достойным ее, — ни одна философски настроенная душа не отвергнет этого сравнения. Если Церковь осуждает магию и колдовство, то именно потому, что они восстают против предназначений Божьих, не признают работу времени и хотят сделать излишними, в качестве условий существования, нравственность и чистоту; тогда как она, Церковь, считает законными, истинными только те сокровища, которые приобретены усилиями доброй воли. Мы называем мошенником игрока, который нашел способ верного выигрыша; как назовем мы человека, который хочет на несколько грошей купить себе счастье и гениальность? Тут самая безошибочность средства указывает на его безнравственность, как предполагаемая безошибочность магии налагает на нее адскую печать.

Нужно ли прибавлять, что гашиш, как все одинокие наслаждения, делает личность бесполезной для общества, а общество — излишним для нее, побуждая ее к постоянному самовосхищению, толкая ее изо дня в день к краю той сверкающей бездны, в которой она находит свое отражение — отражение Нарцисса.

Но, быть может, взамен своего достоинства, честности и свободы воли человек может извлечь из гашиша большие духовные преимущества, воспользоваться им как своего рода мыслительным механизмом, как ценным инструментом? Вот вопрос, который мне часто приходилось слышать, — и я отвечу на него. Во-первых, как я уже обстоятельно разъяснил, гашиш пробуждает в человеке только то, что составляет содержание его собственной личности. Правда, это содержание его личности является здесь как бы возведенным в кубическую степень и развернутым до своих высших пределов, и так как не подлежит сомнению, что воспоминание о пережитом не исчезает по окончании оргии, то надежды этих *утилитаристов* кажутся с первого взгляда не лишенными некоторых оснований. Но я попро-

шу их обратить внимание на то, что мысли, из которых они рассчитывают извлечь такую пользу, в действительности отнюдь не так прекрасны, как они представляются в своем временном облачении, покрытом волшебной мишурой. Они тяготеют скорее к земле, чем к небу, и обязаны значительной долей своей красоты тому нервному возбуждению, той жадности, с какою наш разум набрасывается на них. К тому же эта надежда вертится в порочном кругу: допустим даже на минуту, что гашиш действительно дает или по крайней мере усиливает творческую способность, но ведь они забывают при этом, что в природе гашиша лежит ослабление воли и, таким образом, он дает с одной стороны то, что с другой стороны отнимает, а именно: фантазию — без способности воспользоваться ею. Наконец, представив себе даже человека, настолько ловкого и сильного, что он может избегнуть такой альтернативы, нужно подумать еще об одной опасности — роковой, ужасной опасности, связанной со всякими привычками. Всякая привычка скоро превращается в необходимость. Кто станет прибегать к яду, *чтобы* мыслить, вскоре не сможет мыслить *без* яда. Представляете ли вы себе ужасную судьбу человека, парализованное воображение которого не может более функционировать без помощи гашиша или опия?

В философских исследованиях человеческий разум, подражая движению звезд, должен описать кривую, которая возвращает его к точке отправления. Сделать заключение значит завершить круг. Я говорил уже вначале о том удивительном состоянии, в которое человеческий дух повергается как бы особой благодатью; я сказал, что, стремясь окрылить свои надежды и унести в бесконечность, он проявлял, во всех странах и во все времена, горячее влечение ко всякого рода снадобьям, не исключая и вредоносных, которые, возбуждая его существо, могут хоть на мгновение открыть ему временный рай, предмет всех его вожделений; этот мятущийся дух, бессознательно уносящийся к пределам самого ада, свидетельствовал таким образом о своем первородном величии. Но человек не настолько беспомощен, не настолько лишен честных средств для достижения неба, чтобы ему необходимо было прибегать для этого к разным снадобьям и к колдовству; ему

вовсе нет надобности продавать свою душу, чтобы заплатить за опьянительные ласки и благосклонность гурий. Что такое рай, купленный ценою вечного блаженства? Я представляю себе человека (назовем ли мы его брамином, поэтом или христианским философом) на вершине духовного Олимпа; вокруг него — музы Рафаэля и Мантеньи, поддерживая его в продолжительных постах и усердных молитвах, предаются благороднейшим танцам, обращают к нему самые нежные взгляды, самые ослепительные улыбки; божественный Аполлон, владыка всякого знания (Аполлон Франкавиллы, Альбрехта Дюрера, Гольциуса или еще какого-нибудь художника — не все ли равно? Разве нет своего Аполлона у каждого человека, который достоин этого?), ласкает своим смычком самые тонкие струны его души. Внизу, у подножия горы, среди терний и грязи, толпа людей, стадо илотов, корчит гримасы наслаждений, испускает рев — под влиянием ядовитого зелья: и поэт со скорбью говорит себе: «Эти несчастные, не знавшие ни поста, ни молитвы и отказавшиеся от искупительного труда, надеются посредством черной магии сразу подняться на сверхъестественную высоту. Магия издевается над ними и зажигает для них огни ложного счастья и ложного просветления; между тем как мы, поэты и философы, достигли возрождения души упорным трудом и созерцанием, неустанным упражнением воли, благородством и постоянством стремлений, мы создали для себя сад истинной красоты. Памятуя слова, гласящие, что вера движет горами, мы сотворили то единственное чудо, которое дозволено нам самим Богом».



ОПИОМАН

І. Ораторские предосторожности

«О благодатный, нежный и всесильный опий! Ты, проливающий целительный бальзам в сердце бедного, как и богатого, утоляющий боль ран, которые никогда не зарубцуются, и муки, которые вызывают бунт духа; красноречивый опий! Ты, обезоруживающий решимость бешенства и возвращающий на одну ночь преступнику надежды его юности и незапятнанные кровью руки; дарующий гордецу минутное забвение

Грехов неискупленных, обид неотомщенных;

призывающий лжесвидетелей к суду видений, ради торжества принесенной в жертву невинности; уличающий клятвopеступника; отменяющий приговор неправедных судей. С искусством, какого не достигали Фидий и Пракситель, ты построишь, на лоне мрака, из созданных мозгом фантазий, города и храмы, превосходящие роскошью Вавилон и Гекатомпилос; и из хаоса сна, полного видений, ты вызываешь на солнечный свет давно забытые образы красоты и благословенные лица близких, отряхнувшие прах могил. Ты, один ты даешь человеку эти сокровища, ты обладаешь ключами рая, о благодатный, нежный, всесильный опий!» — Но прежде чем автор решился испустить в честь своего драгоценного опия этот восторженный крик, похожий на крик благодарной любви, — сколько уловок, сколько ораторских предосторожностей! Прежде всего эта вечная оговорка людей, которые, приступая к щекотливому признанию, втайне ощущают его сладость:

«Ввиду той добросовестности, с какой я писал, я надеюсь, что заметки эти будут не просто интересными, но также в значительной степени полезными и поучительными. В этой именно надежде я и решился набросать их на бумагу, и это будет моим оправданием в том, что я нарушил деликатную и скромную сдержанность, препятствующую большинству из нас публично признаваться в наших прегрешениях и пороках. И правда, ничто так не возмущает чувства англичанина, как зрелище человека, выставяющего напоказ свои раны и нравственные язвы и срывающего с себя стыдливый покров, которым время или снисхождение к человеческой слабости согласились прикрыть их».

В самом деле, прибавляет он, обыкновенно преступление и нищета прячутся вдали от взоров общества, и даже на кладбище они покоятся отдельно от прочих смертных, как бы смиренно отказываясь от всякого права на общение с великой человеческой семьей. Но в данном случае — в том, что касается *Опиомана*, — нет преступления; есть только слабость, и притом какая извинительная слабость! Это и послужит предметом его биографии, предпосылаемой его труду; а затем польза, проистекающая для других из этого опыта, купленного столь тяжкою ценою, может с избытком вознаградить общество за оскорбление его нравственных чувств и узаконить исключение.

В этом обращении к читателю мы находим несколько разъяснений относительно таинственного племени опиоманов — этой чисто созерцательной народности, затерявшейся в лоне деятельного народа. Они многочисленны и даже более многочисленны, чем думают. Это — профессора, философы, лорд, занимающий высокий пост, помощник государственного секретаря; если столь многочисленны случаи из высшего класса общества, разыгрывающиеся на глазах одного-единственного лица, то какую ужасающую статистику могло бы дать народонаселение Англии в целом! Три аптекаря из различных частей Лондона утверждают (в 1821 г.), что число любителей опия очень велико и что трудность отличить людей, употребляющих его для лечения, от тех, кто пользуется им с преступной целью, является для них источником ежедневных неприятностей. Но опий спустился уже в низы общества, и в Манчестере

каждую субботу, после обеда, прилавки аптекарей покрыты пилюлями, заготовленными для вечерних покупателей. Для фабричных рабочих опий является сравнительно дешевым наслаждением, тогда как понижение заработной платы может сделать недоступным употребление эля и спиртных напитков. Но не думайте, что английский рабочий откажется от опия и вернется к более грубому наслаждению алкоголем, когда заработная плата снова поднимется. Порабощение свершилось; воля поражена; воспоминание о наслаждении проявляет свою тираническую власть.

Если натуры грубые, притупленные поденным беспросветным трудом, могут находить в опиине огромное утешение, то каково же должно быть его действие на утонченный и просвещенный ум, на пламенное и развитое воображение, особенно если оно прошло через горнило плодотворных страданий, на мозг, отмеченный печатью роковой мечтательности — *touched with pensiveness**, употребляя удивительное выражение нашего автора? Таков сюжет замечательной книги, которую мне предстоит развернуть перед взором читателя, как фантастический свиток. Многие я, конечно, сокращу. Де Квинси чрезвычайно склонен к отступлениям; слово *humorist*, человек настроений, применимо к нему более чем к кому-либо другому; в одном месте он сравнивает свою мысль с тирсом — простою палкою, получающей весь свой внешний облик и всю свою красоту от обвивающей его роскошной листвы. Чтобы не лишить читателя ни одной из волнующих картин, составляющих сущность книги, мне придется — ввиду недостатка места, к крайнему моему сожалению, — пропустить немало любопытных отступлений, немало превосходных рассуждений, которые не имеют прямого отношения к опию, но способствуют *освещению* характера опиомана. Однако книга представляет такое яркое явление, что даже в сокращенном виде, в отдельных выдержках, можно себе составить понятие о ней.

Весь труд («Confessions of an english opium-eater, being an extract from the life of a scholar»**) разделяется на две ча-

* Тронутый печалью (англ.).

** «Исповедь английского опиомана, представляющая собой жизнеописание одного ученого» (англ.).

сти: первая — *Confessions*; вторая, составляющая дополнение к ней, — *Suspiria de profundis**. Каждая из них имеет несколько подразделений, и я пропущу те из них, которые имеют характер пояснений или приложений. Подразделение первой части чрезвычайно просто и логично и вытекает из самого предмета исследования: *Предварительные признания — Наслаждения опиомана — Терзания опиомана. Предварительные признания*, о которых мне предстоит говорить несколько подробнее, преследуют вполне понятную цель. Необходимо, чтобы человек, к которому относится сообщаемое, был знаком читателю, внушал ему любовь и уважение. Автор, задавшийся целью заинтересовать, увлечь нас таким с первого взгляда однообразным предметом, как описание опьянения, старается внушить нам, что до некоторой степени он заслуживает оправдания, хочет возбудить к своему герою симпатию, которая распространится на все сочинение. Наконец — и это очень существенно — повествование об известных случаях, которые сами по себе, быть может, довольно обыкновенны, но имеют важное и серьезное значение с точки зрения повышенной чувствительности лица, пережившего их, — повествование это представляет собою как бы ключ к тем ощущениям и необычным видениям, которые впоследствии будут осаждать его мозг. Нередко старик, склонившись над столиком кабачка, видит себя среди давно исчезнувшей обстановки; его опьянение разыгрывается на почве давно угасшей юности. Точно так же и события, рассказанные в «Исповеди», займут немаловажное место в видениях позднейшего времени. Они восстанут перед ним подобно снам, которые являются только измененными, преображенными впечатлениями трудового дня.

II. Предварительные признания

Нет, не в поисках преступного и бездейственного наслаждения начал он употреблять опий, а просто для облегчения желудочных страданий, вызванных жестокою привычкою к голодовкам. Эти муки голода начались еще в его

* Дыхание бездны (лат.).

ранней молодости, а к двадцати восьми годам страдания и целительное средство впервые появляются в его жизни — после довольно продолжительного периода счастья, обеспеченности и благополучия. При каких обстоятельствах проявились эти страдания, это мы сейчас увидим.

Будущему опиоману было семь лет, когда умер его отец, оставив его на попечение опекунов, которые, заботясь о его воспитании, посылали его в разные школы. Очень рано он стал выдаваться своими литературными способностями, особенно же — не по летам ранним знанием греческого языка. В тринадцать лет он уже писал по-гречески, в пятнадцать — не только сочинял греческие стихи лирического характера, но и мог свободно и без затруднения разговаривать по-гречески (умение, которым он был обязан привычке ежедневно переводить на греческий язык английские газеты). Необходимость находить в памяти и воображении множество оборотов для выражения на мертвом языке безусловно современных понятий и образов выработала для него всегда готовый словарь, гораздо более сложный и обширный, чем тот, какой приобретается обычным корпением над чисто литературными сочинениями. «Этот мальчик, — сказал один из учителей, указывая на него иностранцу, — сумел бы лучше убедить в чем-либо афинскую толпу, чем вы или я — английскую». К несчастью, наш скороспелый эллинист лишился своего превосходного учителя и, пройдя через руки грубого педагога, вечно дрожавшего, как бы мальчик не уличил его в невежестве, был отдан на попечение доброго и солидного учителя, который, однако, тоже грешил отсутствием изящества и ничем не напоминал первого, с его пылкой и блестящей эрудицией. Нехорошо, когда ребенок может судить своих учителей и смотреть на них сверху вниз. Занимались переводами из Софокла, и перед началом занятий усердный учитель, *archididascalus*, готовился при посредстве грамматики и лексикона к чтению хоров, заранее расчищая свой урок от возможных сомнений и затруднений. Между тем молодой человек (ему исполнился уже семнадцатый год) горел желанием поступить в университет и тщетно приставал с этой просьбою к своим опекунам. Один из них, человек добрый и рассудительный, жил слишком далеко. Из

трех других — двое сложили с себя всякую ответственность, передав ее четвертому; а этот последний обрисовывается перед нами как самый упрямый наставник в мире, влюбленный только в собственную волю. Наш предприимчивый юноша принимает смелое решение — бежать из школы. Он обращается с письмом к одной очаровательной и прекрасной женщине, которая была, очевидно, другом его семьи и в детстве держала его на руках, и просит одолжить ему пять гиней. Скоро был получен ответ, проникнутый материнской лаской, а с ним — двойная сумма против требуемой. В кошельке школьника оставалось еще две гинеи, а двенадцать гиней для ребенка, не знающего житейских условий, представляются несметным богатством. Остается только привести в исполнение план бегства. Следующий пассаж принадлежит к тем, которые я не могу решиться сократить. И кроме того, будет хорошо, чтобы читатель время от времени имел возможность самолично насладиться трогательным и *женственным* стилем автора.

«Доктор Джонсон сделал вполне правильное наблюдение (и притом — проникнутое чувством, чего, к несчастью, нельзя сказать о других его наблюдениях), а именно: что, сознательно делая в последний раз что-нибудь, что мы привыкли делать, мы не можем избавиться от чувства грусти. Я глубоко прочувствовал эту истину, покидая то место, которое я никогда не любил и где никогда не был счастлив. Вечером, накануне того дня, когда я должен был бежать, я с грустью услышал в старой высокой учебной зале звуки вечерней молитвы — ибо я слышал ее в последний раз; а когда при наступлении ночи стали делать переключку и мое имя, как всегда, было произнесено первым, я вышел и, проходя мимо присутствовавшего при этом начальника, поклонился ему; я с любопытством глядел ему в лицо и думал про себя: «Он стар и слабого здоровья, я не увижу его больше в этом мире!» Я был прав — мне не пришлось и не придется более увидеть его. Он ласково, с доброй улыбкой взглянул на меня, ответил на мое приветствие, или, вернее, на мое прощанье, и мы расстались — неведомо для него — навсегда. Я не мог чувствовать особого уважения к его уму; но он всегда был добр ко мне, много раз

оказывал мне снисхождение, и я страдал при мысли об огорчении, которое я причиню ему.

Настало то утро, когда я должен был броситься в жизненное море, утро, которое на долгое время окрасило мою последующую жизнь. Я жил в доме моего начальника, и с самого приезда мне разрешено было иметь отдельную комнату, которая служила мне одновременно спальней и рабочим кабинетом. В половине четвертого я поднялся с постели и с глубоким волнением стал смотреть на городские башни, озаренные первым светом зари и уже розовевшие в лучистом блеске безоблачного июньского утра. Я был тверд и непоколебим в своих намерениях, хотя и взволнован смутным предчувствием неизвестных препятствий и опасностей, а если бы я мог предвидеть ту бурю, тот град бедствий, которые вскоре должны были обрушиться на меня, я имел бы полное основание волноваться еще более. Глубокая тишина утра представляла полную противоположность этому волнению и до некоторой степени успокаивала его. Тишина была даже глубже, чем ночью; а для меня тишина утра трогательнее, чем всякая другая, потому что свет, уже широко разлившийся и яркий, как свет полдня в другие времена года, так отличен от него — главным образом тем, что на улицах еще не показались люди и мир природы и невинных тварей Божьих кажется таким глубоким и безмятежным, пока человек с его тревожным, непостоянным разумом не нарушил его святости. Я оделся, взял шляпу и перчатки, но некоторое время еще медлил в своей комнате. В течение полутора лет эта комната была убежищем моих мыслей; здесь я читал и учился в долгие часы ночи; и хотя, по правде сказать, во вторую половину этого периода я, созданный для любви и нежных привязанностей, потерял всю веселость и жизнерадостность в лихорадочной борьбе с моим опекуном, — однако, с другой стороны, юноша, подобный мне, влюбленный в книги, преданный умственной работе, не мог не переживать иногда и отрадных часов, даже при всем своем отчаянии. Я плакал, глядя на кресло, камин, письменный стол и другие привычные предметы, ибо был слишком уверен, что никогда больше не увижу их. С тех пор и до того часа, когда я набрасываю эти строки, протекло восемнадцать лет, и тем

не менее, даже в эту минуту, так ясно, будто это было вчера, вижу я очертания и выражение того, на что я устремлял свой прощальный взгляд; это был висевший над каменным портрет соблазнительницы*, на котором глаза и рот были так прекрасны, а все лицо светилось такою добротою и божественной ясностью души, что, глядя на него, я тысячу раз бросал перо или книгу, чтобы испросить себе утешения перед ее образом, как верующий просит утешения перед изображением своего святого. В то время как я, забывшись, предался созерцанию портрета, звучный бой башенных часов возвестил мне, что было уже четыре часа утра. Я приподнялся, поцеловал портрет, потом тихо вышел и запер дверь — навсегда!

Смех и слезы так часто сменяют друг друга или смешиваются в этой жизни, что я не могу без улыбки вспомнить об одном случае, происшедшем в то время и чуть было не помешавшем немедленному осуществлению моего плана. У меня был сундук ужасающей тяжести, ибо кроме моего платья в нем заключалась вся моя библиотека. Трудность состояла в том, чтобы как-нибудь дотащить его до извозчика. Комната моя находилась в поднебесной высоте, и самое худшее было то, что лестница, которая вела в эту часть здания, примыкала к коридору, проходившему мимо двери моего начальника. Все слуги обожали меня, и, зная, что каждый из них с удовольствием окажет мне тайную услугу, я сообщил о моем затруднении одному из слуг начальника. Он поклялся сделать все, что я пожелаю, и когда наступило время, он поднялся по лестнице, чтобы вынести сундук. Я боялся, как бы это не оказалось непосильным для одного человека; но груз этот был здоровенный малый, — «его плеча Атланта бремена обширных царств могли б снести», а спину его по ширине можно было бы сравнить с равнинами Солсбери. Он уперся на том, что сможет дотащить сундук один, и я ждал его у лестницы, в первом этаже, терзаясь беспокойством. В течение некоторого времени я слышал, как он спускается твердым и медленным шагом; но, к несчастью, вследствие волнения, приближаясь к самому опасному месту, в нескольких ша-

* Быть может, дамы, давшей десять гиней.

гах от коридора он поскользнулся, и грузная ноша, сорвавшись с его плеч, устремилась по ступенькам лестницы с такою быстротою, что, спустившись до низу, с грохотом, какого не могли бы произвести и двадцать чертей, покати-лась, или, вернее, прыгнула прямо на дверь спальни, где покоился *archididascalus*. Первая моя мысль была, что те-перь все пропало и что единственный выход для осуществ-ления бегства состоял в том, чтобы бросить мой багаж. Однако после минуты раздумья я решил выждать конца приключения. Грум замирал от страха и за себя самого, и за меня; но, вопреки всему этому, чувство комизма охва-тило его в эту злополучную минуту с такой непреодолимой силою, что он разразился смехом — долгим, оглушитель-ным, раскатистым смехом, который мог бы, кажется, про-будить и *семь спящих дев*. При звуках этой веселой музыки, раздававшейся над самыми ушами обойденного начальства, я и сам не мог удержаться от смеха, не столько из-за прыж-ков сундука, сколько из-за нервного эффекта, произведен-ного ими на слугу. Оба мы, естественно, ожидали, что из дверей вот-вот выскочит доктор, ибо, обыкновенно, за-слышав даже шорох мыши, он выскакивал, как стороже-вой пес из своей конуры. Странное дело — на этот раз, когда затихли взрывы нашего смеха, в комнате его не слышно было ни звука, ни шороха. Доктор страдал мучи-тельными припадками, которые часто не давали ему спать, но зато, быть может, если ему уже удавалось заснуть, он спал крепче обыкновенного. Ободренный этой тишиною, грум снова взвалил сундук себе на плечи и спустился до конца лестницы уже без всяких приключений. Я подождал, пока сундук был поставлен на тачку, и двинулся по направ-лению к извозчику. Тогда, не имея иного путеводителя, кроме Провидения, я пустился в путь, пешком, с неболь-шим пакетом, заключавшим в себе принадлежности туалета, под мышкою, с любимым английским поэтом в одном кармане и с томиком в двенадцатую долю листа с девятью трагедиями Еврипида — в другом».

Наш школьник лелеял мысль пробраться в Вест-морланд; но одно приключение, о котором он не расска-зывает нам, заставило его изменить план и направиться к северу, в Валлис. Проблуждав некоторое время в Денбиг-

шире, Мерионесшире и Кернервоншире, он устроился наконец в маленьком чистеньком домике в Б***, но вскоре должен был убраться оттуда ввиду одного обстоятельства, самым забавным образом оскорбившего его юношескую гордость. Хозяйка его служила раньше у епископа, не то в качестве гувернантки, не то в качестве экономки. Необычайное высокомерие английского духовенства заражает обыкновенно не только детей церковных владык, но и прислугу их. В таком маленьком городке, как Б***, было, конечно, совершенно достаточно прожить некоторое время в семье епископа, чтобы этим самым получить своего рода превосходство над другими, и у доброй женщины не сходили с уст фразы вроде: «Милорд делал то, милорд делал это; милорд был незаменим в парламенте, незаменим в Оксфорде...» Может быть, она находила, что молодой человек выслушивает ее без достаточного благоговения. Однажды она отправилась засвидетельствовать свое почтение епископу и его семье, и он стал ее расспрашивать о ее домашних делах. Услышав, что она сдала комнату, достойный прелат заботливо посоветовал ей быть очень разборчивой при выборе жильцов: «Бетти, — сказал он, — подумайте только: ведь наш городок лежит на большой дороге в столицу, и весьма возможно, что он служит пристанищем для ирландских мошенников, убегающих от своих кредиторов в Англию, и для английских мошенников, наделавших долгов на родине». И вот добрейшая женщина, с гордостью передавая свою беседу с епископом, не преминула повторить и свой ответ ему: «О милорд, я, право, не думаю, чтобы этот господин был мошенник, потому что...» — «Вы не думаете, чтобы я мог быть мошенником! — с бешенством отвечает молодой человек. — С этой минуты я освобождаю вас от необходимости думать на эту тему!» И он готовится выехать. Бедная хозяйка охотно пошла бы на попятный, но в порыве гнева он произносит несколько не совсем почтительных слов по адресу епископа, и примирение становится невозможным. «Я был действительно возмущен тою легкостью, с какою епископ бросал грязью в человека, совершенно неизвестного ему, — говорит он, — и у меня явилось желание выразить ему это на греческом языке, что устранило бы подозрение по вопросу о моей

честности и в то же время (таков был, по крайней мере, мой расчет) поставило бы епископа в необходимость ответить мне на том же языке, а этим — для меня не было сомнения — он обнаружил бы, что если я не так богат, как его святейшество, то, во всяком случае, могу считаться лучшим эллинистом. Более здравые мысли вытеснили этот ребяческий план...»

Снова начинается для него бродячая жизнь; кочуя из гостиницы в гостиницу, он быстро растрчивает деньги. Через две недели он уже принужден довольствоваться одним блюдом в день. Движение и горный воздух, возбуждающие его молодой аппетит, делают для него этот режим очень мучительным; ибо его единственным блюдом является чай или кофе. Наконец, даже чай и кофе становятся недоступной роскошью, и в течение всего своего пребывания в Валлисе он поддерживает свое существование только ежевикой и ягодами шиповника. Время от времени радужное гостеприимство прерывает, как праздник, этот отшельнический пост, и за это гостеприимство он оплачивает обыкновенно мелкими услугами в качестве писца. Он исполняет обязанности секретаря для крестьян, имеющих родственников в Лондоне или Ливерпуле. Чаще всего это любовные письма, которые он сочиняет по просьбе девушек, служащих в Шрюсбери или в каком-нибудь другом городе Англии и переписывающихся с оставленными там любовниками. Один эпизод такого рода носит даже трогательный характер. В одной отдаленной от центра части Мерионесшира, в Лэн-и-Стиндуэр, он проживает в течение трех дней у молодых людей, которые проявляют самое сердечное отношение к нему; это четыре сестры и три брата; все они говорят по-английски и отличаются замечательным природным изяществом и красотой. Он сочиняет письмо для одного из братьев, который служил на военном судне и добивался получить свою долю добычи, и — тайно от других — два любовных письма для двух сестер. Эти наивные существа, с их сердечной чистотой, с их природным благородством, с краской стыда диктующие свои излияния, вызывают воспоминание о чистой и нежной прелести старинных альманахов. Он так хорошо выполняет свою обязанность, что невинные девушки прихо-

дят в совершенный восторг от его умения согласовать требования их чрезмерной стыдливости с тайным желанием выразить свою любовь. Но однажды утром он замечает странное смущение, почти грусть: вернулись старики родители, люди строгие и ворчливые, уезжавшие на ежегодное собрание кернервонских методистов. На все фразы, с которыми молодой человек к ним обращается, он получает один ответ: «*Dym Sassenach*» (не понимаю по-английски). «Несмотря на все то, что молодые люди могли сказать в мою пользу, я легко понял, что мой талант писать любовные письма так же мало поднимет меня в глазах этих суровых пятидесятилетних методистов, как мои сапфические или алкеические стихи». И из опасения, как бы это милое гостеприимство молодежи не превратилось в более грубых руках стариков в жестокую милостыню, он возобновляет свое удивительное странствие.

Автор не говорит нам о том, как ухитрился он, несмотря на свою нищету, попасть наконец в Лондон. Но здесь лишения, как велики они ни были и раньше, становятся прямо ужасными, превращаются почти в повседневную агонию. Представьте себе шестнадцать недель постоянного голодания, которое временами умерялось только каким-нибудь куском хлеба, перепадавшим ему со стола человека, о котором мы будем сейчас говорить; вообразите себе два месяца, проведенных под открытым небом; прибавьте к этому сон, оравленный кошмарами и внезапными содроганиями. Дорого обошлась ему его школьническая затея. Когда наступило суровое время года — словно для того, чтобы еще увеличить его страдания, которым, казалось, дальше уже некуда было идти, — ему посчастливилось наконец найти себе убежище — но какое убежище! Человек, за завтраком которого он присутствовал и у которого ему удавалось стащить иногда кусок-другой хлеба (этот господин считал его больным и не знал, что он просто нищий), разрешил ему ночевать в большом пустом доме, который он снимал. Из мебели там был только стол и несколько стульев; это было пыльное нежилое помещение, полное крыс. Среди этого запустения жила несчастная девочка, не совсем идиотка, но более чем простоватая, некрасивая, лет десяти, если только изнурение от голода не делало ее на

вид старше, чем она была в действительности. Была ли это просто служанка или незаконная дочь упомянутого господина — автору так и не удалось узнать этого. Несчастливая, всеми покинутая девочка очень обрадовалась, узнав, что теперь у нее будет товарищ, который будет коротать с нею черные часы ночи. Дом был большой, и при отсутствии мебели и драпировок всякий звук отдавался в нем особенно гулко: возня крыс наполняла шумом залы и лестницу. Посреди физических мук — от холода и голода — несчастная малютка умудрилась создать себе еще воображаемое страдание: она боялась привидений. Молодой человек обещал ей защищать ее от них. «Это была единственная услуга, которую я мог оказать ей!» — прибавляет он не без юмора. Эти два несчастных существа, исхудалые, голодные, дрожащие от холода, спали на полу; кипы деловых бумаг служили им изголовьем, а одеяло заменял собою старый кавалерийский плащ. Потом, впрочем, они отыскиали на чердаке старый диванный чехол, кусочек ковра и еще кое-какие тряпки, которые немножко прикрывали их от холода. Бедное дитя прижималось к нему, чтобы согреться и укрыться от своих врагов с того света. Иногда, когда он не чувствовал себя особенно больным, он обнимал ее, и малютка, пригревшись в этих братских объятиях, часто засыпала, между тем как ему не удавалось уснуть. Ибо за два последних месяца его страданий он много спал в течение дня, или, вернее, часто впадал в забытие; это был нехороший сон, полный мучительных сновидений; он беспрестанно просыпался и снова засыпал — боль и тревога внезапно пробуждали его, а истощение снова неодолимо клонило ко сну. Кому из нервных людей не знаком этот *собачий сон*, по меткому, сильному выражению английского языка? Ибо нравственные страдания производят то же действие, как физические муки, например муки голода. Человек слышит свои собственные стоны; иногда он просыпается от звуков собственного голоса; желудок все время как бы пустеет и сокращается, словно губка, выжимаемая сильною рукой; грудобрюшная преграда опускается и поднимается; человеку не хватает воздуха, мучения все увеличиваются, пока человеческая природа, как бы найдя целебное средство в самой боли, не находит исхода в ужасном крике и содро-

гании всего тела, приносящих наконец значительное облегчение.

Иногда, рано утром, внезапно появлялся хозяин; иногда он совсем не приходил. Он всегда был настороже, так как ожидал судебного пристава, и, совершенствуя приемы Кромвеля, каждую ночь спал в новом квартале. Он рассматривал через скважину людей, стучавшихся в дверь; завтракал всегда один, довольствуясь чаем и маленьким хлебцем или печеньем, которое он покупал по дороге, и никогда никого не приглашал к себе. Во время этого поразительно скудного завтрака молодой человек искусно изыскивал какой-нибудь предлог, чтобы остаться в комнате и завязать разговор; затем с самым равнодушным видом, какой только ему удавалось принять, он брал со стола остатки хлеба; но случалось и так, что ему не оставалось ни кусочка, все было съедено. Что касается девочки, то ее никогда не пускали в кабинет хозяина — если только можно назвать этим именем свалочное место для всяких писем и бумаг. В шесть часов этот таинственный субъект удалялся, заперев комнату на ключ. Утром, когда он появлялся, девочка шла прислуживать ему. В то время, пока он погружался в занятия и дела, молодой бродяга выходил из дому и отправлялся в парк — блуждать или сидеть — или куда-нибудь в другое место. К ночи он возвращался в свое пустынное убежище, и на стук дверного молотка девочка трепетными шагами бежала открыть ему входную дверь.

В более зрелом возрасте автору захотелось однажды вечером, в день своего рождения, пятнадцатого августа, бросить взгляд на это место своих былых страданий. В ярком свете красивой залы он увидел людей, которые пили чай и имели самый счастливый вид, — странный контраст с мраком, холодом, тишиной и отчаянием, которые царили в этом самом помещении, когда восемнадцать лет тому назад в нем жили изголодавшийся школьник и покинутая девочка. Потом он пытался напасть на следы этого несчастного ребенка. Осталась ли она в живых? Суждено ли ей было стать матерью? Он ничего не узнал об этом. Он любил ее только как своего сотоварища по несчастью, потому что она не была ни красива, ни привлекательна, ни умна. В ней могло прельщать только то, что она была че-

ловеком — чистая человечность в самом скудном ее выражении. Но, кажется, Робеспьер, с его абстрактным жгуче-морозным стилем, сказал: «Человек всегда радуется при виде человека».

Но кто такой был и чем занимался этот хозяин, человек с столь таинственными привычками? Это был один из тех дельцов, которых так много во всех больших городах и которые вечно заняты самым запутанным крюкотворством, обходя законы и отложив на время всякое попечение о совести — в ожидании, что более благоприятные обстоятельства позволят им снова воспользоваться этой стеснительной роскошью. Автор мог бы при желании, говорит он, порассказать нам много забавного об этом несчастном человеке, передать нам разные любопытные сцены и бесподобные эпизоды; но он предпочел все предать забвению и помнить только об одном: о том, что этот человек, столь презренный в других отношениях, всегда хорошо относился к нему и, насколько это было возможно, был даже великодушен. За исключением святилища, наполненного бумагами, все комнаты были в распоряжении детей, которые, таким образом, имели большой выбор помещений и могли устраиваться на ночь где хотели.

Но у молодого человека была еще одна подруга, о которой нам уже пора поговорить. Чтобы достойно передать этот эпизод, я хотел бы похитить перо из крыльев ангела — до того эта картинка представляется мне целомудренной, полной невинности, нежной красоты и сострадания. «Я всегда ставил себе в заслугу, — говорит автор, — что умел непринужденно, *more socratico**, беседовать со всеми людьми — мужчинами, женщинами и детьми, с которыми сводил меня случай, — привычка, благоприятствующая познанию человеческой природы, развитию добрых чувств и свободных манер, которые подобают человеку, желающему заслужить имя философа. Ибо философ не должен смотреть на вещи глазами жалкого ограниченного создания, именующего себя *светским человеком* и набитого узкими и эгоистическими предрассудками; он должен, напротив, видеть в себе поистине *вселенское* существо, находиться

* В сократической манере (*лат.*).

в общении и отношении со всем, что выше, и со всем, что ниже его, и с образованными людьми, и с людьми, лишенными всякого воспитания, с преступными, как и с невинными». Мы увидим впоследствии, как среди наслаждений, даруемых великодушным опиумом, развивается и этот дух вселенского милосердия и братства, усиленный и углубленный своеобразным гением опьянения. На улицах Лондона, еще более чем в Валлисе, вырвавшийся на свободу школьник является своего рода перипатетиком, уличным философом, предающимся, в вихре большого города, непрерывным размышлениям. Эпизод, о котором теперь идет речь, кажется странным на страницах английской книги, ибо мы знаем, что британская литература доводит свое целомудрие до смешной шепетильности; но что не подлежит сомнению, так это то, что этот же самый сюжет, под пером француза, быстро сделался бы *shocking**, тогда как здесь все исполнено нежной красоты и благородства. Словом, чтобы выразиться как можно короче, наш бродяга связал себя узами платонической дружбы с жрицею свободной любви. Анна не была одною из тех дерзких, ослепительных красавиц, с глазами демона, сверкающими сквозь дымку, создающих себе ореол самим своим бесстыдством. Анна была самым простым, самым обыкновенным существом, обманутым, покинутым — как многие другие, — и доведенным до падения изменою. Но она окутана тою неизъяснимою прелестью — тою прелестью слабости и доброты, которую Гете умел сообщить всем своим женским образам и которая превращает в бессмертное создание его маленькую Маргариту с красными руками. Как часто во время своих однообразных прогулок по бесконечной Оксфорд-стрит, посреди гомона большого, кипящего деятельностью города, изголодавшийся школьник убеждал свою несчастную подругу подать в суд на своего соблазнителя и предлагал себя в качестве свидетеля и адвоката. Анна была еще моложе его: ей было всего шестнадцать лет. Сколько раз она охраняла его от полицейских, прогонявших его от ворот, у которых он присаживался. Один раз она сделала даже больше, бедняжка: она сидела со своим другом в Со-

* Возмутительным (англ.).

хо-сквере, на ступеньках дома, мимо которого, — прибавляет он, — с того самого дня он никогда не мог проходить, не испытывая замирания сердца и умиления при мысли об этой несчастной и великодушной девушке. В этот день он чувствовал себя еще более слабым и больным, чем обыкновенно; но едва он сел, как ему сделалось еще хуже. Он склонился головой на грудь своей сестры по несчастью, но вдруг выскользнул из ее объятий и упал навзничь на ступеньки подъезда. Без сильного подкрепляющего средства он уже не встал бы или, во всяком случае, впал бы в состояние неизлечимого расслабления. И в эту-то критическую минуту его жизни она — это падшее создание, ничего не выдавшее от людей, кроме обид и несправедливости, — протянула ему руку помощи. Она вскрикнула от ужаса и, не теряя ни секунды, побежала на Оксфорд-стрит, откуда немедленно возвратилась с стаканом крепкого портвейна, который оказал необыкновенно благотворное действие на его желудок, уже не способный перенести никакой твердой пищи. «О, моя юная спасительница! сколько раз в последующие годы, заброшенный в глушь и думая о тебе с сердцем, полным грусти и настоящей любви, сколько раз мечтал я о том, чтобы благословение моего отягченного благодарностью сердца приобрело ту особенную сверхъестественную силу, какую древние приписывали проклятию отца, — силу повсюду достигать человека с непрекаемостью судьбы! — чтобы моя благодарность также получила от неба этот дар следовать за тобою, подстергать, находить тебя даже в глубоком мраке какого-нибудь лондонского угла или даже, если возможно, во мраке самой могилы, чтобы пробудить тебя вестью истинного мира, прощения и высшего примирения!»

Чтобы чувствовать таким образом, нужно многое перестрадать, нужно иметь сердце, способное раскрываться и смягчаться от несчастий, — в противоположность тем, которых несчастье замыкает и ожесточает. Бедуин цивилизации находит в пустыне больших городов достаточно поводов к умилению, совершенно незнакомого человеку, чувствительность которого ограничена своим домом и семьей. В обманчивом блеске столиц, как и в пустыне, есть нечто укрепляющее и закаляющее человеческое сердце, за-

каляющее его на совершенно особенный лад, — если только оно не поддавалось развращению и не ослабело до степени падения, не поддавалось искушению самоубийства.

Однажды, вскоре после описанного случая, он встретил на Альбемэрл-стрит старого друга своего отца, который узнал его по фамильному сходству; он чистосердечно ответил на все его вопросы, ничего не скрыл от него, но взял с него слово, что он не выдаст его опекунам. В заключение он дал ему свой адрес — адрес своего хозяина, этого странного ходатая по делам. На следующий день он получил в письме, которое хозяин добросовестно передал ему, чек на десять фунтов. Читатель, может быть, удивится, что молодой человек с самого начала не искал спасения от нищеты — в виде ли какой-нибудь постоянной работы или в виде поддержки со стороны старых друзей семьи. Что касается этой последней возможности, то она, несомненно, была связана с очевидной опасностью. Опекунов могли известить — а закон давал им полное право силою водворить юношу в школу, из которой он бежал. И вот сила воли, часто встречающаяся у людей с самым женственным и чувствительным характером, заставляла его мужественно выносить все лишения и опасности, чтобы только не пойти на риск этой унижительной возможности. Да и к тому же — где было найти этих друзей отца, со дня смерти которого прошло уже десять лет, — друзей, самые имена которых он, большею частью, позабыл? Что же касается работы, то он, конечно, мог бы получить значительное вознаграждение за корректуру на греческом языке; он чувствовал, что может прекрасно выполнить такую работу; но как добиться рекомендации к порядочному издателю? И, наконец, он сам признается, что ему просто никогда и в голову не приходило, чтобы литературная работа могла сделаться для него источником какого-нибудь заработка. Он никогда не мечтал выйти как-нибудь из своего плачевного положения иначе, как заняв денег под то состояние, на которое он мог впоследствии рассчитывать. Наконец ему удалось завязать знакомство с несколькими евреями, которым его хозяин оказывал услуги в их темных делах. Убедить их в том, что расчеты его основательны, было нетрудно, так как его уверения могли быть проверены на

завещании его отца в Докторз коммонз. Но оставался совершенно неподвиженный им вопрос — об удостоверении его личности. Он предъявил тогда несколько писем, которые были получены им во время пребывания в Валлисе от молодых друзей, между прочим от графа *** и даже от отца его, маркиза ***, которые он всегда носил в кармане. Евреи пообещали наконец ссудить ему двести-триста фунтов, под условием, чтобы молодой граф *** (который, к слову сказать, был не старше его самого) поручился, что деньги будут возвращены по достижении молодыми людьми совершеннолетия. Легко догадаться, что кредитор рассчитывал в этом деле не столько на прибыль, в конце концов слишком ничтожную, сколько на возможность вступить в сношения с молодым графом, огромное будущее богатство которого было ему хорошо известно. И вот, получив наконец десять фунтов, наш юный странник собирается в Итон. Около трех фунтов оставлено будущему кредитору на расходы по заключению актов; некоторая сумма вручена также ходатаю по делам — за его помещение без мебели; пятнадцать шиллингов ушло на то, чтобы обновить костюм (чудный костюм!); наконец, несчастная Анна тоже получает свою долю при распределении этого богатства. В темный зимний вечер направляется он с бедной девушкой к Пиккэдили, собираясь доехать с бристольской почтой до Салт-Гилл. Так как у них еще есть время в распоряжении, они заходят в Гольден-сквер и садятся на углу Шерард-стрит, чтобы укрыться от шума и света Пиккэдили. Он дал ей обещание не забывать ее и прийти ей на помощь, как только это окажется возможным. В самом деле, это был его долг, самый настоящий долг, и в эту минуту он был полон нежности к этой случайной сестре, нежности, усиливаемой жалостью к ее ужасному отчаянию. Несмотря на все потрясения, которым подверглось его здоровье, он был сравнительно весел и даже полон надежд, тогда как Анна была смертельно грустна. В момент прощания она обвила его шею руками и, не произнося ни слова, залилась слезами. Он надеялся вернуться не позже как через неделю, и они условились, что, начиная с пятого дня после его отъезда, она каждый вечер будет приходить к шести часам и ждать его в конце Грет-Тичфилд-стрит, которая была их обыч-

ным прибежищем и местом отдыха в великом океане Оксфорд-стрит. Он думал, что таким образом все было уже предусмотрено, чтобы он мог вновь найти ее; одно только он упустил из виду: Анна никогда не называла ему своей фамилии, или, если и называла, он позабыл ее, как нечто несущественное. Проститутки более шикарного пошиба, зачитывающиеся романами, любят называть себя такими именами, как *мисс Дуглас*, *мисс Монтегю* и т. п., но наиболее простые из этих несчастных бывают известны только под собственным именем: *Мери*, *Джейн*, *Френсис* и т. п. К тому же в момент расставания Анна была простужена и сильно охрипла, и, поглощенный в эту тяжелую минуту мыслью о том, как бы подбодрить ее и убедить принять какие-нибудь меры против простуды, он совершенно забыл спросить ее фамилию, что было бы самым верным средством восстановить связь в случае несостоявшегося свидания или продолжительного перерыва в их сношениях.

Я сокращаю подробности путешествия, в том числе рассказ о нежном и сострадательном обхождении толстого дворецкого, на груди и в объятиях которого наш герой, истомленный усталостью и тряской кареты, спал, как на груди кормилицы, и затем — о продолжительном сне на чистом воздухе между Слоу и Итоном (ибо ему пришлось пройти пешком шесть-семь миль, возвращаясь к Салт-Гиллу, мимо которого он проехал, заспавшись в объятиях своего спутника). Достигнув конечной цели своего путешествия, он узнает, что молодого лорда нет более в Итоне. В отчаянии он идет завтракать к лорду Д***, другому старому товарищу, с которым он не был, однако, так тесно связан. В первый раз за несколько месяцев он снова сидел за хорошим столом, и, однако, он ни к чему не мог прикоснуться. Уже в Лондоне, в тот день, когда он получил банковый чек, он купил два небольших хлебца в булочной, которую он в течение почти двух месяцев пожирал глазами с такой жадностью, что впоследствии самое воспоминание об этом казалось ему унижительным. Но этот давно желанный хлеб вызвал у него расстройство желудка, и в течение нескольких недель он не мог, без риска опять подвергнуться заболеванию, прикасаться к какому бы

то ни было кушанью. И теперь, посреди комфорта и роскоши, у него не было ни малейшего аппетита. Узнав о плачевном состоянии его желудка, лорд Д*** приказал подать вина, доставившего нашему герою большое удовольствие. Что касается реальной цели его путешествия, то ему не удастся вполне заручиться той услугой, о которой он хотел просить графа*** и о которой, ввиду отсутствия последнего, принужден был попросить лорда Д***. Не желая сразить его решительным отказом, лорд соглашается дать свое поручительство, но лишь в известных выражениях и на известных условиях. Подбодренный даже этим частичным успехом, наш герой возвращается в Лондон после трехдневного отсутствия и отправляется к своим друзьям евреям. К несчастью, кредиторы отказываются принять условия лорда Д***, и ему угрожает прежнее ужасное существование, которое теперь было бы еще гибельнее для него, как вдруг, в этот критический момент, благодаря случайности, о которой он ничего не сообщает нам, он получает письмо от своих опекунов, и полное примирение изменяет всю его жизнь. Он немедленно покидает Лондон и некоторое время спустя поступает наконец в университет. Только через несколько месяцев он получает возможность снова увидеть место своих страданий.

Но что случилось с бедной Анной? Каждый вечер он искал ее; каждый вечер он поджидал ее на углу Тичфилд-стрит. Он справлялся о ней у всех, кто мог ее знать; в последние часы своего пребывания в Лондоне он пустил в ход все средства, какие только были в его распоряжении, чтобы найти ее. Он знал улицу, на которой она жила, но не знал ее дома; кроме того, ему смутно вспоминалось, что незадолго до их последнего расставания она принуждена была бежать от грубости своего хозяина. Среди людей, к которым он обращался, одни только смеялись над горячностью его расспросов, считая мотивы его поисков безнравственными; другие, думая, что он разыскивает девушку, укравшую у него какую-нибудь безделку, были, конечно, мало расположены брать на себя роль сыщиков. Наконец, перед тем, как окончательно покинуть Лондон, он оставляет свой будущий адрес человеку, который знал Анну в лицо, — и несмотря на все это, он никогда боль-

ше не слышал о ней. Среди всех превратностей его жизни это было для него самым большим из огорчений. Заметьте, что говорит это человек серьезный, столь же заслуживающий уважения чистотою нравственного характера, как и возвышенностью своих писаний.

«Если только она осталась в живых — мы оба часто искали друг друга в бесконечном лабиринте Лондона; быть может, нас разделяло только пространство в несколько шагов, достаточное на лондонской улице, чтобы разъединить людей навеки! В течение нескольких лет я все еще надеялся, что она жива, и думаю, что за время моих путешествий по Лондону я пересмотрел несколько тысяч женских лиц, в надежде встретить ее лицо. Если бы я хоть на мгновение увидел ее, я узнал бы ее среди тысячи других; ибо хотя она не была красива, но у нее было удивительно кроткое выражение лица и необычайно изящный поворот головы. Я искал ее, повторяю, не теряя надежды найти. Да, в течение многих лет! Но теперь я боялся бы увидеть ее, и та страшная простуда, которая пугала меня, когда мы расставались, составляет теперь мое утешение. Я не стремлюсь более увидеть ее, но я мечтаю о ней, не без сердечной отрады, как о человеке, который давно уже покоится в могиле — в могиле Магдалины, хотелось бы мне верить, — ушедшей из мира прежде, чем оскорбления и грубость успели загрязнить и развратить ее невинную натуру, прежде чем зверская наглость негодяев довершила разрушение той, которой они нанесли первые удары.

Итак, я наконец освободился от тебя, Оксфорд-стрит, злая мачеха с каменным сердцем, выслушивающая вздохи сирот и впитывающая в себя слезы детей. Настало время, когда мне не нужно больше обивать твои бесконечные тротуары, мучиться ужасными снами и голодной бессонницей! Немало людей шло по тому же пути, как мы с Анной, — немало преемников наших бедствий; другие сироты вздыхали, другие дети проливали слезы; и в тебе, Оксфорд-стрит, отдавались эхом стоны бесчисленных сердец. Но для меня пережитая буря казалась теперь как бы залогом продолжительного благополучия...»

Но Анна — исчезла ли она окончательно? Нет, мы снова встретимся с ней — в фантастическом мире, созданном

опием; странным, преображенным призраком восстанет она перед нами в дыму воспоминаний, подобно Джинну «Тысячи и одной ночи», появляющемуся из паров бутылки. Что касается самого *опиомана*, то страдания юного возраста пустили в нем глубокие корни, из которых вырастут деревья, и эти деревья окутают своей мрачной тенью все явления жизни. Но эти новые страдания, на которые намекает уже последняя часть биографии, будут перенесены мужественно, с твердостью зрелого духа, с величавостью, проникнутой глубокой и нежной добротой. Эти страницы являются самым благородным призывом, изливанием самой нежной благодарности мужественной подруге, никогда не покидающей изголовья человека, преследуемого эвменидами. Орест опия нашел свою Электру, которая в течение долгих годов отирала с его лба пот ужаса и увлажала его губы, иссушенные лихорадкой. «Ибо ты была моей Электрой, дорогая подруга моих последующих годов. И ты не захотела, чтобы английская супруга была превзойдена греческой сестрой в благородстве духа и в терпеливой преданности». Когда-то, в злоключениях юности, бродя в лунные ночи по Оксфорд-стрит, он часто глядел (и это было его скудным утешением) вдоль улиц, пересекающих сердце Мери-ле-боун и уходящих за пределы города; и, блуждая мысленно по этим бесконечным проспектам, пересеченным полосами света и теней, он говорил себе: «Вот дорога на север, дорога к..., и если бы у меня были крылья горлицы, я направил бы туда свой путь, чтобы обрести себе облегчение!» Человек, как все люди, слепой в своих желаниях! Ибо как раз на севере, там, в той самой долине, в том самом доме, о котором он мечтал, суждено было ему испытать новые мучения, встретить целое общество ужасных призраков. Но там же живет Электра с ее целительной добротой — и теперь, как и прежде, когда одинокий задумчивый человек бродит по огромному Лондону, с сердцем, отягченным неизъяснимой тоскою, которую может облегчить только нежный бальзам семейной любви, когда он бросает взгляд вдоль улиц, уходящих на север от Оксфорд-стрит, и думает о возлюбленной Электре, которая ждет его в той же самой долине, в том же самом доме, человек этот восклицает, как когда-то восклицал ребенком:

«О, если бы у меня были крылья горлицы, я перенесся бы туда, чтобы обрести себе утешение!»

Пролог закончен, и с уверенностью могу обещать читателю, не опасаясь разочаровать его, что занавес, поднявшись, откроет его глазам самое удивительное, самое сложное, самое великолепное видение, какое когда-либо вырисовывалось на снегу бумаги скромным орудием писателя.

III. Наслаждения опиомана

Итак, как я уже упоминал выше, лишь жгучая потребность облегчить страдания организма, глубоко потрясенного тяжелыми невзгодами жизни, привела автора этих записок сначала к довольно частому, а впоследствии к ежедневному употреблению опия. Непреодолимое желание вернуться к таинственным восторгам, которые он впервые переживал, заставляло его все чаще повторять эти эксперименты — этого он не отрицает; он даже чистосердечно сознается в этом, указывая только в свое оправдание на смягчающие его вину обстоятельства. В первый раз он познакомился с опиумом при самых прозаических условиях. У него как-то заболели зубы, и он приписал эту боль внезапному перерыву в установленном режиме; у него с детства образовалась привычка ежедневно погружать голову в холодную воду, и в этот день он имел неосторожность, несмотря на зубную боль, прибегнуть к этому гигиеническому приему; после этого он лег спать с совершенно мокрыми волосами. Последствием такой неосторожности явилась невыносимая ревматическая боль в голове и в лице, терзавшая его в течение двадцати дней. На двадцать первый день, в дождливое воскресенье — это было осенью 1804 года, — гуляя, чтобы отвлечься от своих страданий, по улицам Лондона (со времени своего поступления в университет он впервые осматривал город), он встретил одного из своих товарищей, который посоветовал ему для успокоения болей принять опия. И действительно, через час после приема опия — в дозе, указанной аптекарем, боли совершенно прекратились. Но это облегчение, еще так недавно казавшееся ему величайшим благом, — каким ни-

чтожным казалось оно ему теперь по сравнению с теми новыми наслаждениями, которые так неожиданно открылись для него! Какой невероятный подъем духа! Какое удивительное богатство внутренних миров! Не нашелся ли наконец тот *pharmakon pérenthès*, то магическое средство, которое должно принести человеку исцеление от всякого рода страданий?

«Великая тайна счастья, о которой в течение стольких веков спорили философы, теперь несомненно найдена! Да, счастье можно теперь купить за один пенни и унести с собой в кармане жилета. Экстаз можно закупорить в бутылку, душевный мир — пересылать по почте! Быть может, читатель подумает, что я издеваюсь, — о нет, это лишь старая привычка прибегать к шутке среди страданий. Наоборот, я готов даже удостовериться, что не долго будет смеяться тот, кто познакомится с опиумом. Те наслаждения, которые доставляет опиум, носят какой-то необыкновенно серьезный, торжественный отпечаток, и опиуман, даже в самые счастливые минуты своей жизни, не может выразить своих переживаний в темпе *allegro**; даже в моменты высшего блаженства он говорит и думает в темпе *pensieroso***».

Несомненно, автор прежде всего желает освободить опиум от некоторых ложных нареканий: опиум вовсе не действует усыпляющим образом — по крайней мере на интеллект; опиум даже не опьяняет. Если принятый в большой дозе лаудан и вызывает опьянение, то причиной этого является не опиум, а спирт, который содержится в этом препарате. Далее автор сравнивает действие алкоголя с действием опия и очень точно устанавливает различие между ними: так, удовольствие, вызываемое вином, возрастает до известного предела, а затем начинает быстро падать, тогда как состояние, вызываемое действием опия, держится на известной высоте в течение восьми—десяти часов; алкоголь дает острое, опиум — хроническое наслаждение; в одном случае — вспышка пламени, в другом — ровно поддерживаемый жар. Но самое существенное различие заключается в том, что алкоголь помрачает умственные спо-

* Скоро (*ит.*).

** Задумчиво (*ит.*).

способности, тогда как опий, наоборот, вносит в них высшую гармонию и порядок. Вино лишает человека способности владеть собою; опий придает самообладанию какую-то особенную гибкость и удивительное спокойствие. Всем хорошо известно, что вино чрезвычайно повышает — хотя и ненадолго — чувства любви и ненависти, презрения и восторга. Опий, наоборот, приводит все душевные способности в полную гармонию и придает им характер божественного равновесия. Люди, опьяневшие от вина, обмениваются клятвами в вечной любви,жимают друг другу руки, проливают слезы без всякой видимой причины: чувствительность человека поднялась до своего высшего предела. При опьянении опиумом удивительный подъем чувств не имеет ничего общего с лихорадочным припадком; человек является перед нами как бы в своей первородной доброте и справедливости — возродившийся и вернувшийся к своему естественному состоянию, освобожденный от всяких посторонних примесей, случайно извративших его благородную природу. Наконец, несмотря на все наслаждение, которое дает нам вино, мы должны помнить, что отравление алкоголем часто граничит с безумием или — по меньшей мере — с сумасбродством, и что — за известными пределами — он рассеивает, так сказать, испаряет нашу духовную энергию, тогда как опий всегда умиротворяет, всегда сосредоточивает наши рассеянные способности. Таким образом, мы видим, что вино предоставляет господство чисто человеческой или даже просто животной стороне личности, тогда как опиум чувствует, что в нем под влиянием опия пробуждается самая чистая сторона его существа, что все его нравственные влечения становятся особенно утонченными, а разум приобретает ничем не омраченную ясность.

Автор опровергает также обвинение, будто после духовного подъема, вызываемого действием опия, наступает соответствующее угнетение, будто продолжительное употребление этого вещества ведет — как к естественному и неизбежному следствию — к притуплению и онемению духовных способностей. Он утверждает, что, наоборот, в течение десятилетнего употребления опия он всегда чувствовал на следующий день после опьянения необыкновен-

ную умственную бодрость. Что касается того отупения, о котором распространились многие писатели, ссылаясь главным образом на расслабление духовных сил, наблюдаемое у турок, то автор уверяет, что сам он никогда не испытывал ничего подобного. Весьма возможно, что опий в конце концов вызывает те же последствия, как и другие наркотические вещества, к которым его причисляют, но первоначальное его действие всегда сопровождается экзальтацией и подъемом настроения, и этот подъем длится не менее восьми часов; значит, от самого опиомана зависит урегулировать приемы опия с таким расчетом, чтобы следующее за подъемом понижение духовных сил совпадало со временем его естественного сна. Желая дать возможность читателю самому судить о том, оказывает ли опий притупляющее действие на способности английского мозга, автор представит нам два образца своих обычных наслаждений; и, развивая свою мысль не столько в форме логических доводов, сколько в форме картин, расскажет нам, как проводил он в Лондоне — в период времени от 1804 до 1812 года — те вечера, когда он находился во власти опия. Он был в те годы неутомимым тружеником и, отдаваясь почти всецело научным работам, считал себя вправе искать по временам отдыха в тех удовольствиях, которые наиболее соответствовали его наклонностям.

«В будущую пятницу, если будет угодно Богу, я собираюсь напиться», — говорил покойный герцог***. Так и наш опиоман устанавливал заранее, когда и сколько раз в течение известного периода он отдастся своему любимому удовольствию. Случалось это раз в три недели — обыкновенно в дни оперы, по вторникам и четвергам. Это были дни триумфов незабвенной Грассини. И музыка действовала тогда на него не как простая логическая последовательность приятных звуков, а как ряд *напоминаний*, как волшебные заклинания, вызывавшие перед его духовным зрением всю его прошедшую жизнь. Музыка — в передаче и освещении опия — вот та высшая духовная оргия, глубина и величие которой будут понятны каждому утонченному уму. Многие задаются вопросом: какие же конкретные идеи выражают собою звуки? Эти господа забывают, или, вернее, не знают, что музыка, в этом смысле столь

близкая поэзии, выражает не идеи, а чувства; правда, она наталкивает, наводит нас на идеи, но мы не должны искать их в ней. Все прошлое, говорит автор, оживало в его душе; без всяких усилий памяти оно вставало перед ним, как сама действительность, воплощенная в звуках; и, созерцая это прошлое, он не испытывал тягостного чувства: пошлость и грубость, присущие всему человеческому, исчезали в этом таинственном воскрешении или расплывались в идеальном тумане; прежние страсти оживали в душе очищенными, облагороженными, одухотворенными. Сколько раз вставали перед ним, на этой сцене его души, воздвигнутой опиумом и музыкой, бесконечные дороги, горы, по которым он странствовал, убежав из школы, и его милые хозяева в Валлисе, и густой мрак, чередующийся с ярким светом на больших улицах Лондона, и его печальная дружба, и долгие периоды нужды, скрашенные участием Анны и надеждой на более светлые дни. Затем, во время антрактов, итальянская речь, звуки чуждого языка, лившиеся из женских уст, усиливали очарование вечера, потому что незнание языка позволяет более тонко воспринимать его звуковую красоту. Так и красивый пейзаж доставляет больше всего наслаждения тому, кто созерцает его в первый раз, когда природа предстает во всем своем величии и глаз не успел еще привыкнуть к ней.

Но иногда, по вечерам в субботу, другое искушение — более необыкновенное и не менее для него заманчивое — торжествовало над его страстью к итальянской опере. Наслаждение, которое ожидало его в эти вечера — настолько привлекательное, что могло соперничать с музыкой, — можно было бы назвать любительским упражнением в милосердии. Очутившись в очень раннем возрасте среди водворота гигантского города, равнодушного к своим детям, автор сам испытал много горя и всяких лишений. Одаренный добрым сердцем, необыкновенной чуткостью и чувствительностью, он во время долгих дней своего бродяжничества и еще более долгих ночей отчаяния научился любить бедных и скорбеть о них. Теперь его тянет вернуться к этой жизни смиренных, погрузиться в эту толпу обездоленных, подобно моряку, который бросается в море, чтобы вступить в общение с природой, он хочет окунуть-

ся в эту человеческую стихию. Здесь тон его изложения становится таким высоким, что я должен предоставить слово ему самому:

«Этим удовольствием, как я уже говорил, я пользовался только в субботу вечером. Но чем же, собственно, отличался для меня вечер субботы от других вечеров? От каких трудов хотелось мне отдохнуть в субботу? Какую заработную плату предстояло мне получить? И что могло волновать меня в этот вечер, кроме надежды получить приглашение в оперу, на несравненную Грассини? Вы совершенно правы, читатель, и ваши замечания неопровержимы. Но не следует забывать, что чувства наши бесконечно разнообразны в своих проявлениях. Большая часть людей выражает сочувствие беднякам, в той или иной форме принимая участие в их нуждах и страданиях; меня же, в этот период жизни, неудержимо влекло желание выразить мои чувства — участием в их удовольствиях. С ранних лет мне пришлось видеть страдания бедноты, видеть их так близко, что самое воспоминание о них было для меня страданием. Но радости бедняка, его утехи и развлечения после физической усталости никогда не вызывают тягостного чувства в душе наблюдателя. И вот вечер субботы знаменует наступление периодического отдыха бедняка; самые враждебные секты сходятся в этом пункте, видят в нем как бы соединяющие их узы братства. В этот вечер почти весь христианский мир отдыхает от трудов своих; и этот отдых составляет как бы вступление к новому отдыху: целый день и две ночи отделяют его от следующего периода работы. Вот почему мне всегда кажется в субботу вечером, что я сам избавился от гнета какой-то работы, что мне предстоит получить плату за мой труд и я буду иметь возможность насладиться отдыхом. И чтобы возможно шире охватить зрелище, возбуждавшее во мне такое глубокое умиление, я усвоил привычку выходить в субботу вечером из дому, после приема опия, и брести в какую-нибудь отдаленную часть города, в одно из тех простонародных сборищ, где беднота тратит свои заработки. Сколько раз приходилось мне подслушивать там беседу семьи, состоявшей из отца, жены и одного-двух детей, когда они обсуждали свои планы, свои доходы, бюджет или стоимость предметов домаш-

него обихода! Я постепенно знакомился с их желаниями, их взглядами, их заботами! Иногда, правда, мне приходилось слышать ропот недовольства, но большею частью их лица выражали терпение, надежду и ясность духа. Замечу по этому поводу, что в общем бедняк гораздо более философ, чем богач, что он гораздо смиреннее и бодрее переносит то, что считает неизбежным злом или непоправимой потерей. Пользуясь всяким удобным случаем, когда поведение мое не могло казаться назойливым, я присоединялся к группам беседующих людей и давал им советы по поводу разных занимавших их вопросов. И если эти советы не всегда принимались, то всегда приветливо выслушивались. Если оказывалось, что заработная плата бедняков повысилась или можно было ожидать ее повышения, если цена на хлеб понижалась или же распространялся слух, что лук и масло скоро подешевеют, я чувствовал себя счастливым; если же случалось обратное, я находил утешение в моем опиe. Ибо опиий (подобно пчеле, с одинаковым усердием извлекающей то, что ей нужно, из розы и из сажи печных труб) обладает свойством подчинять себе все чувства и настраивать их на свой лад. Иногда в этих моих скитаниях я уходил очень далеко; ибо опиоман слишком счастлив, чтобы следить за временем. И случалось, что, отыскивая дорогу домой, подобно мореплавателю, не спускающему глаз с северной звезды, и думая только о том, как бы набрести на мой *северо-западный пролив* и миновать скалистые мысы и рифы, встретившиеся мне на пути при моем первом странствии, я внезапно попадал в какой-то лабиринт улиц, в какие-то глухие переулки, в таинственные тупики, существующие только для того, чтобы приводить в отчаяние носильщиков и дурачить извозчиков. Порою мне казалось, что я первый открываю эти *terrae incognitae**, и я сильно сомневался в том, чтобы они значились на картах Лондона того времени... Несколько лет спустя мне пришлось жестоко поплатиться за эти мои странствования, когда меня стали преследовать во сне целые легионы человеческих лиц, когда эти бесконечные путешествия по необъятному городу стали воспроизводить-

* Неизвестные земли (*лат.*).

ся в моих сновидениях, вызывая во мне какое-то странное чувство нравственной и умственной растерянности, от которой мутился рассудок и душа наполнялась тревогой и раскаянием...»

Из этих примеров мы видим, что опий не влечет неизбежно к оцепенению или неподвижности; ибо нашего мечтателя он завлекает, наоборот, в наиболее оживленные центры жизни. Нужно, однако, признать, что в большинстве случаев театр и народные сборища не привлекают опиоманов — особенно в моменты их высшего блаженства. В такие моменты толпа угнетает опиомана и даже музыка кажется ему грубо-чувственной. Он ищет одиночества и безмолвия — необходимых условий для глубоких экстазов и грез. И если автор этой «Исповеди» бросился в толпу, в людской поток, то это объясняется лишь тем, что таким путем он надеялся побороть в себе роковую склонность к грезам и к мрачной меланхолии, составлявших неизбежное наследие перенесенных им в юности страданий. И в научных занятиях, и в обществе людей он искал только спасения от своей тоски. Впоследствии, когда вошла в свои права его истинная натура и тучи былых грез стали рассеиваться, он решил, что теперь может спокойно отдаваться своему влечению к одиночеству. Не раз случалось ему просиживать неподвижно у окна всю тихую летнюю ночь, от заката до восхода солнца, и у него не являлось даже желания переменить позу. Глаза его упивались видом моря и большого города, а в душе проносились обольстительные грезы, вызванные этим зрелищем. И величественная во всей своей простоте аллегория разворачивалась перед ним в эти минуты.

«Город, окутанный туманом и освещенный мягким ночным светом, воплощал собою всю Землю с ее печалью, ее могилами, расположенными где-то вдаль, но не исчезающими ни на минуту из поля моего зрения. Океан с его вечным дыханием, заглушенный глубокой тишиной, олицетворял собой мой дух с господствующим в нем настроением. И мне казалось, что я впервые удалился от суеты земной и возвысился над сутолокой жизни, что суматоха, лихорадка и борьба приостановились, что мучительным спазмам сердца дан временный покой, что наступил празд-

ничный отдых, освобождение от всякой человеческой работы. Надежда, расцветающая на путях жизни, не противоречила более миру могил; развитие моего духа казалось мне столь же непрерывным, как движение небесных светил; и в то же время всякая тревога исчезла и наступил бесконечный покой; и этот покой, казалось, не был следствием полной неподвижности, а являлся как бы равнодействующей двух одинаково могучих сил... Бесконечная деятельность — бесконечный покой!

О благодатный, тонкий и всесильный опий!.. ты обладаешь ключами рая!..»

Здесь-то именно вырываются у автора то пламенное славословие, то потоки благодарности, которые я привел в начале моего очерка и которые могли бы служить ему эпитафией. Это как бы последняя вспышка праздничных огней. Ибо скоро свет погаснет; все померкнет, и среди ночной тишины соберутся тучи.

IV. Терзания опиомана

В первый раз он познакомился с опиумом в 1804 году. Восемь лет протекло с тех пор, счастливых и полных облагораживающего умственного труда. Теперь мы дошли до 1812 года. Наш герой (он заслуживает, конечно, этого наименования) теперь далеко, очень далеко от Оксфорда — на расстоянии двухсот пятидесяти миль. Что же делает он тут, среди гор, в своем уединенном убежище? Что за вопрос! Он потребляет опий! А еще что? Он изучает метафизику: читает Канта, Фихте, Шеллинга. Запершись в своем маленьком коттедже, с единственной служанкой, он отдается течению спокойных, глубокомысленных часов. Он не женат? Нет еще. И все время принимает опий? Каждую субботу, по вечерам. И это постыдное обыкновение началось с того самого злополучного дождливого воскресенья в 1804 году? Увы, да. Но как отразился на здоровье этот продолжительный и регулярный разврат? Никогда еще, по его словам, он не чувствовал себя так хорошо, как весной 1812 года. Заметим, однако, что до сих пор он был лишь дилетантом и опий еще не превратился для него в предмет ежедневной необходимости. Дозы все время оставались

умеренными, и приемы их благоразумно разделялись промежутком в несколько дней. Быть может, это благоразумие и эта умеренность отдаляли появление всех ужасов возмездия. В 1813 году начинается новая полоса. Летом предыдущего года какое-то прискорбное событие, о котором автор не рассказывает нам, так сильно потрясло его духовно, что отразилось и на его физическом состоянии; с 1813 года он начал страдать ужасными болями желудка, которые поразительно напоминали его прежние муки в течение страшных ночей в пустынном доме старого ходатая по делам и сопровождалась, как и тогда, болезненными снами. Вот когда она наконец дала знать себя, ужасная расплата! Зачем распространяться об этих приступах и приводить лишние подробности? Борьба была продолжительна, боли — изнурительны и невыносимы, избавление — тут же, под рукою. Мне невольно хотелось бы сказать всем, кто когда-либо ощущал потребность в успокоительном бальзаме, кто испытал повседневные муки, нарушающие правильность жизни и сокрушающие все усилия человеческой воли, мне хотелось бы сказать им всем, больным душевно или телесно: кто из вас без греха — в помыслах или деяниях, — пусть бросит камень в нашего больного! Итак, это совершилось; но он просит вас верить ему, что когда он начал принимать опий ежедневно, в этом была крайняя необходимость, неизбежная, фатальная необходимость; жить иначе не было больше сил. Да и много ли таких стойких людей, которые умеют с непоколебимым терпением, с неослабною, вновь и вновь обновляющейся силою духа, противостоят попытке — непрерывной, неутомимой попытке — в надежде на сомнительную и отдаленную награду? Тому, кто казался столь мужественным и терпеливым, победа далась сравнительно легче, а другой, продержавшийся недолго, истратил незаметно для других, за это недолгое время, огромное количество сил. Разве человеческие темпераменты не столь же разнообразны, как химические дозы? «При моем теперешнем нервном состоянии *бесчеловечный моралист* так же невыносим мне, как *непроткипяченный опий*». Превосходное изречение, неопровержимое изречение! Дело идет уже не о смягчающих, а о вполне извиняющих обстоятельствах.

Наконец этот кризис 1813 года нашел исход, и легко угадать, какой именно исход. Отныне спрашивать нашего отшельника, принимал ли он опий в такой-то день, это все равно что спрашивать, *дышали ли его легкие в этот день или исполняло ли свои функции его сердце*. Конец воздержанию от опия, конец рамадану, конец посту! Опий становится частью его жизни! Незадолго до 1816 года, самого прекрасного, самого ясного в его жизни, как он сам говорит, он внезапно и почти без усилий уменьшил порцию своей странной пищи с трехсот двадцати зерен, или восьми тысяч капель лаудана в день, до сорока зерен, то есть на семь восьмых. Облако глубокой меланхолии, заволакивавшей его мозг, в один прекрасный день, как по мановению волшебного жезла, рассеялось, ясность мысли восстановилась, и он мог снова верить в возможность счастья. Он стал принимать не более тысячи капель лаудана в день (подумайте, какая умеренность!). Это было для него как бы духовной весной. Он перечел Канта и понял его, или, по крайней мере, так думал. Снова заиграла в нем эта легкость, эта радость духа (жалкие слова, не передающие непередаваемого), одинаково благоприятные как для работы, так и для проявления братских чувств к людям. Этот дух благожелательства и расположения к ближним, и более того — сострадательности, немножко напоминающей сострадательность пьяных (это подвернувшееся нам выражение отнюдь не имеет целью уменьшить уважение к столь серьезному автору), — проявился однажды самым своеобразным и неожиданным образом по отношению к одному малайцу. Заметьте себе этого малайца: мы еще встретим его; он вновь появится перед нами, выросший до ужасающих размеров. Ибо кто может рассчитать силу отражения и отголоска какого-нибудь события в душе человека, предавшегося грезам? Кто может представить себе без содрогания бесконечно расширяющиеся круги в духовных волнах, возмущенных случайно брошенным туда камнем? Итак, в один прекрасный день в дверь этого тихого убежища постучался малаец. Как попал этот малаец в горы Англии? Быть может, он направлялся в порт, находящийся за сорок миль оттуда. Служанка, уроженка гор, знавшая английский язык не лучше малайского и никогда в жизни

не выдавшая тюрбана, страшно перепугалась. Но сообразив, что ее хозяин ученый, и предполагая, что он говорит на всех языках земли, а может быть, и луны, бросилась к нему, умоляя его изгнать злого духа, забравшегося в кухню. Любопытный и забавный контраст двух лиц, всматривающихся друг в друга: одно с отпечатком саксонской горделивости, другое — азиатской приниженности; одно розовое и свежее, другое — желтое и желчное, освещенное маленькими, подвижными и беспокойными глазками. Ученый, чтобы спасти свою честь в глазах служанки и соседей, заговорил по-гречески; малаец отвечал, конечно, по-малайски; они не поняли друг друга — и все обошлось благополучно. Гость целый час отдыхал на полу в кухне, потом собрался в путь. Бедный азиат, если предположить, что он шел пешком из Лондона, должно быть, уже недели три не обменялся живым словом ни с одним человеческим существом. Чтобы утешить своего гостя в тягости его предполагаемого одиночества, наш автор, предполагая, что человек из тех стран должен быть знаком с опиумом, преподнес ему на прощание препорядочный кусок драгоценного вещества. Можно ли представить себе более благородный способ оказать гостеприимство? Малаец выражением лица дал понять, что он знаком с опиумом, и разом проглотил весь кусок, достаточный для того, чтобы убить нескольких человек. Было от чего взволноваться сострадательной душе! Но во всей округе ничего не было слышно о трупе малайца, найденном на большой дороге; очевидно, что странный путешественник был достаточно освоен с ядом и желательный для сострадательного хозяина результат был достигнут.

В то время, как я уже сказал, наш опиоман был еще счастлив, наслаждался истинным счастьем ученого и влюбленного в комфорт отшельника: хорошенький коттедж, прекрасная, терпеливо и изысканно подобранная библиотека и свирепствующая в горах зима. Не придает ли красивое жилище поэтическую прелесть зиме и не увеличивает ли зима поэзию жилища? Беленький коттедж уютился в глубине долины, замыкаемой довольно высокими горами; он был как бы окутан растениями, которые весной, летом и осенью обвивали цветочными коврами стены и

составляли благоухающую раму для окон; тут было все — от боярышника до жасмина. Но лучшим временем года, временем счастья для человека, ушедшего в грезы и размышления, как он, — бывает зима, самая суровая зима. Есть люди, которые считают за особую небесную благодать теплую зиму и которые радуются, когда она проходит. Но он ежегодно молит небо послать как можно больше снегу, льду и морозу. Ему нужна такая зима, как в Канаде, как в России. И недаром. Тогда гнездо его будет теплее, уютнее, приветливее: свечи, горящие с четырех часов, добрый очаг, хорошие ковры, тяжелые ниспадающие до полу занавесы, красивая грелка для чая — и чай с восьми вечера до четырех утра. Не будь зимы, не было бы и всех этих прелестей; *всякий комфорт* особенно ценен в суровой температуре. К тому же все это так дорого; наш мечтатель имеет право требовать от зимы, чтобы она честно платила свой долг, как он платит свой. Зала не велика и имеет двоякое назначение. Было бы, собственно, правильнее называть ее библиотекой: здесь собрано до пяти тысяч томов, приобретаемых поодиночке, — истинная победа терпения! Яркий огонь пылает в камине; на подносе — две чашки с блюдами; ибо любвеобильная Электра, появление которой мы предчувствовали на основании его намеков, уже озаряет коттедж своими чарующими ангельскими улыбками. К чему описывать ее красоту? Читатель может подумать, что ее сияние имеет чисто физический источник и поддается изображению художника с земною кистью. А затем, не забудем склянку с лауданом — целый большой графин! — ибо мы находимся вдалеке от аптекарей Лондона и не можем часто возобновлять наш запас; книга немецкого метафизика всегда лежит на столе, свидетельствуя о неусыпных духовных стремлениях своего обладателя. Горный пейзаж, тихое убежище, роскошь, или, вернее, обеспеченное существование, полная свобода предаваться размышлению, суровая зима, благоприятствующая сосредоточению всех духовных сил, — да, это было счастье, или, вернее, последние отблески счастья, перемирие в борьбе с судьбою, праздник посреди страданий; ибо мы уже приближаемся к той мрачной эпохе, когда «нужно сказать прости этому тихому блаженству; прости — зиме и лету; прости —

улыбкам и смеху; прости — миру душевному, надежде и сладким мечтам; прости благословенным утехам сна». В течение трех с лишком лет наш мечтатель будет подобен изгнаннику, принужденному скитаться за пределами всеобщего блага, ибо он подошел теперь к истинной *Илиаде бедствий*, к *пыткам*, которыми расплачиваются за употребление опиума. Ужасная эпоха, густой покров мрака, прерываемый только время от времени яркими и тяжкими видениями.

Как будто великий художник обмакнул свою кисть
В черный хаос землетрясения и затмения.

Эти стихи Шелли, с их торжественным, истинно милтоновским настроением, верно передают окраску создаваемого опиумом пейзажа, если можно так выразиться: это — мертвенное небо и глухо замкнутый горизонт, давящие мозг поработанному опиумом. Бесконечность ужаса и меланхолии и — самое меланхолическое из всего — невозможность вырваться из круга этой пытки.

Прежде чем идти дальше, наш кающийся грешник (мы можем время от времени называть его таким образом, хотя он явным образом принадлежит к тому разряду кающихся, которые всегда готовы снова впасть в прежний грех) предупреждает нас, что мы не должны искать порядка и строгой последовательности в этой части его книги — по крайней мере хронологической последовательности. В то время, когда он писал ее, он жил в Лондоне один и был неспособен создать связный рассказ из груды тягостных и отвратительных воспоминаний — вдали от той, которая умела любящими руками приводить в порядок все его бумаги и была для него незаменимым секретарем. Он пишет теперь уже без всяких оговорок, почти отбросив всякую стыдливость, имея в виду снисходительного читателя, который будет читать его лет пятнадцать—двадцать спустя, и, желая прежде всего восстановить картину злополучного периода, делает для этого крайнее напряжение, к какому он только способен теперь, потому что не знает, найдет ли для этого позже подходящий повод и достаточно сил.

Но почему же, скажут ему, вы не отделались от этих ужасов, либо совсем бросив потребление опиия, либо уменьшив его дозы? В течение долгого времени он делал мучительные попытки уменьшить количество опиия; но те, которые были свидетелями этой невыносимой борьбы, этой непрерывной агонии, сами умоляли его отказаться от этой мысли. Почему он не уменьшал дозу по одной капле в день или не ослаблял ее действия, разбавляя водою? Он рассчитал, что при таком способе ему понадобилось бы несколько лет, чтобы добиться лишь весьма сомнительной победы. К тому же все любители опиия знают, что, не доходя до известного предела, можно всегда уменьшить дозу без всякого затруднения и даже с некоторым удовольствием, но, раз предел перейден, всякое уменьшение дозы вызывает жестокие страдания. Но почему не пойти на то, чтобы перенести упадок сил в течение каких-нибудь нескольких дней? Но дело идет вовсе не об упадке сил; страдания состоят вовсе не в этом. Напротив, уменьшение дозы увеличивает жизненность; пульс становится сильнее, здоровье улучшается; но в желудке начинается ужасающее раздражение, сопровождаемое обильными потами и ощущением общего недомогания — от нарушения равновесия между физической энергией и состоянием духа. В самом деле, нетрудно понять, что тело, эта земная часть человеческого существа, победоносно усмиренная опиим и приведенная в состояние полной покорности, теперь стремится снова восстановить свои права, тогда как царство духа, до сих пор господствовавшего, оказывается теперь в соответственном упадке. Нарушенное равновесие хочет восстановиться и не может восстановиться без кризиса. Даже не принимая во внимание раздражение желудка и ужасные поты, легко представить себе муки нервного человека, жизненные силы которого находятся в нормальном возбуждении, а дух бездеятелен и полон тревоги. В этом страшном состоянии больной обыкновенно предпочитает самую свою болезнь мукам выздоровления и, опустив голову, отдается на произвол судьбы.

Наш опиоман давно уже прекратил свои занятия. Иногда, по просьбе жены или другой дамы, приходившей к ним пить чай, он соглашался почитать вслух стихотворения

Вордсворта. Временами он еще зачитывался великими поэтами, но философия — предмет его истинного призвания — была совершенно заброшена. Философия и математика требуют постоянных, непрерывных занятий, а его разум отказывался теперь от такой ежедневной работы в скрытом, безутешном сознании своей слабости. Большой труд, которому он дал обет посвятить все свои силы и заглавие которого было заимствовано у одного из «Посмертных сочинений» Спинозы — *De emendatione humani intellectus**, — остался в неразработанном, незаконченном виде, подобно какому-нибудь навевающему меланхолию грандиозному сооружению, предпринятому расточительным правительством или безрассудным архитектором. То, что предназначено было засвидетельствовать перед потомством о его силе и его преданности высшим интересам человечества, осталось как доказательство его слабости и самонадеянности. По счастью, ему еще оставалась, как развлечение, политическая экономия. Хотя она должна быть рассматриваема как наука, то есть как нечто органически цельное, однако некоторые из ее составных частей могут быть выделены и рассматриваемы отдельно. Его жена прочитывала ему время от времени парламентские дебаты или новости книжного рынка по политической экономии; но для писателя глубокого и начитанного все это представляло лишь самую жалкую умственную пищу; для того, кто прошел школу настоящей логики, все это не более как ничтожные объедки со стола человеческого разума. Однажды, в 1819 году, его друг прислал ему из Эдинбурга книгу Рикардо, и, еще не кончив первую главу, он вспомнил, что сам предсказывал появление нового законодателя в области этой науки; и он восклицает: «Вот человек!» Способность изумляться и любознательность снова воскресают в нем. Но самым большим и самым восхитительным сюрпризом было для него то, что он еще может интересоваться каким бы то ни было чтением. Его преклонение перед Рикардо еще возросло благодаря этому. Неужели столь глубокий труд действительно мог появиться в Англии, в XIX веке? Ибо ему казалось, что всякая мысль умерла

* Об усовершенствовании человеческого интеллекта (*лат.*).

в Англии. Рикардо одним взмахом открыл закон, заложил фундамент; он бросил луч света в мрачный хаос материалов, среди которых ошупью бродили его предшественники. И вот наш мечтатель, загоревшийся новым жаром, помолодевший, примиренный с мышлением и трудом, принимается писать, или, вернее, диктует своей подруге. Ему казалось, что критический взор Рикардо не постиг все-таки нескольких важных истин, исследование которых, упрощенное применением алгебраического метода, могло бы составить содержание небольшого интересного томика. Это усилие больного создало его «Пролегомены ко всем будущим системам политической экономии»*. Он вошел в сношения с одним провинциальным типографом, жившим в восемнадцати милях от него: с целью ускорить работу был даже приглашен помощник; но увы! оставалось написать предисловие (шутка сказать — предисловие!) и восторженное посвящение Рикардо — труд, уже непосильный для мозга, расслабленного упоениями постоянной оргии! Какое унижение для нервного человека, находящегося во власти своей внутренней жизни! Бессилие дало себя чувствовать во всем его ужасе, во всей его непреоборимости, подобно выросшим на пути полярным льдам. Все условия были порваны, помощник отпущен, и «Пролегомены», со стыдом, надолго легли в ящик, рядом со своим старшим братом — знаменитым сочинением, навеянным Спинозой.

Ужасное состояние! Обладать умом, кипящим идеями, — и не иметь силы перебросить мост от фантастических долин мечтания к реальному полю действия! Если тот, кто читает в эту минуту мою книгу, испытал когда-нибудь, что такое потребность в созидании, мне незачем описывать ему отчаяние благородного ума, прозорливого, искусного — и изнемогающего в борьбе с этим своеобразным заклятием. Ужасное заклятие! Все, что я говорил о расслаблении воли в моем этюде о гашише, приложимо и к опию. Отвечать на письма? — гигантская работа, откладываемая

* Что бы ни говорил далее де Квинси о своем умственном бессилии, но эта книга, или однородная, составляющая переработку ее и имеющая отношение к Рикардо, впоследствии все-таки вышла в свет. См. список всех его трудов.

с часа на час, со дня на день, с месяца на месяц. Вести денежные дела? — какая утомительная суета! Домашняя экономия находится теперь в еще большем пренебрежении, чем политическая экономия. Если бы мозг, расслабленный опиумом, был расслаблен до конца, если бы он находился, так сказать, в состоянии животного отупения, то зло, очевидно, было бы еще не так велико, или, вернее, более выносимо. Но опиуман не лишается ни одного из своих духовных стремлений; он видит перед собой свой долг, он любит его; он хочет сделать все возможное; но способность выполнения не стоит уже в нем на высоте его разума. Выполнить! — что я говорю, напрасно было бы и пытаться! Тяжкий кошмар подавил в нем всякую волю. Наш страдалец становится своего рода Танталом, горячо преданным своему долгу и бессильным его исполнить; дух, *чистый дух* — увы, осужденный желать того, что ему непосильно: храбрый воин, оскорбленный в том, что есть для него самого дорогого, и прикованный роком к постели, на которой он должен лежать, сгорая от бессильной ярости!

Итак, наступило возмездие, медленное, но ужасное. Увы! Ему предстояло проявиться не только в этом духовном бессилии, но и в ужасах другого порядка — более положительных и более жестоких. Любопытно отметить первый симптом их, отозвавшийся и на физическом здоровье опиумана. Это начало нового периода, зерно, из которого вырастет целый ряд новых страданий. Обыкновенно у детей наблюдается способность видеть, или, вернее, создавать на животворном холсте сумрака целый мир причудливых видений. У одних они появляются помимо их воли. Другие обладают способностью произвольно вызывать и прогонять их. Таким-то образом наш рассказчик заметил, что он превращается в ребенка. Уже около середины 1817 года эта опасная способность начала жестоко мучить его. В то время как он лежал, не засыпая, в постели, вереницы мрачных и великолепных образов начинали проходить перед его глазами — вырастали бесчисленные постройки, торжественные античные сооружения.

Но скоро эти видения стали переходить в сны, и все, что рисовалось перед его глазами во мраке наяву, приобретало в сновидениях мучительную, невыносимую яркость.

Мидас превращал в золото все, к чему ни прикасался, — и это злокозненное преимущество причиняло ему жестокие мучения. Точно так же и наш опиоман превращал для себя в роковую действительность все предметы своих мечтаний. Эта фантазмагория, столь прекрасная и поэтическая, сопровождалась глубокой тоской и самой черной меланхолией. Каждую ночь ему казалось, что он опускается в какие-то темные, бездонные пропасти — за пределы всякой доступной познанию глубины, без малейшей надежды выбраться оттуда. И даже после пробуждения он все еще ощущал тоску и какое-то почти предсмертное отчаяние. Начались также явления, аналогичные тем, которые наблюдаются при опьянении гашишем: ощущения пространства и длительности приобрели необыкновенную остроту и преувеличенную силу. Памятники и пейзажи принимали такие огромные размеры, что становились болезненно невыносимы человеческому глазу. Пространство, так сказать, раздувалось до бесконечности. Но преувеличенное ощущение времени причиняло еще большее страдание: чувства и мысли, заполнявшие одну ночь, казалось, могли бы наполнить своей длительностью целое столетие.

Помимо того, самые обычные события его детства, разные давно позабытые сцены воспроизводились теперь в его мозгу, полные новой жизни. Наяву он, может быть, и не вспомнил бы их; но во сне он сейчас же *узнавал* их. Подобно тому, как утопающий в последнюю минуту агонии видит всю свою жизнь как бы отраженной в каком-то зеркале; подобно тому, как приговоренный к смерти в одно мгновение прочитывает ужасный отчет своих земных помышлений; подобно тому, как звезды, скрытые дневным светом, появляются вновь с наступлением ночи, — все записи, отпечатанные в его бессознательной памяти, выступают теперь отчетливо, как начертанные симпатическими чернилами слова.

Автор поясняет характеристику своих сновидений несколькими странными и поразительными примерами. В одном из них, в силу той странной *логики*, которая управляет сновидениями, два очень отдаленных друг от друга исторических явления самым странным образом переплетаются в его мозгу. Так иногда в детском уме крестьянина

разыгрываемая на сцене трагедия представляется заключением комедии, с которой начался спектакль.

«В моей ранней юности, и даже позже, я постоянно зачитывался Титом Ливием; это всегда было для меня любимейшим отдыхом; признаюсь, что — как по содержанию, так и по стилю — я предпочитаю его всем другим римским историкам; и вся грозная, торжественная звучность, вся могущественная представительность и величавость римского народа вылились для меня в этих двух словах, столь часто повторяющихся в рассказах Тита Ливия: *Consul Romanus*, — особенно когда консул появляется в своем воинственном антураже. Я хочу этим сказать, что слова «султан», «регент» и все другие титулы, принадлежащие людям, которые олицетворяют собою могущество великого народа, не имели для меня такой же внушительной силы. Хотя я и не принадлежу к особенным любителям исторических сочинений, я ознакомился, однако, самым тщательным и вдумчивым образом с одним периодом в истории Англии, а именно с периодом парламентской войны, который привлекал меня как нравственным величием действующих лиц, так и многочисленностью мемуаров, оставшихся от этого смутного времени. Эти две области истории, изучаемые мною в часы досуга и часто доставлявшие мне материал для размышления, составляли теперь содержание моих снов. Часто, в то время как я лежал в постели не засыпая, передо мною начиналось на фоне мрака нечто вроде театральной репетиции — какая-то толпа дам, быть может празднество, бал. И я слышал, как кто-то говорил, или я сам говорил себе: «Это жены и дочери тех, которые мирно собирались вместе, сидели за одним столом и были связаны между собою узами брака или крови, а некоторое время спустя, в один прекрасный день августа 1642 года, вдруг перестали улыбаться и с тех пор встречались только на полях битвы и при Марстон-Муре, Ньюбери и Незби перерубили все узы любви и смыли кровью самые воспоминания былой дружбы». Дамы танцевали и были так же обворожительны, как при дворе Георга IV. Между тем я сознавал, даже во сне, что они уже около двухсот лет покоятся в могиле. Но блистательное зрелище вдруг рассеивалось; кто-то хлопал в ладоши, и голос, заставлявший со-

дрогаться мое сердце, возглашал: *Consul Romanus!* И, все разметая перед собой, внезапно появлялся — величавый в своем походном плаще — Павл Эмилий или Марий, окруженный толпой центурионов и сопровождаемый оглушительным «ура» римских легионов».

Удивительные и чудовищные сооружения вырисовывались в его мозгу, подобно тем движущимся зданиям, которые глаз поэта усматривает в облаках, окрашенных заходящим солнцем. Но скоро все эти призрачные террасы, башни, валы, уходящие вершинами в беспредельную высь и опускающиеся в бездонные глубины, сменялись озерами и широкими водными гладями. Теперь картины воды преследуют его. Мы уже отмечали в нашей работе о гашише это удивительное предрасположение мозга к водной стихии, с ее таинственными очарованиями. Не приходится ли усмотреть какое-то своеобразное сходство между этими двумя возбуждающими средствами, по крайней мере в их действии на воображение? Или, быть может (если угодно предпочесть такое объяснение), человеческий мозг под влиянием возбудителя сам по себе имеет особую склонность к определенным образам? Водные картины скоро изменили свой характер, и вместо прозрачных, гладких, как зеркало, озер, появились моря и океаны. А потом — новая метаморфоза превратила эти великолепные воды, волнующие только своим обилием, своей беспредельностью, в источник ужасающих мучений. Наш автор так любил толпу, с таким восторгом погружался в ее волны, что человеческий облик не мог еще играть подавляющей роли в его видениях. И вот началось то, что он, как мне кажется, и раньше называл *тиранией человеческого лица*. «Тогда на волнующихся водах океана начало появляться человеческое лицо; все море сплошь было усеяно человеческими головами, обращенными к небу; яростные, умоляющие, полные отчаяния лица эти начинали плясать на поверхности — тысячами, мириадами, поколениями, веками; волнение мое возрастало до безграничности, и дух мой вздымался и падал, подобно морским валам...»

Читатель должен был заметить, что давно уже не человек вызывает образы, а они сами навязываются ему — властно, деспотически. Он уже не может избавиться от них,

ибо воля его лишена силы и не управляет его душевными способностями. Поэтическая память, бывшая когда-то источником бесконечных наслаждений, превратилась в неистощимый арсенал орудий пытки.

В 1818 году малаец, о котором мы говорили, жестоко мучил его; он сделался постоянным, невыносимым посетителем. Как пространство, как время, малаец приобретал огромные размеры. Малаец разросся в целую Азию, в древнюю Азию, торжественную, чудовищную, мудреную, как ее храмы и ее религии, страну, где все, начиная с самых обыкновенных внешних явлений жизни до грандиозных преданий древности, создано для того, чтобы поражать и приводить в смущение дух европейца. И не только чудовищный и фантастический, старый и причудливый, как волшебная сказка, Китай угнетал его мозг. Этот образ естественно вызывал смежный с ним образ Индии, столь таинственной и тревожно не постижимой для ума западного человека; а затем вырастали угрожающие триады из Китая, Индии и Египта, сложный кошмар с разнообразными ужасами. Словом, малаец вызывал за собою весь огромный и сказочный Восток. Следующие страницы так прекрасны, что я не решаюсь сократить их:

«Каждую ночь этот человек переносил меня в жизнь Азии. Я не знаю, разделяют ли другие то чувство, которое я испытываю в этом отношении, но мне часто думалось, что если бы я был принужден покинуть Англию и жить в Китае, среди иных условий, обычаев и обстановки китайской жизни, я сошел бы с ума. Причины моего ужаса глубоки, и некоторые из них должны быть доступны и другим людям. Средняя Азия является вообще источником страшных образов и жутких ассоциаций идей; и в то же время, будучи колыбелью человеческого рода, она неизбежно должна внушать какое-то смутное чувство ужаса и благоговения. Но существуют и другие причины. Никто не станет утверждать, будто странные, варварские и причудливые суеверия Африки или диких племен какой-нибудь другой страны света способны так же волновать воображение, как древние, монументальные, жестокие и сложные религии Индостана. Древность азиатской культуры — ее учреждений, летописей, обычаев ее религии — представ-

ляет для меня нечто столь поразительное, а старость самой расы и имен — нечто столь подавляющее, что кажется, будто там невозможна молодость даже для отдельных, индивидуальных существ. Молодой китаец кажется мне чем-то вроде вторично родившегося допотопного человека. Даже англичане, воспитанные вне каких-либо представлений о подобных учреждениях, не могут не содрогаться перед таинственной божественностью этих каст, из которых каждая с незапамятных времен жила своей особой жизнью, в собственном русле, не смешивая своих вод с водами других каст. Нет человека, в котором не вызывали бы благоговения имена Ганга и Евфрата. Этим чувствам в значительной степени способствует и то, что Средняя Азия есть и была в течение целых тысячелетий тою страной, где всего сильнее кипела человеческая жизнь, — великою *officina gentium**. Человек растет в этих странах, как трава. Огромные государства, в форму которых выливалась жизнь неслетного населения Азии, придают еще больше величавости тем чувствам, которые вызываются в нас образами и именами Востока. Особенно Китай, независимо от всего того, что есть в нем общего с остальною Азией, ужасает меня складом всей своей жизни и обычаев, своей безусловной отчужденностью, целою стеною чувств, совершенно отделяющих его от нас и слишком глубоких, чтобы их можно было подвергнуть анализу. Я предпочел бы жить среди лунатиков или животных. Читатель должен вникнуть во все эти идеи и еще во многое другое, чего я не умею или не имею времени высказать, чтобы понять весь ужас, который вызывали во мне эти сны, полные восточной фантастики и мифических пыток.

Среди палящей жары, под вертикальными лучами солнца, я собирал всевозможных тварей — птиц, зверей, пресмыкающихся, — деревья и растения, обычаи и зрелища, свойственные всему тропическому поясу, и перемещал их в Китай или Индостан. Таким же образом я проникал в Египет, овладевал его богами и переносил их в другие места. Обезьяны, попугаи и какаду пристально всматривались в меня, гикали, строили мне рожи, издевались надо мной.

* Колыбель народов (лат.).

Я спасался в пагоды и оставался там в течение целых столетий, пригвожденный к вершине или запертый в потайных комнатах. Я был идолом; я был жрецом, я был предметом поклонения и предметом жертвоприношения. Я бежал от гнева Брахмы через все леса Азии; Вишну ненавидел меня, Шива строил мне козни. Я попадал внезапно к Изиде и Озирису; мне говорили, что я что-то сделал, совершил какое-то преступление, от которого содрогались ибис и крокодил. Я лежал целые тысячелетия замурованный в каменных гробницах, с мумиями и сфинксами, в тесных кельях, в самом сердце вечных пирамид. Крокодилы целовали меня своими ядовитыми поцелуями, и я лежал, смешиваясь с чем-то расплывчатым и липким, погружаясь в ил посреди нильских тростников.

Я даю таким образом читателю беглый очерк моих восточных снов, образы которых повергали меня в такое изумление, что самый ужас на время как бы отходил на второе место. Но раньше или позже начиналось обратное течение чувств, причем удивление в свою очередь уступало место не столько страху, сколько своего рода ненависти и отвращению ко всему, что я видел. Над каждым существом, над каждой формой, над каждой угрозой, наказанием, заключением во мрак одиночества витало чувство вечности и бесконечности, давившее меня невыносимой тоской и ужасом безумия. В эти же сны, за двумя-тремя незначительными исключениями, входили и вещи, вызывавшие чисто физический страх. До сих пор мои ужасы имели нравственный и духовный характер. Но здесь главную роль играли страшные птицы, змеи или крокодилы, особенно — крокодилы. Проклятый крокодил сделался для меня страшнее всего. Я обречен был жить с ним — увы! — целые века (это всегда было так в моих сновидениях). Иногда мне удавалось убежать от него, и я попадал в китайские жилища со столиками из тростника. Ножки этих столиков и диванов казались живыми; отвратительная голова крокодила с своими маленькими косыми глазками выглядывала на меня отовсюду, со всех сторон, множась и повторяясь, и я стоял, замирая от ужаса, словно прикованный к месту. И это отвратительное животное так часто преследовало меня в

моих снах, что много раз один и тот же сон и прерывался одинаково: я слышал нежные голоса, обращавшиеся ко мне (я слышу все, даже когда сплю), и тотчас же просыпался. Совсем светло, уже полдень, и дети мои, взявшись за руки, стоят у моей постели; они пришли показать мне свои цветные башмаки, новые платья, похвастаться своими костюмами перед тем, как идти на прогулку. Признаюсь, что этот переход от проклятого крокодила и других чудовищ и безмянных оборотней моих снов к этим невинным созданиям, к этой простой детской *человечности* был так ужасен, что, целуя их личики, от мощного и внезапного потрясения духа я не мог сдержать слезы».

Читатель, вероятно, ожидает встретить в этой галерее былых впечатлений, воспроизведенных сном, скорбную фигуру несчастной Анны. Действительно, наступает и ее очередь.

Автор замечает, что смерть тех, кто нам дорог, и вообще зрелище смерти гораздо сильнее отзывается в нашей душе летом, чем в какое-либо другое время года. Небо кажется тогда более высоким, более глубоким и бесконечным. Облака, по которым глаз определяет высоту небесного купола, бывают пышные, собираются широкими плотными массаами, свет и зрелище солнечного заката более соответствуют характеру бесконечности. Но главное — это расточительная роскошь летней природы, составляющая такой разительный контраст с мертвящим холодом могилы. А ведь две противоположные идеи всегда взаимно вызывают друг друга. И потому-то автор признается нам, что в долгие летние дни он не может не думать о смерти, и мысль о смерти знакомого или дорогого существа особенно настойчиво преследует его среди расцвета природы. Ему приснилось однажды, что он стоит перед дверью своего коттеджа; это было (во сне) воскресным утром, в мае, на Пасхе, — что оказывается вполне допустимым по календарю сновидений. Перед ним был знакомый пейзаж, но более грандиозный и торжественный, возвеличенный чарами сна. Горы подымались выше Альп, луга и леса у их подножия распростерлись в бесконечную ширь; изгородь цвела белыми розами. Было еще очень рано, нигде не видно было ни души, кроме животных, бродивших на клад-

бище между зеленеющих могил, особенно возле могилы ребенка, которого он нежно любил. (Этот ребенок действительно был схоронен в то самое лето, и однажды утром, перед восходом солнца, автор действительно видел животных, отдыхающих на его могиле.) Тогда он сказал себе: «Еще далеко до восхода солнца; сегодня Пасха — день, когда празднуется первая весть о воскресении из мертвых. Пойду погуляю пока, забуду на сегодня все старые страдания; воздух свеж и спокоен, горы так высоки и уходят своими вершинами в небо; на лужайках в лесу так же тихо, как на кладбище; роса освежит мой лихорадочно горячий лоб, и я успокоюсь от моих несчастий». И он уже собирался открыть калитку сада, как вдруг пейзаж с левой стороны преобразился. Это было то же пасхальное воскресенье, то же раннее утро, но все окружающее приняло восточный характер. Куполы и башни какого-то большого города смутно вырисовывались на горизонте (быть может, это было воспоминание о какой-нибудь картинке из Библии, виденной в детстве). Неподалеку от него, на камне, в тени пальм Иудеи, сидела женщина. Это была Анна.

«Глаза ее пристально смотрели на меня, и я проговорил: «Наконец-то я нашел вас!» Я ждал ответа, но она молчала. Ее лицо было таким же, каким я видел его в последний раз, и все-таки — какая разница! Семнадцать лет тому назад, когда на ее лицо падал свет уличного фонаря, когда я в последний раз поцеловал ее губы (твои губы, Анна! для меня они были чисты), из глаз ее лились слезы; теперь эти слезы высохли; она стала красивее, чем тогда, хотя вообще осталась совершенно такой же и нисколько не постарела. Взгляд ее был спокоен, но в выражении его была какая-то особенная торжественность, и мне было грустно смотреть на нее. Вдруг ее лицо потемнело; повернувшись к горам, я заметил, что между нами ползут туманы; в одно мгновение все померкло, нас окутал глубокий мрак; я был уже теперь далеко — далеко от гор; мы гуляли с Анной при свете уличных фонарей по Оксфорд-стрит — совершенно так же, как семнадцать лет тому назад, когда мы были еще детьми».

Автор приводит еще один образец своих болезненных видений, и этот последний сон (относящийся к 1820 году)

еще более ужасен — своей неясностью, неуловимостью; насквозь проникнутый томительной грустью, он развивается в какой-то зыбкой среде, бесформенной и беспредельной. Я не имею ни малейшей надежды, что мне удастся в какой-либо степени передать чарующую прелесть английского текста.

«Сон начался музыкой, которую я часто слышу в моих снах, — как бы вступительной музыкой, настраивающей и настораживающей душу. Эта музыка, напоминающая ту, с которой начинается обряд коронации, производила впечатление могучего марша, вызывала образы проходящей стройными рядами кавалерии и целых армий пехоты. Наступило утро торжественного дня — дня последнего перелома и последней надежды для человеческой природы, переживающей момент какого-то таинственного помрачения, терзаемой тоской ужасных сомнений. Где-то — не знаю где, — каким-то образом — не знаю каким, — между какими-то существами — не знаю какими, — происходила битва, шла мучительная, отчаянная борьба, развивающаяся наподобие драмы или музыкального произведения; и мое сочувствие этой драме превращалось для меня в пытку вследствие неизвестности для меня места, причины, характера и возможного исхода всего происходящего. Как это обыкновенно бывает в наших снах, где мы являемся центром всякого действия, я мог и в то же время не мог повлиять на этот исход, имел бы на это силу, если бы только у меня хватило силы пожелать этого, и в то же время не имел этой силы, потому что был придавлен тяжестью двадцати Атлантид или гнетом несмываемого преступления. *В каких-то недостижимых, неизмеримых глубинах лежал я, распростертый, недвижимый.* Но вот, словно голоса хора, страсть зазвучала глубже. Какой-то в высшей степени важный вопрос был затронут, что-то самое существенное из всего, за что когда-либо скрещивались шпаги, к чему когда-либо призывали звуки труб. Потом началось внезапное смятение, послышался быстрый топот ног, объятые ужасом беглецы неслись мимо. Я не знал, были ли это защитники добра или зла, мрака или света, были ли это вихри или люди; и наконец, вместе с ощущением, что все погибло, понеслись женские фигуры, лица которых мне

нужно было узнать — хотя бы ценою всего в мире, — но которые промелькнули только на одно мгновение; потом — судорожно сжатые руки, раздирающие сердце вопли расставания, и потом крик: «Прости навек!» И потом — со вздохом, каким должна была вздыхать сама преисподняя, когда кровосмесительница-мать произнесла ужасное имя Смерти, крик повторился: «Прости навек!» И потом еще и еще, как многократно отзывающееся эхо: «Прости навек!»

И я проснулся в судорогах и громко вскрикнул: «Нет, я не хочу больше спать!»

V. Искусственная развязка

Де Квинси как-то странно обрывает свою книгу — так по крайней мере казалось мне, когда вышло ее первое издание. Я припоминаю, что когда я в первый раз читал ее (это было много лет тому назад, и я не знал тогда о существовании второй части *Suspiria de profundis*), я не раз задавал себе вопрос: какой развязки можно ожидать? Смерти? Сумасшествия? Но автор, сообщая нам свои переживания, говорит от своего имени и, очевидно, здравствует; и если даже состояние его не вполне удовлетворительно — все же оно позволяет ему отдаваться литературному труду. Наиболее вероятным казалось мне состояние *status quo* *. автор мог привыкнуть к своим страданиям, примириться с роковыми последствиями своего странного гигиенического метода. Я говорил себе: Робинзону в конце концов удалось выбраться с необитаемого острова; к самому отдаленному, неведомому берегу может приплыть корабль и увезти изгнанника; но как спастись из царства всемогущего опия?.. Итак, продолжал я свои размышления, эта своеобразная книга — чистосердечная исповедь или чистое измышление фантазии (последняя гипотеза казалась мне совершенно невероятной, так как вся она проникнута глубокой правдой и в описании мельчайших подробностей чувствуется неподдельная искренность), книга, в которой нет развязки. Очевидно, бывают книги, как и события, не

* Существующее положение (*лат.*).

имеющие развязки; к этой категории нужно отнести все, что считается неизлечимым и непоправимым. Однако я помнил, что где-то в начале своей книги опиоман заявляет, что, разбирая звено за звеном проклятую цепь, которая сковывала все его существо, он в конце концов освободился от нее. Такая развязка была для меня совершенно неожиданной; сознаюсь, когда она выяснилась, я почувствовал инстинктивное недоверие, несмотря на все это удивительно правдоподобное сплетение подробностей. Не знаю, разделяет ли читатель мои впечатления, но тот необыкновенно искусный, тонкий способ, благодаря которому несчастному удается выбраться из заколдованного лабиринта, в который он попал по своей же вине, показался мне просто выдумкой, необходимой для успокоения английского *cant**, — алтарем, на котором истина оказалась принесенной в жертву так называемой стыдливости и общественным предрассудкам. Припомните, сколько оговорок понадобилось автору, прежде чем он приступил к изложению своей *Илиады бедствий*, с какими предосторожностями он устанавливает свое право на эту *Исповедь, несомненно полезную* для общества. Одни требуют развязки, согласной с моралью, другие ждут успокоительной развязки. Женщины, например, не хотят, чтобы злые получали награду. Что сказала бы публика наших театров, если бы в конце пятого действия не разыгрывалась катастрофа, которой требует справедливость, восстанавливающая нормальное, или, вернее, утопическое равновесие между всеми участниками драмы, — катастрофа, которой публика так терпеливо ожидала в течение четырех длинных актов? Я думаю, что публика не терпит *нераскаянных* или так называемых *дерзновенных*. Быть может, де Квинси разделяет этот взгляд и счел нужным сообразоваться с ним. Если бы эти страницы были написаны мною раньше и случайно попались ему на глаза, я думаю, он снисходительно улыбнулся бы моему преждевременному, хотя и мотивированному недоверию; во всяком случае, опираясь на текст его собственной книги, столь искренней во всех других отношениях и столь проникновенной, я решился бы тут же заявить о неизбежно-

* Ханжества (англ.).

сти *третьего падения* перед лицом мрачного идола (что подразумевает неизбежность *вторичного падения*), о котором нам предстоит говорить в дальнейшем.

Как бы то ни было — вот в чем состоит эта развязка. Действие опия давно уже приводило не к наслаждениям, а к ужасным мучениям, и эти мучения (что вполне вероятно и согласуется со всеми наблюдениями, касающимися трудности отделаться от старых привычек какого бы то ни было рода) — эти мучения начались одновременно с первыми попытками освободиться от неумолимого тирана. Из двух форм агонии (одной, обусловленной установившейся привычкой, другой — нарушением этой привычки) автор предпочел, как он сообщает нам, ту, которая давала ему надежду на спасение. «Какое количество опия я принял за весь этот период — не могу установить, так как опий, которым я пользовался, был куплен для меня одним из моих друзей, не пожелавших потом взять у меня денег. Таким образом, я не могу определить, какое количество я принял в течение года; принимал я его очень неправильно, от пятидесяти-шестидесяти до полутораста зерен в день. Моей первой заботой было низвести эту дозу до сорока-тридцати, а иногда, если удавалось, до двенадцати зерен в день». Автор прибавляет, что среди различных средств, к которым он прибегал в это время, действительное облегчение доставляла ему только аммиачно-валериановая тинктура. Но к чему (говорит автор) останавливаться на подробностях лечения и выздоровления? Целью этой книги было показать могущество опия, как в наслаждениях, так и в терзаниях; таким образом, книга является вполне законченной и мораль ее относится исключительно к опиоманам. Пусть ужаснутся они, и пусть этот необычный пример покажет им, что после семнадцатилетнего употребления опия и восьмилетнего злоупотребления им — все-таки возможно отказаться от него! Пусть они — прибавляет автор — проявят такую же энергию в своих усилиях и попытаются добиться того же успеха!

«Иеремия Тэйлор говорит, что, быть может, являться на свет так же тяжело, как и умирать. Считаю это весьма вероятным; в течение продолжительного периода времени, когда я постепенно уменьшал дозы опия, я испытывал все

муки человека, который переходит от одной формы существования в другую; это была не смерть, а какое-то медленное физическое возрождение всего существа...

У меня еще остается как бы воспоминание о моем первом существовании; сны мои еще не совсем спокойны; роковое возбуждение еще не улеглось; легионы призраков, наполнявших мои сновидения, постепенно удаляются, но еще не совсем исчезли; сон мой тревожен и — подобно вратам Рая, когда наши прародители обернулись, чтобы взглянуть на них, —

Заполнен угрожающими лицами и пылающими руками,

как говорится в страшных стихах Мильтона».

Приложение (написанное в 1822 году) имеет целью подкрепить правдоподобие этой развязки, придать ей, так сказать, строго медицинское обоснование. Дойти от восьми тысяч капель до крайне умеренной дозы, колеблющейся между тремястами и ста шестьюдесятью каплями, — поистине чудесная победа. Но то усилие, которое еще предстояло совершить над собою, требовало значительно большего напряжения энергии, чем предполагал автор, и притом необходимость его становилась все более и более очевидной. Автор стал замечать какое-то странное отсутствие чувствительности желудка, какое-то затвердение, которое как бы указывало на образование злокачественной опухоли в желудке; пользовавший его врач заявил, что дальнейшее употребление опия, даже в уменьшенных дозах, действительно может привести к такому исходу. С этого момента автор дает клятву отказаться от опия, окончательно отказаться от него. Изображение его усилий, его колебаний и физических страданий, вызванных первыми победами воли, замечательно интересно. Иногда прогрессивное уменьшение доз происходило довольно правильно: два раза он доходит до нуля; потом наступают новые возвраты — возвраты, которыми он щедро вознаграждает себя за все лишения. В общем, опыты первых шести недель привели к необыкновенной раздражительности всей нервной системы, и особенно желудка. Временами желудок приходил у него в нормальное состояние, потом в нем опять начинались какие-то странные боли; притом общее возбуждение

не прекращалось ни днем, ни ночью; сон (и какой сон!) длился не более трех часов в сутки и быть так тревожен, что больной слышал самый легкий шорох; нижняя челюсть постоянно распухла, во рту образовались нарывы, и наряду с разными другими болезненными симптомами появилось сильное чихание, всегда, впрочем, сопровождавшее его попытки избавиться от власти опия (такой припадок продолжался иногда до двух часов и появлялся два или три раза в день); ко всему этому присоединилось постоянное ощущение холода и, наконец, насморк, которым он никогда не страдал во время потребления опия. При помощи разных горьких веществ автору удалось привести желудок в более или менее нормальное состояние, т. е. отделаться от ощущений, сопровождающих все процессы пищеварения. На сорок второй день все вышеописанные симптомы исчезли и уступили место другим, но автор не знает, были ли эти новые явления последствием продолжительного злоупотребления опиумом или же прекращения приемов опия в этот период. Обильные поты, сопровождавшие всякое заметное уменьшение дозы опия до самого Рождества, прекратились в теплое время года; другие физические страдания могли быть просто следствием непрерывных дождей, которые бывают обыкновенно в июле в той части Англии, где жил автор.

В своей заботливости о тех несчастных, которые так же, как и он, ищут исцеления, автор доходит до того, что дает даже синоптическую таблицу, на которой с точностью обозначены все принятые им день за днем дозы в течение первых пяти недель его мужественной борьбы. Мы видим здесь страшные возраты от нуля до двухсот, трехсот, трехсот пятидесяти. Но, быть может, уменьшение доз совершалось чересчур быстро и без достаточной постепенности. И это вызывало такие ужасные страдания, что он принужден был снова искать спасения у того же рокового источника.

Более всего укреплял меня в мысли, что развязка эта, по крайней мере до некоторой степени, является искусственной, — тот шуточный и даже насмешливый тон, который характеризует некоторые страницы *приложения*. И наконец, как бы желая показать, что он не посвящает

своему брэнному телу того исключительного внимания, какое замечается у больных, непрерывно наблюдающих за тем, что творится в их организме, автор выражает желание предоставить это тело, эту презренную «ветошь» (как бы в возмездие за то, что оно так терзало его), самому позорному обращению, какое закон налагает лишь на самых тяжких преступников. И если лондонские врачи найдут, что наука могла бы извлечь какую-нибудь пользу из анатомического исследования тела такого отъявленного опиомана, он охотно завещает им это тело. В Риме некоторые богатые люди, сделав завещание в пользу императора, упорно продолжали жить, как острит Светоний, и Цезарь, согласившийся принять их дар, считал себя глубоко оскорбленным таким неприлично долгим существованием. Но опиоману нечего опасаться со стороны врачей неデリкатных признаков нетерпения. Он знает, что их чувства соответствуют его собственным чувствам, что они повинуются тому же чувству любви к науке, которое побуждает его самого сделать этот посмертный дар. Да будет же отсрочено еще на много лет исполнение этого завета, да продлится жизнь этого проникновенного писателя, этого очаровательного даже в своих насмешках больного, еще более долгие годы, чем прожил «немошный» Вольтер, умиравший, как тогда говорили, в течение целых восьмидесяти четырех лет!*

VI. Гений-дитя

«Исповедь» появилась в 1822 году, а *Suspiria*, составляющая ее продолжение и как бы дополнение, — в 1845. Основной тон последних — более серьезный, более торжественный — проникнут покорностью и грустью. Сколько

* В то время как мы описывали эти строки, в Париже было получено известие о смерти Томаса де Квинси. Мы высказывали пожелания о продлении этой славной жизни в то время, когда она уже была так внезапно прервана. Достойный соперник и друг Вордсворта, Кольриджа, Саути, Чарльза Ламба, Гашлита и Уильсона оставил нам многочисленные труды, из которых мы приводим важнейшие: *Confessions of an English opiumeater: Suspiria de profundis; the Caesars; Literary reminiscence; Essays on the poets; Autobiographic sketches; Memorials: the Note book; Theological essays:*

раз, в то время как я пробегал эти строки, передо мною проносились те поэтические образы, к которым прибегают поэты, рисуя человека, возвращающегося домой после долгой, жестокой борьбы с жизнью: вот старый моряк, согнувшийся, с изрытым морщинами лицом, согревающий у домашнего очага свой героический остов, уцелевший среди тысячи приключений; вот усталый путник, возвращающийся под вечер по тем самым полям, по которым он шел ранним утром; с умилением и грустью вспоминает он о бесконечных грезах, пронесившихся в его мозгу в то время, как он шел по этим самым равнинам, окутанным теперь вечерними туманами. Этот новый, своеобразный язык книги, который я назвал бы *языком призраков*, — не сверхъестественный, но и не человеческий, полужемной, полужагробный — напоминает некоторые страницы «Замо-

Letters to a young man; Classic records reviewed or deciphered; Speculations, literary and philosophio, with German tales and other narrative papers; Klosterheim, or the masque; Logie of political economy (1844); Essays sceptical and antisceptical on problems, neglected or misconceived, u m. d.

Де Квинси — один из самых оригинальных умов, один из самых замечательных юмористов старой Англии; но более всего выдается он среди литературных деятелей удивительной мягкостью, нежностью своей натуры, душой, переполненной состраданием; таким является он перед нами в своем замечательном труде *Suspiria de profundis*, которому я собираюсь посвятить следующие главы моей книги: печальная весть придает этому заглавию еще более мрачный, еще более меланхолический отпечаток... Де Квинси умер в Эдинбурге, на семьдесят пятом году своей жизни.

Передо мною — его некролог от 17 декабря 1859 года, дающий богатый материал для самых грустных размышлений. Увы! во всем цивилизованном мире при обсуждении литературных произведений безумная склонность к морали старается вытеснить чисто литературную оценку. Понмартены и другие салонные проповедники наводняют собою как американскую и английскую, так и нашу прессу. Я уже отметил, по поводу странных надгробных речей, вызванных смертью Эдгара По, что память умерших писателей не пользуется у нас даже тем почтением, с каким принято относиться к обыкновенному кладбищу, могилы которого охраняются полицейским уставом от *невинного* осквернения животными.

Зываю к суду беспристрастного читателя. Какое нам дело до того, что *опиоман* не оказал никаких *положительных услуг* человечеству? Если книга его *хороша*, мы должны быть благодарны ему. Даже Бюффон, которого нельзя в этом отношении заподозрить в беспристрастии, да, Бюффон говорит, что красивый оборот речи, новая удачная форма мысли дают человеческому уму больше, чем важные открытия науки, — другими словами, что Красота выше Истины.

гильных записок», когда, подавляя гнев и оскорбленную гордость, великий Рене возвышается в своем презрении ко всему земному до полного бесстрастия.

Из *Введения* к *Suspiria* мы узнаем, что, несмотря на изумительный героизм, с которым наш опиоман подвергал себя мучительнейшему лечению, он испытал второй и даже третий возврат болезни. Автор называет это *третьим падением перед мрачным идолом*. Не считаясь даже с чисто физиологическими основаниями, которые он приводит в свое оправдание (так, например, он полагает, что период воздержания был проведен им без достаточной осмотрительности), я думаю, что совсем не трудно было предвидеть этот печальный конец. Но теперь уже нет речи о борьбе или возмущении: борьба и возмущение возможны только там, где есть еще надежда, тогда как отчаяние молчаливо склоняет голову. Там, где нет более средства для спасения, величайшие страдания смиряют свои порывы. Двери, открывшиеся было для возвращения к жизни, опять захлопнулись, и человек идет навстречу своей судьбе с покорностью в сердце. *Suspiria de profundis!* Какое выразительное заглавие!

Автор уже не пытается убедить нас в том, что «Исповедь» (или, по крайней мере, некоторые ее части) написана в назидание людям. Задачей ее, как он сам откровенно

Де Квинси бывал иногда необыкновенно суров в оценке своих друзей, но кто же из писателей, знакомый с истинной страстью в служении литературе, удивится этому? Он и к себе самому относился с крайней суровостью; и к тому же, как он сказал в одном из своих произведений (и как еще раньше сказал Кольридж), *злость не всегда исходит из сердца; бывает злость ума и воображения*.

Но вот образец нашей критики. Де Квинси в годы своей молодости принес в дар Кольриджу значительную часть своего отцовского наследия. «Это, без сомнения, благородный и похвальный, хотя и *неосторожный* поступок с его стороны, — говорит английский биограф, — нужно принять во внимание, что впоследствии, когда он сделался жертвой опия, когда здоровье его окончательно расшаталось и дела расстроились, он совершенно спокойно согласился принимать денежную поддержку от своих друзей». Если перевод наш верен, то смысл этого замечания сводится к тому, что не следует ставить покойному в заслугу его великодушия, так как сам он впоследствии пользовался великодушием других. Истинный талант никогда не станет прибегать к таким приемам: чтобы пользоваться ими, нужно обладать завистливым и мелочным духом наших критиков-моралистов.

говорит нам, было показать, до какой степени опий действует на естественную способность человека к грезам, придавая ей особенную силу. Способность к ярким и фантастическим видениям дана не всем, и даже те, которые одарены ею, постоянно рискуют утратить ее среди современной суеты, среди шумного торжества материального прогресса. Способность к видениям — божественная и таинственная способность, потому что она приводит человека в общение с окружающим его миром тайн. Но эта способность требует для своего полного развития — безусловного уединения: чем полнее уединение и сосредоточенность, тем совершеннее и глубже способность к видениям. Но возможно ли создать уединение более полное, более глубокое, более далекое от суеты жизни, чем то, которое создается опиумом?

В своей «Исповеди» автор приводит некоторые случаи из своей ранней молодости, которые могли натолкнуть его на знакомство с опиумом. Но в «Исповеди» есть два важных пробела: первый относится к действию опия в период университетской жизни (так называемые *Оксфордские видения*); второй — к впечатлениям раннего детства автора. Таким образом, биографические данные, как во второй, так и в первой части, дают нам возможность выяснить и *проверить* некоторые таинственные процессы, совершающиеся в человеческом мозгу. В заметках, относящихся к детству автора, мы находим уже зачатки странных видений взрослого человека, или, выражаясь точнее, зачатки его гения. Большинство биографов придает важное значение эпизодам, относящимся к раннему детству писателя или художника. Но мне кажется, что это значение их все еще недостаточно выяснено. Часто, созерцая произведения искусства — не в их легко уловимом *материальном* выражении, не в легко разгадываемых иероглифах их внешних очертаний и не в доступном смысле их сюжетов, но в самой сущности души, которою они одарены, в тех явлениях духовного света или мрака, который они вызывают в нас, — я испытывал такое чувство, как будто передо мною проносятся видения из детства их авторов.

Какое-нибудь маленькое горе или маленькая радость ребенка, безмерно преувеличенные его необыкновенной

чувствительностью, могут внушить ему позднее, в период его возмужалости, независимо даже от его сознания, идею художественного произведения. Одним словом, выражаясь точнее, нельзя ли доказать при помощи вдумчивого, углубленного сравнения между произведениями художника и его душевными состояниями в детстве, что гений есть не что иное, как ясно формулированное детство, но только уже одаренное мощными, мужественными органами для выражения всего происходящего в нем? Впрочем, обращая внимание физиологов на эту идею, я придаю ей не больше значения, чем простой гипотезе.

Итак, мы остановимся прежде всего на самых выдающихся впечатлениях детства нашего опиомана, ибо это поможет нам понять и те удивительнейшие видения, которые всецело поглощали деятельность его мозга в Оксфорде. Читатель не должен, однако, забывать, что здесь о детстве своем повествует старик, который осложняет многие переживания ранних лет своими старчески утонченными рассуждениями, и что, таким образом, самое это детство, основа его позднейших грез, рассматривается и обсуждается здесь сквозь магическую дымку оксфордских видений, то есть сквозь прозрачные туманы опия.

VII. Детское горе

Он и его три сестры были еще очень молоды, когда умер их отец, завещав их матери крупное состояние — настоящее состояние английского негоцианта. Роскошь, благосостояние, широкая, привольная жизнь составляют чрезвычайно благоприятные условия для развития природной впечатлительности ребенка. «Не имея товарищей, кроме трех маленьких сестер, которые спали в одной комнате со мною, я жил среди прекрасного уединенного сада, вдали от зрелищ нищеты, угнетения, несправедливости и не мог иметь представления об истинном устройстве этого мира». Не раз благодарил он Провидение, ниспославшее ему несравненное счастье воспитываться в деревне, «под влиянием трех прелестных сестер, а не ужасных мальчишек-братьев, *horrid pugilistic brothers*, всегда готовых пустить в ход кулаки». И действительно, мужчины, воспитан-

ные женщинами и среди женщин, несколько отличаются от других мужчин, даже при одинаковом темпераменте и одинаковых умственных способностях. Укачивание кормилицы, материнские ласки, баловство сестер, в особенности старших сестер, этих матерей в миниатюре, — все это видоизменяет, перерождает мужскую природу. Мужчина, с юных лет окутанный той мягкой атмосферой, которая создается женщиной, ее телом, запахом ее рук, ее груди, ее колен, ее волос, ее широких, развевающихся одежд, —

Dulce balneum suavibus
Unguentatum odoribus*,

приобретает некоторую нежность кожи, изящество выражений, своего рода андрогинизм, без которого самый сильный талант не достигает художественной законченности, остается каким-то недоделанным, неполным существом. Я хочу сказать, что раннее влечение к женской среде, *mundi muliebris*, к этой мягкой, полной света и аромата женской атмосфере, придает таланту его законченность (надеюсь, что умная читательница простит мне почти чувственную форму моих выражений, поняв и одобряя чистоту моей мысли).

Джейн умерла первой. Но значение смерти было еще непонятно ее маленькому брату. Джейн ушла; она, наверное, вернется. Служанка, которой был поручен уход за нею во время ее болезни, обошлась с нею довольно грубо дня за два до ее смерти. Об этом узнали в семействе, и с той минуты мальчик никогда уже не мог взглянуть в лицо той девушке. Как только она появлялась, он начинал смотреть в землю. Это был не гнев, не тайное желание мести, это был просто ужас — движение мимозы, устранивающейся от грубого прикосновения; да, ужас и мрачное предчувствие — таково было следствие той ужасной, впервые обнаруженной истины, что этот мир — мир горя, борьбы и изгнания.

Второе горе, ранившее его детское сердце, не так легко поддавалось излечению. После промежутка в несколько счастливых лет умерла его любимая сестра Елизавета, су-

* Сладостно омывающей
Благоуханной купелью (лат.).

щество столь идеально чистое и благородное, что и теперь, вызывая ее образ во мраке ночи, он видит ее окруженной сиянием, как бы с светящейся короной над челом. Когда стало известно, что приближается конец этой любимой сестры, которая была старше его на два года и приобрела огромное влияние на весь склад его духовного мира, мальчик впал в безграничное отчаяние. На другой день после ее смерти, прежде чем служители науки успели коснуться дорогих останков, он решил еще раз взглянуть на сестру. «Детское горе боится света и прячется от людей». Это последнее посещение должно было остаться тайной для других и не допускало свидетелей. Был полдень, и когда мальчик вошел в комнату, глазам его прежде всего представилось широкое, открытое настежь окно, в которое солнце лило все великолепие своих жгучих лучей. «Воздух был чист, небо безоблачно; глубина небесной лазури казалась отражением бесконечности; и никогда еще, казалось, человеческий глаз не созерцал, никогда человеческое сердце не ощущало более трогательного символа жизни во всем ее величии».

Большое, непоправимое несчастье носит еще более мрачный, еще более зловещий характер, если оно поражает нас среди пышного расцвета природы. Смерть производит более потрясающее впечатление среди роскоши летнего дня. «Тогда с особенною силою выступает страшное противоречие между тропической мощью внешней жизни и мрачной неподвижностью могилы. Глаза наши видят лето, а мысль обращается к смерти; вокруг нас — свет и движение, а в нас самих — глубокий мрак. И эти два образа, приходя в тесное соприкосновение, придают друг другу необыкновенную силу».

Но в душе ребенка, который со временем делается ученым, щедро одаренным умом и воображением, в душе будущего автора *Исповеди* и *Suspiria*, возникают и другие мотивы, связывающие между собою идею лета и идею смерти, — мотивы, навеянные скрытым соотношением событий и картин природы, описанных в Священном писании. «Большая часть глубоких мыслей и чувств наших являются в нашем сознании не непосредственно и не в отвлеченной форме, а при посредстве крайне сложных

комбинаций разных конкретных явлений». Так, Библия, которую молодая служанка читала детям в долгие и торжественные зимние вечера, сильно способствовала соединению этих двух идей в его воображении. Эта молодая девушка, побывавшая на Востоке, говорила детям о его климате, о разнообразных оттенках восточного зноя. Там, на Востоке, в одной из тех стран, где царит вечное лето, принял свою мученическую смерть этот Праведник, бывший более чем человеком... Очевидно, летом же срывали колосья в поле апостолы. А Вербное Воскресенье, *Palm Sunday*, — не давало ли оно пищу этим мыслям? *Sunday*, день покоя, — символ еще более глубокого покоя, недоступного человеческому сердцу; *palm*, пальма, — слово, заключающее в себе представление о великолепии жизни и роскоши летней природы. Близилось уже великое событие в Иерусалиме, когда наступило Вербное Воскресенье; и место действия, которое напоминает этот праздник, находилось по соседству с Иерусалимом. Иерусалим, который, подобно Дельфам, считался центром Земли, может во всяком случае считаться центром в царстве Смерти: потому что если там была попрана Смерть, то ведь там же разверзлась и самая мрачная из могил.

И вот, перед лицом всего великолепия чудесного летнего дня, беспощадно врывавшегося в комнату, где лежала покойница, мальчик пришел взглянуть в последний раз на дорогие черты ее. Он слышал от домашних, что смерть не исказила их. Да, это было то же лицо, но застывшие веки, бледные губы и окоченевшие руки жестоко поразили его; и в то время как он, словно в оцепенении, смотрел на покойницу, зашумел ветер, «печальнейший ветер, когда-либо слышанный мною». Много раз с того дня, летом, в те часы, когда солнце особенно накаляет землю, ему слышался тот же шум ветра, «тот же низкий, торжественный, мистический голос». Ведь это — прибавляет он — единственный символ Вечности, который дано воспринять человеческому слуху. Три раза в течение своей жизни он слышал этот шум при одной и той же обстановке — в комнате с раскрытым настежь окном и перед телом человека, скончавшегося в летний день.

И вдруг глазам его, ослепленным красотой внешней жизни, сравнивавшим блеск и славу неба с застывшим лицом покойницы, представилось странное видение. В лазури неба, как показалось ему, раскрылась галерея, своды — длинный, бесконечный путь. И душа его поднялась на голубых волнах; и эти голубые волны понеслись вместе с ним к престолу Божию, но престол удалялся перед его пламенным стремлением... Посреди этого странного экстаза он вдруг заснул, а когда пришел в себя, то увидел себя сидящим у постели сестры. Так одинокий ребенок уносился к Богу, Одинокому из одиноких. Так инстинкт, лучше всякой философии, помог ему найти минутное облегчение в небесном видении. Но вот послышались шаги на лестнице, и, опасаясь, чтобы ему не помешали прийти еще раз в эту комнату, если застанут его здесь, он поспешно приложился к губам покойницы и потихоньку вышел. На другой день явились доктора для вскрытия тела; он не знал, для чего они собрались, и несколько часов спустя после их ухода хотел снова проскользнуть в комнату, где лежала покойная сестра; но дверь была заперта и ключ вынут. Таким образом, он был избавлен от зрелища поругания, которое служители науки нанесли останкам той, образ которой — спокойный, неподвижный, чистый, как мрамор или лед, — остался нетронутым в его воображении.

Затем последовали похороны — новая агония; мучительный переезд в экипаже, в обществе равнодушных людей, говоривших о вещах, совершенно чуждых его горю: наводящие ужас звуки органа, все это христианское богослужение, слишком тягостное для ребенка, которого обещания райского блаженства не могли утешить в потере сестры на земле. В церкви ему сказали, чтобы он приложил платок к глазам. Но разве нужно было притворяться огорченным и разыгрывать плакальщика — ему, который был так потрясен, что едва стоял на ногах?

Расписные стекла горели в лучах солнца, и на них во всем своем блеске красовались апостолы и святые; а в следующие дни, когда его водили в церковь, он всматривался в нераскрашенные части стекол — и глазам его представлялось удивительное видение: пушистые облака превращались в белые занавески и белые подушки, а на них поко-

ились головки детей — больных, плачущих, умирающих. Кроватки их медленно поднимались к небу — к тому Богу, Который так любил детей. Впоследствии три места из заупокойной службы, которые он, конечно, слышал в свое время, но рассеянно и бессознательно, и которые могли бы тогда возмутить его полное скорби сердце своей суровой философией, — воскресли в его памяти во всем таинственном глубокомыслии своих напевов, говорящих о спасении, воскресении и вечности, и сделались постоянной темой для его размышлений. Но раньше, задолго до этого времени, он отдался уединению со всей силой глубокой страсти, отвергающей утешение. Тишина деревенского простора, жгучие солнечные полдни, туманные часы сумерек наполняли его жутким и сладостным восторгом. Глаза его терялись в небесном пространстве, искали в лазурной глубине дорогой образ — в безумной надежде, что, быть может, ему дозволено будет появиться еще раз. К крайнему сожалению, я должен сократить ту довольно длинную часть, которая содержит в себе описание этой глубокой печали, полной неожиданных поворотов и безысходной, как лабиринт. Он взывает ко всей природе, каждый предмет становится для него *воплощением* одной и той же мысли. По временам на этой почве вырастают причудливые траурные цветы — печальные и роскошные; его любовно-похоронные речи нередко переходят в *concelli* *. Ведь и траур имеет свои украшения! И не одна только искренность этой печали волнует душу при чтении этой книги: критик испытывает какое-то своеобразное наслаждение, встречая в ней тот пламенный и нежный мистицизм, который расцветает лишь в саду римской церкви. Однако наступило время, когда эта болезненная чувствительность, питавшаяся исключительно воспоминаниями, и безграничная склонность к уединению угрожали принять опасную форму: момент решающий, критический, когда душа, объятая отчаянием, говорит себе: «Если те, кого мы любим, не могут уже прийти к нам, то кто мешает нам уйти к ним?» — когда воображение, преследуемое одними и теми же образами и как бы зачарованное, с упоением прислушивается к *властно-*

* Концепции (*ит.*).

му призыву могилы. К счастью для него, наступил возраст умственного труда и неизбежных развлечений; необходимо было подчиниться требованию жизни и готовиться к классическому образованию.

На следующих, уже менее печальных, страницах мы встречаем ту же чисто женственную нежность, обращенную теперь на животных, этих интересных рабов человека — кошек, собак и вообще всех существ, которых беспрепятственно можно притеснять, мучить, поработать. К тому же не воплощает ли животное — своей беспечной радостью, своей непосредственностью — как бы детство человека? Итак, любовь нашего юного мечтателя, распространяясь на новые объекты, оставалась верной своему первоначальному характеру: он по-прежнему любит, в более или менее совершенных формах, слабость, непосредственность, невинность. В ряду характерных черт и особенностей, которыми наделило его Провидение, следует еще отметить чрезвычайную чуткость совести; вместе с болезненной чувствительностью она заставляла его до крайности преувеличивать самые обыкновенные факты и из-за самых незначительных или даже воображаемых проступков испытывать слишком реальный, к сожалению, страх. И вот, пусть читатель представит себе такого ребенка, лишившегося предмета своей первой и нежнейшей привязанности, болезненно склонного к уединению и совершенно одинокого; он согласится, вероятно, с тем, что многие явления, проявившиеся впоследствии в области его грез, представляют только отголоски испытаний, перенесенных в юные годы. Судьба бросила семя, опий оплодотворил его и превратил в самую причудливую и обильную растительность. Впечатления детства — употребляя метафору, принадлежащую автору, — сделались естественным коэффициентом опия. Эта рано развившаяся способность идеализировать каждую вещь, придавать ей сверхъестественные размеры, способность, которая культивировалась и крепла в уединении, впоследствии, в Оксфорде, под влиянием громадных доз опия, неизбежно должна была привести к страшным по силе эффектам, необычным даже для большинства молодых людей его возраста.

Читатель помнит, вероятно, приключения нашего героя в Валлисе, его мытарства в Лондоне и, наконец, его примирение с опекунами. Теперь он в университете, он ищет опоры в науке, и тем не менее, более нежели когда-либо склонный предаваться грезам, он извлекает из коварного вещества, с которым познакомился в Лондоне, ища спасения от невралгии, сильного и опасного союзника для своего слишком рано развившегося воображения. С этого момента его первое существование как бы входит во второе, сливается с ним, образуя нечто единое и глубоко ненормальное. Сколько раз во время школьных досугов он видел комнату, где покоилось тело его умершей сестры, яркое сияние летнего дня, холод смерти — и бесконечный путь, уходящий в голубые небеса; потом — священника в белом стихаре у раскрытой могилы, гроб, опускаемый в землю, ибо — *земля еси и в землю отыдеши*; наконец, святых, апостолов и мучеников на расписных стеклах, освещенных солнцем и образующих как бы чудесную раму для тех белых кроваток, для хорошеньких детских колыбелек, которые под торжественные звуки органа совершали свое восхождение к небу! Вновь увидел он все это, но увидел с видоизменениями, с фантастическими дополнениями, в более ярких или более туманных красках. Вновь предстал перед ним мир его детства — но уже во всем великолепии поэтических красок, которые привносил туда его обогащенный жизнью, утонченный дух, привыкший почерпать свои глубочайшие наслаждения из уединения и воспоминаний о пережитом.

VIII. Оксфордские видения

Палимпсест

«Что такое мозг человеческий, как не обширный и естественный палимпсест? Мой мозг — палимпсест, и ваш также, читатель. Бесчисленные наслоения мыслей, образов, чувств тихо, как свет, последовательно проникали в ваш мозг. Казалось, что каждое из этих наслоений погребало под собою предыдущее. Но в действительности ни одно не погибло». Однако между пергаментом, на котором напи-

саны — одна поверх другой — греческая трагедия, монастырская легенда и рыцарская повесть, и тем божественным, созданным Богом палимпсестом, каким является наша память, существует то различие, что первый представляет собою уродливый, фантастический хаос, столкновение разнородных элементов; тогда как во втором непреодолимое влияние темперамента неизбежно устанавливает единство между самыми разнокалиберными элементами. Как бы противоречиво ни было то или другое человеческое существование, человеческая природа не перестает быть единою. Все отзвуки памяти, если бы их можно было пробудить одновременно, образовали бы собою стройный хор, утешительный или скорбный, но логичный и гармоничный.

Часто бывало, что люди, внезапно подвергшиеся несчастному случаю, например захлебнувшиеся в воде и угрожаемые смертью, мгновенно видели перед собою всю свою прошлую жизнь. Время уничтожалось, и в несколько секунд в сознании их проходили образы и чувства, наполнявшие собою несколько лет жизни. И что всего удивительнее в этом опыте, не раз повторенном над людьми при посредстве жизненных случайностей, так это даже не одновременность стольких явлений, совершавшихся прежде в определенной последовательности, а восстановление всего того, что было уже совершенно позабыто человеком, но что он, однако, принужден *признать* своим. Забвение является, следовательно, лишь временным; и в торжественных случаях, как например перед смертью, как и под влиянием возбуждения, вызываемого опиумом, весь огромный, сложный свиток нашей памяти мгновенно развертывается во всю длину, со всеми наслоениями умерших чувств, таинственно набальзамированных так называемым забвением.

Гениальный человек, страдающий меланхолией, мизантроп, желающий отомстить несправедливости века, в один прекрасный день бросает в огонь все свои еще не напечатанные рукописи. И когда его упрекают за эту ужасную жертву, принесенную на алтарь ненависти и уничтожившую все то, с чем были связаны его собственные надежды, он отвечает: «Что же такое! Ведь самое главное это то,

что эти вещи были *созданы*; они созданы — значит, они *существуют*». Всякую созданную вещь он признавал не-уничтожимою. С еще большею очевидностью эта идея применима ко всем нашим мыслям, ко всем нашим — добрым или злым — поступкам! И если в этом веровании мы находим нечто бесконечно утешительное для себя, когда наше сознание обращается к той стороне нашего существа, которая доставляет нам удовольствие, то не обратится ли оно в нечто беспредельно страшное, когда наше сознание должно будет, неотвратимым образом, заглянуть в ту часть нашей души, которая не может внушать нам ничего, кроме ужаса? В области духа, как и материи, ничто не пропадает. Точно так же как всякое наше действие, брошенное в вихрь мировой деятельности, является само по себе невозвратным и непоправимым — независимо от того, каковы были его последствия, — точно так же и всякая наша мысль является неизгладимой. Палимпсест нашей памяти — неразрушим.

«Да, читатель, бесчисленны поэмы радости или печали, начертанные одна поверх другой на свитке вашего мозга, и, подобно листве в девственных лесах, подобно нetaющим снегам Гималаев, подобно лучам света, падающим на то, что уже освещено, накопляются друг на друге их наслоения, и каждая в свою очередь прикрывается забвением. Но в час смерти, или просто в лихорадочном жару, или под влиянием опия, все эти поэмы могут вновь ожить и приобрести силу. Они не умерли, они спят. Вы думаете, что греческая трагедия была стерта и заменена легендой монаха, а легенда монаха стерта и заменена рыцарским романом; но это не так. По мере того как человеческое существо подвигается в жизни, роман, который восхищал его в юности, легендарное сказание, обольщавшее его в детстве, бледнеют и меркнут сами собой. Но глубокие трагедии детства — минуты, когда детские руки отторгались от шеи матери, детские уста навсегда отрывались от поцелуев сестер, — они живы, вечно живы, скрытые под другими сказаниями палимпсеста. Ни страсть, ни болезнь не обладают достаточно едкими средствами, чтобы выжечь их бессмертные следы».

«Часто в Оксфорде я видел во сне Левану. Я знал ее по ее римским символам». Но что такое Левана? Это была римская богиня, покровительствующая ребенку в первые часы его жизни и, так сказать, облекшая его человеческим достоинством. «Тотчас после рождения, когда ребенок впервые вдыхал в себя нечистый воздух нашей планеты, его клали на землю. Но вслед за тем, во избежание того, чтобы столь высокое создание оставалось — долее одного мгновения — пресмыкающимся по земле, отец, как представитель богини Леваны, или какой-нибудь близкий родственник, или заместитель отца, поднимал его, приказывал ему смотреть вверх, как это подобает владыке мира, и поворачивал его лицом к звездам, как бы говоря этим последним в сердце своем: «Созерцайте того, кто выше вас». Этот символический обряд выполнял то, что было назначением Леваны. И эта таинственная богиня, никогда не открывавшая своего лица (она открывала его только мне, в моих сновидениях) и всегда действовавшая через своих представителей, получила свое имя от латинского глагола *levare* — поднимать, держать в воздухе».

Естественно, что некоторые видели в Леване как бы попечительную власть, наблюдающую за воспитанием детей и направляющую их. Но не думайте, что речь идет здесь о той педагогике, которая дает знать о себе только при посредстве азбук и грамматик; здесь нужно иметь в виду «ту сложную систему центральных сил, которые скрыты в глубине человеческой жизни и неустанно работают в детях, постепенно поучая их познавать страсть, борьбу, искушение, силу сопротивления». Левана облагораживает человеческое существо, которое она опекает, но прибегает для этого к самым жестоким средствам. Она строга и сурова, эта благостная воспитательница, и из всех способов, особенно охотно применяемых ею для усовершенствования человеческого существа, наиболее излюбленным ею является страдание. Три богини подчинены ей, и через них-то приводит она в исполнение свои таинственные предначертания. Подобно тому, как существуют три Гра-

ции, три Парки, три Фурии, а вначале было и три Музы, существуют и три богини печали. Это и есть наши *Mater-ри печали*.

«Я часто видел их беседующими с Леваной, а иногда они даже говорили обо мне. Так, значит, они говорят? О нет. Эти величавые видения пренебрегают нашим немощным языком. Правда, они могут произносить слова устами человека, когда они обитают в человеческом сердце; но между собою они не пользуются голосом, не издают ни звука; вечное молчание царит в их владениях... Старшая из трех сестер зовется *Mater Lachrymarum*, то есть Мать Слез. Это она бредит и стонет день и ночь, сокрушаясь об исчезнувших с лица земли. Это она пребывала в раме в то время, как раздавались там плач и рыдание... вопли Рахили, плачущей о детях своих и не желавшей утешиться. Это она была в Вифлееме в ту ночь, когда меч Ирода истребил всех младенцев в убежищах их... Взор ее то кроток, то пронзителен, то дико блуждает, то меркнет, как во сне; глаза ее часто поднимаются к облакам, часто посылают проклятия Небу. На голове она носит диадему. И я знаю из детских воспоминаний, что она может нестись на вихрях, прислушиваясь к рыданию литаний или грому органа или же созерцая нагромождение и распадение летних облаков. Эта старшая сестра носит у пояса своего ключи, отмыкающие то, что недоступно ключам самого папы, и проникает при помощи их во все хижины и во все дворцы. Это она, я знаю, сидела все прошлое лето у изголовья слепого нищего — того, с которым я так любил беседовать и кроткая восьмилетняя дочь которого с лучезарным лицом противилась искушению принять участие в веселье местечка, чтобы целыми днями бродить по пыльным дорогам со своим несчастным отцом. За это Бог ниспослал ей великую награду. Весною того года, как раз в то время, когда сама она начинала расцветать, Он призвал ее к Себе. Слепой отец не перестает плакать о ней, и по ночам ему снится, что он все еще держит в руке ее ручку, водившую его, и он просыпается во тьме, которая стала для него еще более страшной и глубокой тьмою... При помощи этих ключей проникает Мать Слез сумрачным призраком в жилище мужчин, которые не спят, женщин, которые не

спят, детей, которые не спят, — от Ганга и до Нила, от Нила до Миссисипи. И так как она родилась первой и царство ее самое обширное из трех, мы увенчаем ее именем Мадонны.

Вторая сестра называется *Mater Suspiriorum*, Матерь Вздохов. Она никогда не возносится на облака и не летает на крыльях ветра. Чело ее не увенчано диадемой. Глаза ее, если бы мы могли заглянуть в них, не показались бы нам ни кроткими, ни острыми, ничего нельзя было бы прочесть в них, ничего узреть в них, кроме смутного хаоса полумертвых снов и обрывков позабытого бреда. Она никогда не поднимает глаз, и голова ее, обернутая полотнищем тюрбана, всегда клонится долу и глядит в землю. Она не плачет, не стонет. По временам только она неслышно вздыхает. Сестра ее, Мадонна, бывает иногда бурной и судорожно-гневной, проклиная Небо и требуя возвращения любимых ею. Но Мать Вздохов никогда не кричит, не клянет, никогда не помышляет о возмущении. Она покорна до самоотвержения. Это покорность существ, не имеющих надежды. Если она порой и ропщет тихонько, то лишь в уединенных местах, столь же печальных, как она сама, на развалинах городов и когда солнце ушло на покой. Эта сестра — посетительница Парии, Еврея, раба, гребущего на галерах... женщины, сидящей в потемках, не знающей любви и не имеющей куда преклонить голову, лишенной даже надежды, которая осветила бы ее одиночество... всякого узника, томящегося в своей келье; всех тех, кто обманут, и тех, кто унижен; тех, которые отвержены законом предрассудков, и детей, несущих на себе тяжкое наследие отцов. Всех их сопровождает Матерь Вздохов. Она тоже носит при себе ключ, но он ей совсем не нужен. Потому что она властвует главным образом посреди палаток племени Сима и посреди бездомных скитальцев всех стран земли. Порою, однако, она находит свои алтари и между сильными мира сего, и даже в славной Англии можно встретить людей, которые перед лицом света поднимают голову, как горделивый олень, но втайне уже отмечены ее печатью.

Но третья сестра и самая младшая?.. Тс-с! о ней можно говорить только вполголоса. Царство ее невелико; иначе ни одна живая тварь не могла бы существовать на земле; но зато здесь власть ее беспредельна. Несмотря на тройной креповой вуаль, которым она окутывает свою высоко запрокинутую голову, можно подсмотреть снизу дикий блеск ее глаз, огонь отчаяния, пылающий в них утром и вечером, днем и ночью, в час прилива, как и в час отлива. Она не хочет и слышать о Боге. Она — мать безумия и советчица самоубийц... Мадонна ходит неровною поступью, скорой или медленной, но всегда исполненной трагической грации. Матерь Вздохов скользит робко и осторожно. Но младшая из сестер двигается так, что невозможно предвидеть ее движений; она бросается, прыгает, как тигр. У нее нет ключа; ибо хотя она и редко посещает людей, но когда ей бывает дозволено приблизиться к какой-нибудь двери, она кидается и взламывает ее. Имя ее — *Mater Tenebrarum*, Мать Тьмы. Таковы были Эвмениды, или Милостивые Богини (как выражалась в древности лесь, внушенная страхом), преследовавшие меня в моих оксфордских снах. Мадонна делала таинственные знаки рукой. Она прикасалась к голове моей и подзывала пальцем Матерь Вздохов, и все эти знаки ее, непостижимые для человека иначе как во сне, можно было истолковать так: «Смотри! вот тот, кого я с детства обрекла моим алтарям. Я избрала его своим любимцем. Я совратила, я соблазнила его; с высоты небес я привлекла к себе его сердце. Я сделала его идолопоклонником, наполнила его желаниями и томлениями; он стал поклоняться земному праху и источенной червями гробнице. Священной для него была эта гробница, отрадным — сумрак ее, святым — совершившееся в ней тление. Для тебя приготовила я его, этого молодого идолопоклонника, милая, кроткая Сестра Вздохов! Возьми же его, заключи в сердце свое и приготовь для нашей страшной Сестры. А ты, — обратилась она к Матери Тьмы, — прими его от нее. Возложи на голову его свой тяжелый скипетр. Не допусти, чтобы нежная женщина сидела по ночам у его изголовья. Изгони из него все слабости надежды, иссуши бальзамы любви, ожги его потоком слез; прокляни его, как ты одна умеешь проклинать. Тог-

да выйдет он совершенным из очистительного огня, и раскроются перед ним вещи невиданные, зрелища страшные и тайны невыразимые. Тогда сможет он прочесть истины древние — печальные истины, великие, ужасные истины. Так воскреснет он прежде, чем умрет. И исполнится назначение наше, завещанное нам Богом, — терзать его сердце до тех пор, пока не раскроются возможности его духа».

Брокенское привидение

В одно чудесное ясное воскресенье, в праздник Троицы, поднимаемся на Брокен. Какая ослепительная заря на безоблачном небе! Иногда, однако, апрель делает свои последние набегии на возрожденную весну и обдаёт её своими капризными ливнями. Взберемся на самую вершину горы; такое утро вернее позволит нам познакомиться с знаменитым Брокенским привидением. Привидение это так долго жило среди языческих колдунов, столько раз присутствовало при поклонении всякой нечисти, что сердце его, быть может, развратилось, а вера поколебалась. Прежде всего попробуйте перекреститься и посмотреть, захочет ли оно сделать то же самое. В самом деле, оно перекрестилось; но свет приближающегося ливня, застилая очертания предметов, придает ему вид человека, исполняющего свой долг нехотя или небрежно. Сделайте еще один опыт: сорвите один из этих анемонов, которые назывались в былое время *цветами колдуна* и, быть может, играли роль в этих ужасных, порожденных страхом обрядах. Положите цветок на этот камень, напоминающий по форме языческий жертвенник, станьте на колени и, подняв правую руку, произнесите: «Отче наш, иже еси на небесех!.. Я, слуга Твой, и это черное привидение, которое сегодня, в день Троицы, я сделал своим слугою на этот час, мы поклоняемся Тебе перед этим алтарем, возвращенным истинной вере!» Смотрите! Привидение тоже срывает цветок и кладет его на жертвенник; оно преклоняет колени и воздевает правую руку к Богу. Правда, оно хранит молчание, но и немые могут служить Богу достойным образом.

Быть может, однако, вы думаете, что это видение, привыкнув издавна к слепому поклонению, готово послушно следовать предписанию всех возможных культов и что его неразборчивость отнимает всякую цену у его поклонения. Поищем другого способа проверить природу этого странного призрака. Я полагаю, что вам приходилось в детстве испытать какое-нибудь невыразимое страдание, пройти через беспросветное отчаяние — то молчаливое отчаяние, которое плачет, спустив на лицо покрывало, как Иудея на римских медалях, печально сидящая под тенью пальмы. Покройте себе голову в память об этом великом горе. Брокенский призрак тоже покрыл свою голову, как если бы у него было человеческое сердце и он хотел передать молчаливым символам воспоминание о каком-то великом горе, которое не может быть выражено словами. «Этот опыт является решающим. Вы знаете теперь, что призрак — это не что иное, как ваше собственное отражение, и что, обращая к нему выражение своих затаенных чувств, вы найдете в нем символическое зеркало, в котором отражается при свете дня то, что иначе навсегда осталось бы скрытым».

Опиоман также имеет подле себя Сумрачного Истолкователя, который находится в том же отношении к его уму, как Брокенское видение к путешественнику. Иногда видение застилается и искажается бурями, туманами и дождями; точно так же и Тайнственный Истолкователь пришеивает иногда к своей отражательной природе некоторые чуждые ей элементы. «Обыкновенно он говорит только то, что я сам говорил себе наяву, предаваясь размышлениям, достаточно глубоким для того, чтобы следы их запечатлелись в моем сердце. Но иногда слова его искажаются, как и его лицо, и кажутся мне не выражающими того, что я хотел бы сказать. Ни один человек не может отдать себе полного отчета в том, что творится во сне. Я думаю, что в общем этот призрак есть верное отражение меня самого; но время от времени он подвержен влиянию доброго Фантазуса, который царит над нашими снами». Можно было бы сказать, что он имеет нечто общее с хором греческой трагедии, который часто выражает скрытые мысли главного героя — скрытые от него самого или недостаточно уяснив-

шиеся — и открывает перед ним смысл будущего или прошедшего, чтобы оправдать веления Судьбы или успокоить его душевные муки, — словом, подсказывает несчастному то, что и сам он мог бы сказать себе, если бы только его сердце оставило ему время для размышлений.

Саванна-ла-Мар

К этой галерее меланхолических картин, широких и волнующих аллегорий скорби, в которых для меня (не знаю, так ли это для читателя, который видит их только в сокращении) заключается столько же музыкальной, сколько и живописной прелести, нужно прибавить еще один отрывок, представляющийся как бы финалом широкой симфонии.

«Бог поразил Саванна-ла-Мар и в одну ночь, низвергнув с тверди берега, погрузил его со всеми его еще не пошатнувшимися памятниками и спящим населением на коралловое ложе Океана. Бог сказал: «Я засыпал пеплом Помпею и на семнадцать веков сокрыл ее от глаз людских: я погружу в воду этот город, но не скрою его. Да послужит он людям памятником моего непонятого для них гнева, схороненным для грядущих поколений в лазоревом свете волн; ибо я помещу его под хрустальными сводами моих южных морей». И часто, в тихую, ясную погоду, проезжающие моряки видят сквозь прозрачность вод этот безмолвный город, словно сохраняемый под стеклянным колоколом, и ясно различают глазами его площади и террасы, могут пересчитать ворота его стен и колокольни церквей. Огромное кладбище, приковывающее взор, как волшебное изображение человеческой жизни, нерушимо покоящееся в подводных глубинах, вдали от бурь, раздирающих нашу атмосферу». Много раз, вместе со своим Мрачным Истолкователем, — много раз посетил он во сне Саванна-ла-Мар в его нетронутом запустении. Вместе заглядывали они на колокольни, где неподвижные колокола напрасно ждали звона, возвещающего о бракосочетаниях; подходили к органам, которые не воспевали более небесных радостей и не оплакивали людских печалей; вместе бродили по замолк-

шим спальням, где покоились в глубоком сне дети — в то время как на земле сменилось уже пять поколений.

«Они ждут небесной зари, — тихо проговорил Мрачный Истолкователь, — и когда займется эта заря, колокола и органы воспоют песнь ликования, которая откликнется в самом Раю. — Потом, обернувшись ко мне, он сказал: — Грустно и печально все это, но если бы не так велико было бедствие, не исполнился бы замысел Божий. Пойми это хорошенько... Мгновение настоящего не больше математической точки, и даже эта точка успеет исчезнуть тысячу раз, прежде чем мы сознали ее рождение. В настоящем все закончено, и это законченное, конечное — бесконечно только в быстроте своего бега к смерти. Но в Боге нет ничего конечного; в Боге нет ничего преходящего; в Боге нет ничего, стремящегося к смерти. А из этого следует, что для Бога нет настоящего. Для Бога настоящее — это будущее, и ради этого будущего Он жертвует настоящим человека. Вот почему он действует землетрясениями. Вот почему он поучает страданиями. О, глубоки следы, оставляемые землетрясением! О, глубока (тут голос его загремел, как Sanctus церковного хора) — глубока борозда, проводимая страданием. Но не меньше того нужно, чтобы вспахать пашню Господа. На одной ночи землетрясения он построит человеку приятные жилища на тысячу лет. И на страданиях дитяти произрастает обильную духовную жатву, которую не собрать было бы иначе. Менее острым плугом не поднять было бы каменистую почву. Земле, нашей планете, обита² лицу человеческому, нужны сотрясения, и еще нужнее бывает страдание, это могущественнейшее оружие Божие — да (и при этом он торжественно посмотрел на меня), страдание необходимо таинственным детям земли!»

IX. Заключение

Эти длительные грезы, эти поэтические картины, не смотря на свой общий символический характер, обрисовывают для тонкого читателя нравственный облик нашего автора лучше всяких анекдотов или биографических заметок. В последней части *Suspiria* он как бы с удовольствием

возвращается к давно прошедшим годам, и тут, как и везде, особенно драгоценными являются не самые факты, но комментарии к ним, комментарии часто мрачные, полные горечи и скорби; мысль, созревшая в уединении и готовая унести далеко от всего земного, далеко от арены человеческой борьбы; смелые взмахи крыльев, возносящих ее к небу, монолог души, всегда слишком чуткой и легко уязвимой. Здесь, как и в разобранных уже частях, эта мысль является *тирсом*, о котором он сам остроумно говорил в одном месте с искренностью хорошо познавшего себя скитальца. Сюжет имеет не более значения, чем сухая голая палка; но ленты, гроздь и цветы, в их причудливых переплетениях, могут быть истинным наслаждением для глаз. Мысль де Квинси — мало сказать, что извилиста, это слово недостаточно сильно, — она вьется спиралью. Впрочем, было бы слишком долго исследовать все его комментарии и размышления, и я не должен забывать, что цель моего труда заключалась в том, чтобы показать на живом примере действие опия на мыслящий и склонный к мечтательности дух. Я думаю, что цель эта достигнута.

Теперь же достаточно будет сказать, что наш отшельник-мыслитель остается верен своей рано развившейся обостренной чувствительности, которая была для него источником стольких ужасов и стольких наслаждений, своей беспредельной любви к свободе — и страху перед всякой ответственностью. «Страх к жизни уже в самой ранней юности примешивался у меня к ощущению божественной сладости жизни». В последних страницах *Suspiria* чувствуется что-то мрачное и едкое, какое-то отчуждение от всего земного. Кое-где, по поводу приключений юности, мелькает еще мягкая усмешка и юмор, столь свойственная ему склонность подсмеяться над самим собой; но всего заметнее, всего более бросаются в глаза лирические изливания, проникнутые безысходной меланхолией. Так, например, говоря о людях, стесняющих нашу свободу, омрачающих нашу жизнь и нарушающих самые законные права нашей юности, он восклицает: «О, зачем только называют себя *друзьями* человека как раз те, которым в свой предсмертный час он мог бы сказать только одно: “Лучше бы

мне никогда не видать лица вашего”». Или же у него срыгается следующее циничное признание, в котором звучит для меня — признаюсь столь же чистосердечно — нечто глубоко родственное: «Немногочисленные субъекты, к которым я питаю отвращение, были по большей части люди цветущие и пользующиеся хорошей репутацией. Что же касается разных негодяев, которых я знал (а их было немало), то я думаю о них — обо всех без исключения — с удовольствием и доброжелательством». Отметим мимоходом, что это прекрасное замечание сделано по поводу известного нам стряпчего с его темными делами. Или, еще в одном месте, он утверждает, что если бы каким-нибудь волшебством жизнь могла заранее открыться перед нами, если бы наш еще юный взор мог пробежать по этим коридорам, заглянуть в эти залы, эти комнаты, где должны впоследствии разыгаться наши трагедии и постигнуть нас предстоящие кары, — мы и все друзья наши с ужасом отступили бы перед этим зрелищем! Набросав с неподражаемым изяществом и несравненной яркостью красок картину благополучия и чистых семейных радостей, красоты и доброты, среди богатой обстановки, он постепенно показывает нам, как прелестные героини этого семейства, все до одной, начиная с матери, проходят в свое время через темное облако несчастья, и заключает следующими словами: «Мы можем заглянуть в лицо смерти; но зная заранее, как это знают некоторые из нас теперь, что такое человеческая жизнь, — кто мог бы без трепета взглянуть в лицо часу своего рождения?»

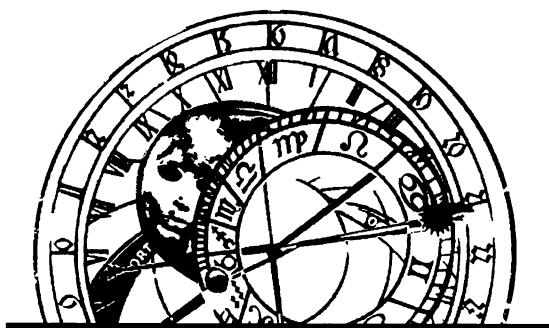
В конце одной страницы я нахожу примечание, которое — в сопоставлении с недавней смертью де Квинси принимает какое-то зловещее значение. *Suspiria de profundis*, по мысли автора, должны были получить особенно широкое развитие. В примечании говорится, что легенда о Сестрах Печали помечает естественное деление последующих частей книги. Таким образом, если первая часть (смерть Елизаветы и сокрушение ее брата) имеет логическое соотношение с Мадонной или Матерью Слез, а вновь появившаяся часть, *Миры Париев*, как бы посвящается Матери Вздохов, то на долю Матери Тьмы осталось только господ-

ство над *царством тьмы*. Но Смерть, с которой мы не советуемся относительно наших планов и у которой не можем испросить их одобрения, Смерть, допускающая нас мечтать о счастье и славе и не говорящая ни «да», ни «нет», внезапно выходит из своей засады и одним взмахом крыла сметает наши планы, наши мечты, наши идеальные настроения, куда мы мысленно помещали отрады наших последних дней!





Очерки об Эдгаре По



ПРЕДИСЛОВИЕ К «МЕСМЕРИЧЕСКОМУ ОТКРОВЕНИЮ»

Введение

(«Свобода мысли», 15 июля 1848 г.)

Последнее время об Эдгаре По говорили немало. Слава его вместе с томиком новелл пересекла океан. И он этого вполне достоин. Он поразил — вот именно, скорее поразил, нежели взволновал или привел в восторг. Обычно так и происходит с писателями, которые творят, опираясь лишь на свой, ими самими созданный метод — непосредственное выражение их натуры. Не думаю, что можно найти крупного писателя, который не попытался бы изобрести собственный метод, или, вернее, не попытался бы преобразить свою врожденную восприимчивость в некое продуманное искусство. Таким образом, все значительные писатели — в той или иной мере философы: Дидро, Лакло, Гофман, Гёте, Жан Поль, Матюрен, Оноре де Бальзак, Эдгар По. Обратите внимание: я беру самые разнообразные, самые противоположные дарования. Это положение истинно для всех, даже для Дидро, самого смелого, самого дерзновенного из них, ведь он со всем прилежанием принялся, если можно так выразиться, регистрировать и направлять вдохновение; вначале он изучил, а изучив, начал литературно разрабатывать свою восторженную, полнокровную и буйную природу. Возьмите Стерна — феномен, выражающий себя совершенно иначе, ценимый за совершенно иные заслуги. Этот человек также создал свой особенный метод. И все они, упорно и с неутомимой верой, копируют природу, природу в чистом виде. Какую? Свою. Тем более, что эти писатели чаще всего бывают гораздо удивительнее и своеобразнее, чем люди, просто одаренные богатым воображением, но не наделенные фи-

лософским даром, способные лишь тасовать и выстраивать в ряд события, но не умеющие классифицировать их и объяснять их тайный смысл. Я сказал, что это были люди поразительные. Скажу больше: как правило, они и стремятся поразить. Многие из них в своем творчестве, как мы видим, постоянно тяготеют к сверхъестественному. Это тесно связано, как я уже говорил, с изначальным духом *выискивания*, да простят мне сей варваризм, — с духом инквизиторским, расследовательским, уходящим корнями в самые глубинные впечатления детства. Другие, ярые естествоиспытатели, исследуют душу с помощью лупы, подобно тому, как врачи исследуют тело, и только даром портят глаза, пытаясь найти ее движущую пружину. Третьи, некая смесь из тех и других, пытаются сплавить обе системы в таинственное единство. Единство животного начала, единство флюидов, единство первичной материи — все эти современные теории порой странным образом одновременно западают в головы поэтов и в головы ученых. В заключение скажу, что рано или поздно, но неизбежно наступает миг, когда писатели из тех, о ком я говорю, начинают как бы завидовать философам и, в свою очередь, создают собственную систему естественных законов, порой даже с известной долей самоуверенности, не лишенной, однако, очарования и простодушия. Мы знаем Серафиту-са, Луи Ламбера и множество эпизодов из других книг, где Бальзак, великий дух, пожираемый законной гордостью энциклопедиста, пытается сплавить в единую законченную систему различные идеи, извлеченные из Сведенборга, Месмера, Марата, Гёте и Жоффруа Сент-Илера. Идея Единства преследовала и Эдгара По, и он также потратил ничуть не меньше сил, чем Бальзак, гоняясь за излюбленной мечтой. Несомненно, эти сугубо литературные умы, если уж берутся за такое дело, то пускаются в необычайную скачку сквозь философию. И когда они мчатся по путям, поистине им принадлежащим, они совершают неожиданные прорывы в неведомое и уклоны в сторону от обыденности.

В заключение скажу, что в писателе *любопытны* такие три черты: 1 — *собственный* метод; 2 — *удивительное*; 3 — *пристрастие к философии*; эти три черты, впрочем, и объ-

ясняют превосходство таких писателей. Отрывок из Эдгара По в переводе, который вам предстоит прочитать, представляет местами в высшей степени утонченное рассуждение, иногда довольно темное, а временами исключительно смелое. Для перевода нужно было составить свое мнение и «переварить» эту вещь, оставив ее такою, какова она есть. Особенно было важно точно следовать тексту. Некоторые места предстали бы темными, но в ином смысле, чем у Эдгара По, если бы мне вздумалось переводить его другими словами вместо того, чтобы рабски, дословно следовать тексту. Я предпочел изложить его на неуклюжем, порой даже нелепом французском языке, лишь бы передать во всей подлинности философский стиль Эдгара По.

Само собой разумеется, что «Свобода мысли» отнюдь не разделяет идей американского писателя и надеется угодить своим читателям, предлагая им эту возвышенную философскую диковинку.



ЭДГАР АЛЛАН ПО, ЕГО ЖИЗНЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Предисловие к «Необычайным историям», 1856 г.

*Перевод посвящается Марии Клемм,
пылкой и самоотверженной матери,
для которой поэт и написал эти стихи*

Ибо я чувствую, что там, в Небесах,
Когда ангелы перешептываются,
Среди имен, пылающих любовью, им не найти
Имени жарче, нежели имя *матери*,
И я уже давно зову этим великим именем Вас —
Ведь Вы мне больше, чем мать,
Вы пребываете в святилище моего сердца, где Вас
утвердила Смерть,
Исторгшая душу моей Виргинии.
Моя мать, безвременно умершая родная мать,
Была лишь *моею*; но Вы —
Вы мать той, кого я любил так нежно,
И потому Вы мне дороже моей собственной
матери
На целую бесконечность — так же, как моя жена
Моей душе дороже, чем она сама.

Ш. Б.

...Верно, твой хозяин — несчастливец, упорно гонимый неумолимым Роком, все более и более гневным, оттого-то все его песни кончались одним-единственным припевом, оттого-то погребальное пение над его мертвой Надеждой избрало сей печальный припев: «Никогда! О, никогда!»

Эдгар По. Ворон

На троне бронзовом Судьба, смеясь зловеще,
Для неудачников макает губку в желчь,
Нужда терзает их, свои сжимая клещи.

Теофиль Готье. Сумерки

Не так давно пред нашим судом предстал несчастный, на лбу которого красовалась редкостная и странная татуировка: *Удачи нет!* Таким образом, он носил над бровями клеймо, объясняющее всю его жизнь, как книга носит свое заглавие, и допрос показал, что эта отнюдь не обычная надпись была жестокой правдой. В истории литературы немало подобных судеб, воистину проклятых — есть люди, у которых на лбу, среди глубоко врезанных морщин, таинственными письменами написано слово: *неудачник*. Слепой Ангел Искупления хватает их и неустанно бичует, в назидание всем прочим. И пусть жизнь доказывает, что есть у них и талант, и добродетель, и призвание, что они отмечены благодатью — несмотря на все это, общество предаст их особой, им одним уготованной анафеме и винит их за те недуги, которые само и вызвало своими гонениями. Чего только не делал Гофман, чтобы обезоружить судьбу, и чего только не предпринимал Бальзак, заклиная удачу! Значит, существует все же сатанинское Провидение, уготовляющее злосчастье с колыбели? Провидение, что умышленно забрасывает людей с тонкой душевной организацией, ангельские души, во враждебную для них среду — как бросали христианских мучеников на цирковую арену? Значит, есть все же *святые* души, обещанные храму, обреченные идти к смерти и к славе по развалинам собственной жизни? Вечно ли будет одолевать избранные души кошмар «Сумерек»? Напрасно они противоборствуют, напрасно приноравливаются к свету, к его расчетливости, к его хитростям; они всячески остерегаются, закупоривают все ходы и выходы, закладывают тюфяками окна, защищаясь от случайного выстрела; но Дьявол пролезет к ним и через замочную скважину; совершенство их брони обернется пороком, и превосходство над ближним станет зародышем их будущего осуждения.

Взрыв с черепахою в когтях в простор безбрежный,
Орел роняет груз и темя им крушит —
Все гибелью грозит страдальцам неизбежной.

Ибо они обречены.

Во всем их облике читается Судьба: она сверкает у них в глазах зловещим блеском, руководит их поступками, течет по их артериям с каждым кровавым шариком.

Один прославленный писатель нашего времени написал книгу, где доказывал, что поэту нет достойного места ни в демократическом, ни в аристократическом обществе, и еще менее — при республике, уж скорее при абсолютной или ограниченной монархии. И кто бы сумел убедительно возразить ему? Сегодня, в поддержку его тезиса, я приношу новую легенду, добавляю нового святого к мартирологу мучеников: мне предстоит написать повесть об одном из этих знаменитых неудачников, о человеке, в избытке одаренном поэзией и чувством; он явился вослед многим, ему подобным, чтобы пройти суровую школу гения в этом низменном мире, среди низменных душ.

Какая душераздирающая трагедия — жизнь Эдгара По! И его смерть — страшная развязка, весь ужас которой только усугубляется ее обыденностью. Изо всех прочитанных документов я вынес убеждение, что Соединенные Штаты были для По лишь огромной тюрьмой, в которой он метался, одержимый лихорадочным возбуждением, свойственным тому, кто создан жить и дышать в мире благоуханий, а не в этом великом царстве варваров, в свете газовых рожков, — и его глубинная жизнь, духовная жизнь поэта — пусть даже пьяницы — была лишь неустанным усилием вырваться из невыносимой для него атмосферы. Безжалостна диктатура общественного мнения в демократическом обществе: не молитесь ни о милосердии, ни о прощении, ни о малейшей уступке, если затронуты законы, касающиеся многообразных и сложных случаев морали. Можно подумать, что наша святотатственная любовь к свободе породила новую тиранию — тиранию скотов, или зоократию, кровожадная бесчувственность которой пристала разве что Джаггернаутскому идолу. И некий биограф важно скажет нам — милый человек, а уж благонамеренный! — что если бы По захотел хоть немного упорядочить свой гений и подыскать для своего творческого дара более приемлемое на американской почве воплощение, то он вполне мог бы стать «денежным» автором, а money making author; другой — не сознавая собственного цинизма — скажет, что как

бы ни был велик гений По, но для него самого было бы куда лучше иметь всего лишь талант — поскольку талант всегда оплачивается дороже гения. Еще один, издатель газет и обзрений, друг поэта — признается, что произведения По мало подходили для этих изданий, и приходилось платить ему меньше, чем другим, поскольку стиль его был намного выше заурядного. — «Как пахнет мелочной лавкой!» — говоря словами Жозефа де Местра.

Иные зашли еще дальше, и, сочетая дубовую бездарность со свирепым буржуазным лицемерием, наперебой оскорбляли его; а после неожиданной гибели поэта читали мораль над его трупом, и особенно старался господин Руфус Гризволд, совершив тем самым — если сослаться на клеймящее слово Джорджа Грехэма — бессмертную подлость. Вероятно, предчувствуя свой внезапный конец, По указал в завещании Гризволда и Виллиса, препоручив им привести в порядок его сочинения, написать его биографию и восстановить его доброе имя. Длинно и обстоятельно бесчестил своего друга вампир-учитель в своей чудовишной, пошлой и злобной статье, открывающей посмертное издание сочинений Эдгара По. Так что же, выходит, нет в Америке закона, воспрещающего пускать на кладбище собак? Но что касается господина Виллиса, он, напротив, доказал, что благопристойность и доброжелательность всегда идут рука об руку с истинным разумом и что милосердие к собратьям нашим не только нравственный долг, но и веление вкуса.

Заговорите об Эдгаре По с американцем: возможно, он признает его гений, возможно, даже выкажет гордость по данному поводу; но при этом с язвительным высокомерием практического человека расскажет вам о безалаберной жизни поэта, о его проспиртованном дыхании, готовом загореться от пламени свечи, о его привычках — привычках бродяги; он расскажет вам, что Эдгар По — натура непостоянная, вне всяких правил, планета, сошедшая со своей орбиты, что он непрестанно ездил из Балтимора в Нью-Йорк, из Нью-Йорка — в Филадельфию, из Филадельфии — в Бостон, из Бостона — в Балтимор, из Балтимора — в Ричмонд. И если вы, взволнованные этой предысторией горестных событий, намекнете собеседнику,

что, по всей вероятности, не один поэт был виновен в своих несчастиях и что, должно быть, не так-то легко писать и мыслить в стране, где правят миллионы независимых монархов, в стране, где нет в прямом смысле слова ни столицы, ни аристократии — о, тогда вы увидите, как глаза вашего собеседника, расширяясь, начнут метать молнии, как на губах его вскипит пена уязвленного патриотизма — и вот уже сама Америка его устами изрыгает проклятия Европе, старой своей матушке, и философии былых времен.

Повторяю: у меня сложилось убеждение, что Эдгар По и его отечество существуют на разных уровнях развития. Соединенные Штаты — страна-исполин и в то же время страна-младенец; она, разумеется, завидует Старому Свету. Гордый развитием своей техники, противоестественно могучий, чуть ли не чудовище, этот вторгшийся в историю пришелец простодушно верит во всемогущество промышленности; он совершенно убежден, как и у нас в Европе горстка недоумков, что в конце концов промышленность сожрет и Дьявола. У них так дорого ценятся время и деньги! Практическая деятельность, раздутая до размеров всенародной мании, оставляет в умах слишком мало места для вещей не от мира сего. Кстати сказать, Эдгар По, будучи сам человеком благородного происхождения, проповедовал, что великое несчастье его страны заключается в отсутствии родовой аристократии. «Стоит принять во внимание, — говорил он, — что у народа, не имеющего аристократии, культ Прекрасного обречен на вырождение, измельчание и гибель». И само собой разумеется, что такой человек, который обличал соотечественников за дорогостоящую, вычурную роскошь — верный знак дурного вкуса, свойственного выскочкам; который расценивал Прогресс, эту великую идею современности, как явление, восхищающее одних лишь простофиль; который называл *усовершенствование* человеческих жилищ рубцеванием язв, а новые постройки — отвратительными коробками, — такой человек, надо полагать, был крайне одинок во всем, что касалось его мировоззрения. Он верил исключительно в незыблемое, вечное, *selfsame возвышенное*, и обладал — страшное преимущество в самовлюбленном обществе! — тем великим здравомыслием, в духе Макиавелли, что, по-

добно сияющему столпу, ведет за собой мудреца через пустыню истории. О чем бы подумал, что написал бы он, неудачник, если б услышал проповедницу сострадания, из любви к роду человеческому упраздняющую Ад, или философа от математики, предлагающего систему страхования, или узнал о подписке по одному су с головы на дело прекращения войн, об отмене смертной казни и орфографии — сих двух нелепиц, вполне соотносимых друг с другом! — и сколько еще ненормальных, *прислушиваясь к ветру*, пишут под его диктовку свои флюгерные вымыслы, и все оттого, что их пучит пустая стихия? И если вы к его непогрешимому прозрению истины прибавите неодолимую в иных случаях слабость; и эту острую утонченность чувства, когда фальшивая нота причиняет подлинную боль; и его изысканный вкус, не приемлющий никакого нарушения гармонии; и неутолимую любовь к Прекрасному, которая разрослась до болезненной страсти, — то вы не удивитесь, что для подобного человека жизнь стала адом, и он плохо кончил; скорее вы поразитесь, что он еще сумел так долго *протянуть*.

II

Семья По была одной из самых уважаемых в Балтиморе. Его дед с материнской стороны служил в чине *quarter-master-general* во время войны за Независимость, и Лафайет питал к нему глубокое уважение и дружеские чувства. Во время последнего приезда в Соединенные Штаты он навестил вдову генерала По с тем, чтобы высказать ей, насколько он благодарен ее мужу за оказанные услуги. Прадед Эдгара По женился на дочери английского адмирала Мак Брайда, связанного родством со знатнейшими домами Англии. Дэвид По, отец Эдгара и сын генерала, страстно влюбился в английскую актрису, Элизабет Арнолд, знаменитую своей красотой; он бежал с нею, они обвенчались. Чтобы еще теснее связать с нею свою судьбу, он стал актером и вместе с женой играл во многих театрах, в крупных городах Америки. Супруги умерли в Ричмонде почти одновременно, оставив без помощи, в жесточайшей бедности троих маленьких детей, в том числе Эдгара.

Эдгар По родился в Балтиморе в 1813 году. Дату рождения я привожу с его же слов, поскольку он возразил Гризволду, когда тот назвал годом его рождения 1811. Если чье-либо рождение подчинялось законам романа, по выражению нашего поэта, — то именно обстоятельствами его рождения повелевал романтический дух, зловещий и бурный! Да, Эдгар По — дитя страсти и приключения. Богатый городской купец, мистер Аллан, пленился хорошеньким ребенком, которого природа одарила самыми привлекательными чертами, и, поскольку своих детей у него не было, взял сироту к себе. Отныне мальчик получил имя Эдгара Аллана По. Таким образом, он вырос в достатке и мог иметь законную надежду на состояние, что придает человеку гордую уверенность в себе. Приемные родители взяли его в путешествие по Англии, Шотландии и Ирландии, затем сами воротились на родину, а мальчика оставили у доктора Бренсби, который возглавлял школу в Стокньюингтоне, близ Лондона. В своем «Вильяме Вильсоне» Эдгар По описал этот странный дом, постройку в елизаветинском стиле, и свои школьные впечатления.

Он вернулся в Ричмонд в 1822 году и продолжил занятия на родине, у лучших профессоров. В Шарлотсвилльском университете, куда он поступил в 1825 году, он резко выделялся не только умом, почти неправдоподобным, но также почти губительным кипением страстей — ранняя зрелость, типично американская! — что в конце концов и стало причиной его исключения. Кстати, не лишне отметить, что уже в Шарлотсвиле По обнаружил замечательные способности к физико-математическим наукам. После он часто будет использовать их в своих странных рассказах, получая самый неожиданный эффект. Но у меня есть основания думать, что совсем не этой стороне своих сочинений он придавал самое важное значение и что — вероятно, вследствие того же раннего развития — он смотрел на их научную сторону как на поверхностное трюкачество по сравнению с произведениями, созданными чистым воображением. Какие-то злосчастные карточные долги привели к внезапному разрыву между ним и приемном отцом, и Эдгар — любопытнейший факт, доказывающий, что бы там ни говорили, рыцарственность его впечатлительной

натуры — задумал пойти на войну и биться вместе с эллинами против турок. Итак, он отправился в Грецию. Что он там делал? Изучал ли античные берега Средиземноморья? Почему мы вдруг находим его в Санкт-Петербурге без паспорта, почему он оказался замешан в какие-то темные дела и был вынужден обратиться к американскому послу, Генри Миддлтону, дабы избежать русского суда и вернуться на родину? Об этом нам неизвестно: здесь в его жизни пробел, и заполнить его может только он сам. Жизнь Эдгара По, его юность, приключения в России и переписка уже давно были объявлены в американских газетах, но так и не вышли в свет.

В 1829 году, воротясь в Америку, он изъявил желание поступить в Вест-Пойнтскую военную школу, был принят и, как везде, где бы он ни учился, блистал своим необычайным умом, не признающим никакой дисциплины — отчего и был исключен через несколько месяцев. Тогда же в его приемной семье произошло событие, повлекшее за собой важные для всей его дальнейшей жизни последствия. Госпожа Аллан, к которой он питал истинно сыновнюю привязанность, умерла, и господин Аллан женился на молодой женщине. Произошла домашняя ссора — история странная и непонятная, ничего не могу о ней сказать, поскольку ни один биограф не может ее объяснить. Так что не приходится удивляться, что Эдгар По окончательно разошелся с господином Алланом, и тот, имея детей от второй жены, полностью исключил приемыша из своего завещания.

Вскоре после того как Эдгар По оставил Ричмонд, он издал томик стихов; то был поистине ослепительный восход нового светила. Для того, кто умеет чувствовать английскую поэзию, в его стихах сквозило нечто внеземное — умиротворение в самой печали, чудная величавость и ранний опыт — думаю, точнее было бы назвать его *врожденным* опытом — словом, в его стихах были все признаки, присущие стихам великих поэтов.

На недолгий срок нищета сделала его солдатом, и вполне вероятно, что во время тягостных досугов гарнизонной службы он накапливал темы своих будущих сочинений — таких странных, созданных, казалось, исключительно ради

нашего убеждения в том, что странность — одна из непременных частей, составляющих прекрасное. Воротясь к литературной жизни — единственной стихии, в которой только и может дышать избранная душа из среды деклассированных, — По умирал в невообразимой нищете, когда счастливый случай помог ему подняться. Владелец одного журнала учредил две премии: одну — за лучший рассказ, другую — за лучшее стихотворение. Чей-то исключительно прекрасный почерк привлек внимание господина Кеннеди, председателя жюри, и ему захотелось самому прочесть эту рукопись. Случилось так, что обе премии присудили Эдгару По; но выплатили только одну. Председатель жюри захотел увидеть незнакомца. Издатель газеты привел к нему юношу поразительной красоты, в потрепанном платье, застегнутом до самого подбородка; тем не менее, тот держался джентльменом — гордым, хотя и голодным. Кеннеди повел себя благородно. Он познакомил По с Томасом Уайтом, основавшим в Ричмонде журнал «Южный литературный вестник». Уайт был предприимчив, но не имел никакого литературного таланта: ему требовался помощник. Таким образом, Эдгар По, будучи еще очень юным — в двадцать два года — стал редактором журнала, судьба которого всецело зависела от него. Процветание журнала — прямая заслуга По. Впоследствии «Южному литературному вестнику» пришлось признать, что именно этому треклятому чудаку, этому неисправимому забулдыге он обязан увеличением числа подписчиков и прибыльным успехом. Именно в этом журнале впервые появились «Несравненное приключение некоего Ганса Пфааля» и многие другие рассказы, с которыми предстоит познакомиться нашим читателям. Почти два года Эдгар По, трудясь с необычайным рвением, удивлял читателей сочинениями, написанными в совершенно новом жанре, и критическими статьями, словно заведомо созданными для привлечения взоров своею живостью, ясностью и обоснованной строгостью оценок. Это были рецензии на книги всех жанров, и здесь серьезное образование молодого редактора оказалось отнюдь не лишним. Следует знать, что за этот немалый труд платили пятьсот долларов, то есть две тысячи семьсот франков в год. «Незамедлительно, — говорит Гризволд (сле-

дует понимать: «Богачом вообразил себя, дурак этакий!»), — он женился на юной девушке, прекрасной, очаровательной, самоотверженной и доброй от природы, но — *не имеющей ни гроша за душой*», — презрительно добавляет он. То была Виржиния Клемм, кузина поэта.

Несмотря на услуги, оказанные Эдгаром По журналу, не прошло и двух лет, как господин Уайт порвал со своим редактором. Причина разрыва, очевидно, кроется в приступах ипохондрии и в запоях поэта — к сожалению, эти недуги были свойственны По и омрачали его разум — так темные тучи придают самому романтическому пейзажу характер неизгладимой скорби. Отныне мы видим, как этот неудачник раскидывает свой шатер то здесь, то там, подобно кочевнику в пустыне, переправляя своих легковесных пенатов из одного крупного города Штатов в другой. И везде он то возглавляет журналы, то блистательно сотрудничает в них. С поразительной быстротой расходятся его критические и философские статьи, его волшебные рассказы, собранные под заглавием «Гротески и арабески», — титул примечательный и оправданный, ибо гротескные узоры и арабески исключают портретное изображение человеческого лица, и таким образом становится ясно, что творчество По прежде всего вне- и надчеловеческое. Из оскорбительных и скандальных газетных сообщений мы скоро узнаем, что Эдгар По и его жена очутились в Фордхэме, оба опасно больные и в полной нищете. После смерти жены он испытал первые приступы белой горячки. Неожиданно в газете появляется новое сообщение — более чем беспощадное — обвиняющее его в презрении к людям и в отвращении к миру: это свидетельствует, что о нем судили, приписывая ему характер его персонажей — да, именно таков был приговор общественного мнения, с которым он сражался всю свою жизнь, и это одна из самых безнадежных, самих изнурительных битв, какие я только знаю.

Разумеется, он зарабатывал деньги, и литературный труд хоть как-то кормил его. Но у меня есть доказательства, что ему без конца приходилось преодолевать всевозможные препятствия, и это отбивало охоту писать. Он, подобно многим писателям, мечтал о собственном журнале, ему

хотелось быть у себя дома, ведь он выстрадал немало, прежде чем страстно возжелал надежного пристанища для своей мысли. Чтобы раздобыть необходимую для этого сумму денег, он прибегал к чтениям. Всем известно, что такое эти чтения: своего рода спекуляция, Коллеж де Франс, предоставленный в распоряжение всех литераторов, притом автор может опубликовать свои чтения лишь после того, как извлечет из них все возможные доходы. По уже выступал в Нью-Йорке с чтением «Эврики», своей космогонической поэмы, вызвавшей множество споров. На сей раз он решил провести чтения у себя на родине, в Виргинии. Он предполагал, как писал Виллису, совершить турне по Западу и Югу, надеясь на поддержку своих друзей-литераторов и бывших однокашников по колледжу и Вест-Пойнту. Таким образом, он посетил главные города Виргинии, и Ричмонд вновь узрел того, кого знал прежде столь юным, столь бедным, столь оборванным. Все, кто не видал Эдгара По со времен его безвестности, теперь толпой сбегались посмотреть на своего знаменитого земляка. И он предстал перед ними — прекрасный, изысканно одетый, приличный — словом, гений. Полагаю даже, что на какое-то время он настолько к ним снизошел, что соизволил вступить в общество трезвости. Для чтений он выбрал тему столь же широкую, сколь возвышенную: «Поэтический принцип», и развил ее с присущей ему ясностью ума. Будучи истинным поэтом, он полагал, что цель поэзии и ее принцип — явления одной природы, и что поэзия не должна иметь в виду ничего иного, кроме себя самой.

Прекрасный прием, оказанный поэту, исполнил его бедное сердце гордостью и радостью; он был настолько очарован, что даже говорил о своем желании поселиться в Ричмонде и окончить свои дни в краю, любимом с детства. Но в Нью-Йорке его ждали дела, и он отправился туда четвертого октября, жалуясь на лихорадку и слабость. Приехав в Балтимор шестого вечером и по-прежнему чувствуя недомогание, он велел снести свой багаж на платформу, с которой должен был отправиться в Филадельфию, а сам зашел в кабачок — подкрепиться чем-либо горячительным. К несчастью, там он встретил старых знакомых и задержал-

ся. На рассвете, в бледном полумраке, на дороге было найдено тело — так, кажется, принято говорить в таких случаях? — нет, он еще жил, но Смерть уже отметила его своею царственной печатью. На теле неизвестного не нашли ни бумаг, ни денег и отнесли его в больницу. Там и скончался в тот же вечер Эдгар По, в воскресенье седьмого октября 1849 года, в возрасте тридцати семи лет, сраженный *delirium tremens*, белой горячкой, — ужасной гостьей, уже посещавшей его мозг раз или два. Так оставил наш мир величайший в истории литературы герой, гениальный человек, написавший в своем «Черном коте» пророческие слова: «Какую болезнь можно сравнить с алкоголизмом!»

Его смерть — почти самоубийство, да, заранее подготовленное самоубийство. И, разумеется, она послужила причиной скандала. Вопль поднялся великий, и *Добродетель*, в самом разнузданном сладострастии, дала полную волю своему высокопарному *ханжеству*. Самые терпимые заупокойные молитвы не обошлись без неизбежных буржуазных нравоучений — уж как тут было упустить такой подходящий случай! Господин Гризволд клеветал; господин Виллис, искренне огорченный, был хотя бы благопристоен. Увы, тот, кто преодолел самые неприступные вершины эстетики и спустился в самые неизведанные бездны человеческого разума, тот, кто в течение всей своей жизни, похожей на непрерывную бурю, находил все новые средства и свежие приемы для того, чтобы изумлять воображение и пленять умы, устремленные к Прекрасному, — скончался после мучительных часов агонии на больничной койке — какая судьба! Столько величия и горя — и всего лишь для того, чтобы вызвать вихрь буржуазного пустословия и пойти на прокорм добродетельным газетчикам, одарив их неисчерпаемой темой!

Ut declamatio fias!

Подобные спектакли не новы; к свежей могиле прославленного человека слетаются все скандальные слухи. Впрочем, общество не любит неисправимых неудачников — то ли они омрачают ему праздники, то ли оно, глядя на них, испытывает невольные угрызения совести, при всем своем простодушии видя в них живой укор, и в этом оно, бесспорно, право. Кто не помнит парижской гово-

рильни по поводу смерти Бальзака — а ведь он умер вполне благопристойно! А совсем недавно — сегодня, двадцать шестого января тому как раз исполняется год, — наш писатель, человек безукоризненно порядочный, возвышенный ум, *всегда прозорливый*, скромно, никому не причинив беспокойства, — настолько скромно, что сама эта скромность походила на презрение — на самой грязной улице, какую только смог найти, отрешил свою душу от жизни — какое страшное назидание! какое утонченное убийство! Один знаменитый журналист, которого сам Иисус не научил бы великодушию, нашел этот случай достаточно веселым, чтобы почтить его грубым каламбуром. В длинный список *прав человека*, которые так любит перечислять мудрость XIX столетия, забыли внести два довольно важных пункта: право противоречить самому себе и право *уйти*. Но общество рассматривает того, кто уходит по своей воле, как великого наглеца; оно охотно покарало бы иных покойников — как тот несчастный солдат, страдающий манией вампиризма, — при виде трупа оно приходит в безумное исступление. И все же можно утверждать, что под давлением определенных обстоятельств, при определенной несовместности человека с миром, если к тому же иметь твердую веру в определенные догмы и в переселение душ, самоубийство может оказаться самым благоразумным поступком в жизни. Так возникает союз призраков, уже довольно многочисленных, они привычно являются нам, и каждый из них восхваляет свой нынешний покой и манит последовать его примеру.

Признаемся все же, что в откликах на скорбную кончину творца «Эврики» было и несколько утешительных исключений, иначе можно было бы впасть в отчаяние и бой оказался бы проигранным. Как я уже говорил, господин Виллис правдиво и даже с чувством рассказал о добрых отношениях, которые всегда связывали его с Эдгаром По. Господа Джон Вейл и Джордж Грехэм воззвали к совести господина Гризволда. Господин Лонгфелло — и его заслуга тем более велика, что сам Эдгар По отозвался о его творениях чрезвычайно сурово, — сумел найти слова, достойные поэта, чтобы восхвалить высокое мастерство Эдгара По как в стихах, так и в прозе. Некто неизвестный на-

писал, что литературная Америка потеряла самую умную голову.

Но разбито, истерзано и пронзено семью мечами было лишь сердце госпожи Клемм. Эдгар был для нее всем — и дочерью, и сыном. «Жестока была судьба, — говорит Виллис, у которого я почти дословно заимствую эти подробности, — жестока была судьба того, кого опекала и хранила эта женщина!» Ибо Эдгар По был тяжкой обузой; не говоря уже о том, что писал он «скучно и неудобопонятно», да к тому же «в стиле, слишком возвышающимся над средним умственным уровнем, чтобы ему можно было хорошо платить», он еще вечно увязал в денежных затруднениях, и часто у него и его больной жены не было самого необходимого. Однажды в кабинет к Виллису вошла старая, кроткая и степенная женщина. То была госпожа Клемм. Она *искала работы* для своего дорогого Эдгара. Биограф рассказывает, что он был искренне взволнован, и не только ее горячей похвалой талантам сына и верной их оценкой, но и самим ее обликом — тихим, печальным голосом, прекрасными и величественными, хотя и слегка старомодными манерами. «Еще много лет, — добавляет он, — видели мы, как сия неутомимая служительница гения, бедно и скудно одетая, ходила из одной газетной редакции в другую, пытаясь продать статью или стихотворение; иногда она говорила, что он болен, — единственное объяснение, единственная причина, неизменное извинение за сына, когда его внезапно настигал период бесплодия, знакомый всем писателям с чувствительными нервами, — но никогда не позволяла она своим устам проронить ни звука, который можно было бы истолковать как сомнение в любимом сыне или как уменьшение ее веры в его гений и добросовестность. Когда ее дочь умерла, она привязалась к нему, уцелевшему в гибельной битве, с удвоенным пылом материнской нежности, она делила с ним кров, заботилась о нем, ходила за ним, защищала его от жизни и от самого себя. Нет ни малейшего сомнения, — заключил Виллис со всею своею высокой и беспристрастной правотой, — что если преданность женщины, рожденная первой любовью и питаемая человеческой страстью, прославляет и освящает предмет этой любви, то сколько добрых слов заслуживает

тот, кто *внушил* чувство, подобное чувству госпожи Клемм — чистое, бескорыстное, святое, как любовь ангела-хранителя? Клеветники Эдгара По могли бы понять, что неотразимые чары, которыми он обладал от природы, не могли быть ничем иным как добродетелями».

Мы угадываем, сколь ужасна для бедной женщины была весть о его смерти. Она написала Виллису письмо. Вот несколько строк из него:

«В это утро я узнала о смерти моего дорогого Эдди... Не могли бы вы сообщить мне хоть какие-нибудь подробности, мелочи?.. Ах, не покидайте вашего несчастного друга в столь горьком несчастье... Скажите М., чтобы он зашел ко мне: у меня есть поручение к нему от моего бедного Эдди... Нет нужды просить вас о том, чтобы вы поместили извещение о его смерти и говорили бы о нем только хорошее. Знаю, что так вы и поступите. *Но непременно скажите и о том, каким любящим сыном был он для меня, безутешной матери!..*»

Эта женщина кажется мне более великой, чем героини античности. Сраженная непоправимым горем, она только и думает о добром имени того, кто был для нее всем, ей было мало, что его величают гением, — ей еще было нужно, чтобы все знали: он был человеком долга и обладал любящим сердцем. Нет сомнения, что эта идеальная мать — очаг и светоч, зажженные от чистейшего небесного луча, была ниспослана свыше, дабы послужить живым примером для наших народов, слишком мало пекущихся о преданности, героическом самоотвержении и обо всем прочем, что превышает обычного долга. И разве не было бы справедливо, если бы на творениях поэта написали имя той, что сияла над его жизнью духовным солнцем. Своей славой он увековечит имя женщины, чья нежность умела врачевать его раны, и образ ее всегда будет витать над перечнем мучеников от литературы.

III

Жизнь Эдгара По, его привычки, манеры, внешность — словом, все, из чего складывается его личность, — предстают пред нами как нечто сумрачное и в то же время осле-

питательное. Это фигура странная, влекущая к себе и, подобно его творениям, отмеченная неизъяснимой печатью грусти. Одарен он был слишком щедро и разносторонне. В юности он выказал редкую способность к физическим упражнениям, и при невысоком росте, с маленькими, женскими руками и ногами — да и все в нем было почти женственным, — он не раз доказывал свою незаурядную силу. Так, в юности он выиграл пари, проплыв такое большое расстояние, что это кажется неправдоподобным. Можно подумать, что Природа намеренно наделяет могучим темпераментом тех, от кого ожидает многого — подобно тому, как дает жизнестойкость деревьям, символизирующим скорбь и смерть. Эти люди, даже если на вид они кажутся хрупкими, сотворены по мерке атлетов, они равно годны и для пиров, и для трудов; они то ни в чем не знают удержу, то способны на удивительную воздержанность.

Есть несколько мнений, касающихся Эдгара По, с которыми все соглашались единодушно, например, его врожденная незаурядность, его красноречие и красота, которой, как говорят, он чуть-чуть гордился. Его манеры — странная смесь надменности и трогательной нежности — отличались уверенностью. Лицо, движения, жесты, посадка головы — все говорило о том, особенно в его добрые дни, что это натура избранная. Весь его облик источал проникновенную торжественность. Он и в самом деле был отмечен Природой — такие люди даже в толпе невольно останавливают наблюдательный взгляд и занимают ум. Даже сам желчный педант Гризволд признается, что когда он навестил По — бледного, еще не оправившегося после болезни и смерти жены, — то был чрезвычайно поражен не только безукоризненностью манер поэта, но и его аристократической внешностью, и благоуханным воздухом его жилища, впрочем, довольно скромно обставленного. Гризволду не дано знать, что поэт в большей мере, чем любой другой, владеет чудесной привилегией, приписываемой парижанкам и испанкам, — он умеет украсить себя пустяком, а посему Эдгар По сумел бы даже лачугу преобразить во дворец, подобного которому еще никто не видывал. Разве не описывал он в самом увлекательном и оригинальном

духе убранство и расположение сельских домов и садов, и преобразенные искусством пейзажи?

Существует прелестное письмо госпожи Френсис Осгуд, одной из друзей По, где она сообщает нам любопытнейшие подробности о его привычках, характере и семейной жизни. Эта женщина, будучи сама писательницей, смело отрицает все пороки и проступки, в которых упрекали поэта.

«С мужчинами, — возражает она Гризволду, — он, вероятно, и был таким, как вы расписываете, и с точки зрения мужчины вы, может быть, и правы. Но я утверждаю, что с дамами он был совершенно иным, и ни одна знакомая господина По не могла не принимать в нем живейшего участия. Я всегда видела в нем образец изящества, предупредительности и благородства...

Впервые мы встретились в «Астор-Хаузе». Виллис передал мне за табльдотом «Ворона», о котором автор, сказал он, желал бы узнать мое мнение. Таинственная, неземная музыка этого странного стихотворения пронзила мою душу так глубоко, что когда я узнала о желании По представиться мне, я испытала неизъяснимое ощущение, близкое к ужасу. И он явился — прекрасная, гордая голова, темные глаза, излучающие свет избранности, свет чувства и мысли; была в его манерах непередаваемая смесь высокомерия и нежности; он поклонился мне — сдержанно, строго, почти холодно, но под этой холодностью трепетала столь явная симпатия, что невольно я прониклась глубоким волнением. С того мгновения и до самой его смерти мы оставались друзьями... и я знаю, что он в своих последних словах вспомнил обо мне, покуда его царственный разум еще не был свергнут со своего трона, и дал мне последнее доказательство своей дружбы.

Но наилучшим образом проявился характер По среди семьи, в его простом и в то же время поэтичном доме. Резвый, любящий, остроумный, порой уступчивый, а порой и недобрый, словно избалованное дитя, он всегда находил для своей юной, нежной и обожаемой жены, а также для всех, кто приходил к нему, будь то даже в разгаре изнурительного литературного труда, и приветливое слово, и

добрую улыбку, и другие деликатные знаки внимания. Бесконечные часы проводил он за столом, под портретом своей *Линор*, умершей возлюбленной, и всегда сосредоточенный, всегда целеустремленный, запечатлевал своим прекрасным почерком блестящие фантазии, вспыхивающие в его удивительном, вечно бодрствующем мозгу. Вспоминаю, как однажды утром я увидела его более веселым и оживленным, чем обычно. *Виргиния*, его кроткая жена, просила меня зайти, и я не могла противиться ее просьбам... Я застала его за работой над циклом статей, впоследствии опубликованных под общим названием «*The literati of New York*». «Видите, — сказал он мне, с торжествующим смехом скручивая в свитки многочисленные бумажные полосы (он обычно писал на таких узких полосах бумаги, разумеется, затем, чтобы они *в точности соответствовали* газетным столбцам), — вот сейчас я вам наглядно, исходя из длины свитков, покажу, насколько я ценю каждого члена вашей литературной братии. В каждой такой полоске один из вас скручен в бараний рог и досконально разобран. Подите сюда, *Виргиния*, и помогите мне!» И они вдвоем стали поочередно раскручивать каждый свиток. *Виргиния*, смеясь, отступала в угол, держа бумажную полоску за один конец, а ее муж, раскручивая свиток, пятился в противоположный угол. «И кто же этот счастливец, — спросила я, — кого вы сочли достойным столь непомерно длинной похвалы?» — «Да вы только послушайте ее! — вскричал он, — можно подумать, будто ее тщеславное сердечко еще не подсказало ей, что это она сама и есть!»

Когда мне пришлось уехать на лечение, я поддерживала с *Эдгаром По* регулярную переписку, уступая настояниям его жены, полагавшей, что я могу оказать на него благотворное влияние... Ну а что касается любви и полного доверия между *Эдгаром По* и его женой, которыми я так восхищалась, то как бы горячо и убедительно я ни рассказывала об этом, не в моих силах дать полное представление об их отношениях. Не буду говорить о поверхностных поэтических увлечениях, в которые порой его втягивал романтический строй его души. Думаю, что *Виргиния* была единственной женщиной, которую он любил истинно и постоянно...»

В новеллах По нет речи о любви. По крайней мере, «Лигейя» и «Элеонора» не являются любовными историями в собственном смысле слова — главная мысль, от которой раскручивается действие, совсем иная. Возможно, он полагал, что язык прозы не достигает высот этого капризного, почти неизъяснимого чувства, поскольку стихи его, напротив, в высшей мере насыщены им. Божественная страсть является в них блистательной, звездной и всегда отуманенной неисцелимой печалью. Порою он говорит о любви в своих статьях — говорит о ней как о предмете, самое имя которого заставляет его перо трепетать. В «Поместье Арнгейм» он станет утверждать, что необходимые для счастья четыре первичных условия таковы: жизнь на вольном воздухе, *любовь к женщине*, отказ от какого бы то ни было честолюбия и сотворение новой Красоты. Мысль госпожи Френсис Осгуд о рыцарственном отношении Эдгара По к женщинам более всего подтверждается тем, что во всем его творчестве, несмотря на одаренность в изображении гротеска и ужаса, нельзя найти ни единого эпизода, где был бы намек на похоть или хотя бы упоминались чувственные наслаждения. Можно сказать, что его женские портреты окружены ореолом: они сияют в средоточии неземных туманов и написаны восторженной кистью поклонника. Что же до «поверхностных поэтических увлечений», то стоит ли удивляться, что такая нервная натура, основная черта которой — стремление к Красоте, способна порою со всем страстным пылом возвращать влюбленность — этот неистовый и благоуханный цветок, для которого бурное воображение поэта — самая подходящая почва?

О его удивительной красоте, упоминаемой многими биографами, можно, я думаю, составить себе приблизительное понятие с помощью тех смутных, но все же характерных оттенков смысла, которые составляют значение слова *романтический*, — оно относится главным образом к разновидности красоты, вся сила которой — в выразительности. В Эдгаре По прежде всего привлекал внимание огромный лоб, выпуклости которого выдавали бьющую через край одаренность в той сфере, которую они представ-

ляли — в сфере точных наук, анализа, причинных связей, — но надо всем парило в горделивом спокойствии чувство идеального — эстетическое чувство. И тем не менее, несмотря на эти дары, а может быть, именно вследствие их чрезмерности, голова его, если смотреть в профиль, вряд ли была красива. Так обычно бывает, когда дух преобладает надо всем: нехватка может проистекать от избытка, а скудость в одном — от избытка в другом. У него были большие глаза, и темные, и полные света, с неуловимым оттенком, близким к фиолетовому; крупный, благородно очерченный нос, печальные тонкие губы, порою беглая улыбка, светлый загар, как бы рассеянное выражение обычно бледного лица с едва намеченной тенью привычной печали.

Разговор его был замечательно интересным и насыщенным. По не был, что называется, краснобаем — это было бы ужасно — да впрочем, банальностей он не выносил ни в словах, ни на бумаге; но обширность его знаний, могучая выразительность языка, глубина исследований, своеобразие впечатлений, почерпнутых им во многих странах, делали его речь бесценным уроком. Его красноречие, поэтическое по сути, но логично развивающее мысль и все же выходящее за пределы любой из нам известных логических систем; совокупность образов, взятых им из того мира, куда редко вторгается большинство заурядных умов; необычайное умение выводить из очевидных и всеми приемлемых положений таинственные и совершенно новые умозаключения, открывать удивительные перспективы; словом — искусство восхищать и пробуждать в собеседнике мысль, мечту, вырывать души человеческие из заплесневелой косности, — таковы были ослепительные дары, о которых многие сохранили воспоминание. Но порою случилось — так, по крайней мере, утверждают, — что поэт, повинувшись разрушительной прихоти, внезапно сбрасывал своих друзей с небес на землю какой-нибудь удручающе цинической выходкой, безжалостно уничтожая создание своего духа. Следует особо отметить, что он был не слишком-то разборчив в выборе собеседников, но думаю, что читатель без труда найдет в истории немало великих, своеобразных умов, для которых любая компания была хоро-

ша. Иные души, одинокие среди толпы, находят усладу в монологе, и что им общественное благоприличие! Словом, это своего рода братское чувство, замешанное на презрении.

Следует все же сказать несколько слов о его так называемом пьянстве, заслужившем скандальную славу и столько упреков, что невольно приходишь к мысли, будто все писатели Соединенных Штатов, за исключением одного По, — ангелы трезвости. Многие версии правдоподобны, и ни одна не исключает другую. Прежде всего я обязан отметить, что Виллис и госпожа Осгуд утверждают оба, будто довольно было даже капли вина или ликера, чтобы выбить По из колеи. Впрочем, нетрудно представить, отчего этот поистине одинокий, поистине глубоко несчастный человек, которому, вероятно, любое общественное устройство казалось нелепостью и ложью, этот человек, гонимый безжалостной судьбою, столь часто повторял, что общество — всего лишь скопище несчастных (Гризволд приводит эти слова По со всем негодованием, на какое только способен человек, сам будучи втайне того же мнения, но с тою разницей, что уж он-то никогда не выскажет его вслух), а потому, говорю я, вполне естественно предположить, что поэт, с детства предоставленный самому себе и привыкший изнувать свой мозг в постоянном упорном труде, искал порою блаженного забытья в бутылке. Литературные дрызги, головокружительный полет в бесконечность, семейные горести, унижения нищеты — ото всех этих неурядиц он бежал в черный мрак пьянства, словно в заранее уготованную могилу. Но, каким бы приемлемым ни казалось это объяснение, я не считаю его всеобъемлющим и готов опровергнуть самого себя, поскольку оно кажется обидно упрощенным.

Я узнал, что пил он не как тонкий ценитель вин, но как варвар — торопливо, истинно по-американски экономя время, пил самоубийственно, словно было в нем *ничто*, подлежащее истреблению, а *worm that would not die*. Рассказывают, что, собираясь вновь жениться (уже было дано объявление о браке, но когда его поздравляли со вступлением в союз, суливший ему высокое положение, богатство и счастье, он сказал: «Возможно, что вы и вправду читали объявление, но зарубите себе на носу: я не женюсь!»), он

отправился, мертвецки пьяный, к соседям своей невесты, повергнув их в негодование — то есть прибегнул к своему пороку как к крайнему средству, лишь бы не оскорбить клятвы, которую он дал умершей, чей образ, так чудесно воспетый им в «Аннабел Ли», всегда жил в его сердце. И в большей части случаев, когда он предавался пьянству, я вижу драгоценный факт предумышленности, доказанный и подтвержденный.

С другой стороны, я читаю в пространной статье «Южного литературного вестника» — того самого журнала, процветанию которого он положил начало — что от этой страшной привычки никогда не страдали ни чистота и завершенность его стиля, ни ясность мысли, ни приверженность к труду; что запой предшествовал созданию большей части его великолепных произведений либо следовал за ними; что после выхода в свет «Эврики» он, к сожалению, вновь предался своей пагубной склонности и что в Нью-Йорке, в то самое утро, когда вышел в свет «Ворон», в тот самый час, когда имя поэта было у всех на устах, — он, неприлично шатаясь, плелся по Бродвею. Обратите внимание, что слова «предшествовал либо следовал» как раз и указывают на то, что опьянение было для поэта либо побудительным, либо успокоительным средством.

Итак, совершенно неоспоримо, что за беглыми и яркими впечатлениями, тем более беглыми и яркими, чем чаще они повторяются, причем их появлению предшествует сигнал, своего рода предупреждение (будь то удар колокола, музыкальная нота или забытый аромат), неизбежно следует событие, аналогичное другому, изначально знакомому и занимающему свое место в цепи таких же, ранее явленных событий, похожих на странные, повторяющиеся сны; и совершенно неоспоримо, что есть в опьянении не только вереница сновидений, но и логическая связь умозаключений, для возрождения которых необходима та же самая питательная среда, что впервые вызвала их к жизни.

Если читателю не надоело следовать за ходом моих рассуждений, он, вероятно, уже угадал, к какому я пришел выводу: думаю, что по большей части — но, разумеется, не всегда — пьянство Эдгара По служило ему мнемоническим

средством, методом его работы — методом сильнодействующим и пагубным для него, но соответствующим его страстной натуре. Поэт приучился пить, как иной добросовестный литератор приучается вести систематические записи. Он не умел противиться желанию вновь обрести свои чудесные или страшные видения, утонченные замыслы, явленные ему в промчавшейся буре; эти мечты, его давние знакомые, властно притягивали его, и ради встречи с ними он выбирал самый опасный — кратчайший путь. И можно сказать, что творчество, которым мы сегодня наслаждаемся, убило его.

IV

О произведениях этого удивительного гения я могу сказать очень мало; читатель сам даст понять, что он о них думает. Хотя это было бы для меня нелегким делом, но все же, вероятно, я сумел бы разобраться в его методе и объяснить его приемы — особенно в тех произведениях, где главный эффект основан на тщательно разработанном анализе. Я мог бы посвятить читателя в тайны их сотворения и долго распространяться о том, как американский гений заставляет его, читателя, радоваться одоленному препятствию, разрешенной загадке, ловкому ходу, — словом, вызывает его на игру, которой тот наслаждается, увлекаясь, как ребенок, с почти извращенным восторгом погружаясь в мир возможностей и предположений, в мир *уток*, которому утонченное мастерство сообщало полное правдоподобие. Никто не станет отрицать, что По — непревзойденный фокусник, но я знаю, что сам он предпочитал другой род своих творений. Я хотел бы привести более важные замечания, впрочем, весьма краткие.

Однако известность ему принесли не эти вещественные чудеса — нет, он завоевал восхищение всех мыслящих людей своею любовью к Прекрасному, своим проникновением в законы гармонии, без которых нет Красоты; своей поэзией, глубокой и печальной, но тончайшей выделки, прозрачной и точной, словно оправленный кристалл; своим восхитительным стилем, чистым, своеобразным и сжатым, словно кольчужные звенья, стилем послушным и до-

тошным, в котором все неприметно направляет читателя к цели; и, наконец, прежде всего своим особым даром, неповторимым характером, позволяющим живописать и объяснить в непогрешимой, потрясающей, повергающей в ужас манере *случаи, исключительные с точки зрения нравственности*. Дидро, один на сотню — писатель-сангвиник; Эдгар По — пишет нервами, и даже, вероятно, чем-то, что превышает нервы: он лучший из всех, кого я знаю.

Разработка темы у Эдгара По всегда начинается невольным затягиванием в нее читателя — условно попадаешь в водоворот. Его торжественность поражает ум и держит его в напряжении. Сразу чувствуешь, что речь идет об очень важном. И постепенно, неспешно развивается история, интерес которой основан на неприметном умственном отклонении, на дерзкой гипотезе, на просчете Природы в распределении качеств, образующих человеческую личность. Увлеченный читатель вынужден пройти вместе с автором захватывающую последовательность его умозаключений.

Повторяю, ни один человек не сумел еще рассказать с таким поистине колдовским искусством *об исключительных явлениях* в человеческой жизни и в природе, будь-то: жгучее любопытство выздоравливающего; времена года на переломе, отягощенные раздражающим великолепием; знойная пора, туманная и влажная, когда южный ветер до предела натягивает нервы, словно струны музыкального инструмента, а глаза полнятся слезами, но источник их не в сердце; галлюцинация, вначале оставляющая место сомнению, вскоре убеждает в своей реальности и резонирует, словно книга, — абсурд воцаряется в уме и правит им с угасающей логикой, — истерия вытесняет волю, между нервами и разумом полный разлад, и человек даже боль свою выражает смехом. По анализирует неосязаемое, взвешивает невесомое и в своей обстоятельной, научной манере, наводящей ужас, описывает все то воображаемое, что витает вокруг человека с больными нервами и неизбежно приводит его к недоброму.

Само рвение, с которым он бросается в гротеск — из любви к гротеску и в страшное — из любви к страшному, убеждает меня в искренности его творчества, то есть в гар-

маничном согласии человека и поэта. Я уже отмечал, что у многих подобное рвение является следствием бурных, но не нашедших приложения жизненных сил, или упорства в целомудрии, или подавления чувственных порывов. Противоестественное наслаждение, которое порою испытывает человек при виде собственной текущей крови, неожиданные поступки, бурные и неоправданные, произвольный вскрик, когда голосовые связки выходят из-под власти разума, — все это явления одного порядка.

В лоне созданной им литературы дышишь разреженным воздухом, и разум ощущает порой ту смутную тревогу, тот страх, скорый на слезы, то стеснение в сердце, что посещают нас в местах величественных и странных. Но тем сильнее восторг, и только дивишься великому искусству! Как главные, так и незначительные подробности подчинены внутреннему миру персонажей. Одиночество в природе или городская толчея — все описано выразительно, с невероятной щедростью выдумки. Подобно нашему Эжену Делакура, вознесшему свое искусство до вершин великой поэзии, Эдгар По любит, чтобы его герои двигались в лиловато-зеленоватом пространстве, где фосфоресцирует падаль и пахнет грозой. Так называемая неодоушевленная природа взаимодействует с природой живых созданий и, подобно им, содрогается гальваническим трепетом под дыханием запредельного. Опиум раздвигает пространство; опиум сообщает магическую подоплеку всем оттенкам, заставляет все звуки вибрировать с наполненной смыслом звучностью. И в этих пейзажах внезапно раскрываются великолепные прорывы, глотки света и красок; и мы видим, как из глубины новых горизонтов восстают восточные города и кровли, затуманенные дымкой дали, сквозь которое золотыми ливнями проливается солнце.

Персонажи Эдгара По, а вернее, его единственный персонаж — человек с необычайно обостренными способностями, с издерганными нервами, человек с пылкой и упорной волей, бросающий вызов любым препятствиям; его взгляд вонзается в предметы с остротой и твердостью клинка, и предметы странно увеличиваются оттого, что он смотрит на них; этот человек — сам Эдгар По. И все его женщины, умирающие от таинственных недугов, ослепи-

тельные и болезненные, женщины, в чьих голосах звучит музыка — это снова он; во всяком случае, они и своими странными устремлениями, и своими познаниями, и своей неизлечимой печалью сильно напоминают своего создателя. Что же касается его идеальной женщины, его Титаниды, она является нам в разных обликах, рассеянных по его — к сожалению, малочисленным! — стихотворениям, но то не портреты, а прием, позволяющий прочувствовать красоту, которую своеобразный талант автора собирает, соединяя в неясное, но осязаемое единство, где и живет, может быть, более призрачно, чем во внешнем мире, его неутолимая любовь к Прекрасному: в этом и есть его великое предназначение, высший смысл всех его достоинств, вызывающих любовь и преклонение поэтов.

Под названием «Необычайные истории» мы объединили различные рассказы, вошедшие в собрание сочинений По. Эти сочинения включают немалое количество новелл, не меньшее число критических и других статей, философскую поэму «Эврика», стихотворения и поистине человеческий роман («Приключения Артура Гордона Пима»). Если, надеюсь, мне представится новый случай поговорить о поэте, я займусь анализом его философских и литературных воззрений, а также прочих его произведений, полный перевод которых вряд ли имеет шансы на успех у публики, ждущей от книг только развлекательности да описания чувств, а не важных философских истин.



ПРЕДИСЛОВИЕ К «БЕРЕНИКЕ»

(«Иллюстрасьон», 17 апреля 1852 г.)

Рассказ, предлагаемый нами читателю, взят из произведений Эдгара По. Он относится к началу его литературной деятельности. Эдгар По, которого по праву можно назвать выдающимся умом Соединенных Штатов, умер в 1849 году, в возрасте 37 лет. Умер, можно сказать, под забором: однажды утром его подобрали на улице и отнесли в Балтиморскую больницу; подобно Гофману, Бальзаку и многим другим, он расстался с жизнью именно в тот миг, когда уже мог бы противостоять своей суровой судьбе. И, справедливости ради, безусловно следует отнести часть его прегрешений, и в особенности грех пьянства, на счет того беспощадного общества, куда его забросило Провидение.

Когда Эдгар По бывал счастлив или хотя бы спокоен, нельзя было представить себе человека приветливей и обаятельней его. Этот странный, мятежный писатель не имел в жизни иного утешения, кроме ангельской преданности мистрис Клемм, матери его жены — да воздадут ей по праву свою благодарность все одинокие души.

Эдгар По — не только поэт, не только писатель: он и поэт, и писатель, и философ. В нем ясновидец сочетается с ученым. Если ему и случилось написать несколько слабых, наспех сделанных произведений, то в этом нет ничего удивительного; объяснение тому мы находим в его тяжелейшей жизни; но вечная хвала ему за то, что он разрабатывал темы поистине важные, единственно достойные внимания мыслящего человека: предел досягаемого; душевные болезни; научные предвидения; надежды на жизнь за

гробом и их обоснование; исследование чудаков и отверженных в подлунной жизни; откровенно символическая буффонада. Прибавьте к вечно деятельному движению его мысли редкостную образованность, поразительную беспристрастность мнений, противоречащую его субъективной природе, необычайную мощь дедуктивных и аналитических исследований, убедительность, присущую его сочинениям — и вас уже не удивит, что мы назвали его сильнейшим умом Америки. Жажда целесообразности или, вернее, неумная любознательность — вот что отличает По от остальных романтиков Америки или, если вам угодно, от остальных приверженцев так называемой романтической школы.

До сих пор Эдгара По знали только по «Золотому жуку», «Черному коту» и «Убийству на улице Морг», в превосходной манере переведенных госпожой Изабеллой Менье, и по «Месмерическому откровению», переведенному для журнала «Свобода мысли» Шарлем Бодлером, только что опубликовавшем в последних двух выпусках «Парижского обозрения» свой нелюбезный взгляд на жизнь и характер злосчастного Эдгара По; Бодлеру мы обязаны и появлением этой новеллы.

Важнейшие произведения По: «The Tales of the grotesque and arabesque», что можно перевести как «Гротески и арабески», сборник рассказов, вышедших в издательстве Вилей и Путнам в Нью-Йорке, том стихов, «The litterati» (sic), «Эврика», «Артур Гордон Пим» и немалое количество весьма острых критических статей об английских и американских писателях.





ПРЕДИСЛОВИЕ К «ФИЛОСОФИИ ОБСТАНОВКИ»

Кто из нас, в долгие часы досугов, не находил блаженного наслаждения, мысленно сооружая себе образцовое жилище, идеальный дом — *мечтательню*? Каждый, согласно своей природе, сочетал бы шелк — с золотом, дерево — с металлом, приглушил бы солнечный свет или, напротив, усилил искусственное сияние светильников, даже придумал бы новые виды мебели или смешал бы старинные ее формы.

Статья, предлагаемая нашим читателям, принадлежит великому американскому писателю, неизвестному во Франции и почти непризнанному в Соединенных Штатах. Эдгар По прожил печальную жизнь и принял еще более печальную смерть. Многие его соотечественники не могут говорить об этом без горечи; к тому же Америка, великан-младенец, обладает слишком чувствительной кожей и совершенно не переносит шуток, даже если они касаются не слишком важных сфер. Фенимор Купер очень хорошо это чувствовал. Жесткие аксиомы поэта, как, например, такие: «Только янки ходят задом наперед»; «Мы утопили в своем бахвальстве всякое понятие о вкусе»; «У нас цена вещи — единственный критерий ее ценности»; «Порча вкуса прямо пропорциональна приумножению долларов»; а также его беспощадное высмеивание американской страсти к зеркалам, художественному стеклу, к газовым светильникам в особняках американской аристократии — все это, разумеется, неудобоваримо для нежного желудка юной нации *выскочек*.

Пристрастна эта статья или нет, но нам она показалась весьма любопытной; надеюсь, она развлечет и наших читателей. Что же касается собственных идей Эдгара По, относящихся к меблировке, довольно разумных, с нашей точки зрения, то пусть читатели отнесутся к ним, как хотят.



**ПОСВЯЩЕНИЕ
К «НЕОБЫКНОВЕННЫМ ИСТОРИЯМ»**

*Госпоже Марии Клемм,
в Милфорде, Коннектикут
(Соединенные Штаты)*

Давно уже, сударыня, мечтал я порадовать ваш материнский взор этим переводом из величайшего поэта нашего века; но литературная жизнь полна помех и препятствий, и боюсь, как бы не опередила меня Германия в деле священного долга — почтить память писателя, который, подобно Гофманам, Жан-Полям и Бальзакам, был скорее космополитом, нежели подданным своей страны. За два года до катастрофы, непоправимо сломавшей столь пылкую и полную жизнь, я уже пытался познакомить писателей моей страны с Эдгаром По. Но тогда я еще не знал, что жизнь его была вечной бурей; не знал, что эти роскошные цветы росли из вулканической почвы; и когда сегодня я сравниваю свое тогдашнее, ложное представление о его жизни с его действительной жизнью, а Эдгара По, созданного в моем воображении — то есть богача, счастливца, юного джентльмена, гения, что ради литературы отрывается порою от многообразных занятий и обязанностей светской жизни, — с подлинным Эдгаром, с бедным Эдди, которого вы любили и опекали, с тем, кого я ныне открою Франции, — эта ироническая антитеза наполняет мне душу неодолимой нежностью. Прошли годы, но призрак его преследовал меня неотступно. И сегодня я испытываю не только величайшую радость — представить его прекрасные творения — но и счастье предварить их именем женщины, что всегда была с ним добра и сердечна. И как ваша нежность врачевала его раны, так ныне он овеет дыханием славы ваше имя.

Вы прочтете мой труд о его жизни и творчестве; вы мне скажете, верно ли я понял его характер, его печаль и совершенно особую природу его мысли; и, если я ошибся, вы поправите меня. Если чувство увело меня в сторону, вы наставите меня на верный путь. Все, что исходит от вас, сударыня, я приму с уважением и признательностью, даже если вы кротко упрекнете меня за суровость по отношению к вашим согражданам; разумеется, вы попытаетесь смягчить ненависть, которую внушают моей вольнолюбивой душе республики торгашей и физиократические общества.

Я должен был во всеуслышание вознести хвалу Матери, величие и доброта которой делают честь Миру Литературы в той же мере, что и чудесные творения ее сына. И буду стократно счастлив, если хоть один луч вашего милосердия, озарявшего солнцем жизнь вашего сына, через разделяющие нас моря упадет на меня, жалкого и безвестного, и укрепит меня своим магнетическим теплом.

Прощайте, сударыня; изо всех приветствий и восторженных слов, которыми можно заключить послание *души к душе*, я не знаю ни одного, более созвучного чувствам, внушаемым мне вами, чем эти: Goodness, godness!





ПОСЛЕСЛОВИЕ К «НЕОБЫКНОВЕННЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ НЕКОЕГО ГАНСА ПФААЛЯ»

«Необыкновенные приключения некоего Ганса Пфааля» впервые были напечатаны в «Южном литературном вестнике», первом литературном журнале, издаваемом Эдгаром По в Ричмонде. Было ему тогда двадцать три года. В посмертном издании его произведений, между прочим, далеко не полном, после «Ганса Пфааля» помещена весьма удивительная заметка, анализ которой я намерен произвести и которая покажет заинтересованным читателям одну из ребяческих причуд гения.

По рассматривает различные сочинения, посвященные одной теме — Луне, ее описанию и т. п. — сочинения-розыгрыши, или, по выражению американцев, обожающих, когда их дурачат — hoaxes. По всячески старается доказать, насколько все эти сочинения ниже его собственного, поскольку им не хватает самой важной черты, сейчас объясню, какой именно.

Он начинает с того, что приводит выдержки из «Лунной повести» и «Луны-обманщицы» («Moon Story» и «Moon-Noah») господина Лока, которые, полагаю, представляют собой не что иное как перепев злосчастных «Животных на Луне», лет двадцать тому назад прошумевшие на нашем материке, уже тогда слишком американском. По начинает с утверждения, что его jeu d'esprit опубликовали в «Южном литературном вестнике» еще за три недели до того, как господин Лок напечатал свой *розыгрыш* в «New York Sun». Несколько газет объединили и опубликовали одновременно оба произведения, и Эдгар По был вправе оскорбиться тем, что ему навязали это, с позволения сказать, родство.

Если уж публика могла *проглотить* «Мооп-Ноах» господина Лока, то лишь по той причине, что ее невежество в астрономии превосходит всякое правдоподобие.

Какой бы мощью ни обладал телескоп господина Лока, не в его власти приблизить Луну, находящуюся за 240 000 миль от Земли, настолько, чтобы можно было разглядеть животных, цветы, различить форму и цвет глаз у мелких птичек, как это удалось Гершелю, герою *розыгрыша* господина Лока. Как-никак, стекла его телескопа были изготовлены у Хартлея и Гранта; а ведь эти господа, — торжествуя, заявляет По, — прекратили свою коммерческую деятельность за много лет до появления в печати этого «ноах».

Кстати о густой челке, своего рода завесе, затеняющей глаза лунного бизона: Гершель (т. е. Лок) полагает, что это — предусмотрительность природы, необходимая для защиты зрения животного от разрушительно резкой смены тьмы и света, коим подвергаются обитатели той стороны Луны, что обращена к нашей планете. Но этой смены просто нет! Обитатели Луны, если таковые имеются, не знают мрака. Когда скрывается Солнце, им светит Земля.

Вся его лунная топография, так сказать, «смещает сердце вправо». Она противоречит всем картам, противоречит сама себе. Автор и не подозревает, что на лунной карте Восток — слева.

Введенный в заблуждение такими названиями, как *Mare Nubium*, *Mare Tranquilitatis*, *Mare Fecunditatis*, которыми астрономы обозначили лунные пятна, господин Лок подробно расписывает эти моря и свойства лунной влаги. Так вот, с точки зрения астрономии на Луне ничего подобного не существует.

Описание крыльев *человека-неопыря* — всего-навсего плагиат *летучих островитян* Питера Вилкинса. В каком-то месте господин Лок говорит: «Какое, должно быть, чудесное влияние наш земной шар, в тринадцать раз превосходящий своего спутника, оказывал на него, когда тот был всего лишь зародышем в утробе времени, пассивным объектом химического родства!» Замечание тонкое, но астроном никогда бы так не сказал и уж тем более не напечатал бы в Эдинбургском научном журнале. Ибо каждый

астроном знает, что Земля — а ведь здесь говорится именно о ней — не в тринадцать, а в сорок девять раз больше Луны!

Но вот замечание, ясно характеризующее аналитический ум Эдгара По. «Как мог Гершель, — говорит он, — явственно различать живые существа и подробнейшим образом описывать их формы и краски! Это-то и выдает недобросовестность наблюдателя. Он плохо входит в роль, он даже не умеет сфабриковать достоверную *мистификацию*. А иначе как он не заметил сразу же той особенности, которая непременно бросилась бы в глаза прирожденному наблюдателю, заметь он на Луне животных, уж этот факт он мог бы предположить: «Они ходят вверх ногами и вниз головой, точь-в-точь как мухи по потолку!» Поистине, крик души.

Выдумывая растения и животных, никоим образом не следует проводить аналогию с земными созданиями; крылья *человека-нетопыря* не удержали бы его в разреженной лунной атмосфере; трансфузия искусственного света через объектив — чистая галиматья. Если б речь шла лишь о телескопах, достаточно сильных, чтобы разглядеть все происходящее на небесном теле, автору еще можно было бы поверить; но для этого еще нужно, чтобы оно было достаточно сильно освещено, а ведь чем оно дальше, тем сильнее рассеивается свет, и т. д.

Вот заключение По, небезынтересное для людей, любящих скрупулезно разглядеть в рабочем кабинете гения все до мельчайших подробностей — и квадратные листки Жан-Поля, надетые на веревочку, и паутину правки на гранках Бальзака, и манжеты Бюффона, и прочее. «Цель подобных статей — как правило, сатира; тема — описание лунных нравов в сопоставлении с земными: но ни в одной из них не вижу я ни малейшего усилия достоверно представить самые подробности полета. Все авторы выглядят полными невеждами в астрономии. В «Гансе Пфаале» замысел автора оригинален хотя бы потому, что автор, стремясь к правдоподобию, опирается на научные принципы (насколько, разумеется, это допускает фантастический характер сюжета), необходимые для убедительности описания полета с Земли на Луну».

Не возражаю, если читатель улыбнется — я и сам улыбался не раз, натываясь на любимого *конька* автора. И разве слабости великого человека не представляют умилительной картины для беспристрастного ума? До чего же и впрямь удивительно видеть, как этот ум — то глубоко германский, то в высшей мере восточный — вдруг раскрывает весь свой американизм.

Но если отнестись к нему с пониманием, то самым сильным чувством остается восхищение. Я спрашиваю — а кто бы из нас (я говорю о самых могучих) осмелился в двадцать три года, в том возрасте, когда еще только учишься *читать*, отправиться на Луну во всеоружии астрономических сведений и достаточного знания физики, решительно оседлав своего *конька*, вернее, пугливого гиппогрифа достоверности?



ЭДГАР АЛЛАН ПО, ЕГО ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

(«Парижское обозрение»,
март — апрель 1852 г.)

I

Бывает роковое предопределение; в литературе любой страны найдутся люди, на изборожденном челе которых таинственными знаками начертано: *невезенье*. Однажды пред лицом судилища предстал несчастный со странной татуировкой на лбу: *удачи нет*. Повсюду носил он с собой клеймо своей жизни, словно книга — свой титул, и допрос подтвердил, что его жизнь вполне отвечала этому ярлыку. В истории литературы нередко встречаешь подобные судьбы. Можно подумать, что такими людьми завладевает слепой Ангел Искупления и неустанно бичует их в назидание всем прочим. Тем не менее, внимательно следя за их жизнью, вы найдете у них и таланты, и добродетели, и привлекательность натуры. Таких-то общество и предаст анафеме за пороки, которые само и породило своим гонением. Чего только не делал Гофман, чтобы обезоружить судьбу! За какие только дела не брался Бальзак, заклиная удачу! Умиравшему Гофману прижигали хребет каленым железом как раз в то долгожданное время, когда он наконец-то спасся от нужды, когда издатели оспаривали друг у друга его сказки, когда он получил во владение любимую библиотеку, о которой столько мечтал. Три мечты было у Бальзака: большое, упорядоченное издание своих сочинений, избавление от долгов и брак, давно уже взлелеянный в душе; благодаря трудам, огромность которых ужасает воображение даже самых честолюбивых и усердных людей, издание осуществилось, долги были уплачены, брак заключен. Конечно, можно сказать, что Бальзак — счастливец. Но коварная судьба, едва лишь он ступил на землю обе-

тованную, тут же грубо вырвала у него свои дары. Бальзак скончался в чудовищных мучениях, достойных его мужества.

Так значит, существует все же Провидение от Дьявола, уготовляющее несчастья с самой колыбели? Человеку, пугающему вас своим талантом, мрачным и безутешным, было *предначертано* оказаться во враждебной ему среде. Душа нежная и ранимая, допустим, душа Вовенарга медленно разворачивает свои чахлые листочки в грубой атмосфере армейского гарнизона. Дух, влюбленный в пространство и очарованный свободной природой, долго борется с собой за глухими стенами семинарии. Этот дар клоуна, ироничный и сверхгротескный, этот смех до икоты, а порой — до слез, замкнули, словно в клетку, в безобразные канцелярии с зелеными папками, с людьми в очках в золотой оправе. Значит, все же существуют души, предназначенные для алтарного служения, иначе говоря, *посвященные* — души, обреченные лететь к смерти и к славе, повседневно принося в жертву себя самое? Навсегда ли кошмар «Сумерек» окутал эти избранные души? Напрасно они противятся, остерегаются, пытаются предусмотреть все вплоть до мелочей. Что ж, заткнем все ходы и выходы, запрем дверь на двойной оборот ключа, закупорим окна... Ну, вот, о замочной-то скважине мы и позабыли — и Дьявол уже вошел к нам.

Свой пес кусает их, взбесясь, и заражает.
Их обвиняет друг в измене королю.

Альфред де Виньи написал книгу, доказывающую, что поэту нет места ни при республиканском строе, ни при абсолютной, ни при конституционной монархии; никто не возразил ему.

Жизнь Эдгара По — поистине душераздирающая трагедия, и самое страшное в ней то, что развязка вполне обыденна. Различные документы, только что прочитанные мною, укрепили мое убеждение в том, что Соединенные Штаты были для По обширной клеткой, большой счетной конторой и что всю свою жизнь он провел в безнадежных попытках вырваться из этой неблагоприятной атмосферы. В одной из биографий писателя сказано, что вот если бы

мистер По захотел как-то упорядочить свой гений и применил бы свои творческие способности в иных формах, более приемлемых на американской почве, то уж тогда бы он действительно смог стать автором, зарабатывающим деньги, а *making-money author*; что в конце концов нынешние времена не так уж тяжелы для человека талантливом, он всегда заработает себе на жизнь, пусть только в делах соблюдает порядок и бережливость да умеренно расходует свои средства. Впрочем, некий критик бесстыдно утверждает, что как бы гений Эдгара По ни был велик, а все же для него самого было бы гораздо полезнее иметь всего лишь талант — потому что гораздо легче претворить в деньги талант, нежели гений. В записке, которую мы сейчас рассмотрим, один из его друзей признается, что напечатать Эдгара По в журнале было весьма трудно и что издатели поневоле платили ему меньше, чем другим, именно потому, что стиль его произведений намного выше заурядного. Все это напоминает мне гнусную поговорку, когда отец говорит сыну: «*Make money, my son, honestly, if you can, but make money*». — «*Что за дух мелочной лавки!*» — как говорил Ж. де Местр по поводу Локка.

Если вам случится разговаривать с американцем, и вы заведете речь об Эдгаре По, ваш собеседник согласится, что По — гений; более того, он это сделает весьма охотно, может быть, даже не без гордости, но в конце концов все-таки скажет вам с чувством собственного превосходства: «Сам-то я человек здравомыслящий», — после чего, с этойкой сардонической усмешкой расскажет вам, что все эти великие умы ничего-то не умеют сберечь для себя; он расскажет вам о безалаберной жизни мистере По, о том, что его дыхание настолько пропиталось парами спирта, что могло вспыхнуть от горящей свечи; расскажет о его привычках — привычках бродяги; о том, что Эдгар По — натура *блуждающая*, планета, *соскочившая с орбиты*, что он вечно колесил из Нью-Йорка в Филадельфию, из Бостона в Балтимор, из Балтимора в Ричмонд. И если вы, потрясенные одним лишь перечислением неурядиц бедственной жизни поэта, заметите, что демократия тоже имеет свои недостатки, и что, несмотря на благосклонную маску Свободы, она, вероятно, не всегда способствует расцвету

личности, что в стране, которой управляют миллионов двадцать—тридцать независимых монархов, не так-то легко мыслить и писать, и что к тому же, *говорят*, будто в Соединенных Штатах существует куда более свирепая и неумолимая тирания, нежели тирания монарха — общественное мнение — берегитесь! вы увидите, как из его выпученных глаз ударят молнии, а на губах выступит пена задетого за живое патриотизма, — и сама Америка его устами изрыгнет проклятия метафизике, а заодно и своей старой матушке-Европе. Американец — существо, исполненное здравого смысла, гордое своей промышленной мощью и слегка завидующее Старому Свету. А пожалеть поэта, даже если тот обезумеет от горя и одиночества — так у американца на это просто нет времени. Столь высоко ставит он свое юное величие, столь простодушно верит во всемогущество техники, настолько убежден, что промышленность в конце концов сожрет самого Дьявола, что ко всевозможным пустым бредням даже испытывает своего рода жалость. «Вперед! — говорит он, — вперед! И не будем печься о наших мертвецах». Он не задумываясь прошелся бы по свободным душам, попирая их ногами с такой же беспечностью, с какою проложенные им железнодорожные пути давят вырубленные леса, а его чудовища-пароходы — обломки сгоревшего накануне судна. Он так спешит... успеть. Время и деньги — все для него.

Незадолго до того, как Бальзак низошел в последнюю бездну, испуская благородные стоны героя, еще не свершившего всех своих подвигов, — Эдгара По, у которого с ним немало общего, неожиданно сражает неприглядная смерть. Франция потеряла одного из своих величайших гениев; Америка — писателя, критика и философа, вряд ли созданного для нее. Многие американцы и не слышали о смерти Эдгара По, другие полагают, что он был юным и богатым джентльменом, который пописывал от случая к случаю, сочиняя среди веселых досугов свои страшные и жуткие творения, и что все его знакомство с литературной жизнью сводилось к редким, но ослепительным успехам. В действительности все обстояло как раз наоборот.

Семья Эдгара По была одной из самых уважаемых в Балтиморе. Дед его во время революции был *quarter master*

general, и Лафайет питал к нему величайшее уважение и дружбу. Посетив Штаты в последний раз, Лафайет принес вдове деда самые торжественные уверения в своей благодарности за услуги, оказанные ему ее мужем. Прадед Эдгара По был женат на дочери английского адмирала Мак Брайда, через него семья была связана со знатнейшими домами Англии. Отец Эдгара получил приличное образование. Воспылав страстной любовью к молодой и красивой актрисе, он бежал с нею и венчался. Чтобы еще теснее связать с ней свою судьбу, он также решил стать актером. Но ни тот, ни другая не имели актерского дарования; жили они скудно, положение семьи было шатким. Молодую женщину еще как-то спасала красота: очарованная ею публика снисходительно принимала ее посредственную игру. Во время одной из гастрольных поездок они прибыли в Ричмонд, где оба и умерли, пережив один другого лишь на несколько недель; причина одна: голод, лишения, нищета.

Они оставили на произвол судьбы, без хлеба, без пристанища, без присмотра несчастного младенца, которого, однако, природа чудесно одарила. Местный богатый торговец, господин Аллан, проникся к нему жалостью. Он пришел в восторг от хорошенького мальчика и, поскольку не имел детей, усыновил его. Таким образом, Эдгар По воспитывался в достатке и получил достойное образование. В 1816 году он путешествовал со своими приемными родителями по Англии, Шотландии и Ирландии. Возвращаясь в свою страну, они оставили его у доктора Бренсби, возглавлявшего воспитательное заведение в Стокньюингтоне, близ Лондона, где он и провел пять лет.

Тот, кто задумывался над собственной жизнью, кто обращал взор вспять, сравнивая свое прошлое с настоящим, тот, у кого вошло в привычку со знанием дела анализировать свое психическое состояние, тот знает, какую огромную долю занимает отрочество в зрелом гении человека. Именно тогда в нежном и податливом сознании закладываются глубокие впечатления вещей и явлений; именно тогда все краски яркие, все чувства говорят на таинственном языке. Характер, гений и стиль человека складываются под влиянием самых обыденных, на первый взгляд, обстоятельств его ранней юности. Если бы каждый из людей,

выступающих на мировой сцене, оставил записи своих детских переживаний, какой бы мы получили бесценный психологический справочник! Краски Эдгара По, сам склад его ума насильственно вторглись вглубь американской литературы. Соотечественники считают его не вполне американцем, однако же он и не англичанин. Это чистое везение — наткнуться в одной из его малоизвестных новелл, «Вильяме Вильсоне», на удивительнейшее повествование о его жизни в Стокньюингтонской школе. Все новеллы Эдгара По в определенном смысле — автобиографические. В творении мы находим творца. Персонажи и события — всего лишь рамка и драпировка его воспоминаний.

«Самые ранние воспоминания о моей школьной жизни связаны с большим домом елизаветинских времен, стоявшим в окутанной туманами английской деревне, где росло много гигантских корявых деревьев и где все дома были очень стары. Поистине, это почтенное старое селение казалось приснившимся и весьма умиротворяло. Я и теперь как будто чувствую живительную прохладу его аллей, погруженных в глубокую тень, вдыхаю аромат бесчисленных кустов и который раз испытываю невыразимое наслаждение, слышав гулкий звук церковного колокола, каждый час внезапно и ворчливо вторгавшегося в тишь сумерек, покоивших сон резной готической колокольни.

Пожалуй, наибольшую радость — насколько я сейчас вообще способен испытывать какую-либо радость — доставляет мне припоминание мельчайших подробностей о школе и ее делах. Мне, настигнутому бедою — бедою, увы! слишком подлинною — мне простятся поиски утешения, пусть хрупкого и кратковременного, в зыбкости некоторых случайных частных. При этом они, совершенно незначительные и даже сами по себе ничтожные, приобретают в моем воображении мимолетную важность, будучи связаны с временем и местом, которые явили первые неясные предвещения удела, впоследствии выпавшего мне. Так дайте же вспомнить.

Дом, как я сказал, был стар и неправильной формы. Всю усадьбу окружала высокая и крепкая кирпичная стена, сверху обмазанная известкой и утыканная битым стек-

лом. Эта стена, похожая на тюремную, очерчивала границы наших владений; все, что находилось по другую ее сторону, мы видели только три раза в неделю — один раз по субботам после полудня, когда в сопровождении двух надзирателей нам всем классом дозволялось в правильном строю совершать краткие прогулки по окрестным полям — и дважды по воскресеньям, когда подобным же образом мы маршировали к заутрене и вечерне в единственную церковь деревни. В этой церкви глава нашей школы был пастором. Дивясь и недоумевая, смотрел я на него с галереи, пока торжественным и замедленным шагом восходил он на кафедру! Велелепный, с благостно чинным видом, в торжественном облачении, ниспадавшем лоснящимися складками, в парике, столь тщательно напудренном, столь жестком и столь обширном, — он ли, совсем недавно, брюзгливо сморщенный, обсыпанный нюхательным табаком, вершил с ферулой в руке драконовы законы училища? О гигантский парадокс, слишком, слишком чудовищный, чтобы поддаться разрешению!

В углу массивной стены хмурились еще более массивные ворота, усеянные железными шишками и увенчанные зубчатыми железными шипами. Как устрашали нас эти ворота! Они открывались только при трех периодических отбытиях и прибытиях, упомянутых ранее; и тогда в малейшем скрипе огромных петель мы находили обилие тайн — бесконечную материю для глубокомысленных высказываний или еще более глубокомысленных размышлений.

Обширная усадьба имела форму неправильного многоугольника. Три или четыре самых больших угла образовывали площадку для игр, гладкую, покрытую мелким и твердым гравием. Прекрасно помню, что там не было ни деревьев, ни скамеек, ни чего-либо подобного. Разумеется, она помещалась позади дома. Перед фасадом был разбит маленький цветник, посаженный буксом и другим кустарником, но в эту священную часть мы попадали уж в очень редких случаях — таких, как первое прибытие в школу или окончательный отъезд оттуда, или, может быть, тогда, когда кто-нибудь из родителей или друзей приезжал за нами, и мы радостно отправлялись домой на летние или рождественские каникулы.

Но школа! — что это было за причудливое старинное здание! — мне оно воистину казалось волшебным дворцом. Его извилистым коридорам и непостижимым закоулкам, право же, не было конца. В каждый данный момент затруднительно было сказать точно, на каком из двух этажей вы находитесь. Из одной комнаты в другую непременно вели три-четыре ступеньки вверх или вниз. Боковые ходы были бесчисленны — невообразимы — они так вились и запутывались, что ваши самые точные понятия о доме в целом мало чем отличались от ваших представлений о бесконечности. За пять лет моего пребывания в училище я так и не смог точно определить, в каком именно его крыле находился небольшой дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати-двадцати ученикам*.

Классная комната была самая большая в здании — и, как мне тогда невольно казалось, во всем мире. Она была очень длинная, узкая и удручающе низкая, с заостренными готическими окнами и дубовым потолком. В отдаленном, внушавшем ужас углу располагалось отгороженное пространство футов в восемь или десять — *sanctum* главы нашей школы, преподобного доктора Бренсби, на время занятий. Это было солидное сооружение с тяжелой дверью — все мы охотнее согласились бы погибнуть от *reine forte et dure*, нежели открыть ее в отсутствие «*Dominie*». В других углах находились два похожих чулана, к коим мы испытывали куда меньше почтения, но все же немало их боялись. В одной из них преподавал «классик», в другом — «англичанин и математик». Беспорядочно расставленные по классной комнате, сдвинутые под разными углами, без конца пересекались неисчислимы скамейки и парты, черные, старые, обветшалые, отчаянно загроможденные захватанными книжками, и так исчерченные всяческими инициалами, именами, написанными полностью, карикатурными изображениями и прочими преумноженными созданиями ножа, что они вконец лишились того небольшого из их первоначальной формы, что отличало их в давно

* Обычная детская галлюцинация, преувеличивающая и усложняющая предметы.

миновавшие дни. В одном конце комнаты стояло огромное ведро с водою, а в другом — колоссальные часы.

Окруженный массивными стенами сего досточтимого училища, я провел, пока еще без скуки или отвращения, годы третьего пятилетия моей жизни. Расцветающий детский ум не нуждается во внешнем мире и его событиях для занятий или развлечений; и очевидное унылое однообразие школьной жизни изобиловало более сильными волнениями, нежели те, что в юные годы я почерпнул в разгуле, а в пору возмужалости — в преступлении. И все же я должен предположить, что мое умственное развитие в самом начале заключало в себе много необычного — даже *outré*. Вообще у людей зрелого возраста от событий самых ранних лет очень редко остаются определенные впечатления, разве лишь неясная память о жалких радостях и фантасмагорических страданиях. Со мною не так. Должно быть, в детстве я с энергией взрослого прочувствовал то, что теперь нахожу напечатленным в памяти столь же глубоко, живо и прочно, как *exergues* карфагенских медалей.

А на деле — если судить, как судит свет, — сколь мало можно припомнить! Пробуждение по утрам, ежевечерний отход ко сну, зубрежка, устные ответы, свободные часы и прогулки, времяпрепровождение, ссоры и шалости на площадке для игр — все это, благодаря давно забытому колдовству воображения, влекло за собою бездну чувств, целый мир многообразных событий, целую вселенную различных эмоций, самых страстных и волнующих. «*Oh, le bon temps, que ce siècle de fer!*» (Фраза написана по-французски)*.

Ну, что окажете об этом отрывке? Разве уже здесь не раскрывается сущность этого удивительного человека? Что касается меня, то я ощущаю черный аромат, источаемый этой школьной картинкой. Ощущаю беглую дрожь тягостных лет затворничества. Часы, проведенные в карцере; болезненность детства, чахлого и заброшенного; ужас перед вашим извечным врагом — учителем; ненависть к дес-

* Произведения По пестрят французскими фразами.

потичным товарищам, одиночество души, все пытки юных лет — Эдгар По не поддался им. Столько причин пасть духом — а он не сломлен. Отроком он любит одиночество, вернее — не чувствует себя одиноким; он любит свои страдания. *Плодотворный детский мозг* всякое переживание претворяет в радость, все озаряет ярким светом. Уже видно, что закалка воли и гордость одиночки сыграют в его жизни важную роль. Так что ж! — разве не ясно, что он почти любит свою боль, предчувствуя, что она станет его неразлучной спутницей, что он сам призывает ее с жестокостью сладострастия, как молодой гладиатор? У бедного мальчика ни отца, ни матери — но он счастлив; он гордится тем, что отмечен глубоко врезанной чеканкой — подобно *карфагенской медали*.

В 1822 году Эдгар По вернулся в Ричмонд из школы доктора Бренсби и продолжил свое учение под руководством лучших учителей. Теперь это юноша, отличающийся незаурядной физической ловкостью и грацией, причем к очарованию его странной красоты прибавилась чудесная поэтическая память и ранний дар рассказчика-импровизатора. В 1825 году он поступил в Виргинский университет — заведение, где в те времена царила величайшая распущенность. Среди своих однокашников Эдгар По особенно выделялся пылкой жадой наслаждений. Как студент он заслуживал всяческого одобрения, делая невероятные успехи в математических науках; был удивительно способным к физике и естественным наукам, что следует особо отметить, поскольку во многих его произведениях наука занимает немалое место; но при всем при том уже тогда он пил, играл в азартные игры, бесчинствовал, вследствие чего его исключили из университета. После того как мистер Аллан отказался платить карточные долги своего воспитанника, тот взбунтовался, порвал с приемным отцом и отправился в Грецию. Была пора Боцариса и восстания эллинов. Когда Эдгар По добрался до Санкт-Петербурга, его кошелек и восторженный пыл порядком поистожились; он крепко поссорился с русскими властями, но почему — мы не знаем. Дело зашло так далеко, что, как уверяют, Эдгар По чуть было не продолжил свои скороспелые знакомства

с людьми и событиями в суровой Сибири*. Но наконец, ему повезло — вмешался американский консул Генри Миддлтон и помог ему вернуться домой. В 1829 году он поступил в Вест-Пойнтскую военную школу. Тем временем мистер Аллан, первая жена которого умерла, женился вновь на особе, которая была гораздо моложе него. Ему было шестьдесят пять лет. Говорят, что Эдгар По вел себя непорядочно по отношению к молодой даме, что он высмеял этот брак. Старый джентльмен написал ему весьма суровое послание, тот ответил еще более желчным письмом. Новая рана оказалась неисцелимой, и когда вскоре мистер Аллан умер, он не оставил своему приемному сыну ни гроша.

В этом месте биографических записок я наткнулся на весьма таинственные слова, весьма темные и странные намеки на поведение нашего будущего писателя. Лицемерно и в то же время клятвенно заверяя, что он не хочет этим сказать ничего дурного, что есть вещи, которые всегда следует скрывать (а собственно, почему?), что в иных из ряда вон выходящих случаях следует умолчать о некоторых фактах, — биограф Эдгара По бросает на него тем самым очень серьезные подозрения. Подготавливаемый удар еще опаснее тем, что до времени таится во мраке. Какого черта? Что он этим хочет сказать? Может быть, он намекает, будто По намеревался соблазнить жену своего приемного отца? Невозможно угадать, что имеет в виду автор записок. Но мне кажется, я уже довольно предостерег читателя от излишней доверчивости по отношению к американским биографам. Слишком уж хорошие они демократы, чтобы не ополчиться на своих великих людей; недоброжелательность, преследующая Эдгара По даже после плачевного завершения его горькой жизни, напоминает непримиримую британскую ненависть к Байрону.

Эдгар По оставил Вест-Пойнт, не получив воинского звания, и вступил в гибельную схватку с жизнью. В 1831 году он выпустил маленький томик стихов, который был

* Жизнь Эдгара По, его приключения в России и переписка неоднократно объявлялись в американских газетах, но так и не вышли в свет.

благосклонно принят журнальной критикой, но не разошелся. Вечная история первой книги... Мистер Лоуэлл, американский критик, написал, что одно из стихотворений сборника, «К Елене», *благоухает амброзией* и что оно не выглядело бы чужеродным в греческой антологии. В стихотворении говорится о лодках Nikeи, о наядах, о славе и красоте Греции, о светильнике Психеи. Мимоходом отметим, что американцы питают слабость к стилизации, поскольку их литература еще слишком молода. Правда, пятистрочная строфа этих стихов с двумя мужскими и тремя женскими рифмами, очень звучными, своим гармоническим ритмом напоминает некоторые удачные опыты французского романтизма. Но мы видим, что здесь Эдгар По еще весьма далек от своей необычайной, ослепительной литературной судьбы.

Тем временем злополучный поэт писал в газеты, подбирая материалы и переводил для книготорговцев, сочинял блистательные статьи и рассказы для журналов. Издатели охотно их печатали, но так мало платили молодому автору, что он впал в ужасающую нищету. Он опустился так глубоко, что порой ему уже слышалось, как *скрежещут засовы у врат Смерти*. Но однажды Балтиморская газета предложила две премии — за лучшее стихотворение и за лучший рассказ. Писательское жюри, куда входил и Джон Кеннеди, было облечено обязанностью судить представленные произведения. Тем не менее, члены жюри не прочли почти ничего — ведь издателю были нужны только их подписи. Пока они болтали о том и о сем, кому-то бросилась в глаза рукопись, отличавшаяся красотой, аккуратностью и четкостью почерка. Эдгар По обладал несравненно прекрасным почерком до конца жизни. (Я нахожу это замечание вполне в американском духе.) Мистер Кеннеди прочел одну страницу и, пораженный стилем автора, прочел все произведение вслух. И жюри единодушно присудило премию тому из гениев, кто умел писать разборчивей других. Тайный конверт вскрыли и обнаружили еще неизвестное тогда имя — Эдгар По.

Издатель в таких выражениях отозвался о молодом авторе, что мистеру Кеннеди захотелось познакомиться с ним. Жестокая судьба наделила Эдгара По классической

внешностью голодного поэта. Как нельзя лучше загримировала она его для этой роли. Мистер Кеннеди рассказывает, что он увидел юношу — тощего, как скелет, от постоянного недоедания, в рединготе, протертом до утка́ и застегнутом, согласно известной тактике, до самого подбородка; продранные штаны, явное отсутствие чулок — и в то же время горделивый вид, величественные манеры и глаза, сверкающие умом. Кеннеди разговаривал с ним дружески, и поэт почувствовал себя непринужденно. Он открыл свое сердце, рассказал о себе, о своих стремлениях и великих планах. Кеннеди, не откладывая дело в долгий ящик, отвел его в магазин готового платья — к старьевщику, сказал бы Лесаж, — и предложил ему приличную одежду; затем помог завязать нужные знакомства.

Тогда-то некий Томас Уайт, купив права на «Южный литературный вестник», предложил Эдгару По вести журнал за 2500 франков в год. По «незамедлительно» женился на девушке «без гроша за душой». (Это, разумеется, не мои слова; прошу читателя отметить снисходительный оттенок презрения в термине «незамедлительно»: так значит, бедняга посмел счесть себя достаточно богатым; потому-то важное в жизни поэта событие было упомянуто с такой сухой краткостью, потому-то о молодой девушке только и было сказано, что у нее ни гроша за душой: a girl without a cent!) Говорили, что уже тогда невоздержанность стала частью его жизни; но верно и то, что он находил время писать огромное количество статей и прекрасных критических отзывов для «Вестника». Пробыв в этой должности полтора года, он уехал в Филадельфию и основал там «Gentleman's magazine». Этот периодический сборник впоследствии слился с «Graham's magazine», и По в дальнейшем писал уже для этого журнала. В 1840 году он опубликовал «The Tales of the grotesque and arabesque». В 1844 году мы встречаем его в Нью-Йорке редактором «Broadway-Journal». В 1845 году появилось скромное, хорошо известное издание Уайли и Путнема, куда частично вошли стихи и цикл рассказов. Именно из этого издания французские переводчики взяли образцы, представляющие различные стороны дарования Эдгара По, которые и появились в парижских газетах. Вплоть до 1847 года он непрерывно издает

разнообразные произведения, о которых мы сейчас и поговорим. Мы узнаём, что в небольшом городе Форхэме, под Нью-Йорком, в нищете и лишениях, умирает его жена. Чтобы хоть немного поддержать Эдгара По, нью-йоркские писатели устраивают подписку в его пользу. Пройдет еще немного времени — и газеты снова заговорят о нем как о человеке, стоящем на пороге смерти. Но на этот раз дело гораздо серьезнее — у него *delirium tremens*. Жестокая статья, помещенная в газете того времени, осуждает его за презрение к так называемым друзьям, за непримиримое отвращение к миру. Все же ему удавалось зарабатывать какие-то деньги, и он вполне бы мог жить литературным трудом, но я вывел из неохотных признаний его биографов, что жизнь его осложнилась из-за отвратительных привычек. Вероятно, в последующие два года, когда он время от времени появлялся в Ричмонде, люди приходили в праведное негодование, постоянно видя его пьяным. Как слушаешь бесконечные упреки по этому поводу, так невольно приходишь к выводу, что все остальные писатели Соединенных Штатов — примерные трезвенники! Но в свой последний приезд, длившийся месяца два, он был пристойно одет, элегантен, сдержан в манерах, очарователен и прекрасен — как может быть прекрасен только гений. Конечно, знаю я о нем слишком мало, а заметки, которые я сейчас держу перед глазами, недостаточно разумительны, чтобы объяснить его странные метаморфозы. Может быть, эти перемены в нем вызваны заступничеством его матери — вернее, ее любящей тени, ведущей за него битву вместе с ангельскими силами против злого начала, порожденного дурной наследственностью и долгими страданиями.

Во время этого последнего приезда в Ричмонд Эдгар По *дважды выступил с публичными чтениями*. Следует сказать два слова об этих чтениях, которые играют важную роль в литературной жизни Соединенных Штатов. Нет такого закона, который запретил бы писателю, философу, поэту — любому, кто умеет и хочет говорить, — выступить публично с чтением лекции или рассуждением на литературную или философскую тему. Такой человек снимает зал. Каждый посетитель платит какие-то деньги за удовольствие выслу-

шать изложение тех или иных идей или просто плетение словес, каковы бы они ни были. Публика либо приходит, либо нет. В последнем случае — дело прогорело, как может прогореть всякая коммерция, зависящая от удачи. Однако, если *чтения* проводит знаменитый писатель, как правило, бывает большой наплыв публики, ведь это своего рода литературное событие. Совсем как в Коллеж де Франс, где кафедра предоставляется всем желающим. Приходят на ум имена Андриё, Лагарпа, Баур-Лормиана и вспоминается та своеобразная «реставрация» в литературе, что произошла после поражения французской революции во всех лицах, атeneaх и казино.

Для своей речи Эдгар По избрал тему, извечно волнующую умы; у нас она тоже обсуждалась весьма бурно. Он объявил, что будет говорить *о принципе поэзии*. В Соединенных Штатах уже давно существует направление, признающее только пользу, оно охватывает буквально все стороны жизни, в том числе и поэзию. Существуют поэты, воспевающие человеколюбие, поэты всеобщего избирательного права, поэты, выступающие против закона о зерновых культурах, и поэты, призывающие строить work houses. Клянусь, что я не имею в виду никого лично из американских поэтов! Не моя вина, если одни и те же споры, одни и те же теории возбуждают умы в разных странах. Эдгар По объявил войну подобным поэтам. Он не утверждал, как иные безумцы и фанатики, секретари Гёте и других мраморных, чуждых человечеству поэтов, что всякая прекрасная вещь непременно должна быть бесполезна; но главным в его речи было опровержение того, что он остроумно назвал *великой поэтической ересью современности*. Ересь эта — идея практической пользы. Мы видим, что с определенной точки зрения Эдгар По признавал правомерность французского романтического движения. Он говорил: «Наш разум обладает врожденными способностями, цели которых различны. Часть этих способностей питает нашу практическую жилку, другая — воспринимает краски и формы, третья — занята созиданием. Логика, живопись, механика суть плоды этих разнообразных способностей. И так же, как существуют у нас нервы, приспособленные для обоняния приятных запахов, и нервы, для того чтобы

распознать прекрасные цвета или наслаждаться прикосновением к гладким предметам, так заложена в нас врожденная способность воспринимать прекрасное; у нее — своя цель и свои средства выражения. Плод этой способности — поэзия; она обращается исключительно к чувству прекрасного и ни к какому иному. *Подчинить ее критерию, годному для других наших способностей — значит оскорбить ее*, она никогда не сопрягается ни с какими материями — кроме тех, что являются хлебом насущным для органа души, которой она и обязана рождением. В том, что поэзия логично и закономерно оказывается полезной, нет никакого сомнения, но цель ее не в этом; это приходит нечаянно, *впридачу*. Никто не удивляется, если здание рынка, пристань или любая другая техническая постройка удовлетворяет требованиям прекрасного, хотя не в этом основная задача и предмет гордости инженера или архитектора». Свой тезис Эдгар По *иллюстрировал* примерами из критических статей, посвященных его соотечественникам-поэтам, и декламацией из английских поэтов. Его попросили прочитать «Ворона». Американские критики чрезвычайно высоко ценят это стихотворение. Они отзываются о нем как о весьма замечательном явлении с точки зрения техники стиха, говорят о его свободном и сложном ритме, об искусном переплетении рифм — это ласкает их национальную гордость, в какой-то мере не чуждую ревности к поэтическим достижениям Европы. Но Эдгар По сказал, что публика будет разочарована исполнением автора, что он не сумеет выигрышно подать свои стихи. Безыскусное чтение, глухой голос, монотонная интонация, неумение подчеркнуть мелодические эффекты — все это, несмотря на мастерство пера, вряд ли удовлетворит тех, кто думал насладиться, сравнивая чтеца и поэта. И я этому ничуть не удивляюсь. Мне часто приходилось убеждаться в том, что замечательные поэты — актеры просто никудышные. Этот недостаток особенно часто сочетается со строгим умом, сосредоточенным на творчестве. Поэты, обладающие глубиной — не декламаторы, и слава Богу.

В зале толпилась публика. Все, кто еще не видел Эдгара По, покуда он оставался в тени, теперь сбежались по-

глядеть на своего ныне знаменитого соотечественника. Этот великолепный прием наполнил радостью исстрадавшееся сердце. Поэт ощутил гордость — впрочем, вполне законную и простительную. Он был, казалось, совершенно очарован и даже поговаривал о том, что собирается окончательно перебраться в Ричмонд. Прошел слух, что он снова женится. Все глаза обратились на некую вдову, столь же богатую, сколь прекрасную — давнюю любовь Эдгара По; подозревали, что она-то и была прообразом его Линор. Тем не менее ему пришлось съездить в Нью-Йорк, чтобы выпустить в свет новое издание своих рассказов. Кроме того, супруг одной дамы, очень богатой, обратился к нему с просьбой составить сборник ее стихов, сопроводив его своими примечаниями, предисловием и т. п.

Итак, По уехал из Ричмонда; но уже в дороге он жаловался на озноб и слабость. Приехав в Балтимор и по-прежнему чувствуя себя больным, для подкрепления сил он выпил немного спиртного. Впервые за много месяцев он омочил губы в проклятом алкоголе — и этого было довольно, чтобы пробудить дремавшего Дьявола. День пьяного разгула закончился приступом белой горячки — его старой знакомой. Наутро поэта, в бесчувствии лежащего на земле, подобрали полицейские. Поскольку у него не было ни денег, ни друзей, ни пристанища, они отнесли его в больницу, где на одной из коек и умер создатель «Черного кота» и «Эврики» 7 октября 1849 года, в возрасте тридцати семи лет.

У Эдгара По не осталось никого из родни, кроме сестры, проживающей в Ричмонде. Жена его, урожденная мисс Клемм, умерла еще раньше, а детей у них не было. Она приходилась ему кузиной. Ее мать питала к Эдгару По глубокую привязанность. Она была рядом с ним во всех несчастиях, и его безвременная кончина потрясла ее. Их духовная связь не ослабла и после смерти ее дочери. Такая великая преданность, ничем непоколебимая привязанность благородной души, безусловно, делают честь Эдгару По. Несомненно, тот, кто сумел внушить столь безупречную дружбу, обладал многими достоинствами и неотразимо привлекательным духовным обликом.

Господин Виллис опубликовал об Эдгаре По небольшую заметку; привожу из нее следующий отрывок:

«Первое известие о том, что Эдгар По нашел пристанище в этом городе, мы получили благодаря даме, которая обратилась к нам о просьбой, представившись как мать его жены. Она искала для него службы. Свое вмешательство она объяснила тем, что сам поэт болен, а дочь ее тоже больна неизлечимо и положение семьи таково, что она почла своим долгом сама предпринять этот шаг. Ее преданность, ее готовность жертвовать собой, проникновенная печаль ее облика — все это озаряло ее черты красотой святости; ее величественные утонченные манеры, чуть старомодные, но в силу привычки естественные, и то, как она высоко ставила талант и знания своего сына, не позволяло усомниться в том, что к нам снизошел ангел — один из тех ангелов, какими становятся добродетельные женщины среди превратностей жизни. Судьба того, о ком она пеклась, была неумолима. Эдгар По писал утомительно скучно, притом *стиль его слишком возвышался над заурядным умственным уровнем, чтобы за это хорошо платили*. Он не вылезал из денежных затруднений, и ему с больной женой часто не хватало самого насущного. Каждую зиму, из года в год мы были свидетелями самого трогательного в нашем городе зрелища — как эта верная служительница Гения, бедно и недостаточно тепло одетая, ходила из редакции в редакцию, пытаясь продать какие-нибудь стихи или литературно-критическую статью; порой она прерывающимся голосом поясняла, что сам поэт болен, и просила за него, никогда не прибавляя ничего, кроме «он болен», каковы бы ни были подлинные причины, мешающие ему писать, и никогда, повествуя сквозь слезы о своей нужде, она не позволила себе проронить ни звука, который можно было бы истолковать как сомнение, порицание или ослабление веры в гений и благие намерения ее сына. Она не оставила его и после смерти дочери. Она продолжала свое ангельское подвижничество, живя при нем и заботясь о нем, приглядывая за ним и оберегая его, а когда он поддавался искушению, то при всем ее горе, в одиночестве попорванных чувств в ней с новой силой пробуждалось самоотверженное рвение, и она, оставленная, в нужде и страданиях, по-

прежнему *просила* за него. Если повсеместно признают, что преданность женщины, рожденная ее первой любовью и усиленная страстью, прославляет и освящает такую любовь, то что сказать в похвалу того, кто сумел внушить преданность чистую, бескорыстную и святую — словно бдение ангела-хранителя!

Перед нами письмо, написанное этой дамой, мистрис (sic) Клемм, в то утро, когда она узнала о смерти предмета ее неустанной любви. Оно могло бы стать лучшим ходатайством в ее пользу, но мы выпишем из него лишь несколько слов — письмо это столь же священно, сколь ее одиночество — чтобы удостоверить точность написанной нами картины и убедительнее обосновать подписку, которую нам хотелось бы учредить в ее пользу:

«В это утро я узнала о смерти моего дорогого Эдди... Не могли бы вы сообщить мне какие-нибудь подробности, мелочи?... Ах, не покидайте вашего несчастного друга в ее горьком несчастье... Скажите М., чтобы он зашел; у меня к нему есть поручение от моего бедного Эдди...

Не вижу необходимости просить вас о том, чтобы вы поместили извещение о его смерти и *говорили бы о нем только хорошее*. Знаю, что вы так и сделаете. *Но непременно скажите и о том, каким любящим был он сыном для меня, безутешной матери!..»*

Как тревожится бедняжка о репутации сына! Как это прекрасно! Величественно! Поистине, о необычайная женщина; как свободная воля господствует над роком, как дух возвышается над плотью, так и твоя любовь воспаряет над всеми человеческими привязанностями! Если б наши слезы перенеслись через океан — слезы всех тех, кто, подобно твоему Эдгару, несчастлив, неспокоен духом, и тех, кого нищета и скорбь нередко вовлекают в разгул, — о, если бы все эти слезы слились со слезами твоего сердца! Если бы эти строки, проникнутые самым искренним и почтительным восхищением, снискали благоволение в твоих материнских очах! Твой образ, почти божественный, вечно будет осенять список мучеников от литературы!

Смерть Эдгара По произвела в Америке подлинное волнение. Несомненные свидетельства скорби проявились в разных концах страны. Умершему прощается многое. Мы

счастливы, что можем сослаться на письмо Лонгфелло — это письмо делает ему тем больше чести, что Эдгар По резко критиковал его автора:

«Как печален конец Эдгара По — человека, столь богато одаренного гением! Я не был с ним знаком, но всегда питал глубокое уважение к его могучему таланту писателя и поэта. Проза его отличается замечательной силой, точностью и *в то же время богатством языка*, а стихи дышат особым, музыкальным очарованием, создавая атмосферу подлинно, поистине всепобеждающей поэзии. Резкость его критики я всегда объяснял лишь раздражительностью остро чувствующей натуры, которую даже малейшее проявление фальши приводит в отчаяние».

Право, забавно, когда *о богатстве языка* упоминает словообильный автор «Евангелины». Не видит ли он себя в Эдгаре По как в зеркале?

II

Поистине огромное и весьма полезное наслаждение — сравнивать черты характера великого человека с его творениями. Биографии, заметки о нравах, привычках и внешнем облике художников и писателей всегда возбуждали любопытство, впрочем, вполне законное. И кто из нас порою не искал остроты стиля и четкости мыслей Эразма — в резкости его профиля; пылкость и буйство образов у Дидро и Мерсье — в лепке их голов, сочетающей добродушие с некоторой долей самохвальства; упрямую иронию Вольтера — в его неизгладимой усмешке, означающей боевой вызов; или могущество повелителя и пророка — во взгляде, устремленном вдаль, и в могучей стати Жозефа де Местра, в чьем облике соединились орел и бык? Кто не пытался распознать «Человеческую комедию» на могучем челе Бальзака, в его неподвластных прочтению чертах?

Ростом Эдгар По был чуть выше среднего, но сложением крепок; руки и ноги маленькие. Он обладал незаурядной силой, покуда не подорвал свое здоровье. Поневоле подумаешь, что Природа — мы это видели не раз — особенно тяжелую жизнь уготовляет как раз для тех, от кого ждет великих дел. Даже если такие люди тщедушны на

первый взгляд, тем не менее они скроены по мерке атлетов, они выносливы равно и в наслаждении, и в страдании. Бальзак, присутствуя на репетициях своей пьесы «Источники Кинолы», руководил ими и сам проигрывал все роли; он сам правил оттиски своих книг; он обедал с актерами, и когда те, усталые, отправлялись спать, он с легкостью возвращался к своему труду. Каждый знает, что он безжалостно лишал себя сна и был воздержан до крайности. В юности Эдгар По отличался во всех упражнениях, требующих силы и ловкости; все это стало частью его таланта: математический расчет и задачи на сообразительность. Однажды он поспорил, что проплывет от набережной Ричмонда вверх по течению Джеймса семь миль и до вечера пешком вернется в город. И он это исполнил. Был знойный летний день, но По, казалось, не чувствовал усталости. Его осанка, поступь, движения, горделивый взгляд — все в нем, в его лучшие дни, изобличало человека незаурядного. Он был *отмечен* Природой, он принадлежал к тем людям, которые в любом обществе — в кафе, на улице — *притягивают* взгляд наблюдательного человека, занимая его ум. И если когда-либо слово «странный», которым немало злоупотребляют в современных описаниях, поистине оказывалось уместным — так это для определения типа красоты, присущей Эдгару По. Черты его лица были довольно правильны; светлый загар, печальное и рассеянное выражение; и хотя лицо его не отражало ни гнева, ни вызова, было в нем все же нечто мучительное. Глаза его, удивительно прекрасные, на первый взгляд — темно-серые, но если всмотреться внимательнее, оказывалось, что в них проступает холодком легкий, чуть различимый лиловый туман. Лоб его был великолепен — нет, он несколько не напоминал нелепые пропорции, выдуманные плохими художниками, которые, желая польстить гению, изображают его гидроцефалом, — но вы бы сказали, что его мыслительный орган увеличен за счет неудержимой скрытой силы. Те части черепа, что, по мнению краниологов, заведуют чувством прекрасного, хотя и были достаточно развиты, все же казались угнетенными, стесненными и смятыми надменной, всеподавляющей тиранией тех отделов черепа, где возникают сравнительные сопоставления,

умственные конструкции и причинные связи. А еще на лбу его застыло царственное спокойствие, свидетельствующее о глубоком понимании идеала, совершенной красоты, то есть прежде всего об эстетическом восприятии вещей и явлений. Но, несмотря на все достоинства, в целом лицо его не было ни приятным, ни гармоничным. Если смотреть анфас — оно поражало и настораживало преобладанием испытующе-выразительного лба, но профиль выдавал изъяны в строении черепа: слишком малая часть его приходилась на лицо; наконец, поражала его невероятная телесная и мыслительная мощь — и явный недостаток почтительности к чему бы то ни было в мире, нехватка чувства. Правда, отголоски безутешной печали, пронизывающие творения По, трогают душу, но при этом следует сказать, что печаль его — печаль неразделенная, печаль одинокого человека, не вызывающая сочувствия у большинства. Не могу удержаться от смеха, вспоминая строки одного весьма ценного в Соединенных Штатах писателя, имя которого я забыл, написанные им об Эдгаре По вскоре после его смерти. Привожу их по памяти, но за верность содержания отвечаю: «Только что перечитал произведения всеми нами оплакиваемого Эдгара По. Какой замечательный поэт! Какой поразительный рассказчик! Какой изобретательный, сверхъестественный ум! Да, то была светлая голова нашей страны! И все же... Я отдал бы все семьдесят его рассказов — мистических, аналитических и гротескных, со всеми их блистательными идеями — за добрую книжку для домашнего очага, для семейного чтения, ведь ему бы ничего не стоило написать такую книжку своим чудесным, ясным стилем, столь высоко превосходящим наше обычное умение. Насколько бы это возвеличило Эдгара По!» Требовать от Эдгара По книгу для семейного чтения! Поистине, глупость человеческая одинакова под всеми широтами, и критику всегда хочется обременить изящные деревца тяжеленными овощами.

У Эдгара По были черные волосы с мелькающими в них белыми нитями и большие взлохмаченные усы, за которыми он не следил. Одевался он со вкусом, но несколько небрежно — как джентльмен, у которого есть дела и поважнее. Держался он превосходно, был обходителен и уве-

рен в себе. Но его манера вести беседу заслуживает особого упоминания. В первый же раз, когда я расспрашивал об этом одного американца, он ответил мне, смеиваясь: «О! О! В разговоре он был *крайне непоследователен!*» После объяснений я понял, что в мире идей Эдгар По слишком широко шагал от темы к теме, как это бывает с учителем математики, когда он излагает материал перед хорошо подготовленными учениками: речь его — почти всегда разговор с самим собой. И разговор этот, несомненно, в высшей мере *питательный*. Эдгар По не был *краснобаем*, к тому же ни в своих речах, ни в своих творениях он терпеть не мог условностей; но его разносторонние знания, знакомство со многими языками, его усердные занятия, идеи, собранные им со всех концов мира, все это делало его речь предельно насыщенной смыслом. Словом, общество этого человека было драгоценно для тех, чья дружба усиливается, если от нее они получают большой умственный выигрыш. Но по-видимому, Эдгар По был не слишком разборчив в знакомствах. Способны ли собеседники оценить его утонченные абстрактные рассуждения или восторгаться блистательными концепциями, что молниями вспыхивали в пасмурных небесах его мозга, — все это мало трогало его. Он подсаживался в кабаке к какому-нибудь гнусному кутиле и всерьез развивал перед ним темы своей страшной книги «Эврика», и все это с непоколебимым хладнокровием, словно диктовал своему секретарю; либо вступал в научную дискуссию с Кеплером, Бэконом или Сведенборгом. Таково было свойство его природы. Еще никто и никогда не попирает столь дерзко законы общества, не заботясь, что о нем подумают люди; вот почему были дни, когда его пускали только в кабаки самого дикого пошиба, вот почему ему запрещали вход туда, где напиваются *порядочные люди*. Подобных грехов не прощает ни одно общество, а уж в особенности английское или американское. Эдгару По не прощали самый его гений; в своем «Вестнике» он вел беспощадную охоту на посредственность; критика его была взыскательной и острой — как это и подобает человеку, стоящему выше других, одиночке, не интересующейся ничем, кроме идеи. И настал миг, когда ему опротивело все человеческое, и лишь потустороннее

еще что-то значило для него. По, ослепляя блеском ума свою молодую, незавершенную в развитии страну, задевая своим поведением людей, почитающих себя равными ему, неизбежно должен был стать несчастнейшим из писателей. Забурлила злоба; вокруг него образовалась пустота. В Париже или в Германии он легко бы нашел друзей, они бы его поняли и утешили; в Америке он с трудом вырывал свой заработанный кусок хлеба. Вот чем исчерпывающе объясняется его пьянство и вечная перемена мест. Он странствовал по жизни, как по Сахаре, кочевал, подобно арабу.

Но были тому и другие причины: семейные горести. Мы видели, как его до времени созревшая юность была внезапно брошена навстречу превратностям жизни. Он был почти всегда одинок; более того, чудовищное напряжение мозга и ненасытная жажда трудиться неминуемо приводили к тому, что он находил наслаждение в вине. Он находил отдохновение в том, что других повергало в усталость. Словом, от литературных дрызг, от головокружений, вызванных созерцанием бесконечности, от семейных неурядиц и унижений нищеты он бежал во мрак пьянства — словно во мрак могилы; ибо пил он не как гурман — но как варвар; стоило ему пригубить спиртного, как он надолго прилипал к стойке и пил без передышки, пока не утопит в вине своего ангела-хранителя — пил до полного бесчувствия. Поистине чудо, но оно засвидетельствовано всеми, кто знал Эдгара По, — чудо, что от этой страшной привычки не пострадали ни чистота и совершенство его стиля, ни ясность мысли, ни приверженность к труду и сложнейшим научным изысканиям. Как правило, приступы запоя либо предшествовали созданию большей части его произведений, либо следовали за ними. После выхода в свет «Эврики» он предался беспробудному пьянству. В Нью-Йорке, в то же самое утро, когда журнал «Виг» опубликовал «Ворона», когда имя Эдгара По было у всех на устах, и люди пылко спорили о его стихотворении, сам он, шатаясь, плелся по Бродвею, задевая за стены домов.

Писательское пьянство — одно из самых обыденных и плачевных явлений современной жизни; но, может быть, для него найдутся смягчающие обстоятельства. Во време-

на Сент-Амана, Шапеля и Кольте литература также пьянствовала, но пьянствовала весело, в обществе благородных и знатных людей, которые сами писали недурно и при этом не сторонились *кабака*. Иные дамы и благородные девицы не краснели из-за своей склонности к винцу, как доказывает приключение одной особы, которую ее служанка застала в обществе Шапеля, когда они оба проливали горькие слезы над беднягой Пиндаром, умершим по вине невежественных лекарей. В XVIII веке эта традиция еще жила, но постепенно вырождалась. Школа Ретифа еще пьет, но то уже школа парий, мир подземелья. Мерсье, очень старого, повстречали на улице Кок-Оноре; Наполеон уже вознесся над XVIII веком, и Мерсье, будучи под хмельком, сказал, *еще живет, но исключительно из любопытства**. Сегодня писательское пьянство приобрело мрачные, зловещие черты. Нет больше литературно образованного класса, почитающего за честь водиться с писателями. Всепоглощающий писательский труд и вражда литературных школ мешают им объединиться. Что же касается женщин, то их беспорядочное воспитание, политическое и литературное невежество не позволяют писателю видеть в женщинах что-либо иное, нежели домашнюю утварь или предмет роскоши. Переварив обед и насытив зверя, поэт вступает в бескрайнее одиночество своей мысли; ремесло это — изматывающее. Что же ему остается? И потом — разум поэта свыкается с мыслью, что его творческая мощь непобедима, и вот он уже не в силах противостоять надежде, что вновь обретет в вине свои видения — мирные или страшные, все равно: они — его старые друзья. И, безусловно, этому же изменению нравов, выделившему литературный мир в особый класс, следует приписать неумеренное потребление табака, которым славится современная литература.

III

Попытаюсь определить общую идею, главенствующую в произведениях Эдгара По. Вряд ли возможно проанали-

* Знал ли Виктор Гюго об этой шутке?

зировать их полностью, даже если напишешь целый том, поскольку этот удивительный человек, вопреки своей безалаберной и дьявольски трудной жизни, создал очень много. По предстает пред нами в трех аспектах: критик, поэт и писатель; причем в писателе раскрывается философ.

Когда его пригласили заведовать «Южным литературным вестником», было условлено, что он будет получать 2500 франков в год. За это скудное жалование он взял на себя чтение и отбор произведений для ежемесячного журнального выпуска и редактирование так называемого «издательского» раздела, то есть критический разбор всех выходящих в свет сочинений и оценку всех литературных событий. Кроме того, он часто, и даже очень часто, помещал в журнала свою новеллу или стихотворение. Занимался он этим делом около двух лет. Благодаря его редакторской деятельности и своеобразию его критических статей «Литературный вестник» привлек к себе вскоре всеобщее внимание. Предо мной подборка номеров журнала за эти два года: «издательская» часть весьма внушительна; статьи очень пространны. Часто встречаешь в одном номере обзорные рецензии и на роман, и на поэтический сборник, и на трактат по медицине, физике или истории. И все они написаны с величайшей скрупулезностью, все раскрывают глубокое знание литературы многих стран и научную осведомленность автора, напоминая о французских просветителях XVIII века. Очевидно, Эдгар По не без пользы провел те бедственные годы, что предшествовали его редакторской службе, пополняя свои знания и переворошив немало вопросов. Здесь мы находим замечательную подборку критических рецензий на произведения важнейших писателей Англии и Америки, а то и на французские ученые записки. Откуда пришла идея, каково ее происхождение, цель, к какой школе она принадлежит, каков метод автора, спасительна она или опасна — все это изложено четко, ясно и понятно. Но, если на По обратились все взгляды, врагов он приобрел тоже немало. Искренне следуя своим убеждениям, он вел неустанную войну с неверными умозаключениями, глупыми подражаниями, солецизмами, варваризмами и прочими литературными преступлениями, что ежедневно свершаются в газетах и

книгах. Сам он был в этом отношении безупречен — по истине, непревзойденный образец; стиль его прозрачен, в точности выражает мысль автора, дает ее верный отпечаток. По всегда правилен. Факт в высшей мере примечательный — чтобы человек с таким переменчивым и необъятным воображением был при этом просто влюблен в правила и способен на дотошный разбор текста, на трудоемкие изыскания! Можно сказать, По — воплощенное единство крайностей. Слава критика сильно повредила его писательской удаче. Слишком многим хотелось бы отомстить ему за себя. И каких только упреков не бросали ему потом прямо в лицо, по мере того как возрастала его творческая сила! Кто не слышал из нас эту нескончаемую пошлую брань: обвинения в аморальности, в бездушии, в отсутствии выводов, в нелепости и бесполезности его творений. Что ж — ведь французские критики так никогда и не простили Бальзаку его «Великого человека из провинции в Париже».

Как поэт Эдгар По — совершенно особая статья. Он чуть ли не единственный представитель романтического движения по ту сторону океана. Он первый американец, сделавший из стиля свое орудие в полном смысле этого слова. Его поэзия, глубокая и скорбная, тем не менее отличается тонкостью выделки: это чистый, правильный, блестящий стих, подобный ограненному кристаллу. Мы понимаем, что, живи он среди нас, Альфред де Мюссе и Альфонс де Ламартин вряд ли оказались бы в числе его друзей, несмотря на редкие достоинства, за которые их обожают нежные и чувствительные души. У того и у другого не хватало воли, они не вполне властвовали собою. Эдгар По любил усложненные ритмы; но, как бы сложны они ни были, в них всегда заключалась внутренняя гармония. Есть у него небольшая поэма «Колокола», поистине поэтическая редкость; переводима ли она? — отнюдь нет. Шумным успехом пользовался «Ворон». По признанию Лонгфелло и Эмерсона, это — чудо. Сюжет утонченный, это чистое произведение искусства. В бурную дождливую ночь студент слышит, как кто-то стучится — сначала в окно, потом в дверь; он открывает, думая, что к нему гость. Но это бедняга ворон, сбившийся с пути и привлеченный

светом лампы. Этот ручной ворон научился говорить у своего прежнего хозяина, и первое слово, случайно оброненное зловещей птицей, задевает сокровенную часть души героя и высекает из нее вереницу разбуженных печальных мыслей: *умершая женщина, тысячи обманутых надежд, разбитая жизнь* — поток воспоминаний, теряющихся в холодной ночи отчаяния. Звучание стиха строгое, хочется сказать — потустороннее; строки падают одна за другой, словно размеренные слезы. В «Стране снов», *The Dreamland*, он попытался запечатлеть череду снов и фантастических видений, одолевающих душу, когда телесные глаза сомкнуты. Не менее знамениты и другие его стихи — такие, как «Улалюм» или «Аннабел Ли». Но поэтический багаж Эдгара По невелик. Его поэзия — трудоемкая, насыщенная смыслом — безусловно, требовала от него немало сил, а он слишком часто нуждался в деньгах, чтобы позволить себе вволю предаваться этой блаженной и бесплодной муке.

Новеллист и писатель, Эдгар По так же неповторим, как неповторимы, каждый в своем роде, Матюрен, Бальзак и Гофман. Различные его рассказы, разбросанные по журналам, были собраны в два букета, один — «Гротески и арабески», сборник новелл, другой — рассказы, издание Вилли и Путнама. Всего около семидесяти двух рассказов. В них есть и буйная буффонада, и чистый гротеск, и неудержимая тяга в бесконечное, и увлеченность магнетизмом. Маленький сборник рассказов имел большой успех в Париже, да и в Америке, ибо в нем содержались произведения в высшей мере драматические, но драматизм этот совершенно особого рода.

Хотелось бы мне охарактеризовать творчество Эдгара По как можно короче и точнее, но не знаю, смогу ли — ведь это совершенно новая литература. Что придает ей особую значительность и отличает ее от всех прочих, так это — да простят мне сии странные слова — предугадывание и пробабиллизм. Можно проверить мое утверждение на некоторых его сюжетах.

«Золотой жук»: анализ способов разгадки криптограммы, с помощью которой можно найти зарытый клад. Не могу не думать с болью, что невезучий Эдгар По, вероят-

но, часто мечтал о кладах. Как пронизательно и логично объясняется метод расшифровки, какое удивительное и дотошное вторжение в особую область криминалистики! Как прекрасно описаны сокровища, какие жаркие, ослепительные чувства вызывают они! Ибо клад — найден! *Это отнюдь не мечта*, как обычно бывает в подобных романах, где автор, возбудив ваше воображение преждевременной надеждой, грубо пробуждает вас; нет, на сей раз — сокровище *настоящее*, и расшифровщик поистине заслужил его. Вот вам точный отчет: монетой — четыреста пятьдесят тысяч долларов, и ни пылинки серебра, чистое золото, притом старинное; монеты крупные, полновесные, с неразборчивой надписью; сто десять бриллиантов, восемнадцать рубинов, триста десять изумрудов, двадцать один сапфир и единственный опал; две сотни колец и массивных серег, тридцать цепочек, восемьдесят три распятия, пять кадильниц, огромная пуншевая чаша из золота — вся в виноградных листьях и вакханках, две рукояти от шпаги, сто девяносто семь часов, усыпанных драгоценными камнями. При беглом подсчете стоимость сокровищ оценивалась в полтора миллиона долларов, но продажа принесла гораздо больше. Описание найденных сокровищ опьяняет и вызывает желание преуспеть. Ну и, разумеется, в зарытом сундуке пирата Кидда нашлось, чем облегчить отчаяние неизвестных бедолаг.

«Низвержение в Мальстрем»: а что, если можно спуститься в бездну, никем еще не измеренную, изучив законы тяжести под новым углом зрения?

«Убийство на улице Морг»: примерный урок для судебных следователей. Совершено убийство. Кем? и каким образом? В этом деле есть необъяснимые, противоречащие друг другу факты. Полиция теряется в догадках. Но тут появляется молодой человек и заново проводит следствие — из любви к искусству. Чрезмерным напряжением мысли проанализировав каждый факт, он открывает закономерность действий, совершенных дегенеративным умом. Меж двумя словами, меж двумя предположениями, ничем, на первый взгляд, не связанными, он умеет логично восстановить все связующие нити и явить ослепленному зрению недостающее звено в цепи еще неоформленных,

почти бессознательных умозаключений. Он дотошно исследует все возможные и невозможные соотношения фактов. Он восходит от индукции к анализу и весьма убедительно доказывает, что преступление совершено... обезьяной.

«Месмерическое откровение»: отправная точка такова — нельзя ли с помощью таинственных сил, так называемых магнетических флюидов, открыть закон, управляющий по-сторонними мирами? Начало повести првисполнено торжественного величия. Врач усыпляет больного единственно затем, чтобы облегчить его страдания. «Что вы думаете о своей болезни?» — «Что умру от нее». — «Вам очень горько?» — «Ничуть». Больной упрекает врача в том, что он не так задает вопросы. «Руководите мною», — отвечает врач. — «Начните с начала начал». — «А что есть начало?» Больной, очень тихо: «Бог». — «Бог есть дух?» — «Нет». — «Так что же — он материален?» — «Нет». Далее следует подробное теоретическое истолкование понятия материи, ее перехода из одного состояния в другое и обоснование иерархии живых существ. Я опубликовал эту вещь в одном из номеров «Свободной мысли» в 1848 году.

В другом рассказе речь идет о душе, обитавшей на планете, которая перестала существовать. Отправная точка: возможно ли, методом индукции и анализа, угадать, каковы были физические и моральные свойства обитателей того мира, к которому приближалась смертоносная комета?

В других случаях мы сталкиваемся с чистой фантастикой, писанной с натуры, но смысл происходящего недосказан, в манере Гофмана: «Человек толпы» постоянно погружается в ее глубины, с наслаждением плавает в человеческом океане. Когда опускаются сумерки, полные тени и дрожащего света, он бежит прочь от затихших кварталов в неудержимом стремлении отыскать уголок, где бурлит и кипит человеческое месиво. И по мере того как неуклонно сжимается круг света и жизни, человек лихорадочно ищет его средоточие; словно при потопе, в отчаянии цепляется он за последние выступающие островки людского оживления. Дальше — ничего. Преступник ли это, которого одиночество повергает в ужас? Или глупец, которому нестерпимо собственное общество?

Есть ли в Париже хоть один мало-мальски образованный писатель, не читавший «Черного кота»? Здесь мы уже видим черты совершенно иного порядка. Как невинно и трогательно начинается эта страшная поэма преступления! «Мы с женой сблизились благодаря удивительному сходству вкусов, а также благодаря нашей привязанности к животным; родители потворствовали нашему пристрастию. И потому наш дом напоминал зверинец; и каких только зверей у вас не было!» Дела семьи пришли в упадок. Вместо того чтобы действовать, человек погружается в черный кабацкий бред. Прекрасный черный кот, ласковый Плутон, которой прежде всегда приветливо встречал хозяина, когда тот возвращался домой, теперь не так уж привязан к нему; даже можно подумать, что Плутон избегает его, чуя опасность, таящуюся в водке и джине. Его поведение кажется человеку оскорбительным. Его печаль, мрачное, угрюмое состояние духа усугубляются вместе с возрастающей привычкой к отраве. Как великолепно описана жизнь кабака и молчаливые часы безрадостного пьянства! Однако действие разворачивается стремительно. Кот все больше и больше раздражает его, подобно некому укору. И вот однажды вечером, уж не знаю, по какой причине, он хватает животное и перочинным ножом вырезает ему глаз. Окривевший, окровавленный кот с тех пор бежит от него стремглав, и от этого ненависть человека растет еще больше. Наконец он ловит его и душит. Этот отрывок заслуживает того, чтобы привести его полностью:

«В положенный срок кот потихоньку оправился. Правда, пустая глазница выглядела ужасно, но от боли он как будто не страдал. Он расхаживал по дому, как ни в чем не бывало, но, как и следовало ожидать, в страхе убегал, стоило мне приблизиться. Я еще не совсем загрубел и на первых порах огорчился от столь явной неприязни, ведь еще недавно он так любил меня. Но смущение не замедлило смениться раздражением. А там уже разыграл на полную и безвозвратную мою погибель бес противоречия. Философия совершенно игнорирует это явление. Я же скорей усомнюсь, есть ли у меня душа, чем в том, что потребность перечить заложена в нашем сердце от природы — одна из

тех первозданных и самых неотъемлемых наших особенностей, в которых начало начал всего поведения человеческого. Кто же не ловил себя сотни раз на подлости или глупости, на которые нас подбило только сознание, что так поступать не положено? Разве не тянет нас то и дело, рассудку вопреки, поглумиться над законом единственно потому, что мы сознаем его непреложность? Вот бес противоречия и обуял меня, повторяю, на полную мою погибель. То была непостижимая потребность души распалить себя, надругаться над собственной своей природой, осквернять только ради скверны; она-то и побудила меня, изувечив безответное животное, не останавливаться на полпути, а довести дело до конца. Однажды я преспокойно накинул ему петлю на шею и повесил на суку; повесил, а у самого слезы ручьем, и раскаяние гложет сердце; повесил его, потому что знал, как он любит меня, и потому что понимал, что он ничем передо мной не провинился; повесил его, потому что знал, что это — грех, смертный грех, и я почти обрекаю свою бессмертную душу на такую отверженность, что на меня, если такое мыслимо вообще, уже не простирается даже не знающее границ всепрощение всемилостивого и всевысказующего Господа».

Пожар довершает разорение супругов; они находят приют в бедном квартале. Человек пьет по-прежнему. Болезнь развивается чудовищными темпами — «ибо какая болезнь хуже пьянства?» Однажды вечером в кабаке он видит сидящего на бочке прекрасного черного кота — точь-в-точь как его прежний. Кот сразу подпустил его к себе и приветливо отвечал на его ласки. Человек отнес его жене, чтобы утешить ее. Утром увидели, что кот кривой на один глаз — на тот же самый. Мало-помалу привязанность животного довела человека до отчаяния; назойливое раболепство кота казалось утонченной мезьей, иронией — словно в таинственном звере воплотились угрызения совести хозяина. Несомненно, бедняга был не в своем уме. Как-то вечером, спускаясь вместе с женой в подвал по домашним делам, он споткнулся о верного кота, который терся о его ноги. В ярости накидывается он на животное; жена бросается ему неперерез — и он единым ударом топора укла-

дывает ее на месте. Первая мысль, пришедшая ему в голову — как спрятать труп. Он замуровал его в подвальной стене. Кот исчез. «Он понял, что я в бешенстве, и рассудил, что благоразумнее удрать». После чего наш герой уснул сном праведника. Проснувшись поутру, он испытал огромное облегчение и радость оттого, что кот не встречает его своими гнусными ласками. Тем временем правосудие неоднократно обыскивало его дом; сбитое с толку следствие уже собиралось уходить, как вдруг он и говорит: «Вы еще забыли осмотреть подвал, господа!». Подвал осмотрели, и, не найдя никаких улик, полицейские уже поднимались по ступенькам лестницы, «но тут сам черт меня дернул, и, распираемый восторгом неслыханной гордости, я вскричал: «Прекрасная стена! Вот это действительно отличная работа! Теперь таких подвалов уже не делают!» — и с этими словами я постучал тростью по стене — как раз в том месте, где была скрыта жертва». Послышался приглушенный жалобный вой; убийца лишился чувств; полицейские разобрали стенную кладку, труп выпал, и взорам предстал кот-чудовище — перепачканный известкой и кровью, одноглазый и безумный.

Не только вопросы возможного и вероятного воспаляли страстное любопытство Эдгара По, но и душевные болезни. «Береника» — блистательный опыт в этом жанре; какой бы невероятной и преувеличенной не предстала эта вещь в моем сухом анализе, все же берусь утверждать, что эта страшная история в высшей степени логична и вероятна. Эгей и Береника — двоюродные брат и сестра; Эгей — бледный, одержимый теософией худосочный юноша, злоупотребляющий силой своего разума для проникновения в область таинственного; Береника — резвая, живая, она всегда играет в рощах или в саду и вызывает общее восхищение своей ослепительной, цветущей красотой. Но вот Беренику поразила таинственная, страшная болезнь, которую иногда называют довольно странно — *дисторсия личности*. Вероятно, разновидность истерии. Кроме того, с ней случались приступы эпилепсии, порой они оканчивались летаргическим сном, похожим на смерть; пробуждение наступало неожиданно. Красота ее исчезает, можно

сказать — тает. Что же касается Эгея, то у него, говоря языком обыденным, болезнь еще более странная. Заключается она в гипертрофии созерцательной способности, в нездоровой сосредоточенности *внимания*.

«Забыться на много часов подряд, задумавшись над какой-нибудь своеобразной особенностью полей страницы или набора книги; проглядеть, не отрываясь, чуть ли не весь летний день на причудливую тень, пересекающую гобелен или легшую вкось на полу; провести целую ночь в созерцании неподвижного язычка пламени в лампе или угольков в очаге; грезить целыми днями, вдыхая аромат цветка; монотонно повторять какое-нибудь самое привычное словцо, пока оно из-за бесконечных повторений не утратит значения; подолгу замирать, окаменев, боясь шелохнуться, пока таким образом не забудешь и о движении, и о собственном физическом существовании — такова лишь малая часть, да и то еще самых невинных и наименее пагубных сумасбродств, вызванных состоянием духа, которое, может быть, и не столь уже необычайно, но анализу оно мало доступно и объяснить его нелегко».

Он всячески старается обратить наше внимание на то, что это не просто глубокая задумчивость, свойственная людям; ибо мечтатель берет за отправную точку какое-либо примечательное явление, переходит от одной мысли к другой и после долгого дня, проведенного в мечтах, вдруг обнаруживает, что побудительная причина размышлений забыта, *incitamentum* исчез. У Эгея все совсем иначе. Предмет внимания неизменно ребяческий; но это саморазрушительное созерцание опасно: оно преломляется совершенно неожиданным образом. Созерцание почти без выводов, а что до удовольствия от размышлений — их нет и в помине; в конце концов исходный предмет внимания не только не забывается, но, напротив, приобретает сверхъестественный интерес, непомерную важность — это и есть отличительный симптом болезни.

Эгей вскоре должен вступить в брак со своей кузиной. Но даже в ту пору, когда ее несравненная красота была в полном расцвете, он никогда не обращал к ней слова любви; но он питает к ней величайшую дружбу и величайшую

жалость. И к тому же, разве Береника не обладает неотразимым соблазном — соблазном неразгаданной тайны? Эгей сам признается, что, вследствие своего *необычного, странного образа жизни, его чувства никогда не исходили из сердца, и страсти зарождались исключительно в голове*. Однажды вечером Береника появилась пред ним в библиотеке. Расстроенное ли воображение, неясный ли свет сумерек тому виной, но ему показалось, что она стала выше ростом. Он долго молча созерцал этот истощенный призрак, а она, с болезненным кокетством подурневшей женщины, вымученно улыбнулась ему, словно желая сказать: «Правда, я сильно изменилась?» — и при этом ее губы, искривленные мукой, обнажили весь двойной ряд зубов. «Век бы мне их не видеть, о Господи, а увидев, умереть бы на месте!»

Ее зубы запечатлелись в сознании несчастного. Два дня и бессонную ночь провел он на том же месте, словно пригвожденный, и вокруг него витали ее зубы. Они отчеканились в его мозгу — длинные, узкие, словно зубы павшей лошади; ни одна подробность не ускользнула от его внимания: ни пятнышко, ни зазубринка, ни точка. Он содрогнулся в ужасе, поймав себя на том, что приписывает им одним, без участия губ, способность выражать движения души и мысли: «О мадемуазель Салле говорили: «*Que tous pas étaient des sentiments*», — а я совершенно искренне был убежден, что зубы Береники — воплощение ее мыслей».

На исходе второго дня Береника умерла; Эгей не посмел не отдать последнего долга праху своей кузины и вошел в ее комнату проститься. Гроб стоял на кровати. Когда он приподнял тяжелые завесы полога, они упали ему на плечи, заключив его вместе с покойницей в тесном соприкосновении. И — странная вещь! — повязка вокруг ее челюстей развязалась. Засверкали зубы — неизменно белые, длинные...

Он с усилием отрывается от смертного ложа и в ужасе бежит.

Мрак в его мозгу сгущается, рассказ становится путанным и бессвязным. Он приходит в себя за столом в библиотеке, у лампы, над раскрытой книгой, и взгляд его падает на фразу: «*Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae*

visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas». Рядом — эбеновая шкатулка. Откуда? Зачем? Ведь эта шкатулка, кажется, принадлежит их домашнему врачу? В великом смущении входит бледный слуга; что-то говорит тихо и невнятно. Однако из обрывков фраз можно понять, что речь идет о взломе склепа, о страшных криках, о еще теплом трупе, лежащем на краю собственной могилы — об окровавленном, искалеченном трупе. Слуга указывает Эгею на его платье: оно измазано землей и кровью. Он берет его за руку: на ней какие-то странные раны, словно от ногтей. Он обращает внимание Эгея на прислоненное к стене орудие. Это заступ. С чудовищным воплем бросается Эгей к шкатулке, но от волнения и слабости роняет ее, шкатулка раскрывается, и оттуда выпадают зубоврачебные инструменты, рассыпаясь по полу со зловещим металлическим лязгом, а вперемежку с ними — ее проклятые зубы, его наваждение! Сам не отдавая себе отчета, бедняга осуществил свою навязчивую идею, вырвал зубы у своей кузины, которую после припадка эпилепсии по ошибке сочли мертвой и погребли заживо.

Как правило, Эдгар По отмечает второстепенные детали, во всякой случае, почти не придает им значения. Благодаря жесткой строгости отбора резче выделяется основная мысль, и сюжет ярче прорисовывается на оголенном фоне. Что же касается его повествовательного приема, то он довольно прост. Эдгар По цинично и монотонно злоупотребляет местоимением «я». Можно подумать, он вполне уверен в том, что его личность вызывает всеобщий интерес и ему незачем заботиться о разнообразии своих средств. Его рассказы — это почти всегда исповедь главного персонажа или его записки. Ну, а что касается той страстности, с которой он разрабатывает сферу ужасного, то на многих примерах я замечал, что обычно тягу к ужасам испытывают такие люди, чьи огромные жизненные силы не нашли себе применения, или те, что отличаются стойкой нравственной чистотой, а также те, чья душевная чувствительность подавлена обстоятельствами. Противоестественное наслаждение, которое порой испытывает человек при виде собственной льющейся крови, резкие нецелесообразные жесты, произвольный вскрик — все это

явления одного порядка. Боль исцеляют болью, отдых от покоя обретают в действии.

Другая особенность его произведений — их антиженская сущность. Женщины едят быстро-быстро, словно захлебываясь; их говорливая душа не успевает отдышаться. Как правило, им неведомы ни искусство, ни логика, ни чувство меры; женский стиль влачится и струится — как их одежды. Даже такой поистине великий и по заслугам прославленный писатель, как Жорж Санд, все же и она, несмотря на все свое превосходство, не сумела избежать общего закона, вытекающего из особенностей женского темперамента; свои шедевры она отправляет с почтой, словно письма. И разве не ходят слухи, будто она пишет свои романы на листках почтовой бумаги?

В книгах Эдгара По стиль сжатый, *логически выверенный*; недобросовестность или леность читателя не могут пробраться сквозь ячеи этой сети, сплетенные логикой. Все его мысли, как послушные стрелы, летят к единой цели.

Я прошел сквозь длинный ряд новелл и не нашел ни одной любовной истории. Но подумал об этом только дойдя до конца — настолько этот человек завораживает. Не желая никому навязывать аскетическую систему, выдвинутую честолюбивым духом, я все же думаю, что строгий стиль в литературе прозвучал бы сегодня у нас полезным протестом, вызовом всеобъемлющей женской спеси, чем дальше, тем больше распяемой смехотворным идолопоклонством мужчин; и я весьма снисходителен к Вольтеру, полагая, что он очень хорошо сделал, когда в предисловии к «Смерти Цезаря», трагедии без единого женского персонажа, рассыпался в притворных извинениях за подобную дерзость, тем самым еще больше подчеркнув свой мастерский ход.

В Эдгаре По нет никакого раздражающего хныканья; но всегда и везде — неустанное тяготение к идеалу. Подобно Бальзаку, который, вероятно, жалел, умирая, что так и не стал ученым, и он питал страсть к науке. Им написан «Учебник конхиолога», о котором я забыл упомянуть. Подобно завоевателям и философам, он стремился объединять; он стремился сочетать духовное начало с физическим. Можно подумать, что он пытается приложить к ли-

тературе философский метод, а к философии — алгебраический. В непрестанном восхождении к бесконечному задыхаешься. В этой литературе воздух разрежен, как в лаборатории. В каждой его вещи — непрерывное прославление воли, опирающейся на индукцию и анализ. Так и кажется, что По хочет перехватить слово из уст пророков и присвоить себе исключительное право на логическое обоснование. Оттого так призрачно бледны пейзажи, что служат порою фоном для его распаленных фантазий. Лишь отчасти разделяя пристрастия других людей, По изображает облака и деревья, похожие на сны о деревьях и облаках, а вернее, похожие на его странных героев, также волнуемых сверхъестественной гальванической дрожью.

Впрочем, однажды он попробовал написать чисто человеческую книгу. «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», не стяжавшая большого успеха, — это история о мореплавателях, которые после серьезных аварий попали в штиль Южных морей. Воображение автора тешится страшными сценами и удивительными зарисовками неведомых племен и островов, не обозначенных на карте. Книга написана в высшей степени просто и обстоятельно. Впрочем, она представлена как судовой журнал. Судно потеряло управление; кончились запасы воды и пищи; моряки дошли до людоедства. Но вот наконец показался бриг.

«На палубе корабля поначалу не было ни души, но, когда он приблизился к нам на четверть мили, мы увидели трех человек, судя по одежде — голландцев. Двое из них лежали на старой парусине на баке, а третий, взиравший на нас с величайшим любопытством, оперся на правый борт у самого бушприта. Это был высокий крепкий мужчина с очень темной кожей. Всем своим обликом он, казалось, призывал нас запастись терпением, радостно, хотя и несколько странно, кивая нам, и улыбался, обнажая ряд ослепительно белых зубов. Когда судно подошло еще ближе, мы заметили, как у него с головы слетела в воду красная фланелевая шапочка, но он не обратил на это внимания, продолжая улыбаться и кивать. Я описываю все происходящее со всеми подробностями, но — следует помнить — именно так, как нам это *казалось*.

Медленно, но более уверенно, чем прежде, бриг приближался к нам — нет, я не могу рассказывать об этом событии спокойно. Наши сердца бились все сильнее, и мы излили душу в отчаянных криках и благодарениях Всевышнему за полное, неожиданное, чудесное избавление, которое вот-вот должно было свершиться. И вдруг с этого таинственного корабля (он был совсем близко) потянуло каким-то запахом, зловонием, которому в целом мире не найти ни названия, ни подобия... что-то адское, удушающее, невыносимое, непостижимое. Я задышался, мои товарищи побледнели, как мрамор. Для вопросов и догадок времени уже не оставалось: незнакомец был футах в пятидесяти и, казалось, хотел подойти вплотную к нашей корме, чтобы мы, вероятно, могли перебраться на него, не спуская лодки. Мы кинулись на корму, но в этот момент корабль внезапно отвернуло от курса на пять-шесть румбов, и он прошел перед самым нашим носом, футах в двадцати, дав нам возможность увидеть все, что творится на борту. До конца дней моих не изгладится из памяти невыразимейший ужас, охвативший меня при виде того зрелища. Между кормой и камбузом валялись трупы, отталкивающие, окончательно разложившиеся, двадцать пять или тридцать, среди них и женские. Тогда-то мы и поняли, что на этом проклятом Богом корабле не оставалось ни единого живого существа. И все же... и все же мы взывали к мертвым о помощи! Да, в тот мучительный момент мы умоляли эти безмолвные страшные фигуры, умоляли долго и громко остаться с нами, не покидать нас на произвол судьбы, которая превратит нас в таких же, как они, принять нас в свой смертный круг! горестное крушение наших надежд повергло нас в форменное безумие, мы неистовствовали от страха и отчаяния.

Едва мы испустили первый крик ужаса, как, словно бы в ответ, раздался звук, который человек даже с самым тонким слухом принял бы за вопль себе подобного. В эту минуту судно снова сильно отклонилось в сторону, открыв перед нами носовую часть, и мы поняли причину звука. Опираясь на фальшборт, там по-прежнему стоял тот высокий человек и так же кивал головой, хотя лица его не было видно. Руки его свесились за борт, ладони были вы-

вернуты наружу. Колени его упирались в туго натянутый канат между шпором бушприта и крамболом.

К нему на плечо, туда, где порванная рубашка обнажила шею, взгромоздилась огромная чайка; глубоко вцепившись когтями в мертвую плоть, она жадно рвала ее клювом и глотала куски. Белое оперенье ее было забрызгано кровью. Когда судно, медленно поворачиваясь, приблизило к нам нос, птица как бы с трудом подняла окровавленную голову, точно в опьянении посмотрела на нас и лениво оторвалась от своей жертвы, паря над нашей палубой с куском красновато-коричневой массы в клюве, который затем с глухим ударом шлепнулся у самых ног Паркера. Да простит мне Бог, но именно в этот момент у меня впервые мелькнула мысль — впрочем, предпочту умолчать о ней — и я невольно шагнул к кровавой лужице. Подняв глаза, я встретил напряженный и многозначительный взгляд Августа, который немедленно вернул мне самообладание. Кинувшись стремительно вперед, я с отвращением выбросил безобразный комок в море.

Итак, терзая свою жертву, хищная птица раскачивала поддерживаемое канатом тело; это движение и заставило нас подумать, что перед нами живой человек. Теперь, когда чайка взлетела в воздух, тело изогнулось и немного сползло вниз, открыв нам лицо человека. Ничего более ужасающего я не видел! На нас смотрели пустые глазницы, от рта остались одни зубы. Так вот какая она, та улыбка, что вселила в нас радостные надежды! Так вот... впрочем, воздержусь от рассуждений.

Бриг, как я уже сказал, прошел перед самым нашим носом и медленно, но уверенно направился в подветренную сторону. С ним, с его фантазмагорическим экипажем уходили наши светлые надежды на спасение».

Несомненно, любимейшая книга Эдгара По — «Эврика», о ней он долго мечтал. Не имею возможности разобрать ее здесь достаточно подробно. Эта книга требует отдельной статьи. Тот, кто прочел «Месмерическое откровение», тот знает о метафизических устремлениях нашего автора. В «Эврике» Эдгар По утверждает свой метод и раскрывает закон, подчиняясь которому мироздание облеклось в сегодняшние зримые формы, обрело свое нынешнее

устройство; кроме того, автор объясняет, каким образом тот же самый закон, что сотворил все сущее, станет орудием его уничтожения и окончательного слияния нашего мира со вселенной. Вы без труда поймете, почему мне не хочется легковесно судить о столь честолюбивой попытке. Боюсь впасть в заблуждение и оклеветать автора, к которому испытываю глубочайшее уважение. Эдгара По уже обвиняли в пантеизме, и хотя я вынужден признать, что это вполне возможно, тем не менее берусь утверждать, что, подобно многим великим людям, влюбленным в логику, он порою сам себе противоречит, что, безусловно, говорит в его пользу; таким образом, пантеизм Эдгара По в значительной мере оспаривается его взглядами на иерархию живых созданий, и непреходящую сущность личности можно подтвердить многими примерами из его произведений.

Эдгар По очень гордился этой книгой, хотя она и не пользовалась таким успехом, как его новеллы, что совершенно естественно. Читать ее следует с осмотрительностью, проверяя странные умозаключения автора с помощью сопоставления аналогичных и противоположных философских систем.

IV

Был у меня друг, тоже метафизик в своем роде, не терпевший никаких возражений, с замашками Сен-Жюста. Он часто говаривал мне, опираясь на какой-либо пример из окружающего мира и поглядывая на меня при этом довольно косо: «Всякий мистик имеет свой тайный порок». И я мысленно продолжал за него: следовательно, его надо уничтожить. Но при этом я смеялся, потому что не понимал его. И вот однажды, когда я беседовал с хорошо известным и преуспевающим книготорговцем, который специализировался на том, что потакал отраслям мистической шатии и мрачных поклонников оккультного знания, то когда я стал расспрашивать о его клиентах, он сказал: «Не забывайте, что каждый мистик имеет тайный порок, и часто вполне плотский; один — пьяница, другой — обжора, третий — распутник, тот — скупердяй, этот — злодей, и так далее».

— Господи! — сказал я себе, — да что же это за роковой закон, что ввергает нас в оковы, властвует над нами и жестоко мстит нам за попытку свергнуть его непосильный произвол разрушением и ущербностью нашего духовного начала? Ясновидцы всегда были величайшими из людей. Неужели кара за их превосходство неизбежна? И разве честолюбие — не самая благородная их черта? Вечно ли будет человек столь ограничен, что каждый из его талантов сможет расцвести лишь ценою ущерба всех остальных? Если желание познать истину любой ценой — великое преступление или хотя бы опасный путь, который может привести к великим заблуждениям, если глупость и беспечность суть добродетели и верная порука душевного равновесия, то все же, думаю, мы должны быть очень снисходительны к этим прославленным преступникам, ибо нам, детям XVIII и XIX веков, вменяется в вину тот же грех.

Говорю это без ложного стыда, потому что право на эти слова мне дает чувство глубочайшей жалости и нежности; поистине, Эдгар По — пьяница, нищий, изгой, пария — нравится мне гораздо больше, чем какой-нибудь уравновешенный и *добродетельный* Гёте или Вальтер Скотт. Я ска- зал бы о нем и обо всей этой особой породе людей те слова, что приводятся в катехизисе о нашем Господе: «Он много страдал за нас».

На его могиле следовало бы написать: «Вы, все те, кто пылко стремился открыть законы своего бытия, те, кто жаждал познать бесконечное, вы, чьи попранные чувства искали страшного утешения в вине и разгуле, молитесь за него! Теперь, освобожденный от плоти, очищенный от греха, воспаряет он среди сонма созданий, существование которых он предвосхитил; молитесь за него, всевидящего и всезнающего, ибо он станет вашим заступником».



НОВЫЕ ЗАМЕТКИ ОБ ЭДГАРЕ ПО

Предисловие к «Новым необычным историям», 1857 г.

I

Декадентская литература! — как часто слышим мы эти пустые слова, произносимые на высокопарном зевке устами известных сфинксов без загадки, стоящих на страже святых врат классической эстетики. И каждый раз, как прогремит сей непререкаемый оракул, можно с уверенностью утверждать, что дело касается произведения полубопытней «Илиады». Очевидно, стихов или романа, все в которых призвано изумлять: и стиль отточен на диво, и многообразие языковых средств и просодии выверены непогрешимой рукой. И когда я слышу очередную анафему — что, к слову, всегда выпадает на долю любимейших наших поэтов — меня так и подмывает ответить: «Неужели вы принимаете меня за такого же варвара, как вы сами, и полагаете, что я способен столь же бездарно развлекаться, как вы?» И тогда в моем мозгу вскипают гротескные аллегории; две жены предстают моему воображению: одна — сельская матрона, отвратительно здоровая и добродетельная, ни ступить, ни взглянуть не умеет, словом — *всем обязанная одной лишь природе*; другая — из тех красавиц, что покоряют и гнетут душу, сочетая подлинное, самобытное очарование с красноречием наряда; она — полная госпожа своих движений, сама себе царица, сознающая свою силу, голос ее звучит, как верно настроенный инструмент, а глаза полны мысли, но вы прочтете в них лишь то, что она сама соизволит открыть вам. Вряд ли я стал бы колебаться в выборе, однако найдутся педантичные сфинксы, которые непременно упрекнут меня за непочтительность к классическим образцам. Но, оставив иносказания, думаю, что мне доз-

волено спросить сих мудрецов, понимают ли они всю тщету, всю никчемность своей мудрости. Понятие *декадентская литература* предполагает, что существует целая градация литератур — младенческая, детская, отроческая и т. д. Этот термин, хочу я сказать, включает в себе нечто роковое, предопределенное, словно некий непреложный декрет; и упрекать нас в том, что мы повинемся таинственному закону, крайне несправедливо. Из дидактической речи я понял одно: радоваться, следуя этому закону, — стыдно, и если мы в нашей жизни стремимся наслаждаться — значит, мы преступники. То же солнце, что еще недавно заливало все вокруг неприкрытым, резким светом, скоро разольется на западе разнообразными красками. Иные поэтически настроенные души обретут новые наслаждения; наблюдая за световыми играми умирающего солнца, они откроют ослепительные колоннады, потоки расплавленного металла, огненные эдемы, пышность печали, сладострастие сожалений, все волшебство мечты, все опиумные наваждения. И солнечный закат предстанет им чудесной аллегорией души, отягощенной жизнью, что уходит за горизонт во всем роскошном изобилии образов и мыслей.

Но о чем не подумали эти заядлые педанты, так это о том, что в ходе жизни могут произойти такие осложнения, такое стечение обстоятельств, что это будет полной неожиданностью для их школярской премудрости. И тогда их убогий язык окажется беспомощным; так бывает, например, в том случае, когда некий народ начинает свою литературу прямо с декадентства, то есть с того, чем другие народы обычно заканчивают, — явление, которое, вероятно, еще будет повторяться в разных вариациях.

Если в несчетных колониях нашего века образуются новые литературы, то они, несомненно, дадут непредвиденный поворот мыслей, что окончательно собьет с толку школьнический ум. Юная и в то же время древняя Америка болтает и мелет чушь с поразительной словоохотливостью. Кто сочтет ее поэтов? Им несть числа. А ее *синие чулки*? Они наводняют журналы. Ее критики? Можете не сомневаться, что у нее также найдется немало педантов, которые стоят наших; так же упорно твердят они худож-

нику об античной красоте, допрашивают поэта или писателя о нравственности его целей и чистоте его намерений. Там, как и здесь, но, пожалуй, чаще, встречаются писатели, незнакомые с орфографией; и там есть ребяческая, бестолковая возня; тьма компиляторов, любителей переливать из пустого в порожнее, плагиаторов плагиата и критиков критик. В этом кишении посредственностей, в мире, влюбленном в вещественную роскошь жизни, — а это соблазн в новом духе, через него начинаешь понимать величие ленивых народов, — в этом обществе, падком на все необычное, влюбленном в жизнь, но только в жизнь лихорадочную, — вдруг явился человек, великий не только своею метафизической проницательностью, не только гибельной или чарующей красотой своих замыслов, точностью своих научных исследований, но еще не менее великий и в области *карикатуры*. Мне следовало бы изъясняться осторожнее, поскольку совсем недавно один опрометчивый критик, желая ошельмовать Эдгара По и внушить сомнение в моей искренности, воспользовался словом *фокусник*, некогда употребленным мною по отношению к благородному поэту скорее в похвалу ему.

Из утробы прозорливого мира, алкающего вещественных благ, По устремился в мечту. Задыхаясь в американской атмосфере, он пишет в начале «Эврики»: «Я предлагаю эту книгу тем, кто верит в мечту как в единственную реальность!» Таким образом, он был воплощенным вызовом; и, будучи вызовом, воплощал его по-своему, *in his own way*. Писатель, в «Беседе Моноса и Уны» щедро изливающий все свое презрение и отвращение к демократии, прогрессу и *цивилизации*, — тот же самый писатель, который ради того, чтобы провести легковерных сограждан и привести в восторг ротозеев, превыше всего ставил главенство человека и с величайшим хитроумием изобретал *утки*, весьма лестные для гордости *человека современного*. Эдгар По, если рассматривать его в этом свете, представляется мне кормчим, задавшимся целью посрамить своего учителя. И, чтобы еще точнее выразить свою мысль, скажу, что Эдгар По был велик во всем — не только в своих благородных убеждениях, но и как мистификатор.

II

Уж его-то никогда не удавалось провести! Я не верю, чтобы уроженец Виргинии, который во время самого разнузданного разгула демократии писал: «Народу законы ни к чему, если он не законопослушен», — мог хоть на миг стать жертвой современной премудрости; или вот это: «Воображение черни — как бы ее нос; именно воздействуя на ее воображение, и можно с легкостью водить ее за нос»; и еще сотня подобных высказываний, где насмешка так и хлещет шрапнелью презрительно и небрежно. Приверженцы Сведенборга в восторге от «Месмерического откровения», они напоминают тех простодушных ясновидцев, что некогда открыли в авторе «Влюбленного дьявола» властителя их тайн; они благодарят его за провозглашение великих истин, ибо находят — о, постигший непостижное! — что все его сочинения — чистая правда, хотя, признаются эти славные люди, сначала они подозревали, что все это лишь обычный вымысел. По отвечает, что сам он никогда и не сомневался в том, что это вымысел. Не знаю, стоит ли приводить этот отрывок, попавший мне под руку, когда я в сотый раз перелистывал его забавные «Marginalia», эту потайную камеру его разума: «Чудовищное преумножение книг по всем областям знаний — вот один из главных бичей нашего века! ибо это и составляет серьезнейшее препятствие для изучения любой позитивной науки». Аристократ скорее духом, чем происхождением, виргинец, южанин, Байрон, затерянный в недобром мире, он всегда сохранял философское бесстрашие и всегда — размышляет ли он о том, что такое нос черни, насмехается ли над фабрикантами религий, осмеивает ли библиотеки — он всегда остается тем, чем был и пребудет поэт милостью Божией: самую истиной, одетой в причудливый наряд, зримым парадоксом; он не терпит, когда его толкают локтями в толпе, и бежит на Восток, когда фейерверк расцветает на Западе.

Но вот что важнее всего: отметим, что этот писатель, плод самодовольного века, дитя народа, самодовольного, как ни один народ в мире, ясно увидел и бесстрастно подтвердил, что человек зол по природе своей. Согласно Эд-

гару По, в человеке есть таинственная сила, которую современная философия не желает принимать в расчет; и все же, без этой неназванной силы, без этой изначальной склонности многие человеческие поступки так и останутся необъясненными — необъяснимыми. Эти поступки соблазняют именно *потому*, что они дурны, губительны; в них — влечение к бездне. Эта первобытная, неодолимая сила — природная Порочность, это по ее вине человек пестует в себе одновременно убийство и самоубийство, душегуба и палача; ибо, — добавляет он с поистине сатанинской пронизательностью, — невозможность найти хоть в какой-то мере разумное объяснение дурным и пагубным поступкам неминуемо навела бы нас на мысль, что это внушение Дьявола, когда бы наш опыт и наша история не показывали, как Всевышний использует подобные случаи для утверждения порядка и наказания злодеев, но только после того как *использует их в качестве своих сообщников!* — да, признаюсь, такая мысль мелькнула в моем мозгу — вывод столь же неверный, сколь неизбежный. Но сейчас я лишь хочу обратить внимание на великую и забытую истину — на изначальную порочность человека — и не без удовольствия вижу, что к нам возвращаются утерянные обломки античной мудрости, причем из таких краев, откуда их и ждать не могли. Приятно, когда осколки от взрыва старой истины летят прямо в лицо всем этим льстецам человечества, любителям посусюкать над ним и убаюкать его, всем тем, что знай себе твердят на все лады: «Я родился добрым, и вы тоже, и все мы добры от рождения!» — но при этом проповедники бессмысленного равенства забывают, или нет! — притворяются, будто не помнят, что все мы от рождения отмечены печатью зла!

И какая бы лож могла одурачить того, кто порою — печальный долг посвященных! — так славно выводил на чистую воду любой из обманов! Что за презрение к потугам на философствование в те дни — его лучшие дни — когда он был, можно сказать, ясновидцем! Этот поэт, чьи разнообразные фантазии, казалось, созданы ради удовольствия подтвердить пресловутое всемогущество человека, хотел порою оправдаться в собственных глазах. В тот день, когда он написал: «Всякая уверенность — плод воображе-

ния», — он принизил собственный американизм; в другой раз, возвращаясь на истинный путь поэтов, послушный непреложной истине, что преследует нас, как демон, он пламенно вздыхал «о падшем ангеле, что помнит небеса»; он горько сожалел о Золотом Веке и о Потерянном Рае, оплакивал великолепие природы, «корчился в жарком ды- хании горнов»; наконец, он издал прекрасные страницы — «Беседу Моноса и Уны», что могли бы смутить и очаровать самого непогрешимого де Местра. Именно он сказал о социализме в те времена, когда у того еще не было имени, по крайней мере, это слово еще не было опошлено: «В наше время мир заражен новой философской ересью; правда, эти философы еще не объединились в секту и, следовательно, еще не придумали себе имени. Это — *верующие в старый хлам* (нечто вроде проповедников старья). На Востоке первосвященник — Шарль Фурье, на Западе — Орас Грили; и оба они стали первосвященниками с достаточным основанием. Единственное, что связывает членов этой секты — крайнее легковерие; назовем его слабоумием — и ни слова более. Спросите-ка одного из них, отчего он думает так или иначе; и если он добросовестен (а невежды, как правило, добросовестны), он ответит вам примерно то же, что ответил Талейран, когда его спросили, почему он верит в Библию. «Я верю в нее, — сказал он, — потому, во-первых, что я епископ Отонский, и, во-вторых, *потому что я в ней ровно ничего не понимаю*. То, что эти философы называют *аргументом* — это свойственная им манера *отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет*».

Прогресс, эта великая ересь отжившей философии, также не ускользнул от его внимания. Читатель увидит, в каких выражениях отозвался По о прогрессе в целом ряде своих сочинений. Видя, с каким жаром он это делает, по истине можно сказать, что он мстит за себя — он камень преткновения для общества, его бич. Как смеялся бы он презрительным смехом поэта, который никогда не вступит в сговор с кучкой олухов, случись ему наткнуться, как недавно выпало мне, на такую изумительную фразу, напоминающую дурачества шутов и нарочитые нелепости паяцев, и фраза эта горделиво красуется в весьма серьезной газете:

«Непрерывный прогресс науки совсем недавно позволил открыть заново утерянный секрет, который так долго не удавалось разыскать, касательно... (совершенно неважно, чего именно — будь то греческий огонь, закалка меди или все, что угодно, затерянное в веках) — ... самое удачное применение которого восходит еще к варварской, очень древней эпохе!!!» Вот фраза, которая смело может назваться истинной находкой, блистательным открытием даже в век *непрерывного прогресса*; но мне кажется, что мумия Аламистакео не преминула бы спросить, тихим и скромным тоном превосходства — а не благодаря ли тому же *непрерывному прогрессу*, не по его ли роковому и неодолимому закону был утерян знаменитый секрет? Но шулки в сторону — вот поистине озадачивающее явление, равно достойное слез и смеха, — послушаем, как народ, и даже многие народы, и даже все человечество говорит своим мудрецам, своим чародеям: «Я возлюблю и возвеличу вас, если вы убедите меня в том, что мы прогрессируем независимо от нашей воли, неизбежно — во время спячки; избавьте нас от ответственности, накиньте покрывало на унижительные для нас сопоставления, заключите историю в софистические рассуждения — и тогда можете провозгласить себя мудрейшими из мудрых!» Не правда ли, достойно удивления, что такая простая мысль еще не озарила умы: мысль о том, что прогресс (если он существует) совершенствуется скорбь в той же мере, в какой доводит до тонкости сладострастие, и что если эпидерма народов становится все уязвимее, то сами они, очевидно, преследуют лишь *Italiam fugientem*, с каждым мигом теряя какое-нибудь завоевание, в чем и состоит вечный, самоотрицающий прогресс.

Но эти иллюзии, впрочем, небескорыстные, берут начало в глубинах разврата и лжи; болотные огни — они вызывают презрение душ, влюбленных в вечное пламя, как душа Эдгара По; они повергают в отчаяние сумрачный разум, такой как разум Жан-Жака, чья уязвленная, бунтующая чувственность заменяет ему философию. То, что он был прав, обличая *порочное животное*, — неоспоримо; но и порочное животное имеет право упрекнуть его за призыв вернуться к простой природе. Природа порождает

только чудовищ, и весь вопрос в том, как следует понимать слово *дикари*. Ни один философ не осмелится предложить в качестве образца эти жалкие, вонючие орды, эти жертвы стихий, добычу хищных зверей, равно неспособные ни смастерить себе оружие, ни составить представление о высшей, духовной власти. Но если мы сравним современного цивилизованного человека с дикарем, вернее, так называемый цивилизованный народ с так называемым диким народом, то есть с народом без всех этих хитроумных изобретений, избавляющих личность от необходимости совершать геройские подвиги, то разве не ясно, что первенство следует отдать дикарю? По своей природе и в силу необходимости он — сущий энциклопедист, тогда как цивилизованный человек оказывается замкнутым в тесном пространстве своей специальности. Цивилизованный человек изобретает философию прогресса, дабы утешиться в своей несостоятельности, в то время как дикарь — грозный и почитаемый супруг, воин, поневоле храбрый, поэт в те печальные часы, когда уходящее солнце велит ему воспеть былые дни и дела праотцов, — дикарь вплотную приближается к идеалу человека. В каком упущении посмели бы мы упрекнуть его? Есть у него священнослужитель, есть колдун и врач. Да что я говорю? У него есть даже свой денди — высшее воплощение идеи прекрасного, перенесенное в действительность, то есть тот, кто предлагает ему стиль и правила поведения. Его одежда, украшения, оружие, трубка — все свидетельствует о его изобретательности, которая покинула нас давным-давно. Сравним ли наши ленивые глаза, наши нечуткие уши с его глазами, что видят во тьме, и с его ушами, что *слышат, как растет трава?* А дикарка с ее простой младенческой душой, послушный и ласковый зверек, она отдает себя мужчине целиком, зная, что станет лишь половиной его судьбы, — так неужели мы поставим ее ниже известной американской дамы, о которой господин Белгариг (редактор «Вестника бакалейной лавки»!), думая сделать ей комплимент, сказал, что она — идеал содержанки? Слишком практический нрав этой женщины вдохновил Эдгара По — обычно такого любезного, такого почтительного по отношению к красоте — на следующие горькие строки: «Эти непомерные кошельки, на-

поминающие огромный огурец, которые в моде у наших красавиц, отнюдь не парижского происхождения, как полагают здесь; они именно туземной выделки. Да и к чему в Париже такая мода, если там женщина носит в кошельке только расхожие деньги? Не то кошелек американки! Он должен быть вместительным настолько, чтобы ей было можно положить туда *все* свои деньги — и всю свою душу впридачу!» Что же касается религии, то я бы не стал с таким легкомыслием отзываться о Фицли-Пуцли, как это сделал Альфред де Мюссе; признаюсь без ложного стыда, что культ Тевтата я ценю гораздо выше, чем культ Маммоны; и жрец, приносящий кровавому вымогателю человеческие гости, — причем такая смерть считается *почетной*, ибо жертва идет на нее *добровольно*, — кажется мне поистине добрым и человеческим по сравнению с финансистом, уничтожающим целые народы исключительно ради своей выгоды. Время от времени подобные вещи повторяются, и мне однажды попалось в статье господина Барбей д'Орвийи грустное философское восклицание, которое и подытоживает все, что мне бы хотелось сказать по этому поводу: «Цивилизованные народы, не устающие бросать камни в дикарей, скоро вы станете недостойны даже называться идолопоклонниками!»

Подобная среда — я уже говорил об этом, но готов повторять вновь и вновь — мало приспособлена для поэтов. То, что французский дух, пусть самый демократический, понимает под государством, глубоко чуждо американскому духу. В Старом Свете для всякого мыслящего человека политическое государство имеет двигательный центр, в нем — его мозг и его солнце, память о древней славе, подробные поэтические и воинские анналы, его аристократия, которой нищета, дочь мятежей, только прибавляет блеску, как ни парадоксально; но чтобы *этакое!* — толчея продавцов и покупателей, безмянное, безголовое чудище, заокеанский ссыльный — чтобы *этакое* называлось государством! — нет, мне, право, даже нравится, когда большой кабак, то есть салун, куда приходят клиенты и за грязными столами, в гомоне сквернословия говорят о делах — приравнивается *к салону* в нашем прежнем понимании: к республике разума под предводительством красоты!

Всегда будет нелегким делом благородно и в то же время успешно вести жизнь писателя — и при этом избежать оскорблений, клеветы бездарных писак, зависти богачей — а она-то и есть их злейшая кара! — избежать мести уязвленной буржуазной посредственности. То, что дается с трудом при умеренной монархии или при республике, управляемой законами, становится почти невыполнимым в этом подобии хаоса, где всякий полицейский, имея собственное мнение, устанавливает порядок согласно своим порокам или своим добродетелям, что, в сущности, одно и то же; где поэт или писатель на этой земле рабов — в глазах критиков-аболиционистов самый ненавистный человек; где не знаешь, что постыднее — их циническая развязность или их библейское лицемерие. Сжигать закованных в цепи негров, виновных в том, что их черные лица запылали румянцем оскорбленной чести, поигрывать револьвером в театральном партере, ввести полигамию в райских кущах Запада, чтобы дикари (право, этот термин несправедлив), еще не опозоренные постыдными утопиями, вешали на стены объявления — разумеется, во имя святости принципа неограниченной свободы — *об исцелении от девятимесячной болезни*; таковы некоторые бросающиеся в глаза черты, несколько картинок, рисующих нравы благородной родины Франклина, изобретателя лавочной морали, героя века, отданного на откуп вещественным интересам. Об этих чудесах дикости не следует забывать в наше время, когда американомания чуть ли не стала считаться хорошим тоном до такой степени, что, согласно обещанию одного архиепископа, вполне серьезному, само Провидение нас призывает насладиться сим заокеанским идеалом.

III

Подобная общественная среда непременно порождает соответственные литературные заблуждения. Против этих-то заблуждений и выступал Эдгар По при малейшей возможности, не жалея сил. Следовательно, мы не должны удивляться тому, что американские писатели, признавая необычайную мощь его стихов и прозы, тем не менее всегда

пытались умалить его критические достоинства. В стране, где надо всем преобладает и торжествует идея пользы, наиболее враждебная идее красоты, идеальным критиком окажется наиболее *уважаемый*, то есть такой, чьи устремления и желания ближе всего к устремлениям и желаниям его читателей, — и этот критик, не делая разницы между свойствами таланта и жанрами литературы, всем им будет предписывать единую цель, этот критик будет искать в книжке стихов способы воспитания нравов. И, разумеется, его не тронет истинная красота, присущая поэзии; еще менее его возмутят недостатки или даже огрехи в поэтическом стиле. Эдгар По, напротив, делил мир литературы на сферу *мысли*, сферу *чистого вкуса* и сферу *нравственного чувства*, поэтому характер его критики всецело зависел от того, к какой из этих трех областей относился ее объект. Прежде всего его пленяло совершенство плана и качество исполнения; разбирая литературные произведения, как разбирают на части испорченный механизм (исходя из их предназначения), он скрупулезно отмечал пороки в производстве; а при переходе к частностям, то есть к средствам выражения, словом, к стилистике, он неукоснительно вылуцивал ошибки в просодии и в грамматике, убирая весь тот сор, который у бездарных писателей портит наилучшие намерения и уродует благороднейшие замыслы.

Для него воображение — царица всех талантов, но под этим словом он подразумевает гораздо большее, нежели полагает обычный читатель. Воображение — не фантазия; оно и не способность глубоко чувствовать, хотя довольно трудно представить себе человека с воображением — и при этом нечувствительного. Воображение — дар почти Божественный, постигающий прежде всего глубинные, тайные связи вещей, соответствий и аналогий, не прибегая к философическим методам. Этому дару Эдгар По придает такую важность (если мы только верно поняли мысль автора), что в его глазах ученый без воображения не более, чем лжеученый, или, по крайней мере, не вполне ученый.

Среди литературных жанров, в которых воображение может достичь любопытнейших результатов и собрать если не самые пышные и драгоценные сокровища (они принад-

лежат поэзии), то уж, наверное, самые многочисленные и разнообразные, есть особый жанр, и к нему Эдгар По более всего пристрастился — это *новелла*. Перед романом, то есть крупным произведением, у нее есть то преимущество, что ее краткость усиливает впечатление. Ее можно прочесть единым духом, такое чтение по сравнению с чтением вразбивку, с частыми перерывами ради сумятицы дел и светских обязанностей, оставляет в душе более сильное впечатление. Единство впечатления, его целостность — великое преимущество, придающее этому жанру сочинений особенное превосходство, отчего новелла, пусть даже слишком краткая, если считать это недостатком, ценится гораздо выше, чем слишком длинная. Художник, если он владеет своим искусством, не станет приспособливать свою мысль к случаю; но, всесторонне обдумав на свободе нужный ему эффект, он сам придумает для него случаи, расставит события таким образом, чтобы вернее получить желаемый эффект. И если уже начальная фраза не подготавливает заключительного впечатления, значит, произведение не задалось с самого начала. Во всем сочинении не должно проскользнуть ни единого слова, которое не относилось бы, прямо или косвенно, к заранее обдуманной цели и не способствовало бы ее осуществлению.

Есть у новеллы одна черта, благодаря которой она обретает превосходство даже над стихотворением. Для развития идеи Красоты необходим ритм, он — высшая, благороднейшая цель стихотворения. А вместе с тем хитросплетения ритма — неодолимое препятствие для кропотливого развития мысли, ее свободного выражения, ведущего к конечной цели — *к истине*. Ибо целью новеллы зачастую бывает истина, а логическое рассуждение — лучший способ построить совершенную новеллу. Вот почему произведения этого жанра, не достигая высот чистой поэзии, все же могут приносить плоды более разнообразные и к тому же более доступные заурядному читателю. Кроме того, в распоряжении автора новеллы есть множество звучаний, языковые оттенки, резонерский, саркастический или же юмористический тон, исключаяющий поэзию, и все это, казалось бы, не согласуется меж собой, оскорбляет идею чистой красоты и даже оборачивается для

писателя, преследующего в своей новелле единственную цель — выразить красоту — весьма невыгодным образом, если нет у него самонужнейшего инструмента — ритма. Я знаю, что в литературе любой страны было немало попыток, и даже удачных, создавать такие чисто поэтические рассказы; да и сам Эдгар По написал прекраснейшие произведения в этом духе. Но вся эта борьба, все эти усилия лишь свидетельствуют о силе поистине художественных приемов, если они соответствуют поставленной цели, и я склонен думать, что у некоторых писателей, даже у великих, эти героические попытки — свидетельство отчаяния.

IV

«Genius irritabile vatum!» Само собой разумеется, что поэты (мы употребляем это слово в широком смысле, разумея под ним художников вообще) впечатлительны; но *отчего* они таковы — на мой взгляд, понятно далеко не всем. Художник становится художником лишь благодаря своему непогрешимому чувству прекрасного; это чувство приносит ему пьянящее наслаждение, но в то же время неизбежно влечет за собой еще одно, также непогрешимое чувство — неприятие любого уродства, любого нарушения гармонии. И потому-то любая обида, любая несправедливость, испытанная поэтом, если он доподлинно поэт, приводит его в такое отчаяние, какого, по общему мнению, эта обида *не сто́ит*. Поэты *никогда* не видят несправедливости там, где ее нет, но зато весьма часто обнаруживают ее там, где не-поэт ее просто не заметит. Таким образом, знаменитая впечатлительность поэтов связана не с темпераментом, в обыденном значении этого слова, но с даром ясновидения, особенно чутким к несправедливости и фальши. Это ясновидение — не что иное, как логическое следствие живого восприятия истины, справедливости, соразмерности, словом, Красоты. Не подлежит также сомнению, что человек не впечатлительный (по общему суждению), не *irritabilis* — ни в коей мере не поэт».

Так говорит сам поэт, составляя блистательную, неопровержимую апологию в защиту людей одной с ним породы.

Свою впечатлительность По вносил в литературные дела, и величайшее значение, которое он придавал всему, что касается поэзии, подчас приводило к тому, что он принимал слишком явный, на взгляд бездарных писателей, тон превосходства. Кажется, я уже отмечал, что французскую печать давно отравляет множество предрассудков, с которыми приходилось сражаться Эдгару По, отравляют ложные представления и пошлые мнения на его счет. И потому было бы весьма полезно изложить в общих чертах его важнейшие мысли о поэтическом творчестве. Сопоставляя общепринятые заблуждения, легко прийти к верным выводам.

Но прежде всего я должен сказать, что, будучи поэтом от природы, Эдгар По в то же время обладал врожденными способностями к науке, ученым занятиям, а также аналитическим даром, что в глазах спесивых невежд переходило все границы. Он не только расточал немалые силы, желая подчинить своей воле ускользающего демона счастливых мгновений, не только вызывал по своему хотению эти чудные впечатления, приманки для души, признаки поэтического здоровья, столь редкие и драгоценные, что поистине их можно почесть благодатью, прозрением, ниспосланным свыше; более того, он сумел подчинить вдохновение методу и строжайшему анализу. Выбор творческих приемов! — вот к чему он постоянно возвращается, с красноречием посвященного настаивает на подчинении литературного приема конечной цели, на умелом использовании рифмы, на совершенствовании повтора, на согласовании ритма с чувством. Он утверждал, что тот, кто не умеет уловить неуловимое, — не поэт; только тот поэт, кто повелитель своей памяти, властелин слов, реестр собственных чувств, всегда готовый раскрыться на нужном месте. Все для развязки! — любил он повторять. Даже сонету необходим четкий план — каркас, основа — это важнейшее условие таинственной жизни творений духа.

Я, разумеется, обращаюсь к статье под названием «Поэтический принцип» и уже в ее начале нахожу яростное возражение против того, что в поэзии можно назвать ересью длины или величины, то есть против нелепого преувеличения ценности длинных стихов. «Длинных стихов не

бывает; то, что подразумевают под длинным стихотворением — яркий пример противоречия терминов». И, поистине, стихи недостойны называться стихами, если они не волнуют, не похищают души, и подлинная ценность стихотворения как раз и состоит в пробуждении этого волнения, *в похищении души*. Но любое волнение по своей психологической природе преходяще, оно скоро проходит. И то странное состояние, в которое душа читателя вовлечена, можно сказать, насильно, длится, пока он читает стихотворение, и длина его как раз соответствует той мере восторга, на которую способна человеческая природа.

Что и говорить, эпическая поэма обречена. Ибо труд такого объема можно рассматривать как поэтический лишь постольку, поскольку в нем соблюдено условие, необходимое для жизни любого произведения искусства — Единство; я говорю не о единстве замысла, но о единстве впечатления, о той *целостности* воздействия, о которой я уже говорил, когда сравнивал роман и новеллу. Итак, эпическая поэма с точки зрения эстетики — парадокс. Вполне вероятно, что в древности были созданы циклы лирических стихотворений, объединенных позднее компиляторами в эпические поэмы; но очевидно, что любой *эпический замысел* вытекает из несовершенного понимания искусства. Пора этих аномалий миновала, и весьма сомнительно, чтобы длинные стихи когда бы то ни было пользовались популярностью, в полном смысле слова.

Следует добавить, что слишком краткий стих, недостаточно *питающий* возбужденный им интерес, также неполноценен, поскольку не удовлетворяет естественный аппетит читателя. Какое бы сильное, яркое впечатление он ни вызвал, а все ж оно недолговечно, ускользает из памяти; оно подобно печати, оттиснутой наспех, без должного нажима: не успевает запечатлеться на воске.

Но существует еще одна ересь, которая, благодаря лицемерию, косности и низости умов, гораздо опаснее и, возможно, не в пример долговечнее — заблуждение весьма живучее — я имею в виду *ересь образования*, которая как неперемненные условия включает ереси *страсти, истины и морали*. Тьмы людей воображают, что цель поэзии — обу-

чение чему-либо, что она должна либо укрепить совесть, либо *предъявить* хоть что-нибудь полезное. Эдгар По утверждает, что американцы с особым усердием поддерживают эту еретическую идею; увы! нет никакой необходимости ехать в Бостон, чтобы повстречаться с упомянутой ересью. Даже здесь она осаждает нас, изо дня в день пробивая бреши в подлинной поэзии. Поэзия, если только захочешь углубиться в себя, спросить свою душу, припомнить свои былые восторги, не имеет иной цели, кроме себя самой; она не может иметь никакой иной цели, и ни одно поэтическое творение не будет столь великим, столь благородным, поистине столь достойным называться поэзией, как то, что пишется единственно ради удовольствия написать стихи.

Не хочу сказать, что поэзия не облагораживает нравы; пусть меня поймут как следует — и что она в конечном итоге не возвышает человека над уровнем низменных интересов; утверждать это было бы нелепо. Я лишь говорю, что если поэт преследует в стихах нравоучительную цель, он умаляет тем самым свою поэтическую силу; и можно смело поручиться, что его творение будет дурно. Поэзия, под страхом собственной смерти или умаления дара, не может смешиваться с наукой или моралью; ее предмет является не Истина, а лишь она сама. Способы выявления Истины иные, они — вне поэзии. У Истины с песнями нет ничего общего. Все, что составляет очарование, прелесть, неотразимость песни, лишило бы Истину ее силы и власти. Холодный, спокойный, бесстрастный наставительный нрав отвергает цветы и алмазы Музы; он — полная противоположность нраву поэтическому.

Собственно разум стремится к истине, вкус открывает нам красоту, а нравственное чувство учит нас долгу. Правда, второе из этих качеств (вкус) незримыми нитями связано с первым и третьим и столь незначительно отличается от нравственного чувства, что Аристотель без колебаний включил в число добродетелей кое-какие свойства, относящиеся именно к сфере вкуса. Итак, человека наделенного вкусом, в картине порока более всего отвращает уродство, нарушение пропорции. Порок посягает на справедливость

и на истину, возмущает разум и совесть; но особенно ранит он иные поэтические души как оскорбление гармонии, как диссонанс; и я думаю, что позволительно рассматривать всякое нарушение нравственности, идеальной нравственности, как разновидность преступления против всемирного ритма и просодии.

Именно этот чудесный, бессмертный инстинкт красоты позволяет нам рассматривать землю и ее зрелища как отображение неба, как *соответствие* ему. Неутолимая жажда всего, что лежит по ту сторону земного, но озаряет жизнь откровением, есть самое живое свидетельство нашего бессмертия. Именно в поэзии и *сквозь* поэзию, в музыке и *сквозь* музыку прозревает душа сокровища, ожидающие нас за гробом; и когда прекрасный стих исторгает слезы из наших глаз, эти слезы говорят не об избытке наслаждения, но скорее о вспышке меланхолии, о вмешательстве нервов, о натуре нашей, обреченной томиться вдали от совершенства, но жаждущей уже теперь, на земле, рая, что был явлен ей в откровении.

Итак, принцип поэзии выражен неукоснительно и просто в человеческом стремлении к высшей красоте, и проявляется этот принцип в восторге, в душевном возбуждении, — в восторге, ни в коей мере не зависящем от страсти, то есть сердечного опьянения, и от истины, то есть пищи для разума. Ибо страсть — *естественна*, даже слишком естественна, а потому способна привнести оскорбительный, нестройный тон в сферу чистой красоты, и слишком привычна, слишком несдержанна, то есть угрожает смутить чистые желания, изящную печаль и благородную разочарованность, что населяют потусторонние пространства поэзии.

Эта необычайная высота, эта утонченность, этот отзвук бессмертия, — все, что Эдгар По требует от Музы, не только не ослабляет его внимания к самому процессу творчества, но напротив, побуждает его к бесконечному совершенствованию художественных приемов. Многие, а в особенности те, кто прочел его удивительное стихотворение «Ворон», наверное будут возмущены, если я проанализирую статью, где наш поэт, на первый взгляд совершенно невинно, но не без дерзости (и я не стану его за это

порицать) скрупулезно объяснил, какие методы он здесь использовал: разработку ритма; выбор рефрена — самого краткого, но гибкого, податливого на вариации и притом наиболее полно раскрывающего скорбь и отчаяние, да к тому же украшенного самой звучной из всех возможных рифмой (певеттоге, никогда более); выбор птицы, способной подражать человеческому голосу, причем птицы зловещей, которая в народном суеверии является роковым предвестником смерти — ворона; выбор самой поэтичной из возможных тональностей — печальной; самого поэтического чувства — любви к умершей, и т. д. «И я не помещу героя, — говорит он, — в убогую обстановку, поскольку бедность тривиальна, она противоположность красоты. Его печаль найдет приют в роскошной, поэтически убранной комнате». Во многих новеллах Эдгара По читатель еще не раз повстречает эти любопытные свидетельства его умеренного пристрастия к прекрасным и в особенности к странно прекрасным формам, к богатому убранству, к восточной пышности.

Я сказал уже, что эта статья представляется мне отчасти дерзкой. Что уж говорить о приверженцах теории вдохновения — они там найдут немало и кощунства, и поруганных святынь; но я-то думаю, что статья писана именно для них. Насколько иные поэты притворяются, что они пребывают во власти самозабвения, и думают, зажмурясь, попасть в цель, насколько они веруют в хаос и надеются, что наугад подобранные к потолку строки свалятся им на голову готовыми стихами, настолько Эдгар По, один из самых вдохновенных людей, каких я когда-либо знал, старательно скрывает стихийную сторону своего творчества, делая вид, что главное в нем — обдуманность и расчет. «Думаю, что я достоин похвалы, — говорит он с гордостью, пусть и забавной, но, на мой взгляд, отнюдь не безвкусной, — ибо ни одно слово в моем сочинении не возникло случайно, и произведение продвигалось к цели шаг за шагом, с точностью и неукоснительной логикой математической задачи». Итак, говорю я, никто, кроме любителей случая, фаталистов вдохновения и фанатиков *белого стиха* не найдет все эти *мелочи* странными. В искусстве мелочей не бывает.

По поводу белого стиха добавлю, что Эдгар По придавал рифме величайшую важность и так же скрупулезно исследовал математическое и музыкальное наслаждение, доставляемое рифмой нашему разуму, как проникал во все, что имеет хоть малейшее отношение к поэтическому ремеслу. Показав, что рефрен можно бесконечно варьировать, он также стремился освежить и удвоить наслаждение рифмой, привнося в нее элемент неожиданности, *странность*, как необходимую приправу для красоты любого рода. Особенной его удачей стали повторы то одной, то нескольких строк, упорное возвращение тех же фраз, несущих в себе одержимость печалью или навязчивую идею — рефрен простой и чистый, но поворачивающий событие разными гранями, рефрен-вариация, питающий безвольную отрешенность, и его рифмы, двойные, тройные, и еще та разновидность рифмы, что придает современной поэзии удивительность леонинского стиха, но еще с большей, намеренной точностью.

Само собой разумеется, что ценность этих приемов можно проверить лишь на деле; конечно, перевести такие стихи — тщательно обдуманное, насыщенное мыслью — желанная мечта; но всего лишь мечта. По написал не много стихотворений; порою он выражал сожаление, что не предался поэзии — самому, по его мнению, благородному виду творчества — безраздельно. Но стихи его оказывают на умы могучее действие. Это не пылкие излияния Байрона, не тихая, гармоничная и утонченная печаль Теннисона, к которому, кстати сказать, он питал обожание почти братское. Нет, его поэзия — нечто глубокое и мерцающее, словно сон, таинственное и совершенное, словно кристалл. Нет необходимости добавлять, что американские критики хулили ее довольно часто; так, совсем недавно, в американском биографическом справочнике я наткнулся на статью, где его поэзия была объявлена странной и выражалось опасение, что эта Муза в обдуманном наряде еще, чего доброго, создаст свою школу в стране, прославляющей нравственность пользы, а также высказывалось сожаление, что Эдгар По не только не употребил свой талант на утверждение нравственных истин, но, напротив, расточил его в поисках странного идеала, и к тому же его стихи

полны сладострастия — правда, таинственно завуалированного, но чувственного.

Нам знаком этот честный поединок. Упреки, которыми плохие критики осыпают хороших поэтов, во всех странах одинаковы. Когда я читал ту статью, мне казалось, что это перевод одного из бесчисленных обвинений, выдвигаемых парижскими критиками против тех наших поэтов, что более всех прочих влюблены в совершенство. Имена наших любимцев нетрудно угадать, и меня поймет всякая душа, пристрастная к поэзии, если я скажу, что наша антипоэтическая порода менее всего ценила бы Виктора Гюго, будь он более совершенен, и ни за что не простила бы ему его лирического гения, если бы он не вводил столь напористо в свою поэзию того, что Эдгар По рассматривал как главную ересь современности: дидактику.





ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

(«Французское обозрение»,
20 апреля 1859 г.)

Поэтические приемы, как нам внушали, создаются и совершенствуются после того, как стихи уже написаны. Но вот поэт утверждает, что стихотворение написано им по заранее заданным поэтическим принципам. Несомненно, он поэт гениальный и вдохновенный, как ни один другой, — если под вдохновением разуместь силу, увлеченность духа и умение всегда держать наготове свои способности. Но он к тому же и труд свой любил, как никто. Будучи сам законченным оригиналом, он любил повторять, что оригинальность — вопрос мастерства, но это еще не означает, что оригинальности можно научиться. Случай и непостижное — вот два ее главных врага. Неужели он из непонятого и смешного тщеславия сдерживал и пытался умалить свое природное вдохновение? Удалось ли ему обуздать благословенный дар природы, чтобы отдать первое место воле? Я склонен этому верить, хотя и не следует забывать, что его гений, столь пламенный и стремительный, был неизменно влюблен в анализ, механику и математический расчет. Вот еще одна из его излюбленных аксиом: «В стихотворении, как в романе и в сонете, как в новелле, все должно способствовать развязке. Когда хороший писатель пишет свою первую строку, он уже видит последнюю». Благодаря такому превосходному методу, композитор может начать свое произведение с конца и работать над любой его частью, когда ему заблагорассудится. Вероятно, любители *поэтических восторгов* придут в негодование от подобных *цинических* афоризмов, но каж-

дый найдет в них то, что ему хочется найти. Всегда полезно показать, какие преимущества может извлечь искусство из мыслительного процесса, чтобы светские люди поняли, что предмет роскоши, именуемый Поэзией, требует немалого труда.

В конце концов, малая толика шарлатанства всегда дозволена гению и даже не портит дела. Так румяна на лице женщины, и без того прекрасной от природы, дают новую пищу для души.

Страннейшее стихотворение. Оно все держится на одном слове, страшном, как бесконечность, это слово с начала времен повторяют миллионы искаженных страданием уст, его в привычном и пошлом отчаянии не один мечтатель писал на краешке стола, пробуя перо: *Никогда!* Вот мысль, до краев наполняющая безмерность, оплодотворенную гибелью, и Человечество, не огрубевшее душою, добровольно приемлет Ад, лишь бы избежать неисцелимого отчаяния, заключенного в этом слове.

Когда снимаешь с поэзии прозаический слепок, непременно ужаснешься несовершенству полученного результата; но куда больше зла в зарифмованном попугайничанье. Читатель поймет, что не в моих силах дать ему точное представление о пронзительной, заунывной звучности стиха, о могучей силе действия повторов, где глубокие утренние рифмы печально звенят, словно льдинки. Это стихи бессонницы, порожденной отчаянием; в них есть все: и лихорадочная мысль, и ярость красок, и болезненные рассуждения, и говорливость, вызванная страхом, и даже странная веселость, веселость страдания, от которой еще больнее. Прислушайтесь, как поют в вашей памяти самые жалобные строфы Ламартина, самые колдовские и сложные ритмы Гюго; прибавьте сюда самые изящные и прозрачные терцины Теофиля Готье — например его «Сумерки», эти четки, собранные из жутких кончетти о смерти и небытии, где тройственная рифма так хорошо увязана с неотступной печалью, — и вы получите, может быть, приблизительное понятие о даре Эдгара По как мастера стихосложения; я говорю: как мастера стихосложения, поскольку говорить о силе его воображения, думаю, совершенно излишне.

Но я уже слышу, как читатель, подобно Альцесту, бормочет: «Увидим!» Итак, вот эти стихи:

(следует перевод «Ворона»)

А теперь рассмотрим, что там за кулисами, в мастерской, в лаборатории, рассмотрим внутренний механизм, согласно которому вы сможете оценить *Метод сочинения*.



«ЭВРИКА». ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА

1865 г.

Искренним ценителям талантов Эдгара По скажу, что считаю свою задачу выполненной, но, желая угодить им, возвращаюсь к ней снова. Вполне достаточно двух выпусков «Необычайных историй», «Новых необычайных историй» и «Приключений Артура Гордона Пима», чтобы представить Эдгара По во всем его разнообразии — в роли рассказчика-ясновидца, порой пугающего, порой приятного, попеременно насмешливого и нежного, всегда философа и исследователя, любителя волшебства совершенно правдоподобного, автора бесстрастной мистификации. «Эврика» представила нам честолюбивого и тонкого диалектика. Если б я мог успешно продолжить свою задачу в такой стране, как Франция, мне осталось бы представить Эдгара По как поэта и как литературного критика. Любой истинный ценитель поэзии признает, что первую из этих обязанностей выполнить вряд ли возможно и что мой весьма скромный и весьма покорный автору дар переводчика не позволяет мне при передаче на французский язык восполнять от себя исчезающее наслаждение рифмой и ритмами оригинала. Но тем, кто способен угадывать многое, довольно стихов, включенных в его сборники рассказов — таких, как «Червь-победитель» в «Лигейе», «Дворец призраков» в «Падении дома Ошероу» и таинственно-красноречивый «Ворон» — чтобы открыть для себя чудо истинной поэзии.

Что же касается другой стороны его таланта — критики — нетрудно понять, что вещь, которую я бы назвал «Беседы по понедельникам», вряд ли может понравиться лег-

комысленным парижанам, которых нисколько не заботят литературные раздоры, разделяющие еще молодую нацию на два лагеря, вследствие чего как в литературе, так и в политике Север враждует с Югом.

В заключение я скажу французам, незнакомым друзьям Эдгара По, что я буду горд и счастлив, если мне удастся заронить им в душу представление о новой разновидности красоты; и, кроме того, почему бы мне не признаться в том, что при этом меня поддерживало желание представить им человека отчасти похожего на меня, то есть в какой-то мере отразившего меня самого?

Верю, что недалеко то время, когда господа издатели произведений Эдгара По для французского дешевого издания ощутят насущную необходимость напечатать их более солидно, для библиотек любителей литературы, и с большей строгостью подойдут к отбору и расположению материала.





Статьи о французской литературе



«НОРМАНДСКИЕ РАССКАЗЫ» И «ПУСТЯЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Сочинения Жана де Фалеза

Заинтересованные любители истинной литературы прочитают эти два скромных томика с живейшим интересом. Автор их принадлежит к тем людям, ныне крайне редким, кто своевременно освоил все хитрости стиля. Своеобразным речением, какими изобилует первый из этих томиков, причудливым фразам, зачастую простонародным по смелости и живописности манеры выражаться, присуща некая новая и немножко рискованная прелесть, однако автор пользуется ею с исключительным мастерством.

Особым достоинством «Нормандских рассказов» является на удивление свежая бесхитростность впечатлений, неподдельная любовь к природе и эпикуреизм порядочного человека. В то время как нынче все авторы лезут вон из кожи, дабы изобразить темперамент и некую придуманную, заемную душу, Жан де Фалез показал нам свою, по-настоящему, взаправду свою, и спокойно и без шума создал оригинальное произведение.

Одаренный мягкой и в равной мере веселой эксцентричностью, автор совершенно напрасно тратит столько усилий на пародирование *сочинений 2-жи де Скюдери*. Но зато у г-на де Бальзака не так уж много картин нравов, таких же живых, как «Юношеские воспоминания присяжного из Кальвадоса», а Гофман, не стыдясь, мог бы поставить свое имя под «Дьяволом на островах». А это уже немало. Внимайте и судите.

«ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ»

Сочинение Л. де Санвиля

- Это философская поэзия.
- Что такое философская поэзия? И кто такой господин Эдгар Кине? Философ?
- Гм-гм...
- Поэт?
- О-о-о...
- Тем не менее господин Эдгар Кине обладает несомненными достоинствами.
- Но и господин де Санвиль тоже!
- Объяснитесь.
- Я готов. Когда художник говорит себе: «Я создам потрясающе поэтическую картину! О, поэзия!» — у него получается холодная живопись, в которой замысел произведения блистает в ущерб самому произведению. Примеры: «Греза о Счастье» или «Фауст и Маргарита». И хотя господа Папети и Ари Шеффер отнюдь не лишены достоинств, но... поэтичность картины должна быть проявлена зрителем.
- Как и философичность поэмы — читателем.
- Совершенно верно, это одно и то же.
- Значит, поэзия не имеет ничего общего с философией?
- Бедный читатель, как вы закусываете удила, когда вам внушат какую-нибудь склонность! Поэзия по самой своей сути философична, но поскольку она прежде всего *фатальна*, то волей-неволей вынуждена быть философской.
- Выходит, философская поэзия ложный жанр?
- Да.
- В таком случае какой смысл говорить о господине де Санвиле?

— Потому что он не лишен кое-каких достоинств. Мы будем говорить о его книге как о трагедии, в которой есть несколько остроумных мест.

К тому же он выбрал самую обширную и *самую беспредельную* идею, самый пространный круг, самый безграничный из всех *мятежных* сюжетов — «Освобожденного Прометея» — человечество, восстающее против призраков, осужденный изобретатель, разум и свобода, вопиющие: «Справедливости!». Поэт, как вы увидите, верит, что справедливости они добьются.

Действие происходит на Кавказе на исходе ночи. Прикованный Прометей, над которым сидит орел, выпевает свою вечную жалобу и призывает страждущее человечество встретить грядущую зарю свободы. Хор — человечество — рассказывает Прометею свою горестную историю: сперва младенческое варварское поклонение божествам, дельфийские оракулы, лживые утешения мудрецов, опиум и лауданум Эпикура, чудовищные оргии эпохи упадка и наконец искупление кровью агнца.

Но Символ сей хранящий,
На небесах горящий,
Чуть вспыхнув, вмиг угас.

Прометей продолжает *бунтарствовать* и возвещать новую жизнь; Гармония, *прекраснейшая из муз*, желает утешить его и велит предстать перед ним *духу неба, духу жизни, духу земли и духу метеоров*, каковые повествуют Прометею довольно туманным слогом о тайнах и таинствах природы. Прометей объявляет себя царем земли и неба:

Все боги умерли, коль молния — моя.

Иными словами, Франклин низверг с трона Юпитера.

Ию, то есть Магдалина или Мария, то есть любовь, приходит в свой черед пофилософствовать с Прометеем; тот растолковывает ей, почему ее любовь является эпикуреизмом чистой воды, а все ее старания никчемны и бесплодны:

Пока колени ты в молитвах истираешь,
На горести детей земли ты не зриаешь!
Когда ты молишься, погибни хоть весь свет.

Внезапно таинственная стрела пронзает стервятника. Появляется Геракл, и человеческий разум обретает свободу с помощью силы, что есть призыв к мятежу и *дурным страстям!* Гармония повелевает явиться былым провозвестникам вероучений — Ману, Зороастру, Гомеру и Иисусу Христу — и поклониться новому божеству Вселенной; каждый из них излагает свою доктрину, а Прометей и Геракл берут на себя труд поочередно доказать каждому, что каковы бы ни были боги, судят они куда менее верно, чем человек, или, на языке социалистов, человечество, так что даже самому Иисусу Христу, который возвращается в *предвечную ночь*, не остается ничего, кроме как воспеть хвалу новому режиму, основанному исключительно на науке и силе.

Итог — атеизм.

Все это чудесно, и мы желали бы лишь одного — принять и согласиться, будь это написано живо, приятно, занимательно и с вдохновением.

Однако ничего подобного; г-н Санвиль ловко уворачивается от культа Природы, великой религии Дидро и Гольбаха, единственной прикрасы атеизма.

Вот отчего мы делаем следующий вывод: «К чему философская поэзия, ежели она и в подметки не годится одной-единственной статье «Энциклопедии» или одной-единственной песенке Дезожье?»

И еще одно. Философскому поэту необходим Юпитер: в начале его поэмы Юпитер представляет определенную сумму идей, в конце же Юпитер низвергнут. Следовательно, поэт не верит в Юпитера!

Однако великая поэзия по самой своей сути *глупа*, она *верит*, и в этом состоит ее величие и сила.

Никогда не путайте призраков разума с призраками воображения: первые происходят из личных свойств, вторые — из окружающих вас людей и воспоминаний.

Первый Фауст великолепен, второй никудышен. Форма у г-на де Санвиля пока что расплывчатая и неустоявшаяся; ему неведомы мощно окрашенные рифмы, эти фонари, что освещают путь мысли; не ведает он и о воздействии, какого можно добиться посредством определенного количества по-разному сочетающихся слов. Но при

всем при том г-н де Санвиль — человек небесталанный и благодаря убедительности суждений и гордости за современность в некоторых местах своего *трактата* поднимается довольно высоко, однако неизбежно оказывается жертвой избранного жанра. Несколько возвышенных и звучных стихов доказывают, что если бы г-н де Санвиль захотел развить пантеистическую, связанную с природой сторону проблемы, он достиг бы великолепных результатов и его талант засверкал бы куда более непринужденным блеском.





«ВЕК»

Послание Шатобриану

Сочинение Батильда Буньоля

Г-н Буньоль приносит г-ну де Шатобриану дань юношеского уважения; он отдает под покровительство этого прославленного имени пламенную и по меньшей мере бесполезную, если не совершенно ребяческую, сатиру на нынешний порядок жизни.

Да, сударь, времена нынче скверные и развращенные, но настоящая философия втайне пользуется этим, чтобы добраться до причин, а не тратит время на анафемы.

Впрочем, было бы дурным тоном выказать больше суровости, нежели г-н Буньоль скромности; он взял эпиграфом «Я стараюсь!» и сочинил уже изрядно стихов.



СОВЕТЫ МОЛОДЫМ ЛИТЕРАТОРАМ

Наставления, которые предстоит вам прочесть, суть плоды опыта; опыта, несущего в себе определенный груз ошибок — их совершал каждый или, если угодно, почти каждый — и я надеюсь, что мой опыт будет подтвержден опытом остальных читателей.

Названные наставления не имеют иных целей, кроме тех, на какие притязает *vade tecum*, и не стремятся к иной пользе, кроме той, какую несет пособие «Хороший тон». А польза огромная! Вообразите себе правила хорошего тона, вписанные какой-нибудь г-жой Варенс в переимчивое, доброе сердце, или преподанную матерью науку одеваться со вкусом. Точно так же и я в наставления, предназначенные молодым литераторам, постараюсь вложить всю дружественность собрата.

1

Об удаче и неудаче дебюта

Молодые писатели, которые, говоря о своем начинающем собрате, заявляют: «Прекрасный дебют, ему неизмеримо повезло!» — не задумываются над тем, что любому дебюту всегда что-то предшествует и он является следствием двух десятков других дебютов, им неведомых.

Не знаю, бывает ли когда-нибудь известность, приходящая подобно удару молнии, скорей, полагаю, успех является следствием — в арифметической ли, геометрической ли прогрессии — силы писателя, результатом предшествующих успехов, зачастую незримых невооруженным глазом.

Происходит медленное накопление молекулярных успехов, чудесное же и неожиданное его возникновение исключено.

У заявляющих «Мне суждено было провалиться» попросту никогда еще не было успеха, он им неведом.

Я принимаю в расчет тысячи обстоятельств, которыми со всех сторон обложена человеческая воля и у которых имеются собственные самодостаточные причины; они образуют круг, в котором заключена воля, однако круг этот подвижен, он живет, вращается: ежедневно, ежеминутно, ежесекундно меняет и протяженность свою, и центр. Таким образом, каждый миг меняется взаимодействие замкнутых в нем человеческих волей, и в этом состоит свобода.

Свобода и предопределенность суть две противоположности; увиденные вблизи и издали, они и есть единая воля.

Вот почему неудач не бывает. Если вы потерпели неудачу, это означает, что вам чего-то недостает; познайте это что-то и изучите взаимодействие соседствующих волей, дабы легче переместить круг.

Один пример из тысячи. Многие из тех, кого я люблю и уважаю, ярятся, заслушав имена писателей, пользующихся ныне популярностью. Эжен Сю, Поль Феваль, воплощенные логогрифы; тем не менее талант этих людей существует реально, меж тем как ярость моих друзей как бы не существует, верней, существует как бы в *отрицательном значении*, поскольку она из разряда потерянного времени, самого малоценного, что есть в мире. Вопрос вовсе не в том, чтобы быть убежденным, что литература сердца или формы выше той, что нынче в моде. Это совершенно неоспоримо, по крайней мере для меня. Но это будет справедливо лишь частично до тех пор, пока вы не вложите в жанр, который хотите ввести, столько же таланта, сколько вкладывает в свой Эжен Сю. Возбудите новыми средствами такой же интерес; обладайте равной и даже превосходящей силой, но в противоположном направлении; удвойте, утройте, учетверите дозу, дабы достигнуть равной концентрации, и тогда у вас не будет оснований клясть *буржуа*, так как *буржуа* будет с вами. А до той поры *vae victis*, ибо нет ничего достоверней силы, каковая есть наивысшая справедливость.

II Вознаграждение

Как бы ни был прекрасен дом, он прежде всего — прежде чем будет проявлена его красота — столько-то метров в длину и столько-то в ширину. Также и литература, а она самая трудно поддающаяся оценке материя в мире, это прежде всего заполнение газетных столбцов, и литературный архитектор, чье имя само по себе не является гарантией высокой оплаты, вынужден продавать свои творения за любую цену.

Иные молодые люди говорят: «Раз уж это оплачивается так плохо, чего ради надрываться?» Им следовало бы подыскать *работу получше*; в этом случае они обкрадывались бы по насущной необходимости, по закону природы; плохо оплачиваемые тут, они могли бы обрести честь; плохо оплачиваемые там, они сами были бы творцами своего бесчестья.

Резюмирую все, что я мог бы написать на эту тему, в неопровержимой сентенции, над каковой предлагаю поразмыслить всем философам, историкам и деловым людям: «Состояния делаются только на прекрасных чувствах!»

Говорящие: «Зачем лезть из кожи ради такой малости?» — на поверку оказываются как раз теми, кто впоследствии, войдя наконец в моду, приходят в газету, чтобы продать свою книгу по двести франков с ежедневного выпуска, а, получив отказ, на другой день возвращаются и предлагают ее уже со скидкой в сотню франков.

Разумный человек говорит: «Я считаю, что это стоит столько-то, так как я обладаю талантом, но если нужно уступить, я готов пойти на уступку ради чести быть вашим автором».

III Симпатии и антипатии

В любви, как и в литературе, симпатии не зависят от намерений; тем не менее им необходимо оправдание, и разум впоследствии принимает в этом участие.

Истинные симпатии замечательны, поскольку они обоюдосторонни; поддельные отвратительны, так как в них соединяются, если не считать элементарного безразличия, которое все же предпочтительней ненависти, неизбежные следствия обмана и разочарований.

Вот почему я одобряю, почему восхищаюсь товариществом, когда оно основывается на существенном сходстве ума и характера. Оно является одним из священных проявлений природы, одним из многочисленных подтверждений неопровержимой поговорки «в единении — сила».

Точно такой же закон искренности и бесхитростности должен управлять и антипатиями. Однако существуют люди, которые возбуждают в себе ненависть, равно как и преклонение, легкомысленно и безрассудно. Это весьма неблагоприятно и ведет лишь к наживанию врагов — без пользы и прока. Отраженный выпад мало того что не поразит в сердце противника, которому он предназначался, но и может поранить стоящих слева или справа секундентов поединка.

Однажды во время урока фехтования ко мне явился и стал докучать кредитор, ударами рапиры я гнал его до самой лестницы. Когда же я вернулся, учитель фехтования, добродушный гигант, которому достаточно было дунуть на меня, чтобы сбить с ног, заметил: «До чего же нерасчетливо вы транжирите свою неприязнь! Поэт! Философ! Стыдитесь!» Запыхавшийся, пристыженный, я дважды запоздал с выпадом и вдобавок приобрел еще одного, кто возненавидел меня — моего заимодавца, которому я, по сути дела, больших повреждений не причинил.

Поистине, ненависть — драгоценнейший напиток, яд, который стократ дороже яда Борджиа, ибо он составлен из нашей крови, здоровья, сна и на две трети из нашей любви! Расходовать его надо крайне бережно!

IV

О критических разносах

К разносу следует прибегать только против приспешников заблуждения. Если вы сильны, но нападаете на сильного противника, вам грозит поражение: даже когда вы по

некоторым пунктам расходитесь во мнениях, в определенных моментах он всегда окажется заодно с вами.

Существуют два метода критического разноса: по кривой и по прямой, каковая является кратчайшим путем.

Достаточно много примеров критического разноса по кривой мы найдем в фельетонах г-на Ж. Жанена. Кривая развлекает галерку, но ничуть не просвещает ее.

Прямая нынче с успехом используется некоторыми английскими журналистами; в Париже она вышла из употребления; даже г-н Гранье де Касаньяк, как мне кажется, и тот забыл ее. Состоит этот метод в том, чтобы заявить: «Г-н X. бесчестный человек и величайший болван, что я вам сейчас и докажу», — и доказать это: *primo* — *secundo* — *tertio* — etc. Рекомендую этот метод всем, кто верит в разум и крепкий кулак.

Неудавшийся разнос — самый прискорбный случай; это стрела, что возвращается к вам и в лучшем случае оцарапает на лету вам кожу на руке; это пуля, которая, срикошетив, может вас убить.

V

О методах сочинять

Сейчас необходимо писать много — стало быть, работать надо быстро — стало быть, поспешать надо медленно; стало быть, нужно, чтобы все удары достигали цели и ни один укол не оказался безрезультатным.

Чтобы писать быстро, нужно много думать, таскать с собою сюжет всюду — на прогулку, в баню, в ресторан и даже чуть ли не к любовнице. Э. Делакруа как-то сказал мне: «Искусство столь идеально и быстролетно, что всякий раз инструменты оказываются не самыми подходящими, а средства не самыми эффективными». То же и в литературе; я не принадлежу к сторонникам зачеркиваний и перечеркиваний; всякие помарки замутняют зеркало мысли.

Кое-кто, причем из самых известных и добросовестных — к примеру, Эдуар Урлиак, — начинает с того, что исписывает горы бумаги; у них это называется «заполнить холст». Цель этого беспорядочного занятия — ничего не утратить. Затем при каждом очередном переписывании они

что-то выбрасывают, что-то сокращают. Но как бы ни был превосходен результат, на это тратится время и талант. Заполнить холст вовсе не означает закрыть его красками, но сделать легкими мазками эскиз, наметить массы неведомыми и прозрачными тонами. Холст должен быть заполнен — в уме — в тот момент, когда писатель берет в руки перо, чтобы написать заглавие.

Говорят, Бальзак правит рукопись и корректуры самым фантастическим и беспорядочным образом. В результате роман проходит через серию новых воссотворений, в которых расплывается не только целостность фразы, но и всего произведения. Вне всяких сомнений, это дурной метод, зачастую придающий стилю — не знаю, как выразиться, — некую неточность, скомканность, нечто от черновика, и в том единственный недостаток этого великого повествователя.

VI

О каждодневном труде и вдохновении

Оргия более не является сестрой вдохновения. Мы разорвали это фальшивое родство. Быстрое истощение и расслабление некоторых тонких натур вполне убедительно свидетельствуют против этого пагубного предрассудка.

Напитываться плотно, но регулярно — единственное, что необходимо плодовитым писателям. Решительно, брат вдохновения — каждодневный труд. Эти две противоположности несовместимы ничуть не более, чем все прочие противоположности, из которых слагается природа. Вдохновение столь же управляемо, как голод, пищеварение, сон. Вне всяких сомнений, в мозгу имеется некий небесный механизм, которого нужно не стыдиться, но наилучшим образом использовать его, как используют врачи телесный механизм. Если вы хотите жить в упорном видении будущего произведения, каждодневная работа поможет вдохновению, как ясная манера письма помогает высветить мысль и как несуетная и мощная мысль помогает писать ясно, поскольку время дурного стиля миновало.

VII О поэзии

Что касается тех, кто успешно занимается поэзией или привержен ей, то им я советую никогда ее не бросать. Поэзия — из тех искусств, что приносят наибольший доход, но это род помещения капитала, проценты с которого получают весьма небыстро, но зато очень большие.

Я не доверяю недоброжелателям, перечисляющим мне прекрасные стихи, которые разорили издателя.

С точки зрения духовной, поэзия создает такой рубеж между первостепенными и второстепенными умами, что даже самая буржуазная публика не способна вырваться из-под этого деспотического воздействия. Я знавал людей, которые читали зачастую посредственные статьи Теофиля Готье только потому, что он сочинил «Дон Жуан, Комедия смерти»; разумеется, они не чувствуют всей прелести этого произведения, но знают, что он — поэт.

Впрочем, что удивительного: ведь любой здоровый человек способен обойтись два дня без пищи, но возможно ли когда-нибудь обойтись без поэзии?

Искусство, удовлетворяющее самые властные потребности, всегда будет самым почитаемым.

VIII О кредиторах

Несомненно, вам частенько вспоминается комедия, именуемая «Гений и беспутство». То, что беспутство нередко сопутствует гению, доказывает лишь одно: гений чудовищно силен; к несчастью, в названии этом для многих молодых людей выражена не случайность, но обязательность.

Я весьма сомневаюсь, что у Гете были кредиторы; сам Гофман, шальной Гофман, едва ли не постоянно терзаемый нуждой, неизменно мечтал вырваться из нее; впрочем, умер он, когда жизнь чуть поизобильнее дала его гению возможность еще более великолепного взлета.

Никогда не обзаводитесь кредиторами; если угодно, делайте вид, будто они у вас есть, и это все, что я могу вам предложить.

IX О любовницах

Если я хочу следовать закону противоположностей, который управляет душевным и физическим строем, то я вынужден поместить в разряд женщин, опасных для литераторов, *порядочную женщину*, синий чулок и актрису; *порядочную женщину*, потому что она непременно принадлежит двум мужчинам и дает довольно скудную пищу деспотической душе поэта; синий чулок, потому что это несостоявшийся мужчина; актрису же, потому что она отирается при литературе и изъясняется на театральном жаргоне, короче, потому что она не является женщиной в общепринятом смысле слова: публика ей стократ дороже, чем любовь.

Вы представляете себе поэта, влюбленного в свою жену и вынужденного любоваться ею, когда она исполняет роли трагедии? Мне кажется, он должен поджечь театр.

Представляете себе его, вынужденного писать роль для своей жены, которая не обладает талантом?

Представляете этого ближнего своего, потеющего над эпиграммами на публику из лож, дабы отплатить ей за терзания, какие она причиняет ему через самое его дорогое существо — существо, которое жители Востока заперли на три замка, до того как повадились ездить в Париж изучать право? Оттого-то, что истинные литераторы в определенные моменты испытывают ужас перед литературой, я и предлагаю им — вольным и гордым душам, утомленным умам, неизменно ощущающим потребность отдохнуть в свой день седьмой, — лишь два возможных разряда женщин: девок или дур — любовь или домашний уют. Братья, есть ли смысл растолковывать причины?



КАК ПЛАТИТЬ ДОЛГИ, ЕСЛИ ВЫ ГЕНИАЛЬНЫ

Анекдот этот мне рассказали, умоляя не пересказывать никому, отчего я и хочу сообщить его всему свету.

...Он был печален, если судить по его нахмуренным бровям, по крупному рту, стиснутому и кажущемуся не таким полногубым, как обычно, по тому, как он внезапно останавливался, когда измерял шагами пассаж Опера. Он был печален.

Он, самая умнейшая голова в части коммерции и в литературе XIX века; он, поэтический мозг, увешанный цифрами, словно кабинет финансиста; он, претерпевавший баснословные банкротства, затевавший невероятные, фантазмагорические предприятия, которые всякий раз забывал довести до завершения; он, вечно пребывающий в погоне за мечтою, в непрестанных *поисках абсолюта*; самый поразительный, самый забавный, самый интересный и самый тщеславный из персонажей «Человеческой комедии»; оригинал, столь же невыносимый в жизни, сколь очаровательный в своих творениях; большой ребенок, раздувшийся от гениальности и суетности, обладающий столькими достоинствами и недостатками, что никто не решался отделить в нем одни от других из боязни утратить *первые* и тем самым разрушить эту неисправимую и роковую грандиозность.

Отчего же так мрачен этот великий человек? Отчего он расхаживает, понутив голову, отчего лоб его морщится, словно *шагреновая кожа*?

Быть может, он мечтает об ананасах по четыре су, о подвесном мосте на лианах вместо канатов, о вилле без

лестниц, но с будуарами, затянутыми муслином? Может, некая герцогиня, приближающаяся к сорока, украдкой бросила ему один из тех многозначительных нежных взглядов, что красота приносит в дар гению? Или же его мозг, в котором сейчас зарождается какая-то хитроумная махинация, терзаем всеми *страданиями изобретателя*?

Увы, нет! Печаль великого человека имеет причину самую пошлую, низменную, постыдную и нелепую; он попал в унижительную ситуацию, знакомую всем нам, когда каждая улетающая минута уносит на своих крыльях шанс на спасение, когда взор не отрывается от часов, а дух изобретательности чувствует необходимость удвоить, утроить, удесятерить силы в соответствии с убегающим временем и приближением рокового часа. Прославленный автор теории заемного обязательства должен завтра уплатить по векселю тысячу двести франков, а уже давно настал вечер.

В ситуациях подобного рода иногда случается, что мысль, сжатая, сдавленная, смятая, сплюснутая под поршнем необходимости, вдруг неожиданным победительным броском вырывается из своей тюрьмы.

Видимо, это и произошло с великим романистом. Ибо улыбка сменила скорбную гримасу, какой была изломана горделивая линия его уст, в глазах появился вызывающий блеск, и, успокоенный, без следа волнения, он величественным, размеренным шагом направился на улицу Ришелье.

Там он вошел в дом, где за чаем у камелька после дневных трудов вкушал отдохновение богатый и в ту пору процветающий коммерсант; великий романист был принят со всем подобающим почтением и после нескольких минут беседы изложил цель своего визита в следующих словах:

— Хотите послезавтра увидеть в «Сьекль» и «Деба» в разделе «Смесь» две статьи о «Французах, живописующих самих себя», две мои большие статьи, которые будут подписаны моим именем? Мне нужно полторы тысячи франков. Вам это сулит золотые горы.

Похоже, издатель, в этом смысле отличающийся от своих собратьев, счел предложение здравым, поскольку сделка тут же и была заключена. Но писатель, поразмыслив, на-

стоял на том, что полторы тысячи будут выплачены сразу после публикации первой статьи, после чего безмятежно возвратился в пассаж Опера.

Через несколько минут он там высмотрел невысокого молодого человека с язвительным, умным лицом, который недавно написал ошеломляющее предисловие к «Величию и падению Цезаря Биротто» и уже приобрел известность в журналистике своим гаерским и почти что нечестивым остроумием; пиетизм еще не обстриг ему когти, а пусто-святские листки еще не раскрыли перед ним страницы своих благодетных гасильников.

— Эдуар, хотите завтра получить сто пятьдесят франков?

— Еще бы!

— Возьмите себе кофе.

Молодой человек выпил чашку кофе, от которого его щедушный организм южанина мгновенно возбуждился.

— Эдуар, мне нужны завтра утром три больших колонки для «Смеси» о «Французах, живописующих самих себя», причем рано утром, так как статья должна быть переписана моей рукой и подписана моим именем. В этом вся суть.

Великий человек произнес эти слова тем напыщенным и величественным тоном, каким, случалось, разговаривал со знакомым, которого не хотел принять: «Тысяча извинений, дорогой друг, но у меня сейчас свидание с герцогиней, которая мне доверила свою честь, так что сами понимаете...»

Эдуар стиснул ему руку как благодетелю и помчался трудиться.

Вторую статью великий романист заказал на Наваринской улице.

Первая через день была опубликована в «Сьекль». Странное дело, но подписана она была не великим и не щедушным человеком, а фамилией третьего лица, широко известного тогдашней богеме своим пристрастием к кошкам и Опера комик.

Второй друг был — впрочем, он и сейчас таков — толст, ленив и флегматичен; притом идеи — это не его сфера, и он умеет лишь нанизывать и шлифовать слова наподобие ожерелий осейджей, а поскольку заполнить словами три

больших газетных колонки требует больше времени, чем сочинить книгу, набитую идеями, его статья вышла только через несколько дней. И напечатана была не в «Деба», а в «Пресс».

Вексель в тысячу двести франков был оплачен, все остались довольны, за исключением издателя, хотя в какой-то мере он тоже был удовлетворен. Вот так платят долги... когда обладают гениальностью.

Но ежели какому-нибудь злокозненному читателю придет в голову счесть это балагурством мелкой газетки и покушением на славу самого великого человека нашего столетия, то он постыдно ошибется; я всего лишь хотел продемонстрировать, что великий поэт умеет привести проблему с векселем к развязке столь же легко, как и самый таинственный и запутанный роман.



**РАССКАЗЫ ШАНФЛЕРИ «ШЬЕН-КАЙУ»,
«БЕДНАЯ ТРОМПЕТТА»,
«ПОКОЙНЫЙ МЬЕТТ»**

Недавно вышел в свет небольшой, крайне скромный, безыскусный томик, но по сути очень значительный — «Шьен-Кайу» — просто, откровенно, резко рассказанная, а верней, записанная история о бедном гравере, исключительно самобытном, но пребывающем в такой нищете, что живет он на одной морковке в компании кролика и публичной девицы и при этом создает шедевры. Итак, для своего дебюта Шанфлери решил ограничиться естественностью, ибо питает к ней безграничное доверие.

В этой книжечке есть и другие замечательные истории, в том числе «Мэр Класси-ле-Буа», и в связи с ней я прошу читателя отметить, что Шанфлери прекрасно знает провинцию, эту неисчерпаемую сокровищницу литературных начал, что триумфально доказал наш великий О. де Бальзак, равно как и укрывающийся у себя в каморке, так что публике придется разыскивать его там, другой столь же скромный и любящий уединение ум, автор «Нормандских рассказов» и «Пустячных историй» Жан де Фалез (Филипп де Шанвьер), честная душа, всецело преданная, как и Шанфлери, труду и религии природы и подобно ему возросшая в стороне от газет, вдали от чудовищной словесной дизентерии г.г. Дюма, Феваля и иже с ними.

И еще «Карнавал», или несколько бесценных заметок об этой передвижной достопримечательности, об этой разукрашенной лентами и пестрыми лоскутьями тоске, над которой смеются глупцы, но которую чтут парижане.

Во второй книжечке помещен рассказ «Бедная Тромпетта», или горестная история про старую пропойцу, бе-

зумную эгоистку, которая разоряет зятя и дочь, ради того чтобы пичкать свою собачку кюрасо и анисовкой. Отчаявшийся зять травит собаку ее излюбленным питьем, и тогда теща вывешивает на витрине его лавки объявление, которым обрекает зятя на позор и публичную ненависть (sic). История подлинная, как и предыдущие. Однако было бы серьезным заблуждением думать, что все эти непритязательные истории написаны для того, чтобы под конец повеселить или развлечь. И представить себе невозможно, что способен Шанфлери вложить, а верней, что умеет увидеть под непритворной скорбью или печалью.

В тот день, когда он написал «Господина Прюдома в Салоне», он явно возревновал к Анри Монье. Кто способен на великое, тот способен и на малое, мы это знаем, и рассказу этому также присуща весьма тщательная и забавная отделанность. Но, право же, автор рожден для большего, и у него есть дела поважнее.

«Величие и падение органчика». Здесь показано мироздание ребенка, ребенка музыкального, совершенно прелестного, не очень, правда, понятно, мальчик это или девочка. Новелла эта обнаруживает подспудное родство автора с некоторыми немецкими и английскими писателями, умами меланхолическими, как и он, и вместе с тем произвольно и неизменно ироничными. Вдобавок при этом надобно отметить — о чем я уже упоминал выше — великолепное описание провинциальной недоброжелательности и тупости.

«Религия на шестом этаже». Рассказ, повествующий о том, как стряпается новейшая религия, изображение с натуры кое-кого из тех несчастных, которые, как мы все уже знаем, убеждены, будто доктрина сотворяется так же, как ребенок, на соломенном тюфяке с «Кумом Матье» в руке и столь же просто.

Последний томик посвящен Бальзаку. Просто невозможно поручить столь высокому покровительству более здравые, более безыскусные и более естественные произведения. Само посвящение превосходно — превосходно по стилю, превосходно по мыслям. Бальзак — поистине романист и ученый, изобретатель и наблюдатель, натуралист, равно знающий закон происхождения идей и зримых су-

ществ. Он — великий, в полном смысле этого слова, творец метода, единственный, на изучение чьего метода стоит затратить труд.

И это, по моему мнению, отнюдь не маловажное предвещение благоприятных перспектив для Шанфлери в литературе.

Этот последний томик включает «Покойного Мьетта», подлинную, как всегда, историю знаменитого шарлатана с набережной Августинцев. «Фуэнсес» — великолепный замысел; роковая картина, которая приносит несчастье всем, кто ее покупает.

«Простая история рантье, фонарщика и часов» — тщательно исполненная картинка, констатация странностей, неизбежно порождаемых замкнутой и косной провинциальной жизнью. Труднее лучше живописать и обрисовать ходячие автоматы, у которых даже мозг превращается в фонарь или часы.

«Ван Шендали, сын и отец»: ярые художники-натуралисты, поглощающие морковь, чтобы точнее нарисовать ее, облачающиеся в перья, чтобы верно написать попугая; читайте и перечитывайте эти высокие уроки, отмеченные безграничной германской иронией.

До сих пор я ничего не говорил о стиле. Он легко угадывается. Размашистый, неожиданный, резкий, поэтический, как природа. Никакой чрезмерной напыщенности, преувеличенной литературности. Автор в равной мере старается не только зорко вглядываться в людей и их лица, неизменно странные для того, кто умеет смотреть, но и сдерживать вопль их животного начала, и в результате из этого возникает некий метод, тем более поразительный, что он оказывается в каком-то смысле неуловимым. Наверное, я не слишком хорошо выражаю свою мысль, но все, кто испытывал потребность создать эстетику для собственных надобностей, поймут меня.

Единственно, в чем я охотно упрекнул бы автора, так это в том, что он, вероятно, не осознает своего богатства, недостаточно разжевывает, чересчур верит в своего читателя, не делает обобщений, не исчерпывает до конца тему; иными словами, все упреки сводятся к одному и проистекают из одной же посылки. Но, вполне возможно, я не

прав; нельзя предопределять ничью судьбу; смелые наброски куда прекрасней, чем невнятные полотна, и автор, быть может, избрал наилучший метод, суть которого простота, краткость и старинность.

Четвертая книга, которая вскоре выйдет в свет, по меньшей мере, не уступает предыдущим.

И, наконец, в заключение: новеллы эти по-настоящему занимательны и относятся к разряду весьма высокой литературы.



ЖЮЛЬ ЖАНЕН И «КОРОЛЕВСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ»

Дабы сразу же дать читателю, не посвященному в оборотную сторону литературы и не сведущему в том, как делаются репутации, начальные представления о действительной литературной значимости этих небольших, но исполненных души, поэзии и наблюдений книжек, необходимо сообщить, что первая из них — «Шьен-Кайу. Зимние фантазии» — вышла в свет в одно и то же время с томиком весьма знаменитого автора, которому одновременно с Шанфлери пришла идея подобных ежеквартальных изданий. Однако среди людей, чей ум, вседневно поглощенный созданием книг, более разборчив, чем какой-либо другой, книжка Шанфлери *затмила* книгу знаменитости.

Все эти люди, которых я только что упомянул, знали «Королевское печенье»; знали, потому что их профессия — знать все. «Королевское печенье», этакая разновидность Christmas, или рождественских рассказов, является, главным образом, ясно заявленной претензией извлечь из языка все содержащиеся в нем возможности, подобно тому как музыкант извлекает их из своего инструмента, — иначе говоря, разыгрывать бесконечные вариации на словаре! Перенос сил! Заблуждение слабого ума!

В странной этой книге мысли поспешно сменяют друг друга, исчезают со скоростью звука, наугад опираются на какие-то бесконечно приблизительные взаимоотношения; между собой они связываются поразительно слабой ниточкой в соответствии с системой мышления, полностью схожей с мышлением людей, которых запирают в особых заведе-

ниях по причине умственного расстройства; это какой-то чудовищный поток произвольных мыслей, скачки с препятствиями, самоотвержение воли.

Этот своеобразный трюк исполнил человек, хорошо вам известный, который обладает единственной необыкновенной способностью — не властвовать собой; человек, у которого все случайно и *наобум*.

Несомненно в этом присутствует талант, но сколько тут лишнего, какая сумятица! И притом сколько усталости и муки! Право же, следует проявить хоть какое-то уважение или хотя бы признательное сострадание к неустанному дрыганью престарелой танцовщицы. Только вот, увы, способности подувяли, манера расслабленная, нега какая-то потрепанная. В мыслях нашей знаменитости есть нечто от старых сумасшедших, которые слишком ретиво пляшут, слишком показывают ноги, слишком высоко задирают их. *Sustulerunt soepius pedes*. Но где сердце, где душа, где разум в этой...?



ДОБРОПОРЯДОЧНЫЕ ДРАМЫ И РОМАНЫ

С недавних пор театром, а также романом овладело неистовое исступление добропорядочности. Ребяческие словоизвержения направления, именуемого романтическим, возбудили реакцию, которой можно вполне приписать преступную неуклюжесть, невзирая на добрые чувства, какими она одушевлена. Само собой, добродетель — великая вещь, и до сих пор ни одному писателю, если только он в здравом уме, не приходило в голову утверждать, будто творения искусства должны ниспровергать высокие нравственные законы. Вопрос лишь в том, чтобы уяснить, правильно ли так называемые добродетельные писатели принимаются за дело, желая заставить возлюбить добродетель, и довольна ли сама добродетель тем, как ей служат.

Кстати, два примера всплывают у меня в памяти. Один из самых горделивых столпов буржуазной добропорядочности, рыцарей *здорового смысла* г-н Эмиль Ожье сочинил пьесу «Цикута», где изображает, как гуляка, прожигатель жизни, кутила, одним словом, совершенный эпикуреец, оказывается в конце концов покорен чистым взором юной барышни. Что ж, видывали мы великих распутников, которые внезапно вышвыривали за окошко всю роскошь и искали в аскетизме и бедности неведомых доселе горьких радостей. Будь это так, все было бы прекрасно, хотя и достаточно заурядно. Однако это превзошло бы возможности по части добродетельности публики г-на Ожье. Думаю, он просто намеревался доказать, что каждому в конце концов необходимо *остепениться* и что добродетель безмерно счастлива получить остатки от разврата.

Послушаем Габриель, добродетельную Габриель, как она со своим добродетельным супругом подсчитывает, сколько им потребуются лет добродетельного скупердядства с учетом процентов, присоединяемых к капиталу, на которые также будут идти проценты, чтобы наконец насладиться рентой в десять или там двадцать тысяч франков. Пять, десять лет, значения это не имеет, я не помню *цифр поэта*. Но вот что говорят добродетельные супруги:

«ТОГДА МЫ СМОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ РОСКОШЬ
ЗАВЕСТИ СЫНА!»

Заклинаю всеми рогатыми бесами порочности, заклинаю душами Тиберия и маркиза де Сада, объясните, что они будут делать все это время? Неужели мне нужно замарать свое перо названиями всех пороков, которым вынуждены будут предаваться супруги, дабы выполнить свою добродетельную программу? Или же поэт надеется убедить великое множество простых людей, составляющих его публику, будто эти супруги будут блюсти целомудрие? Уж не намеревается ли он случайно подстрекнуть их перенять уроки бережливых китайцев или г-на Мальтуса?

Нет, невозможно написать *сознательно* даже строчку, обремененную подобными мерзостями. Разве что г-н Ожье заблуждается, и тогда в его заблуждении таится кара ему. Он заговорил на языке лавки, на языке прихожан, убежденных, будто они говорят языком добродетели. Мне доказывают, что у писателей этой школы есть удачные куски, неплохие строчки, не лишённые даже вдохновения. Но черт побери, а в чем было бы оправдание страсти, если бы в его объекте не обнаруживалось никаких достоинств?

Но эту школу обуревают жажда противодействия, жажда тупая и яростная. Блистательное предисловие к «Мадемуазель де Мопен» оскорбило глупую буржуазную лицемерность, и вот назойливая благость школы *здравого смысла* мстит неистовым романтикам. Увы, да, тут наличествует месть. «Кин, или Гений и беспутство» словно бы желает убедить, что между двумя этими понятиями всегда существует неизбежная связь, *Габриель* же из мести именуется своего супруга поэтом!

Нотариус! Представьте себе эту добродетельную буржуазку, воркующую на плечике муженька и томно строящую ему глазки, как в романах, которыми она зачитывалась! Представьте себе в зале театра бездну нотариусов, вызывающих автора, который относится к ним как к ровне и мстит за них всем этим прохвостам, что сидят по уши в долгах и верят, будто ремесло поэта состоит в том, чтобы выражать лирические движения души в ритме, определяемом традицией! Вот вам ключ многих успехов.

Начиналось ведь с того, что восклицали: *поэзия сердца!* что французский язык в опасности, недобросовестные литературные страсти разрушают его точность.

Неплохо походя отметить параллелизм глупости и то, как одни и те же речевые нелепицы обнаруживают себя у противоположных школ. Так некая сумятица наличествует среди поэтов, обалдевших от языческого сладострастия, и тех, кто без конца употребляет слова *святой, святая, экстаз, молитва* и т. п. при описании предметов и людей, не имеющих ничего общего ни со святостью, ни с экстатичностью, а также доводят поклонение женщине до самого отвратительного кощунства. Один из них в припадке *святого* эротизма докатился даже до того, что воскликнул: «Моя прекраснейшая католичка!» Надо же так вымазать испражнениями алтарь. Все это тем более нелепо, что возлюбленные поэтов по большей части гнусные шлюхи, а наименее дрянные из них это те, что варят суп и не платят другому любовнику.

А наряду со школой *здорового смысла* и пристойными, тщеславными буржуа множится, кишит развращенный народец чувствительных гризеток, которые также впутывают Бога в свои делишки, Лизетт, тоже претендующих на снисхождение по причине своей *французской живописи*, публичных девиц, блюдущих неизвестно как и какую ангельскую чистоту, и т. п. Еще одна разновидность лицемерия.

Да, теперь вполне можно назвать *школу здорового смысла школой мести*. Что обусловило успех «Жерома Патюро», этого отвратительного падения Куртиля, где поэтов и ученых шаловливые прозаики забрасывают грязью и вывали-

вают в муке? Миролюбивейший Пьер Леру, чьи многочисленные произведения являются как бы энциклопедией людских верований, написал множество возвышенных и трогательных страниц, которых автор «Жерома Патюро», вероятно, не читал. Прудон — тот писатель, из-за которого Европа вечно будет завидовать нам. Виктор Гюго является автором нескольких великолепных строф, и я вовсе не думаю, что многознающий г-н Виолле-ле-Дюк — смехотворный архитектор. Месть! Месть! Пусть утешится простая публика. Творения эти ни что иное, как холопская ласкательность перед страстями разъяренных рабов.

Существуют великие, грозные слова, которые непрестанно пронизывают литературную полемику — искусство, прекрасное, польза, нравственность. И происходит великая свалка; по причине отсутствия философской мудрости каждый тянет себе половину знамени, утверждая, что вторая ничего не значит. Разумеется, я не собираюсь в столь короткой статье вылезать с философскими претензиями и не намерен утомлять читателя попытками выложить безоговорочные эстетические доводы. Я займусь самым неотложным, изъясняясь на языке добрых людей. Крайне огорчительно отмечать, что мы обнаруживаем полностью сходные заблуждения у двух противоположных направлений — буржуазного и социалистического. «Исправляем нравы! Исправляем нравы!» — с рвением миссионеров кричат оба. Естественно, одно проповедует буржуазную мораль, второе — социалистическую. И с этой поры искусство оказывается всего лишь средством пропаганды.

Приносит ли искусство пользу? Да. Почему? Потому что оно искусство. Бывает ли искусство вредное? Да. То, которое нарушает установления самой жизни. Порок привлекателен, и надо изображать его привлекательность, но он влечет за собой особые нравственные страдания; их тоже надо описывать. Изучите все язвы, как это делает врач, который служит в госпитале, и школе здравого смысла, школе исключительно нравственной, не во что будет вцепиться. Всегда ли оказывается наказан порок, а добродетель вознаграждена? Нет, но тем не менее, если ваш роман, ваша драма хорошо написаны, они ни у кого не возбудят желания преступить законы природы. Первейшее необхо-

димое условие, чтобы творить здоровое искусство, есть вера в целостное единство. Сомневаюсь, что мне найдут хотя бы одно-единственное произведение, созданное воображением, которое объединяло бы в себе все положения прекрасного и было вредоносным.

Молодой писатель, который неплохо пишет, но сейчас увлекся социалистической софистикой, став сторонником крайних взглядов, напал в «Смэн» на Бальзака с позиций нравственности. Бальзак, очень страдающий от язвительных упреков лицемеров и придающий огромное значение этой проблеме, воспользовался случаем, чтобы оправдаться в глазах двадцати тысяч читателей газеты. Я не собираюсь здесь пересказывать обе эти статьи, они замечательны своей ясностью и искренностью. Бальзак всесторонне рассматривает проблему. Начинает он с того, что с наивным и комичным простодушием производит подсчет своих добродетельных и преступных персонажей. Перевес все-таки остается за добродетелью, несмотря на испорченность общества, которое, как замечает Бальзак, *«не я создал»*. Затем он показывает, что мало сыщется прохвостов, чья грязная душа не имеет некоей утешительной оборотной стороны. После чего, перечислив все кары, которые незамедлительно обрушиваются на тех, кто преступает нравственный закон, и саму их жизнь превращает в ад на земле, он адресует слабым и падким на соблазны сердцам следующий укор, в равной степени и зловещий, и насмешливый: «Горе вам, господа, если судьба всевозможных Лусто и Люсьенов возбуждает у вас зависть!»

Короче, пороки надо живописать такими, каковы они есть, или вообще не замечать их. И если читатель не имеет внутри себя философского и религиозного вожакого, который сопутствует ему при чтении книги, что ж, тем хуже для него.

У меня есть знакомый, который в течение нескольких лет прожужжал мне все уши Беркеном. Вот, дескать, настоящий писатель. Беркен! Очаровательный автор, добрый, утешительный, творящий добро, поистине великий писатель! Поскольку в детстве я имел счастье или несчастье читать только толстые взрослые книги, этого автора я не знал. И однажды, когда мозг мой совершенно запутался в

новомодной проблеме «мораль в искусстве», писательское провидение подсунуло мне под руку том Беркена. Первым делом я увидел, что дети у него говорят, как взрослые, по-книжному, и поучают родителей. «Вот образчик фальшивого искусства», — подумал я. Продолжив же чтение, я отметил, что послушание там всегда залито сладеньким сиропчиком, а дурной поступок неизменно выставляется наказанием на осмеяние. Если будете послушным, то получите *леденчик*, такова основа этой морали. Добродетель есть условие SINE QUA NON успеха. Право же, начинаешь сомневаться, да был ли Беркен христианином. «Ну, это уже вредоносное искусство», — сказал я себе. Поскольку воспитанник Беркена, вступая в жизнь, очень скоро делает обратный вывод: успех есть условие SINE QUA NON добродетели. Тем паче что его введет в заблуждение ширма удачливого преступления, и, следуя заповедям наставника, он обоснуется в вертепе порока, будучи в твердой убежденности, что пребывает в обители нравственности.

Так что и Беркен, и г-н Монтион, и г-н Эмиль Ожье, и еще множество почтенных особ мазаны одним миром. Они убивают добродетель, в точности как г-н Леон Фоше только что смертельно ранил литературу своим дьявольским декретом в пользу добропорядочных пьес.

Премии приносят несчастье. Академические премии, премии за добродетель, награждения — все эти дьявольские выдумки поощряют лицемерие и остуживают произвольные порывы свободного сердца. Когда я вижу человека, выпрашивающего крестик, мне кажется, будто я слышу, как он говорит монарху: «Я исполнил свой долг, но если вы не объявите об этом всему свету, клянусь, вторично я этого делать не стану».

Что мешает двум мошенникам объединиться, чтобы получить премию Монтиона? Один симулирует нищету, второй — благотворительность. В официальной премии есть нечто, что уязвляет человека и человечество, задевает стыдливость добродетели. Что до меня, то мне бы не хотелось заполучить в друзья человека, имеющего «премию за добродетель»; я вечно опасался бы найти в нем неумолимого тирана.

Ну, а что касается писателей, то присужденная им премия пользуется уважением только у им подобных да еще в кассах книгоиздательств.

Какого черта впутывается сюда г-н министр? Уж не хочет ли он породить лицемерие, чтобы потом иметь удовольствие вознаграждать его? Бульвар теперь станет местом непрерывной проповеди. Если автор задолжает за несколько месяцев за квартиру, он сочинит добропорядочную пьесу, а если у него много долгов, то и вообще ангельскую. Дивное нововведение!

Позже я вернусь к этой проблеме и поговорю о предпринимаемых попытках возродить театр двух великих французских мыслителей — Дидро и Бальзака.



«СОВА ФИЛОСОФ»

Название печатается наверху, лист должен выглядеть плотно заполненным.

— Все используемые шрифты, виды, подвиды, разновидности их должны принадлежать к одному классу. Заголовки должны быть плотными, четко выровненными, печататься единообразным шрифтом.

— Формат не настолько квадратный, как у «Смэн театраль».

— Я не сторонник обыкновения печатать некоторые статьи более мелким шрифтом, чем остальные.

— Насчет того, приемлемо ли разделять страницу на три колонки вместо двух, никаких соображений у меня нет.

— Статьи, которые нужно сделать: Общая оценка произведений *Т. Готье*, *Сент-Бева*. — Оценка направления и тенденций «Ревю де Де Монд». — «Бальзак-драматург». — «Жизнь кулис». — «Дух мастерской». — *Гюстав Планиш*: радикальный разнос; бездарность и безжалостность немощности, дурацкий, чиновничий стиль. — *Жюль Жанен*: полнейший разнос; ни знаний, ни стиля, ни добрых чувств. *Александр Дюма*: доверить Монселе; по натуре краснобай; поднять все уличения во лжи, привнесенной им в историю и природу; стиль *шарлатана*. — *Эжен Сю*: талант неумный и противоречивый. — *Поль Феваль*: дурак.

— Произведения, оценку которых можно дать: последний том «Бесед по понедельникам»; стихотворения *Уссе* и *Бризё*; «Письма и заметки» Жозефа де Местра; «Свадьба Викторины», «Тулузская монахиня»: РАЗГРОМИТЬ. Перевод Эмерсона.

Список издательств, с которыми надо поддерживать отношения: *Фюрн, Уссио, Бланшар (Этцель), Леку, Мишель Леви, Жиро и Даньо, Амио, Шарпантье, Бодри, Дидье, Сандре, Ашетт, Гарнье, Гом, Кадо, Суверен, Потье* и др.

Делать рецензии на художественные события. Навести справки, позволят ли отсутствие залога и нынешняя тирания обсуждать действия властей, касающиеся *искусства и книгоиздательства*.

Навести справки, не воспрепятствует ли отсутствие залога давать рецензии на исторические и религиозные сочинения. Избегать любых тенденций, намеков, откровенно социалистических и откровенно угодливых.

— Всем нам необходимо следить за этим и советоваться друг с другом с полнейшей откровенностью.

Нам пятерым составить список всех влиятельных лиц, литераторов, редакторов журналов и газет, наших друзей, у которых есть возможность пропагандировать нас, читален, клубов, ресторанов и кафе, издательств, куда необходимо посылать «Сову философа».

— Составить каждому список наших друзей, которых мы можем заставить подписаться.

Написать статьи о нескольких старых авторах, опередивших свое время, которые могут дать урок, как возродить нынешнюю литературу. Например, о Мерсье, Бернардене де Сен-Пьере и др.

Написать статью о *Флориане* (Монселе);
о *Седэне* (Монселе или Шанфлери);
о *Урлиаке* (Шанфлери).

— Нам пятерым написать большую статью «Дешевая распродажа подержанных слов *Классической школы, Классической галантной школы, Нарождающейся романтической школы, Сатанической школы, Школы толедского клинка, Олимпийской школы* (В. Гюго), *Пластической школы* (Т. Готье), *Языческой школы* (Банвиль), *Чахоточной школы, Школы здравого смысла, Меланхолико-шутовской школы* (Альфред де Мюссе)».

Что касается *новелл*, которые мы будем печатать, относятся ли они к так называемой *фантастической* литературе или будут исследованием нравов, сценами реальной

жизни, — стиль поелику возможно непринужденный, естественный и проникнутый искренностью.

Составить письмо в провинциальные газеты.

Прикинуть, что нужно сделать для пропаганды за границей.

Выяснить вопрос, прилично ли давать в «Сове философе» рецензии на наши собственные книги, которые мы будем издавать в других местах.

Сколько необходимо истратить на объявления?

Составить точнейшую смету постоянных и накладных расходов.

Если станут поступать деньги, делить их на две части; одна идет на увеличение рекламы, другая — на увеличение вознаграждения редакции.

Нужно ли составлять формальный договор между нами?

Приглашаю вас написать свои соображения.



ПОСКОЛЬКУ РЕАЛИЗМ СУЩЕСТВУЕТ...

Шанфлери захотелось сыграть шутку с человеческим родом. — Признайтесь, гадкий мальчишка, что вы наслаждаетесь общим смятением и даже усталостью, какую нагоняет на меня эта статья.

История создания термина.

Первый визит к Курбе. (В ту пору Шанфлери придавал искусству непомерное значение. Он изменился.)

Кем был тогда Курбе.

Анализ *Курбе* и его произведений.

Шанфлери одурманил его. — Он мечтал о термине, о знамени, *оговорке*, призыве или пароле, чтобы обскакать слово-лозунг *Романтизм*. Он всегда верил в необходимость такого слова, обладающего магическим воздействием, смысл которого может быть даже и не до конца уточнен.

Навязывая всем то, что *считал* своим методом (Шанфлери был близорук, когда дело касалось его собственной натуры), он поднял чудовищный шум и суетню.

Что же до Курбе, то он оказался неловким Макиавелли этого *Борджиа* — в историческом понимании *Мишле*.

Курбе теоретизировал над безобидной шуткой с логичностью угрожающей убежденности.

Тарелки с петухом.

Плохо пропечатанные гравюры.

Привычные сельские сюжеты Курбе и Бонвена.

Переводчик Гебеля.

А фоном путаница в общественном сознании.

Был пущен «петух», тут ничего не попишешь.

Ему, музыканту чувства, крутить на перекрестке рукоятку шарманки.

Прогулка по не слишком солидной выставке, которую все время нужно было укреплять дрянными философскими подпорками.

И в том кара.

Шанфлери нес в себе свой реализм.

Прометей со своим стервятником (не потому что он похитил огонь с небес, а потому что вообразил огонь там, где его нет, и хотел заставить поверить в это).

В деле Курбе Прео, который однажды, быть может... Так что явственно были видны и ярость, и судороги.

Г-жа Санд, Кастиль (Шанфлери его боялся).

Но фланирование столь беспредельно.

И с тех пор — Реализм, деревенский, грубый, даже мужиковатый, неотесанный.

У Шанфлери, поэта (*два кабачка в Отейле, письмо Крломбине, букет нищей*), в глубине была какая-то несерьезность. Мог ли он долго это сохранять, тем паче что получал удовольствие и, вполне вероятно, то была часть его таланта. Взгляд на манер *Диккенса*, пиршество ночи любви. И если вещи перед ним сочетались каким-то немножко фантастическим образом, то лишь по причине собственного ему несколько мистического сужения зрения. Он старательно изучал и потому верил, что уловил внешнюю реальность. Отныне — *реализм*, он жаждет навязать то, что считает своим методом.

Тем не менее if at all, имеет ли Реализм смысл — вопрос серьезный.

Всякий хороший поэт всегда *реалист*.

Уравнение с двумя членами — впечатлением и выражением.

Искренность.

Взять в качестве примера Банвиля.

Скверные поэты это те, что...

Шаблоны.

Шаблонный Понсар.

С другой стороны, Шанфлери можно, по сути дела, извинить: раздраженный тупостью, шаблоном, здравым

смыслом, он искал объединяющего признака для почитателей правды.

Но все это обернулось скверно. Впрочем, всякий создатель партии по естественной неизбежности оказывается в дурной компании.

Вечно возникают заблуждения, самые нелепые недоразумения. Мне было объявлено, что мне оказана честь... хотя я всегда считал, что недостоеин ее.

Впрочем, я оказался бы — и предупредил о том партию — неудачным приобретением. Я начисто лишен убежденности, послушания и глупости.

Для нас оговорка. — Шанфлери, гиерофант. Но толпа.

Поэзия — это наиболее реальное, то, что оказывается вполне правдой только в *ином мире*.

Этот мир — иероглифический словарь.

Из всего этого останется лишь беспредельная усталость. Вокансон, измученный собственным автоматом, бедняга Шанфлери, жертва собственной чопорности, своей дипломатической позы, и огромное множество одураченных простофиль, чьи быстролетные и повторяющиеся заблуждения интересуют историю литературы ничуть не больше, чем толпу грядущие поколения.

(Анализ Природы, таланта Курбе и нравственности.)

Курбе, спасающий мир.



ФИЛИБЕР РУВЬЕР

Вот жизнь, бурная и корявая, как эти деревья — гранатовое, например, — узловатые, испытывавшие трудности в росте, деревья, что приносят сочные, сложные плоды, деревья, чьи горделивые алые цветы словно бы повествуют о долго накапливавшейся силе. Существует множество людей, которые предпочитают в литературе *текущий* слог, искусство, что льется непринужденно, почти без раздумий, вне всякого метода, но и без неистовства и водопадов. Другие же — главным образом это литераторы — с удовольствием читают только то, что требует перечитывания. Они прямо-таки получают наслаждение от мучений автора. Поскольку такие сочинения, обдуманые, тяжеловесные, неуравновешенные, всегда хранят живой привкус воли, которая их породила. Они обладают наивысшей литературной благодатью, каковой является энергия. То же и с Рувьером: у него есть эта наивысшая уверенная благодать — энергия, напряженность силы в жесте, в слове, во взгляде.

Как я и предчувствовал, жизнь у Филибера Рувьера была непростая, со множеством ухабов. Он родился в Ниме в 1809 году. Его родители, состоятельные негоцианты, сделали все, чтобы он мог учиться. Молодому человеку предназначено было стать нотариусом. Так что с самого начала он имел бесценное преимущество — возможность получения свободного образования. В большей или меньшей степени полное, образование это, если можно так выразиться, накладывает на человека определенный отпечаток, и множество людей, даже более сильных, но не получивших его, всегда ощущали в себе некий пробел,

который не способна заполнить учеба, завершающаяся вручением аттестата зрелости. В ранней юности он выказывал столь пылкую склонность к театру, что его мать, отягченная предрассудками самого сурового благочестия, с отчаянием предрекала ему, что он уйдет на подмостки. Однако Рувьеру суждено было губить свою юность попервоначально отнюдь не среди достойной осуждения театральной роскоши. Дебютировал он в живописи. Лишившись совсем молодым родителей и оказавшись обладателем небольшого состояния, он воспользовался обретенной свободой, чтобы поступить в мастерскую Гро. В 1830 году он выставил полотно, сюжет которого был навеян волнующей картиной Июльской революции; произведение это, насколько мне известно, называлось «Баррикада», и художники, ученики Гро, отзывались мне о нем с похвалой. И в дальнейшем Рувьер неоднократно во время вынужденных досугов, которые предоставляла ему полная случайностей жизнь актера, обращался к своему таланту живописца. В разных местах он оставил несколько неплохих портретов.

Но живопись оказалась всего лишь временным отходом в сторону. Неумолимая склонность к театру властно взяла верх, и в 1837 году Рувьер попросил Жоанни прослушать его. Старый актер быстро направил его на новую стезю, и Рувьер дебютировал во Французском театре. Некоторое время он провел в Консерватории; подобная наивность никого не может опорочить, и нам позволено улыбнуться столь забавной непонятливости гения, который лишь со временем осознает себя. В Консерватории Рувьер показал себя настолько плохо, что даже сам испугался. Профессора, присяжные ортопеды, обучавшие традиционной дикции и жестикуляции, изумлялись, видя, как их преподавание порождает абсурд. Мучимый школой, Рувьер утрачивал природное очарование, не приобретая преподаваемой педагогами *манерности*. К счастью, он вовремя бежал из этого дома, воздух которого не был приспособлен для его легких; несколько уроков он взял у Мишло (но что такое уроки? — аксиомы, правила гигиены, расхожие истины; остальное же, *остальное*, иными словами все, объяснить невозможно) и в конце концов поступил в театр Одеон, где директорами были г.г. д'Эпаньи и Лирё. Там он сыграл Антиоха

в «Родогуне», играл в «Короле Лире» и «Макбете» Дюси-са. «Врач своей чести» дал ему возможность создать удачную, необычную роль и стал важной вехой в карьере актера.

Он проявил себя в «Герцоге Альба» и «Старом консуле», а в роли Тиресия в переводной «Антигоне» продемонстрировал совершенную монолитность тех величественных характеров, что приходят к нам из античности, тех обобщающих типов, которые служат как бы вызовом нашим новейшим поэтическим противоречивостям. Уже во «Враче своей чести» он продемонстрировал ту неожиданную вулканическую энергию, которая характерна для литературы совершенно противоположного рода, и с той поры смог вполне осознать свою судьбу; смог понять, какая глубинная связь существует между ним и романтической литературой; при всем своем почтении к нашим неумолимым классикам я все-таки думаю, что у великого актера, каким является Рувьер, может возникнуть стремление к иному языку, дабы изъясняться на нем, к иным страстям, дабы изобразить их. Он понесет дальше свою страсть исполнителя, будет опьяняться иной атмосферой, возмечтает, возжаждет большей чувственности, большей духовности; он подождет, если надо. Мучительное единство судеб! Пробелы, которые не сообщаются! Как поэт ищет своего актера, как живописец ищет своего гравера, так же и актер мечтает о своем поэте.

Г-н Бокаж, человек бережливый и осторожный, а ко всему прочему еще и *уравнитель*, воздержался от возобновления ангажемента Рувьера, и тут начинается мерзкая эпопея странствующего актера. Рувьер переезжает с места на место, скитается — провинция и заграница, горькое утешение для того, кто неизменно мечтает о своих природных судьях и, словно вестников, ждет от поэтов одухотворенных жизнью героев!

Рувьер вернулся в Париж и сыграл в театре Сен-Жермен «Гамлета» г.г. Дюма и Мериса. Дюма переслал рукопись Рувьеру, и тот так был захвачен ролью, что предложил поставить пьесу маленькой труппой театра Сен-Жермен. То был блистательный успех, которому способствовала вся пресса, и энтузиазм, вызванный этим спектаклем, удостоверен статьей Жюля Жанена, опубли-

кованной в конце сентября 1846 года. С той поры Рувьер принадлежал к труппе Исторического театра; все помнят, с каким блеском сыграл он Карла IX в «Королеве Марго». Казалось, мы видим подлинного Карла IX; то было настоящее воскрешение. Несмотря на уверенную манеру, с какой он исполнил необыкновенную роль Гамлета, ангажемент с ним не был возобновлен, и лишь спустя полтора года он с безмерной оригинальностью сыграет Фрица в «Графе Германне». Повторяющиеся успехи, правда, разделенные зачастую длительными промежутками, не создали артисту твердого и прочного положения; можно бы утверждать, что его достоинства лишь вредили ему, а оригинальная манера делала его неудобным. В театре Порт-Сен-Мартен, где злосчастный провал помешал ему подписать трехлетний ангажемент, он играл Мазаньелло в «Сальваторе Розе». В последнее время Рувьер вновь явил себя с несравненным блеском в театре Гёте, где сыграл роль Мордаунта, и в Одеоне, где был возобновлен «Гамлет», вызвавший неимоверный восторг. Никогда, наверно, не играл он так прекрасно; наконец, в этом же театре он только что создал образ Фавийа, где проявил достоинства, которых от него просто не ожидали, но о которых могли догадываться те, кто изучал его.

Теперь, когда положение Рувьера упрочилось, и положение, надо сказать, превосходное, основывающееся одновременно и на успехе у публики, и на уважении, какое он внушает самым требовательным литераторам (лучшее, что о нем написано, это статьи Теофиля Готье в «Пресс» и «Монитёр» и новелла Шанфлери «Актер Трианон»), самое время и допустимо поговорить о нем откровенно. Некогда у Рувьера были серьезные недостатки, которые, вероятней всего, порождены самим переизбытком его энергии; сейчас они исчезли. Рувьер не всегда владел собой, ныне же это артист, исполненный уверенности. Но особенно характерна для его таланта полностью управляемая торжественность. Его окутывает поэтическое величие. Едва он выходит на сцену, глаза зрителя тут же обращаются к нему и не могут оторваться. Его резкая, ярко выраженная дикция, то подчеркнутая необходимым пафосом, то разбитая неизбежной тривиальностью, неодолимо приковывает внимание. О нем, как и о Клерон, которая была миниатюр-

ной женщиной, можно сказать, что на сцене он вырастет, и это доказательство большого таланта. В нем есть какая-то грозная стремительность, вдохновение, бросаемое наотмашь, сосредоточенная страстность, которая заставляет вспоминать все, что рассказывают про Кина и Лекена. И хотя напряженность игры и несдержимое извержение воли составляют главнейшую часть его таланта, чудо это совершается безо всякого усилия. У него есть, как у некоторых химических веществ, тот вкус, который именуют *sui generis*. Такие артисты, безмерно редкостные и безмерно драгоценные, иногда могут быть своеобразными; *плохими* быть им невозможно, то есть они никогда не сумеют не понравиться.

Как бы изумительно не проявил себя Рувьер в нерешительном и противоречивом Гамлете, а это подвиг, который станет вехой в истории театра, я всегда считал, что он куда непринужденней, *подлинней* в чисто трагических ролях; театр действия — вот его сфера. Можно сказать, что в роли Мордаунта он поистине озарил всю драму, остальное вращалось вокруг него; он выглядел как Мщение, объясняющее Историю. Когда Мордаунт доставляет Кромвелю пленников, обреченных на смерть, и тот с отеческой заботой советует ему отдохнуть перед новым поручением, Рувьер, выхватывая из руки лорда-протектора письмо, с несравненной легкостью отвечает: «Я никогда не устаю, милорд!» — и эти простые слова пронзают душу, как шпага, а аплодисменты публики, которой известна тайна Мордаунта и причина его рвения, завершаются как бы ознобом. Быть может, еще трагичнее он был в той сцене, где дядя читает ему литанию злодеяний его матери, и он ежеминутно прерывает ее воплем жаждающей крови сыновней любви: «Сударь, то была моя мать!» Он повторил эти слова несколько раз, и всякий раз они звучали по-новому, и это было прекрасно.

Безмерно интересно было следить, как Рувьер выражает любовь и нежность в «Мэтре Фавийа». Он был поразителен. Вершитель мести, потрясающий Гамлет превращается в самого ласкового, самого любящего мужа; он украсил супружескую любовь цветком изысканной рыцарственности. Его торжественный и благородный голос трепещет, словно душа его далека от этого мира; впечатление такое, будто она парит среди лазури духовных сфер. Все были еди-

нодушны в похвалах. Один лишь г-н Жанен, который так расхваливал актера несколько лет назад, пожелал сделать его ответственным за неудовольствие, какое доставила ему пьеса. Но что за беда? Если бы г-н Жанен слишком часто совпадал с истиной, он мог бы изрядно ее скомпрометировать.

Стоит ли особо останавливаться на достоинствах изысканного вкуса, что главенствует при создании костюмов Рувьера и в искусстве, с каким он гримируется — не как миниатюрист и не по-фатовски, а как истинный актер, в котором всегда присутствует живописец? Одежды развеваются и гармонично облекают его. Это бесценный штрих, характерная черта, присущая артисту, для которого не бывает мелочей.

У одного своеобразного философа я прочел несколько строчек, которые заставили меня задуматься об искусстве великих актеров:

«Когда я хочу узнать, до какой степени некто осмотрителен или глуп, насколько он добр или зол, либо каковы в настоящий момент его мысли, я придаю своему лицу, насколько это возможно, такое же выражение, как у него, и жду, какие мысли или чувства родятся у меня в мозгу или в сердце, чтобы сочетаться с моей физиономией и соответствовать ей».

И когда великий актер, наполненный своей ролью, уже одетый, загримированный, встает перед зеркалом — отвратительный или очаровательный, обольстительный или отталкивающий — и разглядывает этого нового человека, который на несколько часов должен стать им, то из этого анализа он извлекает некую новую завершенность, некий магнетизм повторяемости. И в этот миг магическая операция закончена, свершилось объективное чудо, и артист может произнести свое *эврика*. Кого бы он ни играл — человека, достойного любви или отвращения, — он может выходить на сцену.

Таков Рувьер.



«ИСТОРИЯ НЕЙИ И ЕГО ЗАМКОВ»

Сочинение аббата Белланже (1855)

В последние годы проявилось прекрасное историческое движение, которое можно назвать провинциальным. Небольшие книжки по истории, написанные искренне и старательно, подобно «Истории Нейи и его замков. Сочинение аббата Белланже» выходят повсеместно. Если все города и селения Франции последуют этому примеру, общая история станет лишь вопросом упорядочения материала; во всяком случае для крупного мыслителя труд этот будет изрядно сокращен. Г-н аббат Белланже, чью кончину сейчас оплакивает вся коммуна Нейи, излагает историю этого города с римских времен до страшных дней февраля, когда тамошний замок стал подмостками и жертвой разгула самых низменных страстей, оргий и разрушения. Нейи, как пишет скромный историк, за шестьдесят лет четырежды был избран провидением или роком местом важных и решающих для нации событий. Целая вереница выдающихся людей, которые основали, способствовали украшению, жили и прославили Нейи и его замки, проходит перед глазами читателей. В этом стремительном наброске все персонажи, даже самые привлекательные, под суровым пером священника являются в своем истинном облике. Начиная со святой Изабеллы, основательницы монастыря в Лоншане, прелестной королевы Марго с ее ученой и романтической памятью, Паскаля и его молниеносного обращения вплоть до Энциклопедии, замысел которой родился именно в замке Нейи, Пармантье, возделавшего равнину Саблон, принцессы Полины, генерала

Веллингтона и трагедии дороги Мятежа — обзор всех событий, что прославили эту героическую коммуну, произведен без затягивания, четко и в замечательном литературном исполнении.

Превосходная эта книжечка продается в *Новой книжной лавке, Итальянский бульвар*, и у Дантю в Пале-Рояле.



«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»

I. Биография

Биография Мишо. — Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло родился в Амьене в 1741 году.

В 19 лет младший лейтенант королевского инженерного корпуса.

В 1778 г. капитан, строит форт на острове Экс.

Нелепая оценка «Опасных связей» в *Биографии Мишо*, подписанной Болье, издание 1819 г.

В 1789 г. секретарь герцога Орлеанского. Путешествие в Англию с Филиппом Орлеанским.

В 1791 г. петиция, спровоцировавшая собрание на Марсовом поле.

Возвращение на военную службу в 1792 г. в чине бригадного генерала.

Назначение губернатором Французских Индий, куда он так и не отправится.

После падения Филиппа заключение в Пикпюс.

(Планы реформы, опыты с артиллерийскими снарядами.)

Вновь арестован, освобожден 9 термидора.

Назначен генеральным секретарем ипотечного управления.

Вновь возвращается к своим военным опытам, поступает на военную службу в чине бригадного генерала от артиллерии. Рейнская и Итальянская кампании, смерть в Таранто 5 октября 1803 г.

Добродетельный человек, «добрый сын, добрый отец, прекрасный супруг».

Мелкие стихотворения.

В 1786 г. письмо в Академию по поводу премии, назначенной за похвальное слово Вобану (1440 миллионов).

«Литературная Франция» Керара. — Первое издание «Опасных связей» вышло в 1782 г.

«Секретные причины революции 9—10 термидора» Вилата, бывшего заседателя революционного трибунала. Париж, 1795 г.

Продолжение «Секретных причин», 1795 г.

Луандр и Буркело. — К его произведениям, говорят они, нужно добавить «Виконта де Баржака».

Ошибка, по мнению Керара, который приписывает это произведение маркизу де Люше.

Атен. — 31 октября II года Свободы Лакло получил разрешение издавать корреспонденцию Общества друзей конституции, заседающего в якобинском клубе.

«Газета Друзей Конституции».

В 1791 г. Лакло уходит из газеты, которая остается фельянам.

II. Заметки

Если эта книга и обжигает, то обжигать она способна лишь наподобие льда.

Историческая книга.

Предупреждение издателя и предисловие автора (притворные и скрытные чувства).

Письма моего отца (шутливость и легкость).

Революция была совершена сладострастниками.

Нерсиа (полезность его книг).

В тот момент, когда вспыхнула Французская революция, французское дворянство было физически ослабленной породой (де Местр).

Вольнодумные книги комментируют и объясняют революцию.

— Мы не говорим: «Нравы, отличные от наших», — скажем: «Нравы, что были в большей чести, чем сейчас».

Значит ли это, что нравственность возвысилась? Нет, просто энергия зла снизилась. И глупость заняла место ума.

Обольстить и гордиться тем, что обольстил, так ли уж это безнравственной современной манеры обожествлять и смешивать святое с мирским?

Тогда тратили бездну сил на то, что почитали безделицей, и безумствовали ничуть не менее, чем сегодня.

Но безумствовали не так по-дурацки, не обманывались.

Жорж Санд.

Непристойность и иеремиады.

На самом деле сатанизм победил, Сатана стал просто-душен. Зло, сознающее себя, менее страшно и ближе к исцелению, чем зло, себя не ведающее. Жорж Санд ниже де Сада.

Моя симпатия к книге. Книга моралиста, столь же

Моя дурная репутация. благородная, как самые воз-

Мой визит к Билло. вышенные, столь же глубо-

Все книги аморальны. кая, как самые значительные.

— Относительно одной фразы Вальмона (найти):

Время Байрона пришло.

Поскольку Байрон был подготовлен, как и Микеланджело.

Великий человек никогда не бывает аэролитом.

Шатобриан должен был вскоре выкрикнуть свету, у которого не было права удивляться:

«Я всегда был добродетелен без удовольствия и стал бы преступником без угрызений совести».

Характер мрачный и сатанинский.

Игривый сатанизм.

Как любили при старом режиме.

Веселее, это вне сомнений.

То не был экстаз, как нынче, то было исступление.

Всегда ложь, но себе подобному не поклонялись. Его обманывали, но сами обманывались меньше.

Впрочем, ложь иногда так плотно цеплялась за ложь, что комедия обращалась в трагедию.

— Тут, как и в жизни, пальма порочности доставалась женщине.

(Сауфейя.) *Femina simplex* у себя в домике.

Ухищрения Любви.

Бельрош. Инструменты для удовольствий.

Ведь Вальмон главным образом тщеславен. Впрочем, он и благороден, всякий раз когда дело не идет о женщинах и его славе.

— Развязка.

Оспа (высшая кара).

Гибель.

Характер по-преимуществу мрачный.

Презренное человечество творит себе подготовительный ад.

Любовь к войне и война любви. Слава. Любовь к славе. Вальмон и маркиза де Мертей все время говорят об этом, правда, де Мертей меньше.

Любовь-сражение. Тактика, правила, способы. Гордость победой.

Стратегия, чтобы получить весьма пустячную награду.

Бездна чувственности. Любви очень мало, исключение — г-жа де Турвель.

— Сила расиновского анализа.

Постепенность.

Преобразование.

Возрастание.

Талант в наше время редкий, если не считать Стендаля, Сент-Бева и Бальзака.

Книга в высшей степени французская.

Книга о жизни в обществе, ужасном, но не лишенном игривости и приличий.

Книга о жизни общества.

(Приписка не рукой Бодлера, но над которой Бодлер собственноручно написал: «*Опасные связи*».):

Этот неблагоприятный отзыв не слишком удивит людей, которые считают, что главной причиной французской революции было нравственное вырождение дворянства.

Г-н де Сен-Пьер в своих «Этюдах о природе» где-то заметил, что если сравнить лица нынешних французских дворян с обликом их предков, чьи черты запечатлели для нас жи-

вопись и скульптура, то совершенно явственно заметно вырождение дворянских родов.

*«Рассуждения о Франции», стр. 197,
издание с пометкою Лондон, 1797, ин-октаво.*

III. Интрига и характеры

Интрига. — Как дошло до ссоры между Вальмоном и г-жой де Мертей.

Почему она должна была произойти.

Мертей убила г-жу де Турвель.

От Вальмона ей больше ничего не нужно.

Вальмон одурачен. Перед смертью он говорит, что сожалеет о г-же де Турвель и что он принес ее в жертву. Принес он ее в жертву всего лишь своему Богу, собственному тщеславию, собственной славе, и г-жа де Мертей, приняв жертву, прямо говорит ему об этом.

Это ссора двух негодяев, которая приводит к развязке.

Упреки критики относительно развязки в том, что касается Мертей.

Характеры. — Насчет г-жи де Розмонд найти портрет пожилых женщин, добрых и ласковых, сделанный де Мертей.

Сесиль, превосходный портрет отвратительной девицы, глупой и чувственной.

Ее портрет, написанный Мертей, превосходит все прочие.

(Она сделала бы подобный портрет и г-жи де Турвель, если бы смертельно не завидовала ей, понимая ее безмерное превосходство.) Письмо XXXVIII.

Девушка. Простушка, неумная и чувственная.

Де Мертей. Тартюф в юбке, Тартюф в нравственности, Тартюф XVIII века.

Всегда и во всем превосходит Вальмона и доказывает ему это.

Ее автопортрет. Письмо LXXXI. Впрочем, она не лишена здравого смысла и ума.

Вальмон, или поиски власти через Дендизм и напускное благочестие. Дон Жуан.

Президентша. (Единственная, принадлежащая к буржуазии. Важное наблюдение.) Характер простой, величественный, трогательный. Великолепное существо. Естественная женщина. Трогательная Ева. — Мертей, Ева сатаническая.

Дансени, поначалу утомляющий своей простотой, становится интересен. Человек чести, поэт, умеет изъясняться.

Г-жа де Розмонд. — Старинная пастель, прелестный портрет в отделанном кружевами чепце и с табакеркой. Слова де Мертей о старых дамах.

Цитаты для обрисовки характеров

«Что вы мне предлагаете? Соблазнить девушку, которая ничего не видела, ничего не знает... Кто угодно преуспел бы в этом деле не хуже меня. Не таково предприятие, которое я сейчас замыслил. Любовь, сплетающая мне венки, колеблется между миртом и лавром...»

Письмо IV. — Вальмон маркизе де Мертей.

«Я во что бы то ни стало должен обладать этой женщиной, чтобы не оказаться в смешном положении влюбленного... Сейчас я полон чувства признательности ко всем доступным женщинам, что естественно влечет меня к вашим ногам».

Письмо IV. — Вальмон г-же де Мертей.

«Удел наш — побеждать. Мы должны ему покориться».

Письмо IV. — Вальмон г-же де Мертей.

(Примечание: поскольку это также удел и г-жи де Мертей. Соперничество в славе.)

«Итак, вот уже четыре дня, как я одержим сильной страстью».

Письмо IV. — Вальмон г-же де Мертей.

Сопоставить это с замечанием Сент-Бева насчет вкуса и страсти у Романтической школы.

«...и никогда с самой своей юности он не сделал ни одного шага, не произнес ни одного слова, не имея при этом какого-нибудь умысла, и никогда не было у него такого умысла, который не явился бы бесчестным или преступным.

Поэтому, если бы Вальмона увлекали бурные страсти, если бы он, как многие другие, подпал соблазну заблуждений, свойственных его возрасту, я, порицая его поведение, чувствовала бы к нему жалость и спокойно ждала бы дня, когда счастливое раскаяние вернуло бы ему уважение порядочных людей.

Но Вальмон не таков... и т. д.»

Письмо IX. — Г-жа де Воланж президентше де Турвель.

«Им неведомы такие радости любви, как полное самозабвение, как то исступление сладострастия, когда наслаждение как бы очищается в самой своей чрезмерности... Ваша президентша возомнит, что все для вас сделала, обращаясь с вами как с мужем, а между тем даже в самом нежном супружеском единении полного слияния никогда не бывает».

Письмо V. — Мертей Вальмону.

(Исток мистической чувственности и любовных глупостей XIX века.)

«Эта женщина станет моей. Я отниму ее у мужа, *он только оскверняет* ее (Ж. Санд). Я дерзнул бы отнять ее у самого Бога, которого она так возлюбила. (Вальмон — Сатана, соперник Бога). Какое наслаждение то вызывать в ней угрызения совести, то побеждать их! Я и не помышляю о том, чтобы сокрушить смущающие ее предрассудки. Они только увеличат мое счастье и мою славу. Пусть она верит в добродетель, но пусть пожертвует ею ради меня. И пусть — я на это согласен — она мне скажет тогда: «Обожаю тебя!»

Письмо VI. — Вальмон г-же де Мертей.

«После всех этих приготовлений, в то время как Виктор занимается другими вещами, читаю главу из «Софы», одно письмо Элоизы и две сказки Лафонтена, чтобы восстановить в памяти несколько оттенков тона, который намеревалась усвоить для данного случая».

Письмо X. — Мертей Вальмону.

«Признаюсь, негодование охватывает меня, когда я думаю, что этот человек, *ни о чем не размышляя и ничем не утруждая себя, а только глупейшим образом следуя бессознательному побуждению своего сердца*, находит блаженство, для меня недостижимое! О, я его нарушу!»

Письмо XV. — Вальмон 2-же де Мертей.

«Должен признаться в своей слабости — я прослезился... Я просто был удивлен тем удовольствием, которое случается испытывать, делая добро...»

Письмо XXI. — Вальмон 2-же де Мертей.

Дон Жуан, превращающийся в Тартюфа и сострадательный из выгоды.

Это признание свидетельствует о лицемерности Вальмона, его презрении к добродетели, но вместе с тем и об остатках у него чувствительности, отчего он и уступает де Мертей, у которой все человеческое иссушено.

«Забыл сказать вам, что, стремясь из всего извлечь пользу, я попросил этих добрых людей молить Бога об успехе всех моих замыслов».

Письмо XXI. — Вальмон 2-же де Мертей.

Бессовестность и извращенность безбожия.

«Она поистине очаровательна! Ни характера, ни правил; судите же, как легко и приятно находиться в ее обществе... Право же, я почти ревную ее к тому, на чью долю выпадет это удовольствие».

Письмо XXXVIII. — Мертей Вальмону.

(Великолепный портрет Сесили.)

«Но он, представьте себе, настолько еще простачок, что не добился от нее даже поцелуя! И однако мальчик этот пишет премилые стихи! Бог мой, до чего же все такие умники глупы!»

Письмо XXXVIII. — Мертей Вальмону.

(Начало портрета Дансени, который будет притягивать даже саму г-жу де Мертей.)

«Ужасно жалею, что мне не дано воровских талантов... Но родители наши ни о чем не думают...»

Продолжение письма XL. — Вальмон г-же де Мертей.

«Она хочет, чтобы я был ее другом...»

(Несчастливая жертва уже попалась...)

И такая ли это жестокая месть высокомерной женщине, краснеющей от признания, что она кого-то боготворит?»

Письмо LXX. — Вальмон г-же де Мертей.

Насчет виконтессы:

«Я всегда выбираю либо самый трудный, либо самый веселый путь, и я отнюдь не раскаиваюсь в хорошем поступке, если он для меня — полезное упражнение или забава».

Письмо LXXI. — Вальмон г-же де Мертей.

(Автопортрет де Мертей.)

«Как мне жалки все ваши опасения! Как доказывают они мое превосходство над вами!.. Существо слабое и полное гордыни, тебе ли подобает рассчитывать, какие у меня средства, и судить о моих возможностях!»

(Женщина, которая вечно хочет руководить мужчиной, признак величайшей извращенности.)

Со свойственной им неосторожностью они не способны предугадать в нынешнем любовнике завтрашнего врага... Я говорю о принципах... Я создала их и могу сказать, что я — собственное свое творение.

Если мне было почему-нибудь грустно... Рвение мое зашло так далеко, что я даже причиняла себе нарочно боль, чтобы научиться в этот миг изображать удовольствие. Столь же тщательно, *но с большим трудом* училась я подавлять проявления неожиданной радости.

Мне не исполнилось еще шестнадцати лет, а я уже обладала способностями, которым большинство наших политиков обязаны своей славой, а между тем постигла лишь основные начала науки, которой стремилась овладеть.

Брожение шло лишь у меня в голове; я хотела не наслаждаться, а *знать*».

Письмо LXXXI. — Мертей Вальмону.

(Жорж Санд и прочие.)

Еще штрих к портрету Сесили Воланж, сделанному де Мертей:

«Поэтому, пытаясь выработать из этой девочки интриганку, мы сделаем из нее всего-навсего доступную женщину. Такого рода женщины — только инструменты для удовольствия».

Письмо CVI. — Мертей Вальмону.

«Девочка и впрямь оболъстительна! Этот контраст наивного простодушия с бесстыдством в речах производит впечатление, а — я уж не знаю почему — мне теперь нравятся только необычные вещи».

Письмо CX. — Вальмон 2-же де Мертей

Вальмон гордится и воспевает свой будущий триумф.

«Я покажу ее женщиной, забывшей свой долг... Я сделаю больше — я ее брошу... Взгляните на содеянное мною и найдите в наше время второй такой же пример!..»

Письмо CXV. — Вальмон г-же де Мертей.

(Цитата *бесконечно важная.*)

Примечание и обещание завершения.

Шанфлери.

Написать ему.





«ГОСПОЖА БОВАРИ»

Сочинение Гюстава Флобера

I

В том, что касается критики, положение писателя, который приходит позже всех, писателя запоздавшего, имеет куда больше преимуществ, чем положение писателя-пророка, который предвещает свой успех, вызывает, если можно так выразиться, его с дерзновенной и самоотверженной властью.

У г-на Гюстава Флобера отныне нет нужды в самоотверженности, да, по правде сказать, вряд ли она когда-нибудь и была. Многие люди искусства, среди которых немало самых тонких и знаменитых, и расхваливали, и поносили его великолепную книгу. Так что критике остается лишь припомнить кое-какие забытые точки зрения и с большей настойчивостью выделить мысли и озарения, которые, на мой взгляд, были в недостаточной мере превознесены и прокомментированы. Впрочем, такая позиция запоздавшего писателя, который выступает после того как все мнения были высказаны, имеет, как я пытался убедить, парадоксальную привлекательность. Он более свободен, поскольку отстал от всех, и выглядит как бы подводящим итог спорам, а, вынужденный избегать защитительного и обвинительного пыла, старается проложить новый путь, побуждаемый лишь любовью к Прекрасному и Справедливости.

II

Поскольку я произнес это высокое и страшное слово Справедливость, да будет мне дозволено, тем паче что мне

это крайне приятно, поблагодарить французский суд за блистательный пример беспристрастности и хорошего вкуса, который он дал в сложившихся обстоятельствах. Подстрекаемый слепым и чрезмерно пламенным рвением охранить нравственность, намерением, которое ошиблось в выборе поприща, и оказавшийся лицом к лицу с романом, творением вчера еще неведомого писателя — и каким романом, самым беспристрастным, самым честным! — с полем, таким же, как всякое другое, истерзанным бурями, политым грозами, как сама природа, — суд показал себя столь же честным и беспристрастным, как книга, брошенная ему для жертвоприношения. Более того, буде нам будет позволено строить предположения относительно соображений, какими руководствовались судьи, вынося приговор, осмелимся утверждать, что если они и обнаружили в книге нечто, действительно заслуживающее порицания, то тем не менее простили ради и благодаря КРАСОТЕ, которой она облачена. Эта поразительная забота о Красоте у людей, чьи обязанности определяются лишь требованиями Правосудия и Истины, является самым впечатляющим признаком, сравнимым с пылками притязаниями общества, которое решительно отсеклось от всякой духовной любви и, пренебрегая своим былым *внутренним миром*, заботится нынче лишь о внутренних органах. Одним словом, можно утверждать, что приговор этот по своей благородной поэтической направленности стал окончательным и бесповоротным и в лице г-на Гюстава Флобера были оправданы все писатели, по крайней мере те, кто достоин этого имени.

Мы не станем говорить, будто беспримерно благосклонным приемом книга обязана процессу и оправдательному приговору, как утверждают многие с неосознанной легкой неприязнью.

Эта книга, даже не подвергшись преследованиям, все равно вызвала бы такой же интерес, возбудила бы такое же удивление, такое же волнение. Впрочем, она уже давно обрела признание всех образованных людей. Еще при первом появлении в «Ревю де Пари», где неразумные купюры разрушили ее гармоничность, она возбудила горячую заинтересованность. Положение Гюстава Флобера, внезапно ставшего знаменитым, в одно и то же время и велико-

лепно, и скверно, и я попытаюсь в какой-то мере показать разные причины этого двусмысленного положения, из которого его честный и блистательный талант сумел выйти победителем.

III

Превосходное — так как после исчезновения Бальзака, этого гигантского метеора, который укрыл нашу страну облаком славы, подобно причудливому, странному восходу, подобно полярному сиянию, заливающему ледяную пустыню феерическим светом, — всякий интерес к роману заглохнул и уснул. Поразительные попытки — признать это надо — все-таки делались. Уже давно г-н де Кюстин, знаменитый в становящейся все более и более разреженной среде благодаря своим книгам «Алуа», «Мир, как он есть» и «Этель», — г-н де Кюстин, создатель некрасивой девушки, типа, к которому очень ревниво относился Бальзак (см. подлинного «Меркаде»), предложил публике «Ромуальда, или Призвание», творение в высшей степени неровное, где неподражаемые страницы одновременно и уничтожают, и оправдывают другие, вялые и натянутые. Но г-н де Кюстин является весьма своеобразным талантом — талантом, в котором дендизм возвышается до идеала небрежности. Прямодушие дворянина, романтический пыл, неизменная насмешливость, независимая беспечная личность непонятны чувствам большого стада, и этот исключительный писатель терпит неудачу, достойную его таланта.

Г-н д'Орвейи мгновенно привлек к себе внимание «Старой любовницей» и «Околдованной». Культ истины, выраженный с исключительной страстностью, способен лишь раздражить толпу. Д'Орвейи, подлинный католик, призывающий страсть, чтобы одолеть ее, поющий, рыдающий и кричащий посреди бури, высящийся, как Аякс, на утесе отчаяния всегда с таким видом, словно объявляет своему сопернику — человеку, перуну, божеству или материи: «Победи меня, иначе победу одержу я!» — также не способен оказать воздействие на спящих, чьи глаза не видят чудес исключительности.

Шанфлери, который с его очаровательным ребяческим умом счастливо забавлялся в живописность, навел поэтический лорнет (куда более поэтический, чем даже представляется ему самому) на смешные и трогательные происшествия домашней и уличной жизни, но то ли из оригинальности, то ли из-за слабости зрения сознательно или предрешенно пренебрег общим местом, местом сбора толпы, публичным домом красноречия.

Чуть раньше г-н Шарль Барбара, душа строгая и логическая, приверженная к умственности и рассудочности, предпринял несомненно выдающиеся усилия: попытался (попытка как всегда неукротимая) описать, разъяснить ситуацию незаурядной личности и вывести непосредственные последствия из ложных положений. Я не стану здесь распространяться о той симпатии, какую внушает мне автор «Элоизы» и «Убийства на Красном мосту», но только потому, что он лишь косвенно соотносится с моей темой в качестве исторического примечания.

Поль Феваль, располагающийся на другом краю сферы, всей душой влюбленный в приключения, беззаветно преданный необыкновенному и таинственному, следует, подобно припозднившемуся герою, за Фредериком Сулье и Эженом Сю. Но как бы ни были богаты возможности автора «Лондонских тайн» и «Горбуна», а равно и других выдающихся умов, им не удалось свершить легкое и неожиданное чудо с несчастной изменившей мужу провинциалочкой, чья простенькая история вся состоит из печалей, разочарований, вздохов и нескольких лихорадочных обмороков, вырванных у жизни, конец которой положило самоубийство.

И пусть эти писатели, одни обращенные к Диккенсу, другие замешанные на Байроне или Булвере, быть может, даже слишком одаренные, слишком горделивые, не сумели в отличие от незатейливого Поля де Кока преодолеть шаткий порог Популярности, единственной блудницы, для овладения которой надо применить насилие; не мне укорять их за это, впрочем, и петь хвалы тоже, равно как я вовсе не рассыпаюсь в поздравлениях г-ну Гюставу Флоберу по поводу того, что он с первого раза достиг того, на что другие тратят всю жизнь. Более того, я усматриваю в

этом дополнительное подтверждение силы и попытаюсь определить причины, которые направили мысль автора именно в эту сторону, а не в другую.

Но я также упомянул, что положение новопришедшего было скверным и, увы, по причине уныло примитивной. Уже много лет как интерес публики к духовным проблемам неуклонно снижается, запас воодушевления все время уменьшается. В конце царствования Луи Филиппа мы были свидетелями последних взлетов духа, еще чувствительного к игре воображения; новый же романист оказался лицом к лицу с совершенно одряхлевшим обществом — нет, хуже, чем одряхлевшим, — с отупевшим и прожорливым, испытывающим ужас лишь перед вымыслом, а любовь — лишь к обладанию.

В подобных условиях человек великолепно образованный, поклонник прекрасного, но приученный к преодолению трудностей, взявшись обдумывать выгоды и невыгоды обстоятельств, должен был сказать себе:

«Каков вернейший способ всколыхнуть эти одряхлевшие души? Они поистине не ведают, чего хотят; единственное, к чему они питают неподдельное отвращение, это к великому; простодушная пылкая страсть, поэтическое самозабвение вгоняет их в краску и уязвляет. Так что будем тривиальны в выборе сюжета, поскольку слишком высокий сюжет для читателя XIX века представляется дерзостью. А также постараемся не забываться и не будем говорить от собственного имени. Мы станем зеркалом, повествуя о страстях и приключениях, в которые большинство людей вкладывают весь свой пыл; станем, как говорит школа, объективными и безличными.

А также, поскольку последнее время нам пропели все уши разговорами о некоем малосерьезном направлении, поскольку мы слышали разглагольствования о некоем литературном методе, который именуется *реализмом*, — отвратительное оскорбление, брошенное в лицо всем рецензентам, зыбкий и растяжимый термин, который для черни означает вовсе не новый метод творчества, но мелочное описание аксессуаров, — мы воспользуемся существующим смятением в умах и вселенским невежеством. На баналь-

ную канву мы наложим стиль нервный, живописный, изошрённый, точный. Самые жаркие, самые кипучие страсти мы укроем внутри тривиальнейшего приключения. Самые высокие и смелые слова будут исходить из самых нелепых уст.

Где поприще глупости, самая тупая, самая продуктивная по части нелепости среда, изобилующая самыми нетерпимыми дураками?

Провинция.

Кто самые невыносимые актеры?

Маленькие люди, что суетятся, верша свои ничтожные обязанности, исполнение которых извращает все их понятия.

Какая самая затертая, самая затасканная тема, ставшая самой надоедливой шарманочной мелодией?

Адюльтер.

Мне нет надобности, — говорит себе поэт, — чтобы моя героиня была действительно героиней. Если она будет достаточно хорошенькой, нервной, честолюбивой, с необузданным стремлением к высшим сферам, то окажется вполне интересной. Впрочем, фокус выйдет куда замечательней, и наша грешница будет обладать по крайней мере тем достоинством — сравнительно редкостным, — что будет отличаться от напыщенных болтуний предшествующей эпохи.

Нет мне надобности и заботиться о стиле, о живописном окружении, об описаниях среды; все эти возможности у меня в преизобилии; я пойду, опираясь на анализ и логику, и докажу, что, во-первых, все сюжеты равно хороши либо плохи, ибо все зависит от того, как с ними обращаешься, а во-вторых, что самые заурядные могут оказаться наилучшими».

И после этого «Госпожа Бовари» — затея невозможная, держу пари, совершенно невозможная, как всякое произведение искусства, — была создана.

Автору, чтобы до конца совершить этот подвиг, осталось только лишь избавиться (насколько это возможно) от своего пола и превратиться в женщину. В результате произошло чудо; несмотря на все актерское рвение, он так и

не смог не перелить в жилы своего творения мужскую кровь, и госпожа Бовари по своей энергичности, честолюбию, а также мечтательности осталась мужчиной. Подобно Палладе, вышедшей в полном вооружении из мозга Зевса, этот причудливый андрогин сохранил всю притягательность мужской души в прелестном теле женщины.

IV

Многие критики утверждали: в этом произведении, поистине прекрасном по тщательности и живости описаний, нет ни одного персонажа, представляющего мораль, высказывающего убеждения автора. Где он этот общепринятый и пресловутый персонаж, которому надлежит объяснять сюжет и вести в должном направлении соображения читателя? Иными словами, где заключение и выводы?

Нелепость! Вечное и неисправимое смешение функций и жанров! Истинному произведению искусства не требуются выводы. Логике произведения вполне достаточно для выполнения всех требований нравственности, и читателю самому надлежит делать заключения из заключения.

Что же до внутреннего, сокровенного персонажа повествования, им, бесспорно, является неверная жена; только она, опороченная жертва, обладает всеми признаками героя. Я только что упоминал, что она кажется почти мужчиной и автор одарил ее (быть может, неосознанно) всеми мужскими качествами.

Давайте внимательно проанализируем:

1. Воображение, высочайшая и тираническая способность, заменяющая сердце или то, что именуется сердцем, то есть орган, которому, как правило, не присуща рассудочная деятельность и который доминирует главным образом у женщин, а также у животных.

2. Внезапная энергия действия, стремительность в решениях, мистическое слияние рассудка и страсти, что характеризует мужчин, созданных для активной деятельности.

3. Непомерная склонность к обольщению, господству и даже заурядные средства обольщения, опускающиеся до

шарлатанства наряда, помады и духов, — все это можно уложить в два-три слова: дендизм, исключительная тяга к подчинению себе.

И однако же госпожа Бовари покоряется; влекомая софизмами воображения, она щедро, великодушно, чисто по-мужски покоряется негодьям, в точности как поэты отдают себя во власть распутным мерзавкам.

Еще одно доказательство чисто мужского свойства текущей в ее артериях крови: эту несчастную по сути очень мало заботят бросающиеся в глаза внешние изъяны, явная провинциальность мужа, полное отсутствие талантов и умственная убогость, бесспорно подтвержденная той дурацкой операцией искривленной стопы.

Перечтите страницы, посвященные этому эпизоду, который несправедливо считают ненужным, меж тем как его назначение — пролить яркий свет на характер героини. Давно копившаяся в госпоже Бовари ярость вдруг вырывается; хлопают двери; муж, не сумевший подарить своей романтической супруге никаких духовных радостей, тупо сидит у себя в комнате; преступный невежда, он наказан, и госпожа Бовари в отчаянии восклицает, словно леди Макбет, навечно связанная с бездарным бахвалом: «О, да будь я *хотя бы* женой какого-нибудь старого, плешивого и согбенного ученого, чьи сокрытые зелеными очками глаза неизменно обращены к хранилищам знания, я и то могла бы с гордостью держать его под руку; ведь я была бы как-никак спутницей духовного властителя, но быть прикованной к этому тупице, который даже не способен выправить ногу больному... о!...»

Эта женщина поистине безмерно великолепна в своем роде, в своем ничтожном окружении, со своим крохотным горизонтом.

4. Доказательства двусмысленного темперамента госпожи Бовари я нахожу даже в ее монастырском воспитании.

Монахини заметили у этой юной девушки странный природный дар к жизни, дар пользоваться жизнью, предугадывать в ней радости. Вот вам человек действия!

Девушка с наслаждением упивается цветами витражей, восточными красками, которыми высокие искусно сделан-

ные окна заливают молящуюся пансионерку; она напитывается торжественной музыкой вечерних служб и парадоксальным образом — причина этого исключительно в нервах — подменяет в душе истинного Бога богом своих фантазий, богом будущего и успехов, богом с книжной виньетки — в усах и со шпорами. Вот вам истерический поэт!

Истерия! А почему бы этой физиологической загадке — загадке, которую пока не разгадала Академия медицинских наук и которая, проявляясь у женщин в виде растущего, не дающего дышать кома в груди (я упоминаю лишь основные симптомы), у нервных мужчин выражается в общей расслабленности и склонности к самым разным эксцессам, не стать основой и подоплекой литературного произведения?

V

Короче говоря, это поистине великая женщина, достойная главным образом жалости, и, несмотря на систематическую суровость автора, который предпринимает все усилия, чтобы не присутствовать в своем произведении и исполнять функции кукловода в театре марионеток, все *мыслящие* женщины будут благодарны ему за то, что он возвысил представительницу их пола до уровня, безмерно далекого от чистого животного и так близкого к идеальному человеку, и за то, что он наделил этот двойственный характер расчетливостью и мечтательностью, образующими совершенное существо.

Говорят, госпожа Бовари смешна. Действительно, вот она принимает за героя Вальтера Скотта некоего господинчика — решусь ли я назвать его сельским дворянином? — который ходит в охотничьих куртках и кричащих костюмах, вот влюблена в ничтожного помощника нотариуса (тот даже не сумел предпринять действий, которые могли бы представлять опасность для его возлюбленной), и наконец, несчастная, разоренная, причудливая Пасифая, загнанная в деревенское захолустье, ищет идеал на балах в захудалых ресторанчиках префектуры... Ну и что из того? — скажем,

заявим мы; ведь это ситуация Цезаря в Карпантра; она ищет Идеал!

Я, разумеется, не заявлю, как ликантроп мятежной памяти, отрекшийся бунтарь: «При виде всей пошлости и глупости нынешнего времени что остается нам, кроме папирсной бумаги и адюльтера?» — но стану утверждать, что при всем при том, даже если взвесить все на аптекарских весах, мир наш создан достаточно жестко, чтобы быть сотворенным Христом, что он не дает ни малейшего права бросить камень в блудницу и даже если в нем станет десятком рогоносцев больше или меньше, это ничуть не увеличит скорости обращения сфер и не приблизит ни на секунду окончательной гибели вселенной. Время положить предел все более и более заразительному лицемерию, чтобы оно стало смешно мужчинам и женщинам, чьи понятия извращены до пошлости, то того, что они готовы кричать «ату!» несчастному автору, который соблаговолил набросить с целомудрием риторика сияющий покров на альковные приключения, всегда отвратительные и уродливые, если Поэзия не осияет их опаловым светом своего ночника.

Однако если я поддамся своей аналитической склонности, мне никогда не удастся покончить с «Госпожой Бовари»; книга эта, в высшей степени будящая мысль, способна внушить толстенный том соображений. На сей раз я ограничусь замечанием, что многими эпизодами, причем важнейшими, критики просто-напросто пренебрегли, а то и разобрали их. Примеры: эпизод с неудачной операцией над искривленной стопой, а также такой заметный, так преисполненный отчаяния, такой поистине *современный* эпизод, когда будущая неверная жена — поскольку несчастная пока еще на самом верху наклонной плоскости — приходит искать помощи в церковь, у Богоматери, туда, где непростительно не быть готовым помочь в любой миг, в ту Аптеку, где никто не смеет ни на секунду задремать! Добрейший аббат Бурнизьен, обеспокоенный единственно поведением изучающих катехизис шалопаев, которые скачут в церкви через скамьи и стулья, простодушно отвечает: «Раз уж вы, сударыня,

больны, а господин Бовари — врач, *почему бы вам не обратиться к своему мужу?»*

Какая женщина, встретившись с подобным небрежением кюре, не бросится с головой, получив как бы отпущение своему безумству, в бурные воды адюльтера, и кто из нас в неискушенном возрасте, оказавшись в трудных обстоятельствах, не наталкивался на безразличие священника?

VI

Поначалу, имея под рукой две книги этого автора («Госпожу Бовари» и «Искушение святого Антония», фрагменты которого еще не собраны воедино издателем), я предполагал установить параллели между ними. Хотел определить соответствия и взаимосвязи. Мне было бы несложно обнаружить под тщательным плетением «Госпожи Бовари» яркие возможности *иронии и лиризма*, что беспощадно озаряют «Искушение святого Антония». Поэт здесь не прячется, и его *Бовари*, искушаемая всеми демонами иллюзии, ереси, всей похотливостью окружающей материи, — иными словами, его *святой Антоний*, изнуренный всеми безумствами, что обманывают нас, стал бы лучшей ему хвалой, чем незначительный вымысел о буржуазке. В этом произведении, из которого автор, к сожалению, продемонстрировал нам лишь фрагменты, есть замечательные куски; я говорю не только о пышном пире Навуходоносора, не только о чудесном явлении крохотной сумасшедшей царицы Савской, миниатюре, пляшущей на сетчатке глаза аскета, не только о шарлатанском и выпрленном представлении Аполлония Тианского, сопровождаемого его спутником, а верней, антрепренером, глупым миллионером, который таскал его по всему свету, нет, я хотел бы главным образом привлечь внимание читателя к тому мучительному, подспудному и бунтарскому дару, что пронизывает все произведение, к тому сокрытому мраком потоку — англичане называют его *subscurgent*, — который источает свет и служит проводником в пандемоническом хаосе одиночества.

Мне было бы несложно, как я уже говорил, показать, что г-н Гюстав Флобер намеренно пригасил в «Госпоже Бовари» свои незаурядные лирические и иронические возможности, продемонстрированные без ограничений в «Искушении», и что это, последнее его произведение, потайная комната его духа, явно остается наиболее интересным для поэтов и философов.

Быть может, когда-нибудь я буду иметь удовольствие осуществить этот труд.



«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»

Сочинение Шарля Асселино

Одиннадцать небольших новелл представлены под общим названием «Двойная жизнь». Смысл его раскрывается после прочтения некоторых вещей, составляющих этот элегантный и красноречивый томик. У Бюффона есть глава, называемая «Homo duplex»; я в точности не помню ее содержания, но краткое, таинственное это название, наводящее на размышления, всегда ввергало меня в мечтательность и даже сейчас, когда я собираюсь дать вам представление о главной мысли, что одухотворяет произведения г-на Асселино, оно внезапно всплывает у меня в памяти, возбуждает ее, не желает отстать, точно навязчивая идея. Кто из нас не является homo duplex? Я имею в виду тех, чей ум, с детства touched with pensiveness, вечно раздваивается — действие и намерение, мечта и реальность, тех, у кого одно вечно помеха другому, одно вечно покушается на долю другого. Такие люди совершают дальние путешествия, сидя у себя дома, покой которого не ценят; они же, не питая благодарности к Провидению за дарованные им приключения, лелеют мечты об оседлой жизни домоседа, о том, чтобы замкнуться в пространстве нескольких метров. Намерение, оставленное по дороге; мечта, забытая на постоялом дворе; план, осуществиться которому помешали препоны; несчастье и недуг, выросшие на успехе, словно ядовитые сорняки на тучной и заброшенной земле; сожаление, смешанное с иронией; взгляд, брошенный назад, точь-в-точь как у бродяги, что на миг сосредоточился; неизменный механизм земной жизни, ежеминутно цепляющий и рвущий ткань жизни идеальной, —

таковы суть главные элементы этой изысканной книги, которая своим отвержением приятного общества, небрежением им и своей яркой искренностью подобна монологу, душевному письму, доверенному почтовому ящику для отсылки в дальние страны.

Большая часть составляющих ее рассказов — это образчики сопоставления людских горестей с радостями мечтательности.

Таков «Кабачок на Песках», куда за несколько лье от города регулярно приходят два молодых человека, чтобы найти покой от ставших невыносимыми огорчений и тягот, забыть среди плоского речного пейзажа, в унылости заброшенного дома об оглушающей жизни города; таков «Постоялый двор», в котором проезжий, человек образованный, внушает хозяйке такую симпатию, что она предлагает ему в жены свою дочь, но он немедленно возвращается в привычный свой круг, куда его замкнула судьба. На великодушное же и простодушное предложение образованный проезжий отвечает издевательским хохотом, который вызвал бы негодование добрейшего Жан-Поля, неизменно ангельского, несмотря на свою ироничность. Но я думаю, что уже находясь в пути или возвратясь в пути привычной жизни, склонный к раздумьям и философии проезжий устыдится своего злого смеха и, испытывая легкие угрызения совести, скажет себе с некоторым сожалением и тихим скептическим вздохом, смягченным едва заметной улыбкой: «Быть может, славная хозяйка все-таки была права; у человеческого счастья составляющих куда меньше и они куда как проще, чем внушает нам свет и его извращенная система понятий». Таковы «Посулы Тимоте», рассказ об омерзительной борьбе обманщика с простушкой; обманщик, этот воришка особого рода, тут достойным образом — можете мне поверить — заклеямен, и я крайне благодарен г-ну Асселино за то, что в конце он показал нам, как его простушку спасает и примиряет с жизнью человек с дурной репутацией. Такое случается нередко, и *Deus ex machina* счастливых развязок оказывается, что в жизни происходит гораздо чаще, чем мы желаем это признать, одним из тех, кого свет именует прохвостами и даже негодьями. «Мой кузен Дон Кихот», самое замечательное

произведение, как бы специально написанное, чтобы пролить свет на два наивысших достоинства автора, а именно: на чувство нравственной красоты и на иронию, рождающуюся при виде несправедливости и глупости. Этот кузен, голова которого полна прожеками просвещения, установления всеобщего счастья, чья вечно юная кровь воспламенена всепожирающим восхищением перед древними греками, этот героический деспот, что желает лепить и лепит свою семью по собственному подобию, более чем интересен — он трогателен, он возвышает душу, заставляя испытывать стыд за свою повседневную трусость. Несоответствие этого нового Дон Кихота духу времени производит некий трогательный комический эффект, хотя, по правде сказать, смех, вызванный высокой болезнью, становится едва ли не приговором смеющемуся, и вселенский Санчо, что обстал со всех сторон благородного безумца, вызывает презрение не меньшее, чем Санчо из романа. Наверное, не одна пожилая дама с улыбкой, а возможно, и со слезами прочтет «Роман обожательницы», рассказ про длившуюся полтора десятилетия любовь — без признаний, без излияний, бездейственную — любовь, так и оставшуюся неведомой тому, кто был ее предметом, чистейший мысленный монолог.

«Ложь» тонко и в то же время естественно раскрывает главную идею книги, которую можно было бы определить как «Об искусстве не поддаваться обыденной жизни». Турецкие вельможи иногда заказывают нашим художникам росписи, которые изображают покои, обставленные роскошной мебелью и открывающие фиктивную перспективу. Этим своеобразным мечтателям доставляют великолепный салон на холсте, свернутый в трубку наподобие картины или географической карты. Примерно то же самое делает герой «Лжи», и такой герой не так уж редок, как можно предположить. Постоянная ложь скрашивает и окутывает его жизнь. Следствием этого в практической повседневной жизни становятся кое-какие потрясения и неприятные происшествия, но за счастье надо платить. Тем не менее однажды вопреки всем препятствиям, возникающим от его добровольной и систематической мании, счастье, подлинное счастье, предлагает ему себя, жаждет быть при-

нятым, ничего за это не требуя; единственное крохотное условие, которое необходимо выполнить, чтобы удостоиться его, это признаться во лжи. Но погубить вымысел, изобличить себя, разрушить идеальное сооружение оказывается для нашего мечтателя невозможной жертвой даже ради обретения истинного, невыдуманного счастья. Он останется в бедности и одиночестве, но верным себе, и будет продолжать упрямо придумывать декорации собственной жизни.

Большой талант г-на Асселино проявляется и в том, что он понимает и узаконивает абсурд и невероятное. Он улавливает и воспроизводит, иногда с неукоснительной точностью, странные умственные построения сна. В подобного рода отрывках его простая манера без всякого манерничанья, четкое, прямое, чуть ли не протокольное описание дают высокий поэтический эффект. Для примера процитирую несколько строчек из весьма своеобразной небольшой новеллы «Нога».

«В жизни, явленной нам во сне, более всего поразительно не то, что мы оказываемся перенесенными в какие-нибудь фантастические места, обычаи которых противостоят всем общепринятым представлениям и где нередко (что, впрочем, еще не самое страшное) невозможное перемешано с реальным. Гораздо больше потрясает меня восприятие этих несообразностей, легкость, с какой самая чудовищная нелогичность принимается как вещь совершенно естественная, так что человек спокойно соглашается с особыми свойствами и понятиями, чуждыми нашему миру.

Однажды мне приснилось, будто я стою в плотной толпе на главной аллее Тюильри и присутствую при казни какого-то генерала. Все собравшиеся сохраняют торжественное и почтительное молчание.

Генерала приносят в корзине. Он в парадном мундире и с обнаженной головой вылезает из нее, тихо напевая погребальный псалом.

Вдруг на правой террасе, что со стороны площади Людовика XV, появляется гарцующий боевой конь под седлом и попоной.

К приговоренному подходит жандарм и почтительно подает ему заряженное ружье; генерал прицеливается, стреляет, и конь падает.

Толпа рассеивается, и я тоже ухожу, внутренне убежденный, *что таков обычай, что если лошадь приговоренного к смерти генерала появится на месте казни и он ее убьет, то жизнь его будет спасена*».

Даже Гофман в присущей ему манере не сумел бы лучше описать ненормальное состояние рассудка.

Два главных рассказа — «Вторая жизнь» и «Ад музыканта» — верны основной мысли книги. Вера в то, что *хотеть значит мочь*, влечет мечтателя, принявшего буквально гиперболу поговорки, от разочарования к разочарованию вплоть до самоубийства. По особой милости того света все способности, которых он пламенно жаждал, неожиданно даруются ему, и, наделенный пожалованной при этом втором рождении гениальностью, он возвращается на землю. Не была предвидена лишь одна-единственная помеха, единственная беда: те неудобства, нежелательные последствия, недоразумения, которые являются результатом несоизмерности, возникающей отныне между ним и земным миром, отчего существование вскорости становится для него невыносимо и ему опять приходится искать спасения в смерти. Равновесие и соответствие нарушены, и он, как некий Овидий, чрезмерно многознающий для былой своей отчизны, вправе сказать:

Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis.

«Ад музыканта» изображает случай чудовищной галлюцинации, в которую впал бы композитор, осужденный слышать одновременно все свои сочинения, исполняемые худо ли, хорошо ли на всех пианино земного шара. Он бежит из города в город, все время ищет, как землю обетованную, сна и наконец, обезумев от отчаяния, переправляется на другое полушарие, где ночь, заступившая место дня, приносит ему хоть какое-то облегчение. Впрочем, в отдаленном этом краю он находит любовь, которая, подобно энергичному врачу, ставит все на свои места и приносит покой его взбудораженному организму. «Грех гордыни искуплен любовью».

Анализ книги всегда выглядит костяком без плоти. Однако для умного читателя такой анализ может оказаться достаточным, чтобы позволить догадаться о духе поиска, что животворит труд г-на Асселино. Часто повторяют: «Стиль — это человек», — но не менее ли справедливо будет сказать: «Выбор сюжета — это человек»? Судя по плоти книги, я могу утверждать, что на ощупь она приятная, теплая, упругая, однако более всего заслуживает изучения сокрытая в ней душа. Эта прелестная книжечка, индивидуальная, беспредельно индивидуальная, подобна монологу, который в разгар зимы, положив ноги на каминную подставку для дров, вполголоса произносит автор. Она обладает всем очарованием монолога и своей искренностью схожа с откровенничаньем — вплоть до некоей женственной небрежности, являющейся как бы неотъемлемой частью искренности. Признайтесь, вы ведь всегда любили и неизменно восторгались книгами, в которых напряженная мысль всякий миг заставляет читателя опасаться, что вот-вот она прервется, и полнит его нервическим трепетом? Так вот, эту книжку надо читать так, как она написана — в халате и положив ноги на подставку для дров. Счастлив автор, не боящийся предстать в неглиже! И несмотря на смирение, какое извечно испытывает человек, чувствующий, что оказался на исповеди, счастлив вдумчивый читатель, homo duplex, который, умея распознать в авторе свое зеркало, не боится воскликнуть: «Thou art the man! Вот мой исповедник!»



ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

Хоть мы и не даем напиться ни одной старушке, тем не менее оказываемся в положении девушки из сказки Перро; стоит нам открыть рот, как с губ у нас падают золотые монеты, алмазы, рубины и жемчуг; хотелось бы нам время от времени выплюнуть какую-нибудь жабу, ужа или красную мышь, хотя бы просто ради разнообразия, но это не в нашей власти.

Теофиль Готье. Капризы и зигзаги

I

Не знаю чувства более обременительного, чем восхищение. По тому, как трудно его высказать подобающим образом, оно сравнимо с любовью. Где найти выражения достаточно красочные или оттенки достаточно изощренные, чтобы они соответствовали вашему возвышенному чувству? «Боязнь людского мнения — всеобщее бедствие», — говорится в одной философской книге, которая сию минуту случайно попала мне на глаза; но не следует думать, что в основе моих затруднений лежит низменная боязнь людского мнения: источник моего смущения — лишь боязнь, что я не сумею высказаться о своем предмете в достаточно благородном духе.

Некоторые биографии легко писать, например, биографии людей, чья жизнь изобилует событиями и приключениями; остается лишь перечислять факты и указывать на их даты, но в нашем случае нет и следа того материального разнообразия, что сводит задачу писателя к компиляторству. Ничего, кроме безбрежного духовного простора! Биография человека, чьи самые драматические приключения разыгрываются под куполом его мозга, — это литературный труд совсем иного порядка. Каждое светило рождается, чтобы свершить путь по своей траектории — и каждый человек тоже. Все мы великолепно и смиренно исполня-

ем предназначенные нам роли. Кто может вообразить себе биографию Солнца? История этого светила с тех пор, как оно подало признаки жизни, полна однообразия, света и величия.

Итак, моя задача, в сущности, сводится к тому только, чтобы написать историю *навязчивой идеи*, которую, впрочем, я сумею снабдить и определением, и анализом, а потому, в конце концов, не так уж важно, сообщу я или не сообщу моим читателям, что Теофиль Готье родился в Тарбе в 1811 году. Вот уже долгие годы я имею счастье быть его другом и при этом совершенно не знаю, ознаменовались ли его будущие таланты с самого детства успехами в коллеже, отроческими лаврами, коих часто не умеют завоевать *дети с возвышенной душой*, а если и умеют, то уж во всяком случае вынуждены делить их с толпой омерзительных болванов, заклеянных судьбой. Об этих пустяках я понятия не имею. Возможно, и сам Теофиль Готье об этом забыл, а если бы и припомнил по какому-нибудь случаю, не думаю, что ему было бы приятно вновь увидеть, как перед его мысленным взором копошится куча лицеистов. Нет человека, которому в большей степени было бы присуще величавое целомудрие истинного литератора и больше претило бы выставлять на обозрение то, что еще не сделано, не готово, не созрело для публики, для просвещения сердец, влюбленных в прекрасное. Никогда не ждите от него *мемуаров*, а тем более *признаний* или *воспоминаний*, словом, *ничего, что бы не входило в его священные обязанности*.

Вот какое соображение особенно радует меня сейчас, когда я предпринимаю эту попытку описания *одной навязчивой идеи*: наконец-то я могу в свое удовольствие поговорить о *неизвестном* человеке. Все, кто задумывался об ошибках истории и случаях ее запоздалой справедливости, поймут, что значит слово *неизвестный* в применении к Теофилю Готье. Правда, его фельетоны уже немало лет будоражат Париж и провинцию; бесспорно и то, что множество читателей, интересующихся литературными событиями, с нетерпением ждут его суждений о драматических постановках, появившихся в последнюю неделю; еще бесспорнее, что его отчеты о Салонах, такие беспристрастные, испол-

ненные такой искренности и такого величия, благоговейно принимают на веру все изгнанники, не имеющие возможности посмотреть своими глазами и составить собственное мнение. Для всей этой разнообразной публики Теофиль Готье — несравненный и незаменимый критик, и все-таки он остается *неизвестным*. Поясню свою мысль.

Представим себе, что вы *заперты* в *буржуазном* салоне и пьёте послеобеденный кофе в обществе *хозяина* дома, *хозяйки* дома и *барышень*. Омерзительный и смехотворный жаргон — перо писателя должно от него избавляться, а сам писатель — избегать подобного времяпрепровождения! Сейчас заговорят о музыке и, может быть, о живописи, а потом беседа неизбежно коснется литературы. В свой черед подвергнется разбору и Теофиль Готье; сперва ему будут пожалованы неизбежные лавры («какой остроумный! какой занятый! Как хорошо пишет, какой у него *легкий слог!*» — премия за *легкий слог* выдается без разбору всем известным писателям, ибо легкость, по-видимому, — самый доступный символ прекрасного для людей, не имеющих привычки рассуждать), но если вам вздумается заметить, что забывают о его главной заслуге, о его бесспорной и самой блистательной заслуге, короче говоря, о том, что он великий поэт, — на всех лицах изобразится живейшее изумление. «Безусловно, слог у него очень поэтический», — скажет самый проникательный в этой компании, не имея понятия, что речь идет о размерах и рифмах. Все эти люди прочли статью в последней газете, но ни у кого не нашлось ни денег, ни досуга на «Альбертуса», «Дона Жуана, Комедию смерти» и «Испанию». Мне, французу, неприятно это признавать, и если бы я толковал не о литераторе, который стоит куда выше подобных несправедливостей, я предпочел бы, пожалуй, умолчать об этом убожестве нашей публики. Но дела обстоят именно так. А тем временем многочисленные издания разлетелись во все стороны. Куда они делись? В каких шкафах зарыты эти великолепные образчики наичистейшей французской Красоты? Не знаю; наверняка, канули в каких-нибудь неведомых землях далеко от Сен-Жерменского предместья и от Шоссе д'Антен, выражаясь на манер господ *хроникеров* с присущей им географией. Знаю только, что нет ни одного мало-мальски уме-

ющего мечтать литератора или художника, чьей памяти не украшали бы и не обогащали эти чудеса; но светским людям, даже тем из них, что упивались или притворялись, будто упиваются «Размышлениями» и «Гармониями», неизвестны эти новые сокровища отрадной красоты.

Я сказал, что признание это причиняет сердцу француза немалые муки; но констатировать факт недостаточно, надо попытаться его истолковать. Очевидно, что Ламартин и Виктор Гюго долго располагали кругом читателей, более любознательных на предмет литературных забав, чем та уже впадающая в спячку публика, которая досталась Теофилю Готье к тому времени, как он стал приобретать настоящую известность. Эта публика последовательно и постепенно уделяла все меньшую часть своего досуга наслаждениям духовного свойства. Но такого объяснения недостаточно, ибо, если отвлечься от поэта, которому посвящено мое исследование, я замечаю, что читатели заботливо выискивали в произведениях поэтов лишь те куски, что были *проиллюстрированы* (или перепачканы) чем-то вроде политической картинки, сдобрены приправой, приспособленной к природе их сиюминутных страстей. Они ознакомились с «Одой колонне», «Одой Триумфальной арке», но им неведомы таинственные, сумрачные, самые чарующие вещи Виктора Гюго. Они охотно декламируют «Ямбы» Огюста Барбье об июльских событиях, но не проливали слез вместе с поэтом «Il Pianto» над безутешной Италией и не сопровождали его в путешествии к северному «Лазарю».

Итак, даром что приправы, которыми Теофиль Готье сдабривает свои произведения, обладают для любителей искусства отменным вкусом, остротой и пикантностью, но на небо обывателя они почти или вовсе не действуют. Чтобы добиться настоящей популярности, надо, пожалуй, решиться ее заслужить, надо втайне, внутренне, в сущих мелочах, которые, однако, не сходят с рук бесследно, сделаться проще, доступнее. В литературе, как в нравственности, утонченность несет нам угрозу и в то же время служит к нашей чести. Аристократизм обрекает на одиночество.

Признаюсь откровенно, что не отношусь к тем, кто усматривает в этом достойный сожаления изъян, и, возможно, даже чрезмерно раздражаюсь порой на бедных *фи-*

листеров. Огрызаться в ответ на нападки, состоять в оппозиции и даже требовать справедливости — не значит ли это погрязать в *филистерстве*? Мы то и дело забываем, что бранить толпу означает опускаться самому до уровня черни. Пока мы в вышине, все неизбежное представляется нам справедливым. Так склонимся же, напротив, со всем почтением и энтузиазмом, коих она заслуживает, перед этой аристократией, создающей вокруг себя одиночество. Мы видим, впрочем, что этот дар пользуется бóльшим или меньшим уважением в зависимости от эпохи, и с течением времени многие добиваются великолепного реванша. От человечества с его капризами можно ожидать чего угодно, даже справедливости, хотя нельзя не признать, что несправедливость присуща человеку в бесконечно большей степени. Ведь сказал же на днях один политик, что Теофиль Готье — *дутая репутация!*

II

Первая встреча с этим писателем — завидуй нам, весь мир, как завидуешь ты Шатобриану, Виктору Гюго и Бальзаку — доныне свежа в моей памяти. Я пришел к нему от имени двух отсутствующих друзей, чтобы преподнести томик стихов*. Я нашел его не таким представительным, как сегодня, но в нем уже было величие, и держался он в своих свободных одеяниях изящно и непринужденно. Его прием поразил меня прежде всего полным отсутствием всякого холодка, такого, впрочем, извинительного у всех, кто по своему положению привык опасаться посетителей. Для характеристики оказанной мне встречи я был бы рад воспользоваться словом «добродушие», не звучи оно столь тривиально; чтобы описать его обращение с гостем, одновременно простое, исполненное достоинства и очень мягкое, нужен был бы какой-нибудь прекрасный эпитет, пряный и пикантный, по-расиновским рецептам, например, — *азиатское* или *восточное*. Что до нашего разговора (а ведь первый разговор со знаменитым человеком, превосходящим вас талантом еще более, чем годами — знаменатель-

* Слезы, плач, рыдания (*ит.*).

ное событие!), то он также глубоко запечатлился у меня в голове. Когда он увидел у меня в руках сборник стихов, его благородное лицо озарилось прелестной улыбкой; он протянул руку с какой-то детской алчностью, и удивительно, сколько живой любознательности в этом человеке, умеющем выразить все, что угодно, и более всех имеющего право на пресыщенность, и с какой легкостью он устремляет взгляд на *не-я*. Проворно перелистав томик, он заметил мне, что поэты, о которых шла речь, слишком часто позволяют себе *вольнодумные*, то есть нарушающие общепринятые законы сонеты, и охотно переступают через правило четверной рифмы. Потом он глянул на меня с забавной недоверчивостью, словно испытывая, и спросил, люблю ли я читать словари. Впрочем, этот вопрос, как и все остальное, прозвучал совершенно спокойно и был задан таким тоном, каким другой осведомился бы, что мне больше нравится читать — описания путешествий или романы. К счастью, я очень рано заболел лексикоманией и заметил, что мой ответ был выслушан с уважением. Именно по поводу словарей он добавил, что *«писатель, который не умеет высказать все, что угодно, тот, кого любая мысль, какую только можно вообразить, самая странная, самая утонченная, взявшаяся невесть откуда, застаёт врасплох, и кто не может воплотить ее в материале, — это не писатель.»* Затем речь у нас пошла о гигиене, о том, что литератор обязан заботиться о своем теле и соблюдать умеренность. Хотя для иллюстрации этой темы он, помнится, привлек сравнения из жизни танцовщиц и скаковых лошадей, его воззрения на предмет (умеренность, мол — это доказательство уважения, с которым нам должно относиться к искусству и к поэтическим способностям) напомнили мне то, как пишут в душеспасительных книгах о необходимости уважать наше тело как храм Бога. Побеседовали мы и о великом самодовольстве, присущем нашему веку, и о безумии прогресса. В книгах, которые он написал позже, я обнаружил некоторые формулировки, которыми он выразил тогда свое мнение, например, такую: «Есть три вещи, которых никогда не сумеет создать цивилизованный человек, — ваза, оружие, конская сбруя». Разумеется, он имел в виду красоту, а не полезность. Я с воодушевлением говорил о его пора-

зительном могуществе в области гротеска и буффонады, но в ответ на мой комплимент он чистосердечно возразил, что в глубине души терпеть не может остроумие и смех, — смех, искажающий Божье создание! «Иногда позволительно пускать в ход остроумие, как мудрецу позволительно изредка участвовать в кутеже, чтобы доказать глупцам, что он им не уступает, но в этом нет никакой необходимости.» Те, кого удивит это высказанное им суждение, не заметили, что его остроумие — это космополитическое зеркало красоты, в котором, соответственно, со всей закономерностью и со всем великолепием отражаются Средневековье и Ренессанс, а потому он очень рано стал усердно обращаться к грекам и к античной Красоте, что могло сбить с толку тех его поклонников, кои не обладали истинным ключом к его духовному миру. В этом убеждаешься, если заглянуть в «Мадмуазель де Мопен», где он яростно и со всей романтической необузданностью защищает греческую красоту.

Все что он говорил очень ясно и решительно, но без малейшего диктаторства, без педантизма, очень тонко, но без чрезмерного мудрствования. Слушая его красноречивую беседу, такую далекую от нашего века с его жестокой тарабарщиной, я невольно размечтался об античной ясности, о том, чтобы восточный ветер без лишних церемоний донес до меня хоть какие-нибудь отголоски сократических споров. Я ушел обезоруженный всем этим благородством и кротостью, покоренный этой духовной силой, которой сила телесная служит, так сказать, символом, словно предназначенным лишней раз проиллюстрировать истинное учение и подтвердить его новым аргументом.

Столько лет, оперенных то так, то этак, помахало крыльями и улетело к алчным небесам со дня того моего скромного юношеского праздника! Однако и сегодня я не могу вспомнить о нем без некоторого волнения. Это служит мне превосходным оправданием в глазах тех, которые сочли меня отчасти наглецом и, пожалуй, *выскачкой* за то, что в начале этой статьи я запросто признаюсь в близком знакомстве с этим великим человеком. Но да будет известно, что если кое-кто из нас чувствовал себя с Готье свободно, то лишь потому, что он позволял нам это и, казалось, хотел этого. Он черпает невинное удовольствие в

дружелюбной и непринужденной опеке. Вот еще одна черта сходства с милейшими знаменитыми людьми древности, которые любили общество молодых и вели с ними обстоятельные беседы во время прогулок под пышной листвой где-нибудь на берегу реки или под кровлями простой и благородной, как их души, архитектуры.

Этому портрету, который я набросал по-дружески безыскусно, не помешало бы вмешательство гравера. К счастью, Теофиль Готье, который в разных сборниках выступает в самых разных ролях, имеющих отношение к изобразительному искусству и театру, сделался благодаря этому одним из самых известных в парижском обществе людей. Почти всем знакомы его длинные мягкие волосы, благородная осанка, неторопливая поступь и лукавый, мечтательный взгляд.

III

Каждый французский писатель, радеющий о славе своей страны, не может не испытывать гордости и вместе с тем сожаления, устремляя взгляд на ту плодотворную переломную эпоху, когда так мощно расцветала романтическая литература. Все еще полный сил, но словно опустившийся к самому горизонту Шатобриан был похож на гору Афон, бесстрастно взирающую на оживленную равнину; Виктор Гюго, Сент-Бев, Альфред де Виньи омолодили и, более того, возродили французскую поэзию, которая была мертва со времен Корнеля. Ведь Андре Шенье с его дряблой античностью а la Людовик XVI не был симптомом достаточно мощного обновления, а Альфред де Мюссе, женственный и лишенный какой бы то ни были теории, мог бы существовать во все времена и всегда оставался бы все тем же ленивым мастером изящных сердечных излияний. Александр Дюма одну за другой производил на свет свои бурные драмы, в которых с ловкостью опытного ирригатора отмерял извержения вулканов. Какими энтузиастами были литераторы того времени, и с каким любопытством, с каким пылом принимала их публика! *«О сгинувший восторг! О солнце, что ушло за темный горизонт!»* Вторая фаза

ознаменовалась современным литературным направлением, которое дало нам Бальзака, Огюста Барбье и Теофиля Готье. Следует отметить, что, хотя заметную роль в литературе этот последний стал играть лишь после публикации «Мадмуазель де Мопен», однако его первый сборник стихов, храбро выпущенный в разгар революции, датирован 1830 годом. В 1832-м, помнится, к стихам добавился «Альбертус». Хотя к тому времени новая струя в литературе была уже полноводна и мощна, надо признаться, что одного элемента ей все же недоставало, или, во всяком случае, элемент этот попадался весьма редко, как, например, в «Соборе Парижской Богоматери» Виктора Гюго, писателя, воистину являвшего собой исключение из правил по числу и размаху разных возможностей; я имею в виду смех и чувство гротеска. Вскоре «Молодая Франция» доказала, что школа пополняется. Хотя многим этот труд, возможно, представляется легкомысленным, тем не менее его достоинства огромны. Помимо *дьявольской красоты*, то есть пленительной грации и юной отваги, в нем есть смех — и какой смех! Разумеется, в эпоху, полную надувательств, автор вооружается иронией и доказывает, что его не проведешь. От пародий и модных религий спасал могучий здравый смысл. «Слеза Дьявола» подхватила эту нить роскошного веселья, добавив ей новые оттенки. «Мадмуазель де Мопен» еще яснее очертила позицию автора. Эта книга долго не сходила с уст у многих, поскольку откликнулась на детские страсти, и очаровывала не столько даже изысканной ученостью формы, сколько сюжетом. Нужно, в самом деле, чтобы страсть у некоторых людей пережестывала через край: это помотает им распространять ее повсюду. Страсть у них — как мускатный орех, который нужен им, чтобы приправлять все, что они едят. Благодаря изумительному стилю, изысканной, совершенной, чистой и цветущей красоте эта книга воистину стала событием. Именно так оценил ее Бальзак, тогда же пожелавший познакомиться с автором. Автор «Шагреновой кожи» и «Поисков Абсолюта» всегда питал честолюбивую мечту обладать не просто стилем, но стилем особенным, не таким, как у других. Несмотря на тяжеловесность и запутанность фра-

зы он всегда был одним из самых тонких и взыскательных знатоков. С романом «Мадмуазель де Мопен» в литературу пришел Дилетантизм с его изысками и преувеличениями, которые всегда наилучшим образом свидетельствуют о способностях, необходимых искусству. Главное завоевание этого романа, этой сказки, этого полотна, этой грезы, затянувшейся благодаря упорству художника, этого своеобразного гимна Красоте, состоит в том, что он окончательно установил условие, при котором может появиться произведение искусства, каковое условие есть исключительная любовь к Прекрасному — *Навязчивая идея*.

Все, что я могу скатать на эту тему (и скажу очень кратко), было хорошо известно в прежние времена. Затем эти истины замутились и оказались вконец забыты. В литературную критику просочились странные ереси. Не знаю откуда, — из Женевы, из Бостона или из преисподней — взялась та темная пелена, что заволокла солнечное сияние эстетики. Знаменитая доктрина неразрывности Красоты, Правды и Добра — изобретение современного умствования (странно, до чего все-таки заразительно безумие: оно навязывает свой жаргон тому, кто пытается дать ему определение). Различные предметы духовного поиска требуют способностей, которые неразрывно связаны с ними на все времена; иногда определенный предмет требует только одной определенной способности, иногда всех сразу, что бывает крайне редко и вдобавок никогда не в равной дозе и не в равной степени. Кроме того, следует отметить, что чем больше разных способностей требует предмет, тем меньше в нем чистоты и благородства, тем он сложнее, тем сомнительнее его происхождение. *Правда* служит основой и целью науки, она требует прежде всего чистого интеллекта. Здесь кстати будет чистота стиля, но *красоты* стиля будут выглядеть неуместно. *Добро* служит основой и целью нравственных исканий. *Красота* — единственное притязание, исключительная цель Вкуса. Хотя целью истории является Правда, тем не менее существует Муза истории, и это означает, что некоторые качества, необходимые историку, состоят в ведении Музы. Роман — один из тех сложных жанров,

в которых более или менее значительная часть может быть уделена то Правде, то Красоте. В романе «Мадмуазель де Мопен» доля Красоты была исключительно велика. Автор имел на это право. Целью его романа не было ни изображение нравов, ни, тем более, страстей эпохи, но лишь одной единственной страсти, по природе своей совершенно особой, универсальной и вечной, повинуюсь которой вся книга, так сказать, течет по тому же руслу, что и Поэзия, хотя и не сливаясь с ней полностью, поскольку лишена двух элементов — ритма и рифмы. Цель автора, его устремления, его притязания — передать в надлежащем стиле не исступление любви, а *красоту* любви и *красоту* предметов, достойных любви, короче говоря, тот восторг (совершенно отличный от страсти), что создает красота. Уму, свободному от модных заблуждений, это полное смешение жанров и способностей и впрямь дает повод к огромному удивлению. Подобно тому как разные ремесла требуют разных орудий труда, так и разные предметы духовного поиска требуют соответствующих способностей. Возьму на себя смелость процитировать себя самого, затем хотя бы, чтобы себя не пересказывать. Итак, повторюсь:

«...Но существует еще одна ересь... это заблуждение выживает не без труда, я имею в виду *ересь образования*, которая как неперемненные условия включает ереси *страсти, истины и морали*. Тьмы людей воображают, что цель поэзии — обучение чему-либо, что она должна либо укрепить совесть, либо показать хоть что-нибудь полезное... Поэзия, или только захочешь углубиться в себя, спросить свою душу, припомнить свои былые восторги, не имеет иной цели, кроме себя самой; она не может иметь никакой иной цели, и ни одно поэтическое творение не будет столь великим, столь благородным, поистине столь достойным называться поэзией, как то, что пишется единственно ради удовольствия написать стихи.

Не хочу сказать, что поэзия не облагораживает нравы — пусть меня правильно поймут — и что она в конечном итоге не возвышает человека над уровнем низменных интересов; утверждать это было бы нелепо. Я лишь говорю,

что если поэт преследует в стихах нравоучительную цель, он умаляет тем самым свою поэтическую силу; и можно смело поручиться, что его творение будет дурно. Поэзия, под страхом собственной смерти или умаления дара, не может смешиваться с наукой или моралью; ее предметом является не истина, а лишь она сама. Способы выявления Истины иные, они — вне поэзии. У истины с песнями нет ничего общего. Все, что составляет очарование, прелесть, неотразимость песни, лишило бы истину ее силы и власти. Холодный, спокойный, бесстрастный наставительный нрав отвергает цветы и алмазы Музы; он — полная противоположность нраву поэтическому.

Собственно разум стремится к истине, вкус открывает нам красоту, а нравственное чувство учит долгу. Правда, второе из этих качеств незримыми нитями связано с первым и третьим и столь незначительно отличается от нравственного чувства, что Аристотель без колебаний включил в число добродетелей кое-какие стороны, относящиеся именно к сфере вкуса. Итак, человека, наделенного вкусом, в картине порока более всего отвращает уродство, нарушение пропорции. Порок посягает на справедливость и на истину, возмущает разум и совесть; но особенно ранит он иные поэтические души как оскорбление гармонии, как диссонанс, и я не думаю, что было бы недозволительно рассматривать всякое нарушение нравственности, идеальной нравственности, как разновидность преступления против всемирного ритма и просодии.

Именно этот чудесный, бессмертный инстинкт красоты позволяет нам рассматривать землю и ее зрелища как отображение, как *соответствие* неба. Неутолимая жажда всего, что лежит по ту сторону земного, но озаряет жизнь откровением, есть самое живое свидетельство нашего бессмертия. Именно в поэзии и *сквозь* поэзию, в музыке и *сквозь* музыку прозревает душа сокровища, ожидающего нас за гробом; и когда прекрасный стих исторгает слезы из наших глаз, эти слезы говорят не об избытке наслаждения, но скорее о всплеске меланхолии, о вмешательстве нервов, о натуре нашей, обреченной томиться вдали от совершенства, но жаждущий уже теперь, на земле, рая, что был явлен ей в откровении.

Итак, принцип поэзии выражен неукоснительно и просто в человеческом устремлении к высшей красоте, и проявляется этот принцип в восторге, в душевном возбуждении — в восторге, ни в коей мере не зависящем от страсти, то есть сердечного опьянения, и от истины, то есть пищи для разума. Ибо страсть — *естественна*, даже слишком естественна, а потому способна привести оскорбительный, нестройный тон в сферу чистой красоты, и слишком привычна, слишком несдержанна, то есть угрожает смутить чистые желания, изящную печаль и благородную разочарованность, что населяют потусторонние пространства поэзии».

А в другом месте я сказал: «В стране, где надо всем преобладает и торжествует идея пользы, наиболее враждебная идее красоты, идеальным критиком окажется наиболее *уважаемый* — то есть такой, чьи устремления и желания ближе всего к устремлениям и желаниям его читателей, — и этот критик, не делая различия между свойствами таланта и жанрами литературы, всем им будет предписывать единую цель, этот критик будет искать в книжке стихов способов совершенствования нравов»*.

В последние годы и впрямь неистовая страсть к порядочности и честности охватила театр, поэзию, роман и критику. Оставляю в стороне вопрос о том, какую выгоду может извлечь лицемерие из этого смещения функций, какое утешение может почерпнуть в них литературное бессилие. Ограничусь тем, что отмечу и проанализирую заблуждение, допуская, что оно бескорыстно. В беспорядочную эпоху романтизма, эпоху бурных излиятий, часто прибегали к такой формулировке: «Поэзия сердца!». Таким образом, все права отдавались страсти; ей приписывали своего рода непогрешимость. Сколько бессмыслиц и софизмов может навязать французскому языку эстетическое заблуждение! Сердце включает в себя страсть, сердце включает в себя и самоотверженность, и злодейство; но только воображение включает в себя поэзию. Однако сегодня заблуждение берет другой курс и приобретает бóльшие размеры. Например, женщина в миг восторженной благодарности говорит своему мужу, *адвокату*:

* Цитата из «Новых заметок об Эдгаре По» в переводе М. Квятковской. (Прим. пер.).

Вот вам незаконное вторжение чувства в область разума! Вот воистину умничанье женщины, не умеющей употреблять слова к месту! Ведь это означает: «Ты порядочный человек и хороший муж, следовательно, ты поэт, и поэт в гораздо большей степени, чем все те, что при помощи размера и рифмы выражают идею прекрасного. Я бы даже сказала, — храбро продолжает настаивать эта жеманница, — что всякий порядочный человек, умеющий угодить своей жене, — это и есть самый возвышенный поэт. Более того, со всей буржуазной непогрешимостью заявляю, что автор превосходных стихов куда менее достоин называться поэтом, чем порядочный человек, дорожающий своим семейным очагом, ибо способность к сочинению стихов несомненно вредит супружеским талантам, кои лежат в основе всякой поэзии!»*

Но пусть утешится академик, допустивший сию столь лестную для адвокатов ошибку. Он находится в обширной и славной компании, ибо ветер нашего века навевает безумие, барометр современного рассудка указывает бурю. И разве совсем недавно один прославленный писатель, из наиболее уважаемых, не отнес любую поэзию, при единодушном одобрении публики, не к сфере Прекрасного, а к сфере любви! Вульгарной любви, любви-служанки, любви-сиделки! Да еще воскликнул в своей ненависти к любой красоте: «Искусный портной стоит трех классических скульпторов!» И утверждает, что Реймон Льюль стал теологом потому, что Бог наказал его: он, дескать, бежал, утраченный раковой опухолью, разъедавшей грудь некой дамы, в которую он был влюблен! «Если бы он любил ее по-настоящему, — добавляет наш писатель, — болезнь сделала бы ее в его глазах еще краше! Вот он и стал теологом. Ей-богу, так ему и надо». Тот же автор советует мужу, исполняющему роль провидения, сечь жену, когда она приходит к нему с мольбой помочь ей искупить свою вину. А какое наказание порекомендует он нам для возбужденного, женоподоб-

* В переводе М. Квятковской. (Прим. пер.).

ного и суетного старца, играющего в куклы, слагающего мадригалы во славу болезни и упоенно кутающегося в грязное белье человечности? Что до меня, то я знаю только одну подходящую кару, ибо, как поется в песне о наших отцах, этих богатырях, умевших смеяться в любых обстоятельствах, даже самых критических,

Много пагубнее смех,
Чем клинок и гильотина.

Засим покидаю окольную тропу, на которую завлекло меня негодование, и возвращаюсь к теме воистину важной. Чувствительное сердце не так уж благоприятствует поэтическому труду. Чрезмерная чувствительность может даже пойти в этом случае во вред. Другое дело — чувствительное воображение, оно умеет выбирать, судить, сравнивать, оно устремляется туда и сюда, ищет здесь и там — и все это с проворством и непосредственностью. Именно из этой чувствительности, которую обычно называют *Вкусом*, происходит наша способность избегать *дурного* и искать *хорошего* в области поэзии. Что до душевной порядочности, простая вежливость заставляет нас предположить, что ею обладают все, *и даже поэты*. Сочтет поэт или не сочтет необходимым строить свои труды на основе чистой и праведной жизни — это касается только его исповедника или суда; к нему предъявляются в точности те же требования, что и ко всем его согражданам.

Итак, если ставить вопрос таким образом, если при упоминании слова *писатель* иметь в виду исключительно работу воображения, мы увидим, что Теофиль Готье — поэт в наивысшем смысле слова; ибо он — невольник долга, ибо он постоянно повинуется требованиям своего труда, ибо вкус к Прекрасному для него — *fatum*, ибо долг превратился для него в *навязчивую идею*. Благодаря своему блистательному здравому смыслу (я имею в виду здравый смысл гения, а не здравый смысл обывателей) он сразу вышел на широкую дорогу. Каждый писатель в большей или меньшей степени отмечен печатью главного своего дарования. Шатобриан воспел горестное величие меланхолии и тоски. Виктор Гюго, великий, ужасный, огромный, как обра-

зы, созданные мифологией, можно сказать — циклопический, изображает силы природы в их гармонической борьбе. Бальзак, тоже великий, ужасный, сложный, рисует нам уродства цивилизации, всю ее борьбу, все самомнение, всю ярость. Готье — это исключительно любовь к Прекрасному во всех его видах, выраженная в наиболее подходящих для этого словах. И заметьте, что почти у всех значительных писателей любого столетия, у тех, кого мы зовем вождями или актерами на первых ролях, есть подражатели или даже двойники, стоящие ниже их и способные их заменить. Поэтому, когда какая-нибудь цивилизация уже стерта с лица земли, достаточно найти одно стихотворение в определенном роде, чтобы получить представление об исчезнувших его аналогах и с помощью пытливого ума восстановить прерванную связь поколений. Так вот, писатель Теофиль Готье, в силу своей любви к Прекрасному, беспредельной, плодотворной, неувядаемой любви (сопоставьте, например, последние очерки о Петербурге, о Неве с «Italia» или «Tra los montes»), наделен достоинством *новизны* и вместе с тем неповторимости. О нем можно сказать, что он доныне остается *неподражаемым*.

Чтобы достойным образом отозваться об инструменте, который так безукоризненно служит этой страсти к Прекрасному, — я имею в виду его стиль — мне бы следовало располагать сходными средствами, тем же знанием языка, никогда не страдающего скудостью, тем же великолепным словарем, чьи страницы, колеблемые божественным дыханием, всегда открываются на том самом месте, из которого бьет ключом наиболее точное, единственно верное слово, наконец, тем же чувством гармонии, что каждую черту и каждый мазок кладет именно туда, где это всего естественней, и не упускает ни единого оттенка. Если задуматься над тем, что с этим чудесным свойством Готье соединяет безграничное внутреннее понимание всех сущих в мире *соответствий* и символов, составляющих источник любой метафоры, становится понятно, каким образом он способен бесконечно, безошибочно и безустанно истолковывать таинственное расположение элементов мироздания, предстающих людскому взору. В слове, в *глаголе*, есть не-

что *священное*, запрещающее нам подчинять его игре случайностей. Искусно владеть языком — значит заниматься своеобразной ворожбой и заклинанием духов. И тогда цвет обретает звучание, как глубокий и пронзительный голос; памятники вздымаются и выпирают из глубин пространства; животные и растения, воплощение зла и уродства, корчат недвусмысленные гримасы; аромат вызывает к жизни соответствующую мысль и воспоминание; страсть лепечет или ревет на своем от века неизменном языке. Стиль Теофиля Готье обладает точностью, которая пленяет, изумляет и наводит на мысль о тех чудесах, что по глубинным научным, математическим законам вершатся в игре. Помню, когда в ранней молодости я впервые прикоснулся к творениям нашего поэта, ощущение верного мазка, точного удара вызывало у меня дрожь, а восторг доводил чуть ли не до нервных конвульсий. Постепенно я привыкал к совершенству и отдавался на волю этого прекрасного стиля, волнообразного и блистающего алмазом, чувствуя себя подобно всаднику, что позволяет себе задуматься, сидя верхом на выезженном скакуне, или пассажиру прочного корабля, способного противостоять не предуказанной компасом непогоде, который может вдоволь любоваться величественными декорациями, творимыми природой в часы вдохновения. Эти врожденные и бережно лелеемые способности много раз позволяли Готье (мы все бывали тому свидетелями), присев к простому столу где-нибудь в редакции газеты, импровизировать страницы то критической статьи, то романа, безупречно завершенные по форме — и наутро читатели так же радовались этим страницам, как накануне изумлялись наборщики быстроте их написания и красоте почерка. Проворство, с каким он разрешает все препоны слога и композиции, заставляет вспомнить то суровое правило, которое он обронил как-то раз в разговоре со мной и которое сам он, несомненно, почитал для себя постоянным долгом: «Кого застает врасплох какая-либо мысль, пускай самая тонкая, самая неожиданная, какую только можно себе вообразить, — тот не писатель. Невыразимое не существует».

IV

Это постоянное, врожденное, независимое от воли стремление к красоте и живописности, неизбежно влекло литератора к жанру романа, столь гармонирующему с его темпераментом. Преимущество романа и новеллы состоит в чудесной гибкости. Эти жанры согласуются с любой натурой, подходят ко всем сюжетам и на свой манер преследуют какую угодно цель. Это может быть то исследование страсти, то поиск истины; один роман обращается к толпе, другой — к посвященным; этот очерчивает жизнь минувших эпох, тот — безмолвные драмы, разыгрывающиеся в одном единственном мозгу. Роман, занимающий в литературе столь важное место наряду с поэмой и повестью, — это побочный жанр, коему воистину не положено никаких границ. Как многие побочные дети, он — баловень фортуны, которому все удастся. Он не ведает других препятствий и других опасностей, помимо собственной беспредельной свободы. Новелла, более сжатая, более насыщенная, пользуется неизменными преимуществами принуждения: ее воздействие сильнее; читатель воспринимает ее в целостности, поскольку на чтение новеллы надобно куда меньше времени, чем на освоение романа.

Вдохновение Теофиля Готье, поэтическое, живописное, вдумчивое, должно было полюбить эту форму, лелеять ее, рядить в разные одежды по своему вкусу. Точно так же преуспело оно в разных родах новелл, в коих оно проявлялось. Его могуществу нет предела в гротеске и буффонаде. Здесь проявляется одинокая веселость мечтателя, который время от времени дает выход своей подавляемой жизнерадостности и всегда сохраняет изящество *sui generis**, чтобы угодить главным образом себе самому. Но наибольших высот он достигает, выказывая самый уверенный и серьезный талант, в новелле, которую я назвал бы новеллой поэтической. Можно сказать, что среди бесчисленных форм романов и новелл, занимавших и забавлявших человеческие умы, самой излюбленной формой был роман нравов; он лучше всего подходит толпе. Париж больше всего

* Своеобразное, необычное, оригинальное (*лат.*).

любит слушать о Париже; толпе больше всего нравится видеть свое отражение в зеркале. Но если роман нравов не отмечен природным безупречным вкусом автора, он весьма рискует оказаться плоским и даже — поскольку в искусстве полезность измеряется благородством — совершенно бесполезным. Бальзак превратил этот разночинный жанр в нечто достойное восхищения, всегда вызывающее интерес, и зачастую возвышенное — но это потому, что он вложил в свои книги всего себя. Я много раз удивлялся, что Бальзак почитал для себя великой честью прослыть за наблюдателя; мне-то всегда казалось, что главная его заслуга в том, что он фантазер, страстный фантазер. Все его герои наделены жизненным пылом, одушевлявшим и его самого. Все его выдумки расцветены ярко, как грезы. От верхушки аристократии и до самых подонков черни, все актеры его «Комедии» более жадны до жизни, более энергичны и хитры в борьбе, более терпеливы в несчастье, более ненасытны в наслаждении, более ангелоподобны в преданности, чем исполнители настоящей жизненной комедии в нашем мире. Словом, у Бальзака все, вплоть до привратниц, гениальны. Все души до самой макушки преисполнены воли. Все они суть сам Бальзак. А поскольку все существа внешнего мира представляли его мысленному взору в могучей объемности и с впечатляющими гримасами, он заставлял эти лица судорожно корчиться; он сгущал черноту теней и усиливал яркость света. Его чудодейственное пристрастие к деталям, происходящее от неумеренного стремления все увидеть, все вывести на всеобщее обозрение, все угадать, на все намекнуть, заставляло его, к тому же, сильнее выделять главные линии в угоду общей перспективе. Иногда он напоминает мне тех офортистов, которые вечно недовольны травлением и превращают главные линии, обозначенные царапинами на доске, в настоящие рытвины. В результате такой природной расположенности рождаются чудеса. Но как правило эту расположенность называют «недостатками Бальзака». На самом деле, это и есть его достоинства. Но кто может похвалиться счастливым даром и надежной методой, позволяющими без промаха облачать светом и пурпуром непроходимую пош-

лость? Кто на это способен? Что ж, кто этого не делает, тот, по правде сказать, делает не так уж много.

Муза Теофиля Готье обитает в более эфирных пространствах. Она мало беспокоится — по мнению некоторых, чересчур мало — о том, каким образом проводят дни г-н Кокле, г-н Пипле и г-н Кто-угодно, и что более по душе г-же Кокле, — любезности пристава, ее соседа, или конфеты москательщика, что в свое время был завзятым посетителем танцулек в Тиволи. Эти тайны ее не донимают. Она любит воспарять к менее людным местам, чем улица Ломбардцев: она любит ужасные, суровые пейзажи или местности, от которых исходит унылое очарование, голубые берега Ионии или ослепительные пески пустынь. Она с удовольствием поселяется в роскошно отделанных апартаментах, где плавают ароматы изысканных духов. Ее герои — боги, ангелы, священник, царь, любовник, богач, бедняк и т. д. Она любит воскрешать мертвые города и заставлять помолодевших мертвецов твердить об их неиссякающих страстях. Она заимствует у стихов не размер и не рифму, а пышный слог или лаконичную энергию языка. Отделяясь таким образом от банальной долуки окружающей действительности, она свободнее гоняется за своей мечтой о Прекрасном; но не будь она столь гибкой и послушной, не будь она дочерью мастера, умеющего наделить жизнью все, на что ему угодно взглянуть, над ней бы нависла угроза оказаться недостаточно *видимой и осязаемой*. Наконец, оставляя в стороне метафоры, новелла, написанная в поэтическом роде, производит намного более достойное впечатление; в ней больше благородства, больше обобщения; но она подвержена великой опасности — чересчур удалиться от действительности, утратить магию правдоподобия. А между тем, кто не вспомнит пир у фараона, и танец рабынь, и возвращение победоносного войска в «Романе мумии». Воображение читателя переносится в стихию правды, оно дышит правдой, оно упивается второй реальностью, созданной волшебством музыки. Я не выбирал примера, а просто взял первый, пришедший мне на память; с тем же успехом можно было бы привести двадцать других.

Когда листаешь творения могучего мастера, наделенного твердой волей и твердой рукой, отбор — дело трудное: любой отрывок, попадающий на глаза или приходящий на память, обладает одинаковой точностью и законченностью. И все же я бы хотел рекомендовать как образец не только искусства точного слова, но и таинственной тонкости (по-скольку клавиатура чувств у нашего поэта куда обширней, чем принято думать), весьма известную историю о царе Кандавле. Вероятно, трудно было найти тему более истрепанную, драму, о развязке которой было бы легче догадаться заранее, но истинные писатели любят подобные трудности. Вся заслуга (отрешаясь от языка) заключается здесь в интерпретации. Бесспорно, стыдливость — избитое, расхожее чувство, знакомое каждой женщине, но здесь стыдливость достигает невиданной высоты и приближается к религии; это культ женщины, исповедуемый ею самой; это архаическая, азиатская стыдливость, частица величия, присутствующего древнему миру, воистину цветок, выросший в теплице, гареме или гинекее. Око непосвященного пачкает ее не меньше, чем уста или рука. Созерцание есть обладание. Кандавл показал своему другу Гигесу тайные прелести своей супруги; следовательно, Кандавл виновен, он умрет. Отныне Гигес — единственный подходящий супруг для этой царицы, что столь ревниво относится к себе самой. Но разве у Кандавла нет убедительного оправдания? Разве не пал он жертвой чувства столь же неодолимого, сколь и странного, жертвой непосильного для нервной, артистической натуры бремени огромного счастья, которое нельзя разделить ни с одним наперсником? Разумеется, такая интерпретация истории, такой анализ чувств, повлекших за собой поступки, куда выше басни, рассказанной Платоном, у которого Гигес изображен простым пастухом, обладателем талисмана, с помощью которого ему оказалось нетрудно соблазнить жену царя.

Так шествует, постоянно меняясь, эта причудливая муза, вечно в разных нарядах, космополитическая муза, одаренная гибкостью Алкивиада и подчас увенчанная восточной митрой, с видом величественным и безгрешным, в развевающихся покрывалах, а не то восседает важно, словно царица Савская на веселом пиру, с маленьким медным

зонтиком в руке, на фарфоровом слоне, что красуется на каминах галантного века. Но больше всего она любит, стоя на ароматном берегу Внутреннего моря, золотыми словами повествовать нам «о славе Греции и о величии Рима»; и тогда она — «истинная Психея, что вернулась из истинной Святой земли!»

Эта врожденная страсть к форме и к совершенству формы неотвратимо должна была превратить Теофиля Готье в поистине необыкновенного художественного критика. Никто лучше него не сумел бы талантливее передать то счастье, что дарит нашему воображению созерцание хорошего произведения искусства, пускай самого пугающего и безнадежного. Таково одно из самых волшебных преимуществ искусства: ужасное, выраженное художественными средствами, претворяется в красоту, а *страдание*, пронизанное ритмом и метром, наполняет умиротворяющей *радостью* наш ум. Будучи критиком, Теофиль Готье в своих «Салонах» и в превосходных рассказах о путешествиях изучил, полюбил, объяснил азиатскую, греческую, римскую, испанскую, фламандскую, голландскую и английскую красоту. Когда творения всех художников Европы торжественно, словно на своеобразный всемирный съезд представителей всех эстетических вероисповеданий, собрались на авеню Монтеня — кто первым и лучше всех заговорил об английской школе, о которой наиболее просвещенные зрители судили исходя только из отрывочных воспоминаний о Рейнолдсе и Лоуренсе? Кто сразу же оценил разнообразные и воистину новаторские достоинства Лесли, обоих Хантов — натуралиста и вождя прерафаэлитов, Маклиса, дерзновенного мастера композиции, пылкого и уверенного в себе, кропотливого поэта Миллеса, Дж. Шалона, живописующего послеполуденные празднества в парках, галантного, как Ватто, мечтательного, как Клод, Гранта — наследника Рейнолдса, Хука с его «венетскими снами», Лендсира — глаза у зверей на его полотнах полны мысли — и удивительного Пейтона, напоминающего нам о Фюсли и с терпением, неслыханном в нашем веке, до бесконечности развивающего свои пантеистические концепции, Каттермола, того, что пишет акварели на исторические сюжеты, и еще одного художника, чье имя мне никак не

припомнить — Кокрелл? Кенделл? — архитектора-фантазера, что возводит на бумаге города с мостами, которые покоятся не на быках, а на слонах, а между ногами у этих слонов проплывают на всех парусах гигантские трехмачтовые корабли? Кому удалось в мгновение ока британизировать свой гений? Кто нашел слова, способные запечатлеть обольстительную свежесть и ускользающую глубину английской акварели? Всякий раз, когда нужно описать и истолковать произведения изобразительного искусства, Готье тут как тут.

Я убежден, что именно благодаря его бесчисленным фельетонам и превосходным рассказам о путешествиях все молодые люди (во всяком случае те из них, кому от природы дано чувство прекрасного) приобрели дополнительное образование, коего им недоставало. Теофиль Готье внушил им любовь к живописи, подобно тому как Виктор Гюго привил им вкус к археологии. Этот постоянный труд, совершаемый с таким терпением, был труднее и доблестнее, чем может показаться на первый взгляд: ведь не будем забывать — Франция, я хочу сказать, французская публика (за исключением немногих художников и писателей) лишена артистизма, начисто лишена; среди этой публики найдутся философы, моралисты, изобретатели, любители рассказов и анекдотов, всё что угодно, но только не натуры непосредственно артистические. Она чувствует, а вернее сказать — она судит последовательно, аналитически. Другие, более одаренные народы схватывают всё сразу, немедленно, синтетически.

Там, где нужно видеть только прекрасное, наша публика ищет правды. Когда нужно быть живописцем, француз строит из себя литератора. Однажды я видел на ежегодной выставке в Салоне двух солдат, которые в смущении взглядели на картину, изображавшую кухню: «Но где же Наполеон?» — вопрошал один (в каталоге оказались перепутаны номера, и кухня была помечена цифрой, относившейся к батальному полотну). «Глупец! — возразил второй. — Разве ты не видишь: это варят суп к его возвращению!» И они удалились, довольные художником и сами собой. Такова Франция. Я рассказал эту историю одному генералу, и тот нашел в ней повод восхититься незаурядной смекал-

кой французских солдат. А можно было бы восхититься и незаурядной смекалкой всех французов по части живописи! Да и сами эти солдаты — сущие литераторы!

V

Увы! В поэзии Франция тоже ничего не смыслит. Все мы, даже те из нас, что менее всего являются *шовинистами*, умеем постоять за Францию за табльдотом на каком-нибудь далеком побережье; но здесь, дома, в семейном кругу, давайте скажем правду: Франция не смыслит в поэзии, более того, она испытывает прирожденное отвращение к поэзии. Среди писателей, слагающих стихи, ее предпочтением всегда будут пользоваться наиболее прозаичные. Право же, я полагаю — простите меня, истинные любимцы Музы! — что в начале этой статьи повел себя несколько малодушно, когда сказал, что во Франции прекрасное легко усваивается, только будучи приправлено политикой. Следовало сказать наоборот: как бы щедро ни было прекрасное приправлено политикой, все равно оно вызывает у нас несварение желудка, а вернее, французский желудок немедля его отторгает. Причина этого, на мой взгляд, не в том, что Франции на роду написано стремиться не столько к Прекрасному, сколько к Истине, а скорее в том, что утопический, коммунистический, алхимический склад французских мозгов допускает только одну исключительную страсть — страсть к решению социальных вопросов. Здесь каждый хочет быть похожим на всех, но при условии, чтобы все были похожи на него. Из этой противоречивой тирании проистекает борьба, принимающая сугубо социальные формы, отсюда и уровень, и, словом, всеобщая похожесть. Отсюда крах и подавление любого оригинального характера. И отнюдь не только в литературной сфере истинные поэты выглядят неправдоподобными и неуместными; можно сказать, в какой бы области ни происходили его искания, великий человек всегда — чудовище.

Так будем же любить наших поэтов тайно, украдкой. За границей это даст нам право хвастаться своей любовью. Соседи наши говорят: «Шекспир и Гете!» Мы можем им ответить: «Виктор Гюго и Теофиль Готье!» Читателя, воз-

можно, поразит, что, говоря об этом последнем, я меньше распрстраняюсь именно о том жанре, что составляет его главную славу, служит к его наивысшей чести. Разумеется, здесь не место для завершеного исследования поэтики и просодии. Да если и есть в нашем языке достаточное количество достаточно изощренных терминов для анализа чьей-либо поэзии, то в моих ли силах их отыскать? Бывают стихи, похожие на некоторых красавиц, — оригинальность в них слита с порядочностью; им не ищешь определений, их *любишь*. Теофиль Готье, *с одной стороны*, стал продолжателем великой школы меланхолии, созданной Шатобрианом. Его меланхолия по характеру своему даже более положительна, телесна и порой граничит с античной печалью. В «Доне Жуане, Комедии смерти» есть стихотворения, в том числе и те, что были вдохновлены поездкой в Испанию, в которых проступают опьянение небытием и ужас перед ним. Перечитайте, к примеру, места о Сурбаране и Вальдес-Леале; восхитительный парафраз сентенции, начертанной на циферблате часов в Урунье: «*Vulnerant omnes, ultima necat*»*; наконец, величественную симфонию под названием «Тьма». Я говорю — симфония, потому что это стихотворение иногда напоминает мне о Бетховене. Этому поэту, которого обвиняли в чувственности, случается даже поддаваться неодолимому религиозному ужасу — такой силы достигает подчас его меланхолия. *С другой стороны*, он ввел в свою поэзию новый элемент — я определил бы его как утешение посредством искусства, посредством всевозможных живописных предметов, что радуют глаз и развлекают ум. В этом смысле он совершил настоящее открытие; благодаря ему французский стих научился высказывать то, чего прежде не умел; он сумел украсить стих тысячами деталей, светоносных, рельефных и не нарушающих строения в целом, не нарушающих общих очертаний. Его поэзия, одновременно величественная и изысканная, выступает важно, как придворные в парадных туалетах. Впрочем, черта истинной поэзии — плавное течение, как у больших рек, которые текут к морю, к смерти своей и бессмертию, избегая поспешности и рывков.

* Все ранят, последний убивает (*лат.*).

Лирическая поэзия стремится вперед, но всегда упруго и волнообразно, ей не по вкусу резкость и надлом, — их она уступает драме и роману нравов. Поэт, чей талант мы так страстно любим, досконально изучил эти великие вопросы и вполне доказал это тем, что систематически и последовательно вводит в свой восьмисложник величие александрин («Эмали и камеи»). Здесь с особенной отчетливостью видно, какого результата можно добиться благодаря слиянию двух элементов — живописи и музыки, — благодаря размаху мелодии и благодаря размеренному и симметричному пурпуру более чем точной рифмы.

И нужно ли напоминать о цикле маленьких, в несколько строф, стихотворений — галантных и мечтательных интермедий, которые похожи то на изваяния, то на цветы, то на драгоценности, но все играют красками, которые тоньше и блистательней китайских или индийских, а очертаниями чище и определенной мраморных или хрустальных вещиц? Кто любит поэзию, тот помнит их наизусть.

VI

Я попытался (успешно ли?) выразить восхищение, которое внушают мне произведения Теофиля Готье, и сформулировать причины, узаконивающие мое восхищение. Возможно, кто-то, даже среди писателей, не разделяет моего мнения. Скоро оно станет всеобщим. Сегодня для читающей публики он блистательный остроумец, не более; для потомства он станет одним из величайших писателей не только Франции, но и всей Европы. Его насмешливость, зубоскальство, твердая решимость никогда не попадать впросак свидетельствуют, что он отчасти француз; но будь он французом с головы до пят, он бы не был поэтом.

Упомянуть ли о его душевной чистоте, приветливости, о его услужливости, о его откровенности в тех случаях, когда он может откровенничать, то есть когда не имеет дела с *враждебными филистерами*, о его безупречной пунктуальности в исполнении всех обязательств? К чему? У всех писателей не раз бывала возможность оценить в нем эти благородные черты.

Иногда ему ставят в упрек то, что дух его остался чужд религии и политике. Будь на то моя воля, я бы мог написать еще одну статью, в которой бы победно развеял это несправедливое заблуждение. Я знаю — и мне того довольно — что люди с сердцем и умом поймут меня, если я скажу им, что потребность в порядке, которой проникнуто его прекрасное мышление, надежно хранит его от любого заблуждения в области религии и политики и что он более кого бы то ни было наделен чувством всеобщей иерархии, объемлющей сверху донизу всю природу, все ступени бесконечности. Другие упоминали о его кажущейся холодности, о недостатке у него *человечности*. В такой критике чувствуется легковесность, бездумность. Любому человеколюбцу случается по некоторым поводам, которые могли бы дать толчок филантропической декламации, цитировать знаменитое изречение:

*Homo sum; humani nihil a me alienum puto.**

Поэт имеет право ответить на это: «Я взял на себя долг столь высокий, что *quidquid humani a me alienum puto*. Моя миссия — сверхчеловеческая!» Но не злоупотребляя своей привилегией, тот, о ком идет речь, мог бы попросту возразить (мне, знающему его нежное, способное к состраданию сердце, известно, что у него есть на это право): «Вы находите меня холодным, но не видите, что я принуждаю себя к искусственному спокойствию, которое непрестанно пытаются смутить ваше безобразие и варварство, о прозаичные, запятнанные злодейством люди! То, что вы зовете равнодушием, на самом деле есть лишь смирение перед неизбежностью; кто почитает злодеев и глупцов неизлечимыми, тот нечасто способен растрогаться. Вот потому-то, в поисках избавления от повергающего в отчаяние зрелища вашего безумия и вашей жестокости, глаза мои упорно устремляются к незапятнанной Музе».

Отчаявшись, вероятно, кого-либо убедить и что-либо поправить, в последние годы Готье стал как будто поддаваться слабости и несколько раз проронил хвалебные слова по адресу господина Прогресса и могущественной дамы

* Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (*лат.*).

Промышленности. Не следует чересчур поспешно ловить его на слове в подобных случаях; они лишней раз подтверждают ту истину, что *иногда презрение сообщает душе излишнюю доброту*. Человек приберегает для себя то, что он думает на самом деле, давая понять легкой уступкой (которую могут оценить лишь те, кто умеет зорко видеть в темноте), что он хочет жить в мире со всем миром, даже с Промышленностью и Прогрессом — этими деспотичными врагами любой поэзии.

Не раз я слышал, как люди выражали сожаление о том, что Т. Готье никогда не занимал официальных должностей. И впрямь, во многих отношениях, в частности на ниве искусства, он мог бы принести Франции огромную пользу. Но взвесив все за и против, приходишь к выводу, что так оно лучше. Как бы ни был могуч гений человека, как бы ни была огромна его добрая воля, официальные должности всегда несколько стесняют и то, и другое; иногда они сковывают его свободу, иногда даже притупляют проницательность. Что до меня, то я предпочитаю, чтобы автор «Дона Жуана, Комедии смерти», «Ночи Клеопатры», «Мертвой возлюбленной», «Tra los montes», «Италии», «Капризов и зигзагов» и многих других шедевров оставался таков, каков он был до сих пор: равным величайшим умам минувшего, образцом для грядущих на смену, все более редким бриллиантом в нашу эпоху, упивающуюся невежеством и материализмом, — словом, **ЗАКОНЧЕННЫМ И БЕЗУПРЕЧНЫМ ЛИТЕРАТОРОМ.**





О современниках



ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

Вопль чувства всегда нелеп; но он возвышен, потому что нелеп. *Quia absurdum!*

Что у республиканца есть?
Немного хлеба, сталь и честь!

Честь — проучить врага*,
Сталь — против чужака,
А хлеб — чтоб разделить его с друзьями!

Вот что поется в «Карманьоле»: вот он, нелепый и возвышенный вопль.

Не угодно ли еще один подобный пример с чувством иного порядка? Открой же Теофиля Готье: отважная и опьяненная любовью возлюбленная хочет похитить любимого, трусливого, нерешительного, а тот сопротивляется и возражает, что в пустыне не найти ни тени, ни воды, а бегство полно опасностей. Какой тон она избирает для ответа? Тон, в котором господствует чувство:

Укроют нас мои ресницы!
В шатре моих волос уснем,
Чтоб на рассвете пробудиться.
Бежим вдвоем!

Любовь — и бремя нам, и благо!
А если воду не найдем,

* Вариант: отразить врага. — *Проучить врага* больше подходит к духу песни, которую Гете с большим правом, чем «Марсельезу», мог бы назвать гимном сброда.

Ты слез моих пригубишь влагу!
Бежим вдвоем!

Нетрудно отыскать у того же поэта и другие столь же прекрасные примеры:

О жизни я молил любовь, что жизнь дарует, —
Но тщетно...

воскликает Дон Жуан, которого поэт просит в стране душ объяснить ему загадку жизни.

Итак, я хотел прежде всего доказать, что Теофиль Готье, не будь он даже блестящим художником, обладал тем знаменитым достоинством, в котором ему упорно отказывают критики-ротозеи, — чувством. Сколько раз — и каким волшебным языком! — выражал он самые тонкие оттенки нежности и меланхолии! Немногие, уж не знаю почему, снизошли до того, чтобы изучить эти изумительные цветы, и я нахожу тому только одно объяснение: врожденное отвращение французов к совершенству. Среди бесчисленных предрассудков, коими столь гордится Франция, отметим расхожую мысль, изначально записанную в первых строках свода правил вульгарной критики, а именно, мысль о том, что *слишком хорошо* написанная книга *неизбежно* страдает отсутствием чувства. Чувство, по самой природе своей всем привычное и знакомое, привлекает исключительно толпу, которую те же привычные правила наитщательнейшим образом изгоняют из хорошо написанных сочинений. Итак, признаем сразу же, что Теофиль Готье, весьма уважаемый журналист, мало известен как романист, мало оценен как автор путевых заметок и почти *неизвестен* как поэт, особенно если сопоставить незначительную популярность его стихотворений с их блистательными и необъятными достоинствами.

Виктор Гюго в одной из своих од представил нам Париж мертвым городом, и в этой зловещей и величественной грёзе, в этом нагромождении смутных руин, омытых водой, *которая билась обо все гулкие мосты*, а теперь *набегает на шепчущийся и колеблемый тростник*, он еще находит три памятника, возведенных из более прочного, более долговечного материала, — и этих памятников достаточно,

чтобы поведать о нашей истории. Вообразите, прошу вас, что французский язык превратился в один из мертвых языков. В школах новых народов преподают язык некогда великой французской нации. Как вы полагаете, в книгах каких авторов почерпнут знания принципов и красот французского языка грядущие учителя, лингвисты? Быть может, в хаотическом нагромождении чувств или того, что вы называете чувствами? Но эти писания, которые вам милее других, в силу своего несовершенства окажутся самыми невразумительными и самыми непереводаемыми, поскольку нет ничего более невнятного, чем ошибки и беспорядочность. Если в те времена (возможно, не такие уж отдаленные от нас, как мнит людская гордыня) какой-нибудь влюбленный в красоту ученый муж отыщет стихотворения Теофиля Готье — представляю себе, понимаю и провижу его радость. Так вот он, истинный французский язык! Язык великих и утонченных умов! С каким наслаждением проглядит первооткрыватель все эти стихи, такие чистые и такие изысканно-богатые! Как угадает и оценит все возможности нашего прекрасного языка, доселе недостаточно изученные! И какая честь для искусного переводчика, который пожелает сражаться с этим великим поэтом, более заботясь о благоуханном бессмертии руин, нежели о памяти современников! При жизни поэт страдал от неблагодарности публики; он долго ждал — но вот наконец к нему пришла награда. Проницательные комментаторы устанавливают литературные связи, сближающие нас с XVI веком. История поколений озаряется светом. Виктора Гюго изучают и разбирают по косточкам в университетах; но каждому грамотному человеку известно, что изучение его сверкающей поэзии необходимо дополнить изучением поэзии Готье. Некоторые даже поговаривают, что если блистательного поэта увлекал творческий энтузиазм, подчас не слишком благоприятный для его искусства, то другой поэт, изысканный, более приверженный поэзии, более сосредоточенный, никогда с этим энтузиазмом и не расставался. Другие замечают, что он даже придал новые силы французской поэзии, расширив ее репертуар, и обогатил словарь, ни в чем не отступая от самых строгих правил языка, на котором ему было суждено говорить от рождения.

Счастливец! Вот уж кто достоин зависти! Он любил только Прекрасное, стремился только к Прекрасному, а когда глазам его представало гротескное или безобразное зрелище, он и из него умел извлечь таинственную или исполненную символического смысла красоту! Человек, одаренный даром неповторимым, могучим, как Неизбежность, он без усталости и без усилий выражал все ведомые природе взгляды, ощущения, краски, а также сокровенный смысл, присущий всем вещам, какие только доступны созерцанию глаз человеческих.

Слава его двойка и в то же время едина. Мысль и ее выражение для него не два противоречивых явления, которые удастся примирить лишь ценой великих усилий или с трусливыми оговорками. Быть может, он один обладает правом говорить без малейшей выпренности: «Нет невыразимых идей!» Не случайно, желая вырвать у грядущего справедливость по отношению к Теофилю Готье, я предположил, что Франция исчезла с лица земли; я ведь знаю, что ум человеческий лучше постигает идею справедливости, когда соглашается расстаться с настоящим. Так путник, подымаясь ввысь, лучше усваивает топографию окружающей его местности. Не хочу, подобно жестоким пророкам, кричать: «Эти времена близки!» Не призываю никаких бедствий, даже ради того чтобы подарить друзьям славу. Я сочинил притчу, чтобы нагляднее продемонстрировать свою мысль слабым или незрячим. Ибо кто же среди проницательных наших современников не понимает, что когда-нибудь Теофиля Готье станут цитировать, как цитируют Лабрюйера, Бюффона, Шатобриана, то есть как одного из наиболее неоспоримых и редких мастеров в области языка и стиля?



ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ

(«Ревю фантезист», 15 августа 1861 г.)

Я часто спрашивал себя, не находя ответа, отчего креолы, большей частью, не приносили в литературу никакой самобытности, никакой мощи замысла или выражения. Словно у них женские души, созданные лишь для созерцания и наслаждения. Сама хрупкость, само изящество их сложения, бархатные глаза, что смотрят, но не проникают вглубь; странно суженные, но выпренье высокие лбы — словом, все, что в них порою чарует, изобличает их в то же время как врагов труда и мысли. Томность, приветливость, врожденная склонность к подражанию, впрочем, свойственная также и неграм, почти всегда придает поэту-креолу, будь он даже весьма утонченным, некий провинциальный характер, и это нам пришлось наблюдать даже у лучших среди них.

Леконт де Лиль — первое и единственное исключение из тех, кого я встречал. И даже если предположить, что есть и другие, он, несомненно, останется самым удивительным, самым могучим. Если б его картины — слишком превосходно выписанные, слишком опьяняющие, чтобы не быть отпечатком детских воспоминаний, — не открывали порой глазу критика происхождение поэта, вряд ли удалось бы распознать, что он впервые увидел свет на одном из тех вулканических, благоуханных островов, где душа человеческая, мирно убаюканная всеми наслаждениями климата, день ото дня отвыкает напрягать мысль. Даже его внешний облик опровергает общепринятое мнение, что креол не в ладах с умом. Могучий лоб, вместительный череп, светлые холодные глаза прежде всего воплощают понятие

силы. Под этими определяющими чертами — лукавая улыбка, оживленная вечной иронией. И наконец, еще убедительней опровергая расхожее мнение, касающееся как физической, так и умственной сфер, — его речь, важная и серьезная, каждый миг сдабривается насмешливостью, подтверждающей его силу. Таким образом, он не только эрудит, не только размышлял о многом, не только обладает поэтическим взглядом, умеющим извлечь из окружающих вещей их поэтическую сущность, но он еще и умён — качество, крайне редкое у поэтов; умён он и в обыденном, и в самом возвышенном смысле слова, и если его насмешливость и веселость не проявляются (явным образом, хочу сказать) в поэтических произведениях, то лишь потому, что он намеренно прячет это свойство, сознавая подобную скрытность своим прямым долгом. Леконт де Лиль, будучи истинным поэтом и серьезным мыслителем, не выносит смешения жанров, понимая, что искусство лишь тогда достигает наибольшего эффекта, когда приносимые ради него жертвы пропорциональны необычности цели, преследуемой поэтом.

Я пытаюсь определить, какое место в нашем веке занимает этот спокойный и могучий поэт, один из самых дорогих и любимых наших поэтов. Отличительная черта его поэзии — аристократичность ума, и одной этой черты было бы вполне достаточно для объяснения непопулярности автора, если бы мы, с другой стороны, не знали, что во Франции непопулярно какое бы то ни было совершенство в каком бы то ни было жанре. Благодаря своей врожденной склонности к философии, а также умению живописать словом, он сильно возвышается над салонной меланхолией и над теми, кто строчит в альбомы и кипсеки, в которых все — и философия, и поэзия — приноравливается к девическому восприятию. С тем же успехом безвкусицу Ари Шеффера и пошлые картинки в наших требниках можно сравнивать с могучими фигурами Корнелия. Единственный поэт, с кем было бы уместно сравнивать Леконта де Лиля, — Теофиль Готье. Возвышенный дух как того, так и другого любит странствие; и у того, и у другого воображение космополитично по самой своей природе. Оба любят перемену климата, любят облекать свою мысль в различные одежды,

рассеянные временем по вечности. Но Теофиль Готье придает каждой подробности более живой очерк и более яркий цвет, тогда как Леконт де Лиль особенно тяготеет к философской сути. Оба любят Восток и пустыню; оба восхищаются покоем как принципом прекрасного. Оба наполняют стихи светом страсти — более искрометным у Теофиля Готье, более умиротворенным у Леконта де Лиля. Оба равно чужды присущему людям стремлению сплутовать, но сами никогда впросак не попадают.

Есть еще человек, которого можно упомянуть рядом с Леконтом де Лилем, но совершенно в ином роде: это Эрнест Ренан. Несмотря на различие между ними, любой здравомыслящий ум почувствует справедливость этого сопоставления. Как в поэте, так и в философе я нахожу пылкое, но беспристрастное любопытство по отношению к религиям и тот же дух всемирной любви, не к человечеству как таковому, но к тем разнообразным формам, в которые человек, согласно временам и странам, облекает истину и красоту. Ни у того, ни у другого никогда не встречается бессмысленного святотатства. Живописать в прекрасных стихах, спокойных и просветленных, различные обычаи, следуя которым человек вплоть до наших дней поклонялся Богу и выявлял красоту, — такова цель, которой Леконт де Лиль придерживался в своих стихах, если судить по его последнему, наиболее полному сборнику.

Первое свое паломничество он совершил по Греции; уже тогда стихи его, отголоски классической красоты, были замечены знатоками. Позже он выступил с латинскими подражаниями, которые я ставлю неизмеримо выше его первых опытов. Но справедливости ради должен признаться, что на мое суждение, вероятно, повлияло пристрастие к теме, и моя врожденная приверженность к Риму помешала мне почувствовать все то, чем я наслаждался бы, читая его греческие стихи, не будь этого предпочтения.

Постепенно дух странствий увлек его в миры красоты более таинственной. Труд, который он уделил азиатским верованиям, огромен, именно здесь излил он величественными волнами свое врожденное отвращение ко всему проходящему, к фарсам жизни, и свою бескрайнюю любовь к неизменному, вечному, к *божественному Ничто*. Иногда,

словно повинуясь внезапной прихоти, он удалялся в снега Скандинавии и рассказывал нам о северных богах, низринутых и развеянных, словно туман, лучезарным младенцем Иудеи. Но, как бы ни были величественны способы и убедительны мысли, развитые Леконтом де Лилем в сюжетах столь разнообразных, я изо всех его произведений предпочитаю некую золотоносную жилу, совершенно новую, принадлежащую ему и только ему. Стихи этого ряда редки — вероятно, потому, что этот жанр наиболее выражает его природу, и он не считает нужным им заниматься. Я имею в виду те стихи, где поэт, не заботясь о религии и последовательных воплощениях человеческой мысли, воспевает красоту такую, какую она представляется его самобытному, индивидуальному взгляду: внушительные, подавляющие силы природы; величие дикого зверя во время бега или отдыха; грация женщины в краях, избалованных солнцем; наконец, божественная безмятежность пустыни или грозное великолепие океана. Здесь Леконт де Лиль — мастер, великий мастер. Здесь его торжествующая поэзия не преследует иной цели, кроме себя самой. Истинные ценители знают, что я имею в виду такие стихи, как «Воюющие», «Слоны», «Сон кондора» и им подобные, особенно такие, как «Манчи» — недостижимый шедевр, истинное озарение, где во всей своей таинственной прелести сверкают красота и магия тропиков, о которых никакая южная красота — ни греческая, ни итальянская, ни испанская — не могут дать представления.

Мне осталось добавить немного. Леконт де Лиль владеет своей мыслью; но это ничего бы не стоило, если бы он не владел в совершенстве своим орудием. Язык его всегда благороден, точен, могуч, без крикливых нот, без ложного стыда; словарь его обширен; словосочетания всегда изысканны и согласованы с характером мысли. Он играет ритмом со всею полнотой и уверенностью, и звук его инструмента нежен, но широк и глубок, подобно звуку альты. Рифмы его, точные, но не вычурные, необходимы для созидания красоты и мерно отвечают той противоречивой и таинственной любви, которую питает душа человеческая к неожиданности и симметрии.

Что же касается его непопулярности, о которой я говорил вначале, то, думаю, что я, словно эхо, повторил мысль самого поэта, утверждая, что она его не печалит, и даже напротив — популярность ничего не прибавила бы к его удовлетворенности. Ему вполне достаточно известности среди тех, кто достоин его привязанности. Впрочем, он принадлежит к тем душам, которые питают ко всему низменному столь спокойное презрение, что даже не удостоивают выразить его.



ЭЖЕЗИПП МОРО

*(Посмертная публикация:
«Романтическое искусство», 1868 г.)*

Одна и та же причина может лежать в основе как счастливой, так и несчастливой судьбы. Из бродяжничества, долгое время бывшего единственной радостью Жерара де Нерваля, он вынесет неисцелимую тоску, и в конце концов самоубийство покажется ему единственным исходом, единственным исцелением. Эдгар По, гениальный поэт, свалится в канаву, побежденный пьянством. За их гибелью последуют долгие вопли, злобные проклятия.

Каждый гонитель поспешит отогнать от себя жалость и вслед за другими эгоистично примется твердить скороспелое осуждение: зачем жалеть тех, кто заслужил свои страдания? К тому же наш век весьма склонен рассматривать любого страдальца как наглеца. Но если в неудачнике ум соседствует с нищетой, если он, подобно Жерару, одарен блестящим, деятельным, ослепительным, восприимчивым к знанию умом, если он, подстать Эдгару, разносторонний гений, глубокий, как небо или преисподняя, — о, в таком случае его несчастья — дерзость совершенно нестерпимая. И как тут не сказать, что гений — упрек и оскорбление толпе! Но если у неудачника нет ни гения, ни умения, если нет в нем ничего возвышенного или дерзновенного — словом, ничего такого, что помешало бы черни поставить его на одну доску с собой и, следовательно, обращаться с ним запанибрата — вот тогда, следует признать, несчастья и даже порочность вполне могут стать неиссякаемым источником славы.

Жерар написал немало книг — описание путешествий, новеллы — и все они отмечены вкусом. По сочинил не

меньше новелл, одна из которых — длиной в роман, восхитительные стихи в прекрасном, своеобразном и совершенном по мастерству стиле, по меньшей мере восемьсот страниц критической смеси и, наконец, возвышенные философские труды. Оба они, По и Жерар, несмотря на порочность их поведения, были превосходными литераторами в самом широком и строгом значении этого слова: они покорно склонялись пред неизбежным законом, трудились — правда, когда им вздумается, в свои светлые часы, повинувшись довольно-таки таинственной методе, но тем не менее оба были деятельны, изобретательны при воплощении своих мечтаний и раздумий — словом, радостно предавались своему труду.

Эжезипп Моро, подобно им, будучи в цивилизованном мире арабом-кочевником, казался чуть ли не полной противоположностью литератора. Багаж его невелик, но самая легкость его позволила Моро быстрее достигнуть славы. Несколько песен, несколько стихотворений в полуклассическом, полуромантическом духе застревали даже в ленивом мозгу. В общем, все у него складывалось неплохо: никогда еще умственная деятельность не приносила такой удачи. Бедность его объясняли прилежанием в поэтическом труде, а беспорядочность жизни — непризнанностью гения. Он гулял себе и пел, когда вздумается. Нам хорошо известны подобные теории, потакающие лени, которые, основываясь на одних лишь метафорах, позволяют поэту смотреть на себя как на болтливую, легкомысленную, безответственную и неуловимую птицу, находящую пристанище то на одной, то на другой ветке. Эжезипп Моро был избалованным ребенком — избалованным не по заслугам. Но следует объяснить причину этой чудесной удачи, и прежде чем говорить о необычайных задатках, позволивших на какое-то время уверовать в то, что Эжезипп Моро станет истинным поэтом, я намерен показать шаткие, но величественные подмостки его слишком большой популярности.

Для этих подмостков каждый бездельник и каждый бродяга — уже столп. И каждый бездарный шалопай, естественно, соучастник этого сговора. Если бы речь шла о доподлинно великом человеке, то одного его гения было

бы довольно, чтобы не так уж сильно сожалеть о его бедах, тогда как любая посредственность, не боясь быть смешной, вправе рассчитывать, что подыметесь столь же высоко, как Моро, и уж если она несчастна, то, разумеется, в ее интересах доказать на его примере, что все бедолаги — поэты. Ну, разве я неправ, говоря, что эти подмости слишком высоки? Они вырастают из глубин посредственности, воздвигаются на спеси неудачника: поистине — неисчерпаемый материал!

Я говорю: спесь неудачника. Было время, когда среди поэтов было принято жаловаться, и не только на таинственные, смутные, не поддающиеся точному определению страдания, своего рода недуг, неразлучный с поэзией — нет! на самые подлинные, убедительные страдания, например, на нищету; они гордо заявляли: я голоден, я мерзну! И считалось весьма похвальным помещать все эти мерзости в стихи. Даже подобие стыдливости не могло внушить стихоплету, что ложь ложью, а для него гораздо было бы лучше предстать перед публикой в роли человека, опьяненного азиатской роскошью, живущего в мире богатства и красоты. Эжезипп предался этому великому антипоэтическому заблуждению. Он много рассказывал о себе и много плакал над собою. Не раз подражал он пагубным приемам разных Энтони и Дидье, но от себя привнес в поэзию черту, которую почитал еще одним своим достоинством: это — рассерженный, сварливый взгляд демократа. Он, надо признаться, щедро избалованный природой, но слишком мало работающий над совершенствованием ее даров, прежде всего бросился в толпу тех, что только и знают восклицать: — о, мачеха-природа! — да упрекать общество в том, что оно *украло их часть*. Из себя самого он сотворил некий идеальный персонаж — проклятый, но невинный, с детских лет обреченный на незаслуженные страдания.

Учувяв плоть младенца, *людоед*
Унес меня, *кричащего* от стужи;
Я рос в плену, средь юных непосед —
Тех *черных шершней*, чьи рои — в Монруже.

Неужели и впрямь этот *людоед* (священник) такое чудовище, что унес маленького *кричащего* Эжезиппа в сво-

ем «священническом» — отвратительном, вонючем «облачении»! О, свирепый похититель младенцев! Слово «людоед» предполагает определенный вкус к сырому мясу — а иначе как бы он «учуял плоть»? Но из следующего стиха мы видим, что юного Эжезиппа не съели, поскольку он, напротив, «рос» (правда, «в плену»), как и остальные полтысячи его однокашников, которых людоед также не съел, а обучил латыни, что впоследствии позволит мученику Эжезиппу писать на родном языке несколько лучше тех, что не имели несчастья быть украденными «людоедом». Вы, разумеется, узнали трагическое «облачение священника» — старый хлам, украденный с вешалки Клода Фролло и де Ламенне. Здесь-то и проявляется проба романтизма — как его ощущал Эжезипп Моро; а теперь демократическая нотка: «черные шершни»! Хорошо ли вы прочувствовали всю глубину этих слов? Шершень противопоставлен пчеле — насекомому куда более интересному, потому что оно по природе своей трудолюбиво и полезно, — как юный Эжезипп, несчастная маленькая пчелка, запертая среди шершней. Вы видите, что, проявляя демократические чувства, он не более деликатен, чем в своих романтических выражениях, и что он понимает тему так, как ее понимают каменщики, почитающие священников за лентяев и никудышных людей.

Эти четыре неудачных строки очень четко выявляют нравственную ноту в поэзии Эжезиппа Моро. Романтический шаблон, склеенный, но отнюдь не сплавленный с драматическим шаблоном. Все у него лишь шаблоны, сваленные в одну кучу. Все это не составляет соединения, то есть единой целостности, но похоже на багажник в омнибусе. Виктор Гюго, Альфред де Мюссе, Барбье и Бартеlemi по очереди поставляют ему свою поклажу. У Буало он заимствует симметричную, сухую, жесткую, но блистательную форму. Он возвращает нам античную перифразу Делиля, старую бесполезную причудницу, что весьма нелепо выступает павой среди бесстыдных, грубых образов поэтической школы 1830 года. Время от времени он классически веселится и опьяняется согласно методу, свойственной Каво, или же нарезает лирические чувства куплетами в манере Беранже и Дезожье; почти так же хорошо, как им,

удаётся ему ода, разбитая по разделам. Возьмите, к примеру, «Две любви». Человек предается пошлой любви, хотя душа его еще полна любовью идеальной. Я браню не чувство, не сюжет: правда, он весьма обычен, но сама природа его глубока и поэтична. Но сюжет этот трактуется в какой-то нечеловеческой манере. Обе любви чередуются, словно Вергилиевы пастухи, с удручающей математической симметрией. В этом-то и заключается великая беда Моро. Какой бы сюжет, какой бы жанр он ни взял, он всегда остается чьим-нибудь учеником. Если он и прибавляет к заимствованной форме хоть что-нибудь оригинальное, так это дурной тон — если только столь вездесущее явление как дурной тон можно назвать оригинальным. Будучи вечным школьником, Моро в то же время педант — даже в область чувств, наиболее чуждых педантству, он ухитряется вносить невесть какие обычаи Сорбонны и Латинского квартала. Это не сладострастие эпикурейца, а скорее монастырская воспаленная чувственность, чувственность наставническая, чувственность тюремная и дортуарная. Его любовные забавы отличаются грубостью школьника, отпущенного на каникулы. *Общие места похотливой морали*, объедки прошлого века он вновь разогревает и подает со злодейским простодушием ребенка, мальчишки.

Ребенок! — вот где разгадка, именно из этого слова, во всех его значениях, извлеку я все, за что Моро можно похвалить. Иные, разумеется, даже разделяя мое мнение, найдут, что я в своем порицании слишком далеко зашел, слишком резко выразился. Ну что же, вполне возможно; но если и так, не вижу в этом ничего дурного и не признаю за собой вины. Действие и противодействие, снисходительность и строгость бывают необходимы в свой черед. Следует соблюдать равновесие. Это — закон, а закон всегда обоснован. Подумайте хорошенько, что речь идет о человеке, которого хотели провозгласить принцем поэтов — и это в стране, где родились Ронсар, Виктор Гюго, Теофиль Готье, — а теперь еще объявили подписку на сооружение памятника, как будто дело касается одного из людей, одаренных гением, чью память оставить в небрежении значило бы запятнать историю народа. Имеем ли мы дело с человеком непреклонной воли, как Бальзак и Сулье, с челове-

ком, пребывающим в вечной борьбе с превратностями, обремененным великими обязательствами, которые он приемлет со смирением среди непрестанной битвы с жиреющим чудовищем разрушения? Моро не любил боли, не считал ее благом и не постигал ее аристократической красоты. Впрочем, ее адские бездны остались ему неизвестны. Чтобы требовать от нас такого сочувствия, такой нежности, нужно, чтобы и сам поэт был сострадательен и нежен. Знал ли он пытки неутоленного сердечного влечения, болезненное забытие любящей, непонятой души? Нет. Он принадлежит к тем странникам, которым довольно слегка передохнуть, им вполне хватает хлеба, вина, сыру и *первой встречной*.

Но он был *ребенком*, всегда дерзким, часто нежным, порою очаровательным. Он обладал гибкостью и непосредственностью детства. В литературной, как впрочем, и в физической юности есть некая красота — от дьявола, ради которой прощаешь многие несовершенства. У Моро мы находим нечто худшее, чем несовершенства, но зато нас порою чарует в нем нечто лучшее, чем красота от дьявола.

Но, несмотря на множество подражаний, которых Моро не мог избежать, будучи ребенком и школьником, порою мы у него находим выражение блеснувшей истины — выражение нежданное, природный дар, его не спутаешь ни с чем. Моро поистине владеет благодатью, незаслуженным даром; он, столь нелепо нечестивый, придурковатый попугай бездельников-демократов, он должен был бы тысячекратно отозваться на эту благодать, поскольку он обязан ей всем — и своей славой, и тем, что за нее ему простятся все литературные грехи.

Когда мы открываем в этой кипе заимствований, в этом ворохе смутных, невольных плагиатов, в этой трескотне бюрократической или школярской мысли одно из тех нежданных чудес, о которых мы только что говорили, мы испытываем чувство, похожее на великое сожаление. Нет сомнений, что писатель, создавший в свой счастливый час «Вульзию» и песню «Ферма и фермерша», мог бы с полным основанием надеяться на лучшую участь. Поскольку Моро сумел без знаний, без труда, вопреки дурным знакомствам, без малейшего усилия вызвать к жизни часы, благоприятные для вдохновения, и порою так откровенно,

естественно, изящно проявлял свою оригинальность, то насколько чаще достигал бы он успеха, если бы подчинился порядку, закону упорного труда, если бы дал созреть своему таланту, воспитал и подгонял бы его — вот тогда бы он стал, всё говорит об этом, замечательным писателем. Но в таком случае он не был бы идолом бездельников и богом кабаков. А это, несомненно, такая *слава*, которую не заменит ничто — даже слава подлинная.



«СМЕШНЫЕ МУЧЕНИКИ»

Сочинение Леона Кладеля

Один мой друг, который в то же время является и моим издателем, попросил меня прочесть эту книгу, уверяя, что она доставит мне удовольствие. Я согласился с великой неохотой: меня предупредили, что автор молод, а нынешняя молодежь своими новоприобретенными пороками вызывает у меня недоверие, вполне оправданное уже и теми пороками, какие отличали ее во все времена. При общении с молодежью я испытываю такое же неприятное чувство, как при встрече с забытым однокашником по коллежу, ставшим биржевым маклером, которому прошедшие двадцать или тридцать лет отнюдь не мешают тыкать мне и похлопывать меня по животу.

Однако предвидение моего друга оказалось верным; ему понравилось нечто, что должно было воодушевить и меня; разумеется, ошибся я не в первый раз, но, думаю, впервые испытал от того, что ошибся, такое удовольствие.

В парижском *gentry* существуют четыре категории молодых людей. Первая — богатые, тупые, праздные, не почитающие иных богов, кроме распутства и чревоугодия, этих муз бесчестных стариков; она нас ни в коей мере не затрагивает. Вторая — тупые, озабоченные единственно деньгами, третьим божеством стариков; эта категория, цель которой сколотить состояние, нас тоже ничуть не интересует. Имеется и третий разряд молодых людей, которые *мечтают добиться народного счастья* и которые изучали теологию и политику по газете «Сьекль»; в основном это мелкие адвокаты, объединившиеся, как и великое множество других, чтобы рядиться в трибунов, обезьянничать с

Робеспьера и столь же напыщенно *разглагольствовать о высоких предметах*, но, вне всяких сомнений, уже не на таком правильном языке; поскольку грамматика, равно как и разум, вскоре будут окончательно забыты и, судя по той стремительности, с какой мы движемся во тьму, есть все основания надеяться, что к тысяча девятисотому году мы погрузимся в полнейший мрак.

Конец царствования Луи Филиппа уже подарил нам многочисленные образчики тупой эпикурейской молодежи и такой же тупой молодежи, играющей на бирже. Третья категория, шайка политиков, порождена надеждой узреть повторение *чудес* Февраля.

Что же до четвертой, то хоть я и наблюдал ее появление, но совершенно не представляю, как она возникла. Вне сомнений, из себя самой, самопроизвольно, как зарождаются бесконечно крохотные организмы в графине с гнилой водой, в огромном французском графине. Это литературная молодежь, молодежь *реалистическая*, которая, едва выйдя из детства, тотчас же предалась *реалистическому* искусству (новым явлениям нужны новые названия!). Определенней всего ее характеризует непримиримая, врожденная ненависть к музеям и библиотекам. Тем не менее она имеет своих классиков, в частности Анри Мюрже и Альфреда де Мюссе. Правда, им неведомо, с какой язвительной насмешкой Мюрже говорил о *богеме*; что же касается *второго*, то эти молодые люди пытаются подражать вовсе не его благородным манерам, а тем приступам фатовства, тем пренебрежительно демонстративным выходкам, когда он с сигарой в зубах вихляющей походкой комивояжера сбегал с обеда в посольстве, чтобы отправиться в игорный дом или в какой-нибудь салон предаваться там пустопорожней болтовне. Из своей всепоглощающей веры в гений и вдохновение эти молодые люди выводят для себя право не заниматься никакой гимнастикой. Они не ведают, что гений (если только возможно называть так неопределенный зачаток великого человека) вынужден, подобно ученику бродячего акробата, тысячекратно рисковать переломать себе в неизвестности кости, прежде чем выступит перед публикой; одним словом, им неведомо, что вдохновение — это награда за ежедневные упражнения. У моло-

дежи этой дурные нравы, дурацкие интрижки, и жизнь свою она кроит по шаблону, взятому из некоторых романов, в точности как девицы-содержанки вот уже лет двадцать стараются быть похожими на персонажей Гаварни, хотя тот, вполне возможно, никогда не бывал на танцульках в кабачках. Вот так же мыслитель лепит образ народа, а фантазер творит реальность. Знал я нескольких бедолаг, вдохновленных Феррагусом XXIII, которые вполне серьезно строили прожекты создания тайного союза, дабы поделить, как орда делит завоеванную империю, все функции и богатства современного общества.

Именно эту жалкую крохотную касту решил живописать г-н Леон Кладель, и читатель увидит, с какой язвительной энергией. Меня крайне заинтриговало название по причине своего антитезного построения, и постепенно, углубившись в нравы, описанные в книге, я оценил его многозначительный смысл. Я увидел дефилирующих передо мною *мучеников* глупости, фатовства, разврата, оседлавшей надежду лени, претенциозных интрижек, эгоистического благоразумия и т. д. и т. п.; они все *смешные*, но поистине *мученики*, потому что мучаются от любви к собственным порокам и с невероятным самозабвением приносят им себя в жертву. Тогда-то я понял, почему было предсказано, что это произведение мне понравится; я встретился с одной из тех сатирических книжек, книжек насмешливых, в которых комическое становится еще более очевидным, оттого что неизменно сопровождается высокопарностью, неотделимой от страстей.

Все это дурное общество с его низменными привычками, скандальными нравами, неизлечимыми иллюзиями уже было изображено живой кистью Мюрже, однако один и тот же сюжет, представленный на конкурс, может дать множество в равной степени замечательных полотен, но под разными названиями. Мюрже шутит, рассказывая о вещах, зачастую грустных. Г-н Кладель, у которого нет недостатка в забавном, равно как и в печальном, повествует с *артистической* торжественностью о прискорбно комических происшествиях. Мюрже скользит и быстро убегает от картин, продолжительное созерцание которых могло бы чересчур огорчить его чувствительную душу. Г-н Кладель неис-

тово настойчив, он не желает упустить ни одной подробности, не желает забыть ни единого признания; он раскрывает язву, чтобы наглядней ее продемонстрировать, снова закрывает, стискивает ее мертвенно-белые края, выдавливая бледную, желтоватую сукровицу. Он с любознательностью обследует грех, поворачивает, переворачивает, снисходительно изучает обстоятельства и демонстрирует в анализе болезни добросовестное рвение казуиста. Альпегьян, главный *мученик*, не щадит себя; легко переходящий от потакания собственным порокам к проклятиям им, он в этом постоянном шатании являет поучительный пример неисцелимого недуга, приглушенного периодическим раскаянием. Он сам себя исповедует, сам отпускает грехи и гордится епитимьями, которые налагает на себя в ожидании, когда благодаря новым глупостям опять обретет честь и право снова быть наказанным собой. Надеюсь, кое-кто из современников сможет не без удовольствия узнать себя в нем.

Несоответствие тона и сюжета, к чему останется нечувствителен разве только бесстрастный мудрец, является таким средством создания комического эффекта, что сила его просто бросается в глаза, и я, право, удивлен, что его не слишком часто применяют жанровые живописцы и сатирические писатели особенно там, где дело касается Амура, подлинной, но редко используемой кладовой смешного. Как бы ни был велик человек и как бы ничтожен не оказывался он в сравнении с бесконечным, пафос и выпренность ему позволительны и необходимы: Человечество подобно некоей колонии эфемерид с Гипаниса, о которых написаны прелестные сказки; даже муравьи и те для своих политических надобностей могут дуть в трубу Корнеля, соответственную их размерам. Что же до влюбленных насекомых, то не думаю, что риторические фигуры, к которым они прибегают, чтобы проворковать свои страстные излияния, окажутся такими уж убогими; ежевечерне во всех мансардах раздаются трагические тирады, которыми Комеди Франсез никогда не сможет воспользоваться. Психологическая проницательность г-на Кладеля весьма велика, это его сильная сторона; его кропотливое, резкое искусство, бурное и лихорадочное, впоследствии, вне всяких сомне-

ний, примет более строгую и холодную форму, которая куда ярче и обнаженной представит его нравственные качества. В некоторых случаях вследствие этой избыточности невозможно отличить достоинство от недостатка, что было бы прекрасно, будь амальгама полной, но, к сожалению, когда авторская проницательность с наслаждением трудится во всю мочь, чувствительность его, разъяренная тем, что ее отставили в сторону, внезапно неразумно взрывается. Так в одном из лучших мест книги автор выводит славного человека, офицера с умом и чувством чести, но постаревшего до срока из-за подтачивающих дух невзгод и поиска обманчивого утешения в вине, который позволяет компании завсегдатаев кабачка насмеяться над собой. Былое нравственное величие Пипаба читателю уже известно, и он будет страдать от унижения этого бывшего храбреца, который ломается, вылезает из кожи, раболепствует, декламирует, льстит своим юным истязателям ради того только, чтобы получить от них... подаяние в виде последней рюмки абсента. И тут вдруг автор громогласно выражает свое негодование устами одного из персонажей, каковой с места в карьер воздаст должное развлечениям молодых ничтожеств. Речь эта весьма выразительна и вдохновенна, но, к несчастью, голос автора, его простодушное возмущение недостаточно хорошо в ней укрыты. Поэт пока еще виден под маской, которую он надел. Высшее искусство заключалось бы в том, чтобы оставаться холодным и непроницаемым, предоставив право негодовать читателю. Это внушило бы ему куда большее отвращение. Официальная мораль оказалась тут в выигрыше, искусство же проиграло, а с подлинным искусством проиграла подлинная нравственность; самодовольная же мораль никогда нигде не проигрывает.

Персонажи г-на Кладеля не боятся никаких признаний, они выставляют себя напоказ в поучительной нагоде. Женщины — одна из них благодаря животной податливости, а быть может, и никчемности в глазах очарованного любовника предстает неким лжесфинксом; вторая, претенциозная модистка, подстегивает свое воображение жоржсандовской крапивой — благоговеют перед высшим обществом и обращаются друг к другу не иначе как «мадам» (!). Двое

любовников убивают вечер в «Варьете» на представлении «Жизни богемы»; возвратясь к себе в логово, они бранятся в стиле пьесы; более того, каждый из них, забыв про собственную индивидуальность, а верней, отождествляя себя с наиболее полюбившимся персонажем, не имеет ничего против того, что его называют именем этого персонажа; ни один из них даже не заметил произошедшего переряживания. Вот так Мюрже (несчастливая тень!) превратился в посредника подмены, в словарь языка *богема*, в «Полный письмовник влюбленных» *года Господня* 1861. Не думаю, что после такого примера можно будет оспорить мое утверждение об убийственной силе г-на Кладеля как карикатуриста. Еще пример: Альпеньян, первый в этой когорте *смешных мучеников* (необходимо все время возвращаться к названию), однажды, чтобы отвлечься от непереносимых огорчений, которые причиняют ему собственные дурные привычки, праздность и бесцельная мечтательность, вздумал предпринять самое странное паломничество, какое только возможно найти среди безумных религий, придуманных ленивыми и ни на что не способными отшельниками. Любовь, то есть разврат, разгул, вознесенный до ранга антирелигии, не принесла ему ожидаемой награды; Альпеньян жаждет славы и, бродя по кладбищам, молится перед памятниками опочивших великих; он целует их бюсты, умоляя открыть свою тайну, свою величайшую тайну: «Что сделать, чтобы стать столь же великими, как вы?» Окажись статуи благожелательными советчиками, они ответили бы ему: «Вернуться домой, размышлять и исписывать горы бумаги». Но такой простой способ недостижим для истерического мечтателя. Суеверие кажется ему куда естественней. Право же, это столь печально забавное изобретение заставляет вспомнить о новом календаре святых *позитивистской* школы.

Суеверие, сказал я. Оно играет огромную роль в одинокой внутренней трагедии бедняги Альпеньяна, и временами даже не без некоторой сладкой и мучительной расстроганности следишь за его истерзанным разумом, когда самое что ни на есть ребяческое суеверие, смутно символизирующее, как и в мозгу любой нации, универсальную истину, сплавляется с чистейшим религиозным чувством

и обращается к спасительным впечатлениям детства, Пречистой Деве Марии, придающему силы напеву колоколов, умиротворяющему сумраку церкви, к семье, к матери — к матери, этому прибежищу, всегда открытому для блудных сыновей, расточителей и неудачливых честолюбцев. Можно надеяться, что с этого момента Альпеньян наполовину спасен, ему остается лишь постепенно становиться человеком действия, человеком долга.

Многие верят, что сатиру творят со слезами, слезами искрометными и обращающимися в кристаллы. Если это так, да будут благословенны чудесные и редкостные слезы, дарующие возможность посмеяться, сверкание которых, кстати, свидетельствует о прекрасном здоровье автора.

Что же до морали книги, то она столь же естественно очевидна, как очевиден жар, исходящий от некоторых химических смесей. Дозволительно спаивать илотов, дабы исцелять от пьянства дворян.

Ну, а что до успеха, то в этом вопросе заранее предсказать ничего нельзя; скажу только, что желаю, чтобы он был, потому что тогда, быть может, автор получит от него новое побуждение творить; однако успех этот, который между прочим очень легко спутать с мимолетной модой, ни в чем не уменьшит то доброе, что эта книга позволила мне угадать в душе и таланте, совместно произведших ее на свет.



РЕФОРМА В АКАДЕМИИ

Большая статья г-на Сент-Бева о *будущих выборах в Академию* стала настоящим событием. Для непосвященного было бы безумно интересно с помощью нового *хромого беса* присутствовать на заседании Академии в четверг, после которого и последовала публикация этого прелюбопытного манифеста. Г-н Сент-Бев навлекает на себя злобу той политической партии, доктринерской, орлеанистской и нынче религиозной из духа оппозиционности — скажем проще, лицемерной, — которая жаждет заполнить Институт своими излюбленными креатурами и превратить святилище муз в парламент недовольных, «государственных мужей не у дел», как презрительно называет их другой академик, который хоть и происходит из весьма хорошего рода, является, если говорить фигурально, сыном собственных произведений. Могущество интриганов имеет давнее происхождение; несколько лет назад Шарль Нодье, обращаясь к тому, кого я имею в виду, умолял его выставить свою кандидатуру в Академию, предоставить авторитет своего имени друзьям, дабы расстроить заговор доктринерской партии, «этих политиканов, что намерены бесстыдно похитить кресло, которое по праву должно принадлежать какому-нибудь бедному литератору».

Г-н Сент-Бев, который на всем протяжении своей мужественной статьи не особенно скрывает раздражение старого писателя принцами, вельможами и политиканами, тем не менее лишь в самом конце дает выход всей накопившейся желчи:

«Угроза никогда уже больше не выйти из того же самого оттенка, а вскоре *из того же самого семейства* и, если проживешь еще лет двадцать, увидеть, как исполняются слова г-на Дюпена: «Через два десятка лет вы опять услышите в Академии доктринерскую вступительную речь», — притом когда все вокруг меняется, мне крайне не по нраву, и *не только мне*, многие мои собратья такого же мнения; *от этого задыхаешься, а если так будет продолжаться долго, то и задохнешься.*

Вот почему я поведал всем о некоторых вещах, которые предпочел бы, будь у меня такая возможность, обсудить в узком кругу. Я дал публичный отчет».

И еще: «Некто, забавляющийся тем, что подсчитывает на пальцах происшествия подобного рода, заметил, что уступи г-н Дюфор мягкому нажиму, который хотели оказать на него, он стал бы семнадцатым министром Луи Филиппа в Институте и девятым в Академии».

Вся статья — истинный шедевр, исполненный мягкого юмора, веселости, мудрости, здравого смысла и иронии. Имеющие честь близко знать автора «Жозефа Делорма» и «Сладострастия» привыкли ценить в нем дарование, которым не может насладиться публика, а именно умение вести беседу; по прихотливому, зажигательному, утонченному, но всегда обоснованному красноречию он не сравним ни с одним из прославленных рассказчиков. Ну что ж, в статье мы находим знакомую нам красноречивость. В ней есть все — и насмешливая оценка мнимознаменитостей, и убежденный и убедительный тон писателя, желающего поднять достоинство сообщества, к которому он принадлежит. Есть все, даже *утопия*. Чтобы лишить выборы *неопределенности, которая, вполне естественно, так дорога вельможам*, г-н Сент-Бев хочет, чтобы Французская академия подобно другим академиям была разделена на секции, соответствующие различным видам литературы — языка, театра, поэзии, истории, ораторского искусства, романа (жанра весьма современного и многообразного, которому Академия до сих пор уделяет так мало места) и т. п. Таким образом, пишет он, появится возможность дискутировать, оценивать достоинства и убедить публику в закономерности выбора.

Увы, в этой весьма дельной утопии г-на Сент-Бева имеется один большой провал, а именно пресловутая секция сторонников *неопределенности*; потому есть изрядные основания опасаться, что неосуществимая эта реформа будет навеки предана забвению.

Поэт и журналист в своей оценке некоторых кандидатов приводит попутно весьма забавные подробности. К примеру, мы узнаем, что г-н Кювье-Флэри, «критик изобретательный в поте лица своего, желает смотреть на все, даже на литературу, через слуховое окошко орлеанизма; бояться, что он совершит неловкость, не стоит, так как делает он их с легкостью» и, говоря о своих заслугах, никогда не упустит заметить: «Лучшее мое творение в Англии». Фу, до чего же это пахнет передней и педагогикой! Желая польстить г-ну Тьеру, он как-то назвал его «красноречивый Марко-Сент-Илер». Дивная медвежья услуга! «Выставляя свою кандидатуру, он очень рассчитывает на коллег по «Журналь де Деба», являющихся членами Академии, и множество прочих политических друзей. «Деба», Англия и Франция — это немало. У него есть шансы».

Благосклонность либо снисходительность г-н Сент-Бев выказывает только к людям пера. Так, мимоходом он отдает справедливость Леону Гозлану. «Он один из тех, кто более всего выиграл бы при дискуссии и обсуждении достоинств; *пока что он еще недостаточно известен членам Академии*». Автор приглашает г-на Александра Дюма-сына выставить свою кандидатуру. Можно догадаться, что эта новая кандидатура избавила бы его совесть от больших затруднений. Подобное же предложение касательно освободившегося кресла Лакордера адресовано г-ну Жюлю Фавру. Следует признать, что немногие честные люди, к какой бы партии они ни принадлежали, согласятся, что г-н Жюль Фавр — великий оратор нашего времени и *единственный, чьи речи можно читать с удовольствием*. Г-на Шарля Бодлера, чье неведомое варварское имя академикам придется разбирать по складам, он, скорее, пощекотал, чем поцарапал. «Г-н Бодлер изыскал способ построить себе на оконечности узкой полоски земли, почитавшейся необитаемой и находящейся за пределами изведенного романтического мира, странную беседку, богато изукрашенную,

крайне вычурную, но приятную и таинственную... Эта ни на что не похожая беседка вся в инкрустациях, отличающаяся сообразной и усложненной оригинальностью, уже некоторое время притягивает взоры к крайней точке романтической Камчатки; я называю ее *бодлеровским сумасбродством*. Автор доволен тем, что сумел совершить нечто невозможное». Можно сказать, что г-н Сент-Бев решил отомстить за г-на Бодлера людям, которые изображают его в виде эдакого косматого, пользующегося дурной славой оборотня, так как чуть ниже по-отечески и запросто рекомендует его как «славного малого, тонко чувствующего язык и совершенно классического по форме».

Одиссея невезучего г-на де Карне, вечного кандидата, «который бродит между выборами, как тень», — отрывок, исполненный высокой и сочной иронии.

Но где буффонада достигает мастерского размаха, так это в связи с самой потешной и немыслимой кандидатурой, какая когда-либо была придумана на памяти Академии. «Светило уж взошло, пора, сокройтесь, звезды!»

Но что же это за кандидат, блистательная слава которого заставила поблекнуть всех остальных, подобно тому как перед лицом Хлои, еще даже не успевшей умыться, меркнет все великолепие зари? Ах, придется сказать, иначе вы ни за что не догадаетесь: это г-н принц де Брольи, сын г-на герцога де Брольи, члена Академии. Генерал Филипп де Сегюр мог занимать академическое кресло рядом с отцом, старым графом де Сегюром, но генерал был вскормлен на Таците и написал «Историю Великой армии», превосходную книгу. Что же до его светлости принца, то он попросту багрянородный. «Он тоже соблаговолил родиться... И с чистой совестью будет пребывать в убеждении, что именно ему положено произнести похвальное слово отцу Лакордеру, к чему самоотверженно готовится».

Некто, года двадцать два-двадцать три тому назад знавший этого упадочного простеца, заверял нас, что в школе тот достиг такой стремительности пера, что способен был записать слово в слово и затем представить учителю полностью и точно зафиксированную лекцию со всеми повторами и неизбежными оговорками. И если учитель нечаянно допускал какую-то ошибку, то обнаруживал ее старатель-

но воспроизведенную в рукописи. Каково почтение! И какова сноровка!

А что же подделывал с тех пор этот кандидат? Да то же самое. Став взрослым, он повторяет урок своих нынешних наставников. Совершеннейший попугай, какого не сумел бы воссоздать и сам Вокансон.

Статья г-на Сент-Бева должна была возбудить тревогу в прессе. Действительно, не замедлили появиться новые статьи на эту тему, одна принадлежащая г-ну Нефтзеру, другая — г-ну Тексье. Заключение автора последней таково: все хоть чего-то стоящие писатели должны забыть про Академию и дать ей тихо скончаться в полном забвении. *Finis Poloniae*. Но такие люди как г.г. Мериме, Сент-Бев, де Виньи, желающие возвысить достоинство сообщества, к которому принадлежат, отнюдь не одобряют столь отчаянного решения.



ДУХ И СТИЛЬ ГОСПОДИНА ВИЛЬМЕНА

Ventosa isthoco et enormis loquacitas.

Слова, слова, слова!

Литература приведет ко всему, если только
вовремя ее бросить. (Слова отступника)

Вступление

Мне захотелось пострадать. — Захотелось почитать Вильмена. — Два типа писателей, самоотверженные и отступники. — Портрет истинного критика. — Метафизика. — Воображение.

Вильмен пишет лишь на избитые темы, известные всем и каждому, и мы не собираемся пересказывать то, что он именует своими творениями. Возьмем попросту самые близкие и дорогие нам темы и посмотрим, освежил ли он их, ну, пусть не духом философии, но хотя бы новизной красочных выражений.

Заключение

Вильмен — автор столь же неизвестный, сколь и признанный. Каждый писатель приносит с собой нечто совершенно особое: Шатобриан — то, Бальзак — это, Байрон — такое, Гюго — этакое; Вильмен же приносит суетливое и озлобленное пустословие, в точности как Терсит. Его фраза набита пустословием; ему неведомо искусство построения фразы, равно как и искусство выстраивания книги. Туманность, являющаяся следствием многословия и расплывчатости.

Если бы он был скромен... но поскольку он угрожает...
Привести анекдот.

Умственные обыкновения

«Потом их пародировали» (народные волнения) — (стр. 477, «Трибуна»).

Итак, революция 1830 г. была хороша, а Февральская плоха (!).

Прочитывать слова Сент-Бева, глубокого в своем скептицизме. С легкостью, достойной темы, он, говоря про 1848 г., пишет: «...»

Из чего следует, что все революции стоят друг друга и служат лишь тому, чтобы показать неизменное легкомыслие человечества.

У Вильмена постоянные намеки на государственного мужа не у дел.

Нет никаких сомнений, что в столь ревностного христианина он превратился после того, как утратил возможность быть министром.

Он вечно хочет показать, что ему всецело и полностью известны истории всех высокопоставленных семейств. Пересуды, сплетни, высокопарность лакеев, рассказывающих о своих бывших господах и порой их выдающих. Гнусная привычка подслушивать под дверью.

Он прямо-таки с умилением говорит о «великолепных должностях».

Склонность к низкопоклонству, доходящая до неумеренного использования заглавных букв: Государство, Министр и т. п.

Вся семья высокопоставленного сановника свята, и нет случая, чтобы его жена, сын, зять были упомянуты без какого-нибудь благожелательного высказывания, которое служит одновременно и для того, чтобы засвидетельствовать преклонение автора перед ними, и для округления фразы.

Вот уж поистине поведение владельца пансиона, боящегося рассердить родителей.

Контраст, скорей кажущийся, нежели действительный, между Вильменом, высокомерным в жизни, и Вильменом-историком, который весьма смахивает на столоначальника, стоящего перед его превосходительством.

Цитирующий автомат, который учился ради удовольствия цитировать, но не понимает, что талдычит.

Глубинная причина ненависти Вильмена к Шатобриану: великий вельможа слишком велик, чтобы быть циником. (Статьи ничтожного де Брольи.) Ненависть ограниченности всегда безгранична.

Пиндар

(«Очерки о гении Пиндара и лирическом гении»)

Опять ящички, шкафчики, картонки, распределение премий, гербарий, коллекция школьника, который, воображая себя натуралистом, собирает раковины устриц. И ни слова, абсолютно ни слова об *анонимной лирической поэзии*, — это в очерке о лирической поэзии!

Он подумал о Лонгфелло, но пренебрег Байроном, Барбье и Теннисоном, несомненно потому, что учитель внушил ему любовь только к одному поэту.

«Пиндар» — словарь, компендиум, но не лирического духа, а лирических авторов, известных ему, Вильмену.

Вильмен-историк

Нарбонн, Шатобриан — поводы рассказать историю недавнего времени, то есть потешить собственную злопамятность. Метод, в сущности, мелкий, метод ничтожества, пытающегося быть оригинальным.

Речи в манере Тита Ливия. Наполеон в Кремле становится столь же болтлив и претенциозен, как сам Вильмен.

Вильмен ищет утешения за то, что не сочинял трагедий. Метода трагедии. Бесконечные монологи вместо беседы. Диалоги в тирадах, и неизменно — *наперсники*. Сам он — наперсник Деказа и Нарбонна, точно так же, как Нарбонн — наперсник Наполеона.

(Смотри знаменитый тридцатистраничный анекдот насчет террасы в Сен-Жермене. Анекдот про генерала Фуа в Сорбонне и у Вильмена. Вырванные удачные фразы. Вильмен выкладывает ему *его же версии*.)

Беглый анализ творений Вильмена

«Курс литературы». — Банальный компендиум, достойный учителя риторики. Умилительны примечания стенографа: «Рукоплескания. Возбуждение. Вновь рукоплескания. Смех в аудитории». Его манера судить Жозефа де Местра и Ксавье де Местра. Услужливый профессор, вместо того чтобы отдать должное философии Жозефа де Местра, за-

игрывает с пошлой молодежью Латинского квартала. (Тем не менее устная речь принуждает его к почти что простому стилю.)

«Ласкарис», «Кромвель». — Будем великодушны, не станем цитировать и пойдем дальше.

«Современные воспоминания. Сто дней. Господин де Нарбонн». — У Вильмена отвратительная мания: он всю старается показать, что знал важных людей.

Что сказать об «Избранных этюдах»? Нудная раздача премий и доклады в стиле префектуры на конкурсах Французской академии.

Чего стоит его «Лукан».

«Современная трибуна»: при невыносимой фразеологии это просто-напросто пересказ «Замогильных записок», приправленный злобным и посредственным комментарием.

Его ненависть к Шатобриану

Мы имеем тут дело со здравомыслием педагога, не способного оценить высокородного дворянина эпохи упадка, который хочет вернуться к первобытной жизни.

Говоря о начале службы Шатобриана в полку, Вильмен упрекает его за склонность к шегольству. Упрекает за инцест как за источник таланта. Да какое мне дело до источника, если я наслаждаюсь талантом!

Далее он упрекает Шатобриана в смерти сестры Люсилли. Все время упрекает за отсутствие чувствительности. Но у Шатобриана иная форма чувствительности, чем у какого-то Вильмена. Да и какая может быть чувствительность у неперменного секретаря?

(Отыскать знаменитую нападку по поводу смерти г-жи де Бомон.)

Сидящий сиднем на одном месте школьный учитель почитает странным, что путешественник одевается, как дикарь или «лесной бродяга». Вильмен укоряет Шатобриана за его соперничество в славе с Наполеоном. Но разве не такова же была одна из страстей Бальзака? Наполеон есть имя существительное, означающее власть, господство ради господства; кое-кто вполне может предпочесть власти Наполеона власть Шатобриана.

(Еще раз просмотреть пассаж об обновлении литературы. Большое отступление, не содержащее ничего нового и никак не связанное с тем, что следует после него.)

Вновь просмотреть «Смерть герцога Беррийского» как образчик отвратительного повествования, поистине витиеватой болтовни.

Просмотреть знаменитую цитату насчет педантизма, которая вогнала его в такое скверное настроение.)

О его тоне, когда он пишет о Шатобриане

Вильменам никогда не понять, что Шатобрианы имеют право на привилегии и снисхождения, о каких и не мечтать всем Вильменам вселенной.

Вильмен особенно критикует Шатобриана за его недуманные поступки и непокорное поведение; критика, достойная ничтожества, которое в литературе видит лишь средство выбиться в люди. (Смотри эпиграф.)

Дух чиновника и бюрократа, мораль прислуги.

Чтобы похлопать по животу колосса, надо до него дотянуться.

Вильмен, уродливая мандрагора, кусающая гробницу.

Неизменно крикливый, бездумно суетящийся, вечно недовольный, вечный доносчик, он вполне заслужил прозвище *литературного Терсита*.

«Замогильные записки» и «Современная трибуна», если читать их одновременно, сравнивая страницу за страницей, создают гармонию, одновременно грандиозную и потешную. За голосом Шатобриана, подобным голосу могучих вод, все время слышится приглушенное бурчание завистливого и бессильного педанта.

Глупцам присуща неспособность преклоняться и отсутствие почтения к достоинству, особенно, когда оно бедно. (Анекдот номер 30.)

Вильмен настолько лишен способности к преклонению, что, будучи на тысячу футов ниже Лагарпа, называет г-на Жубера «скорее самым изобретательным из любителей, нежели подлинным художником».

Ежели угодно еще подтверждений верности ума Вильмена и его добросовестности при анализе книг, расскажу *анекдот о тибетском дереве*.

Особенности стиля и способ мышления

Вильмен темен. Почему? Потому что он не мыслит.

Прирожденное отвращение к ясности, зримым знаком чего является пристрастие к иносказательному стилю.

Фраза Вильмена, как у всех краснобаев, не имеющих мыслей (или краснобаев, напротив, заинтересованных в том, чтобы скрыть свои мысли, — адвокатов, биржевых маклеров, деловых и светских людей), начинается с одного, перескакивает с пятого на десятое и завершается чем-то, что не имеет никакой связи с предшествующими частями, как, впрочем, и они между собой. Отсюда туманность. Закон сумбура.

Фраза его строится нагромождением, как город, являющийся результатом многовекового развития, но всякая фраза должна быть в себе хорошо согласованным монументом; совокупность же всех этих документов образует город, который есть Книга.

(Поискать с красным карандашом примеры в оставшихся мне пяти томах.)

Неизменно туманная фразеология; слова капают, капают с этого дождеобильного пера, как слюна с губ болтливого слабоумного; фразеология тинистая, хлюпающая, безысходная, беспросветная, словно утрямая трясины, в которую погружается нетерпеливый читатель.

Стиль чиновника, формулировки префекта, витиеватость мэра, округлость хозяина пансиона.

Все его творчество — раздача премий.

Разделение духовного мира и одухотворенных талантов по категориям, которые могут быть лишь произвольными, потому что он не обладает философским умом.

Образчики академического и неточного стиля

Относительно братьев Шень: «Клянусь в том сердцем их матери».

В «Современной трибуне»

Стр. 158: «В садах Альгамбры». Стр. 154: «Посол вручил ему...»

Поистине, это Делиль в прозе. Как все старцы, он любит нарядную форму.

(В рассказе о смерти герцога Беррийского найти умерительную фразу о двух его побочных дочерях.)

«Обе опалы во время Империи отозвались самым пламенным протестом в сердце женщины, которая будучи наиболее слабой, чувствует себя наиболее угнетенной».

Касательно Люсьена, не нашедшего в отгисках «Гения христианства» того, что он там искал, то есть главы «Короли-атеисты», Вильмен пишет: *«Остальное его мало заботит...»*

«Ланды, предваряющие саванны...» Несомненно, это на счет Рене, который пока еще не стал путешественником.

«Вялые неги волшебного климата».

«Я погрузил в борозды своей юной памяти...»

«В моей памяти молодого человека, гибкой и красочной, как пластинка дагерротипа под лучами дня...» («Сто дней»)

(Если память гибкая, пластинка таковой не является, а красочной пластинка может стать только после воздействия лучей.)

«Осмотрительная осторожность...» (Прелестное прилагательное. И примеров таких тьма. А почему не осторожная осмотрительность?)

«Среди салонов изысканного особняка в предместье Сент-Оноре...»

«Ла Бедуайер, юный и несчастный полковник...» (Стиль театра Мадам)

«Один из людей высочайшей порядочности Империи граф де Мольен...» (Очаровательная вычурность. *Человек порядочности* — это что, определение или дополнение?)

«Наполеон, прискакавший галопом в стремительной коляске...» (Стиль автомата, стиль Вокансона.)

Пример академической легкости. — Стр. 304 «Курса французской литературы» (1830). Говоря про XV век, он пишет: *«...с наивностью той эпохи...»*, а на стр. 307 объяв-

ляет: «Вспомним нравы средних веков, эпохи скорее развращенной, чем невинной...»

Пример академического стиля, состоящего в том, чтобы говорить затрудненно о простых и незатруднительных для выражения вещах: «Бомарше, предваряемый (*экая любовь к предварению!*) коварным блеском скандала, лишённого всемогущества крупных политических скандалов... Бомарше, автор «Фигаро» и в то же время по некоей своеобразности его жизни принятый с *непринужденной доверительностью* в узком музыкальном кружке *благочестивых дочерей* Людовика XV...» («Господин де Нарбонн»)

(*Благочестивые* здесь для того, чтобы доказать, что Вильмен знает историю; все же остальное означает, что Бомарше, до того как прославился своими комедиями и мемуарами, давал королевским дочерям уроки игры на клавесине.)

И все время прямо-таки германский ливень заглавных букв, достойный мелкого чиновника какого-нибудь великого герцогства.

А вот опять добрый академический стиль: «Иногда так же под *ученой охраной* г-на фон Гумбольдта (*что несомненно означает, что г-н фон Гумбольдт был многоученым телохранителем*) она (г-жа де Дюрас) устремлялась, *оставив роялизм* (*выходит, ее роялизм не устремлялся вместе с ней*) в Обсерваторию, чтобы послушать блистательные высказывания и поразительные астрономические лекции г-на Араго...» («Г-н де Фелез»)

(Фраза эта доказывает, что существует республиканская астрономия, к которой не устремлялся роялизм г-жи де Дюрас.)

Образчики иносказательного стиля

«Частенько десятью годами позже, в эпоху Мира и политической Свободы (*чрезвычайно конституционные заглавные*) в этом особняке в предместье Сент-Оноре, *элегантной обители*, ныне исчезнувшей во имя справедливого искупления зловещего семейного воспоминания, я слушал генерала Себастиани...» («Господин де Нарбонн»)

(Прелестное иносказание насчет убийства надоевшей супруги распутным пэром Франции, демонстрирующее вильменовскую тарабарщину.)

«Живописания красноречивого свидетеля еще не сделали общедоступными воспоминания о том великом времени». («Ней в России, в связи с процессом над ним».) Почему бы попросту не сказать: «Книга г-на де Сегюра еще не вышла»?

«Монаршая сирота 93 года...» Имеется в виду герцогиня Ангулемская.

«Тонкое и деликатное перо...» Угадайте. Это герцог де Ноай; о том нам сообщают в примечании, что, впрочем, необходимо.

«Блистательное сообщество...» В примечании: «Французская академия».

Но если он заговорит о себе, будьте уверены, говорить он будет в иносказательном стиле; он просто не способен не пустить в глаза хотя бы чуточку витиеватости. (*Смотри фразу, в которой он дает понять о своей прикосновенности к делу Деказа.*) — (*Смотри фразу насчет Виктора Гюго в связи с островом Джерси, написанную в иносказательном академическом стиле, вся тонкость которого состоит в том, чтобы доставить читателю удовольствие разгадать совершенно очевидное.*)

Дополнение к заключению

Он неосознанно и в то же время высокопарно комичен, как животные — обезьяны, собаки, попугаи. Он схож с ними со всеми.

Вильмен, христианин, с тех пор как больше не имеет возможности стать министром, никогда не возвысится до милосердия (Любовь, Преклонение).

Чтение Вильмена — Сахара скуки с оазисами ненависти, каковые суть извержения его гнусной натуры!

Вильмен, министр народного просвещения, великолепно сумел доказать свою ненависть к литературе и литераторам.

Отрывок из «Живописной биографии Сорока, написанной привратником Заведения»:

«Кто сей вурдалак с растрепанными волосами, неуверенной походкой, небрежно одетый? То последний из наших по алфавиту, но не по степени заслуг, то г-н Вильмен. В своей «Истории Кромвеля» он подавал более чем надежды. Его роман «Ласкарис» не оправдал ни одной. В нашем профессоре живут два человека: писатель и пенсионер правительства. Когда один говорит: «Идем!» — второй кричит: «Погодим!»; когда у первого рождается благородная мысль, второй позволяет ей примкнуть к братству благонамеренной литературы. Где остановится эта пагубная снисходительность? Отсюда ведь так близко до Коллеж де Франс в Монруже! Ведь так трудно обойтись без должности, особенно когда давно уже исполняешь одну... и потом, г-н аббат, г-жа маркиза, его превосходительство, трюфели, шампанское, ордена, приемы, молебны, голосования... Вот так все и идет».

Увы, вот так все и идет.

Старая эпиграмма

Руки чьи подлее были?
Чьи? Вильмена? Мартенвиля?
Чьих рук подлость неизменна?
Мартенвиля иль Вильмена?

Цитаты относительно Лукана

«...Гений его, который роковая смерть остановила так скоро, не успел проявить свое величие и был лишен естественности и подлинности, поскольку вкус к простоте редко присущ молодости, а естественность в искусстве почти всегда есть плод опыта и зрелости.

Многие заговорщики были схвачены, подвергнуты пыткам и выдали своих сообщников. Одна лишь куртизанка Эпихарис не была сломлена мучениями, показав, что при всей слабости, свойственной ее полу, и постыдности ее жизни возвышенное чувство, ужас перед злодеянием могут придать силы и нравственного достоинства.

Основание его славы, опыт и вместе с тем триумф его гения — «Фарсалия», произведение, высокие красоты которого не могут перекрыть изъянов. Стаций, который, как мы уже упоминали, прославил юную и блистательную музу Лукана и его преждевременную гибель, не поколебался поставить «Фарсалию» выше «Метаморфоз» Овидия и чуть ли не рядом с Вергилием. Квинтилиан, судья более просвещенный, признавая у Лукана дерзкий и возвышенный гений, поместил его в разряд скорей ораторов, нежели поэтов; на подобную характеристику его подвигло количество и блистательность речей, рассеянных в повествовании Лукана, в которых еще более усиливаются недостатки, сопутствующие его манере...

Французские писатели оценивали его по-разному. Корнель его любил почти что восторженно. Буало ценил его мало и ставил ему в вину как и его собственные недостатки, так и недостатки его высокопарного переложителя Бребефа.

Невзирая на гиперболы и суждения Мармонтеля, «Фарсалия» не может быть помещена в ряд лучших творений эпической музыки. Приговор веков окончателен».

Академические доклады

В академических докладах весьма забавно (нелепое слово применительно к Вильмену) поразительное соответствие слюнявого, слащавого стиля и фамилий награжденных соотязателей, а равно и выбор тем. Мы обнаруживаем «Алжир, или Завоевывающая цивилизация», «Колония Меттре», «Открытие пара», предложенные Академией лирические темы и темы исключительно волнующего характера.

Находим мы там и фразу такого вот рода: «Книга эта является благим творением для душ», — насчет романа, сочиненного протестантским проповедником. Фу!

Среди увенчанных мы обнаруживаем и фамилию бедняги г-на Каро, который, надеюсь, никогда не возьмет эпитафией к своим академическим композициям «*Et verbum caro factum est*», поскольку, на мой взгляд, он и слово находятся в изрядном раздоре.

Мы наталкиваемся и на фразы наподобие этой, прекрасно выявляющей одно из болезненных пристрастий г-на Вильмена, которое заключается в соединении несоединимых слов; если же он не творит плеоназмов, то устраивает дисгармонию: «Подобная преизобильность блеска (в промышленности и ремеслах) никогда не может быть применима в строгой и трудной сфере словесности».

Цитаты

«Когда упрямый и слабый король, преступное и смятенное Министерство не смогли ни справиться с этой многочисленной и воодушевленной силой, ни вовремя уступить ей, когда неудачливый в войне и политике Маршал, пагубный и своим отступничеством, и своим содействием, не сумел ничего спасти от катастрофы, даже имея столь преданную и храбрую гвардию, но заранее ослабленную отделением линейного полка, для всех это были весьма поучительные картины. Потом их пародировали. Неотразимый мятеж, взметнувшийся прилив подонков огромного города все сметал на своем пути, подобно тому, как восемнадцатью годами ранее совершил то же самое народ, уязвленный в своих правах. Но первый пример являл особый характер, в нем было величие. Тогда чувство собственного достоинства поднялось против предательства Власти» («Современная трибуна», стр. 477).

«Много лет спустя он все еще живописал ту весну в дикой и цветущей Бретани, прелесть которой нельзя ни забыть, ни подделать. Нет сомнений, что с тех пор к природным энергическим инстинктам, к свободе и суровости раннего детства, к строгим и нежным чувствам в семье, к нахмуренным отцовским бровям и взрывам материнских ласк, к улыбкам намного младшей сестры у этого ребенка не прекращали примешиваться живые образы природы, шелест лесов, а также журчание потоков, пустынный, пестрый, тысячецветный горизонт бретонских ланд, предваряющих саванны Америки» («Современная трибуна», стр. 9).

«Но следует ли признать за этими опытами, в чем-то умелыми и прихотливыми, то достоинство, какое обеспечивает триумф знаменитого писателя, дабы возвыситься даже над столь дорогой ему собственной славой и всецело отъединиться от тех, кого он зачеркивает? «Все это, — пишет он, — в том числе род полученного мною воспитания, жизнь солдата и путешественника, привело к тому, что я не чувствовал себя педантом, никогда не имел туповатого или самодовольного вида, мне не были свойственны неуклюжесть и нечистоплотные привычки писателей давнего времени и в еще меньшей степени высокомерие, самонадеянность, завистливость и хвастливое тщеславие новейших авторов».

«Так пренебрежительно трактовать всех означает много брать на себя» («Современная трибуна», стр. 11).

«Одна глава «Записок», не менее выразительная и не менее подлинная, чем лучшие страницы романа «Рене», запечатлела для грядущего внутренний мир семьи, немного схожий с подземными сводами старинного, мрачного и ледяного замка, где в одиночестве и бездействии неведомо для себя созревала душа поэта между матерью, по причине набожности не щедрой на ласку, утомленной супружеским ярмом, хотя набожность и не приносила ей облегчения, слишком нежной или слишком любящей сестрой, чьей судьбой, по всей видимости, было не найти ни рассеяния в свете, ни покоя в уединении, и, наконец, отцом, чья суровость, тираническая надменность и холодное молчание с годами только усугублялись» («Современная трибуна», стр. 14).

«Сам он в своих «Записках» изобразил несколькими штрихами со стремительной и достойной краткостью то, что в этой картине было самого трогательного и самого утонченного. На сей раз его сдержанность была как бы искуплением того, что его талант художника позволил смутно провидеть в оригинальном произведении «Рене». Причина была не только в зложелательности современников, но в гордости художника, который допустил этот

оскверняющий намек. Из-за фатальности имени Рене, принадлежащего как автору, так и его герою, из-за воспоминаний о блеске глаз, о том, с какой пламенностью и волнением сестра восхищенно смотрела на брата, долго еще нескромная молва твердила, будто первый *литературный шедевр* г-на де Шатобриана является признанием в пагубной первой любви.

Преклонение перед талантом, уважение к нравственности предпочитают читать другое всецело безукоризненное повествование о чувстве юного поэта» («Современная трибуна», стр. 15).

«Двадцатью пятью годами позднее он (г-н де Помрель), по-прежнему философичный, был поставлен во главе императорского цензурного комитета по книгам; известно, под какой мелочной и жесткой тиранией» («Современная трибуна», стр. 24).

Приди спозаранку, сделаешь за меня.

«Среди *литературного или партийного общества*, не слишком ценившего «Обет отшельника» и чистосердечную филантропию автора, г-н де Шатобриан глубже изучает Бернардена де Сен-Пьера, которого отнюдь не хвалит, и, быть может, в своей борьбе с сим редкостным образцом ему не удалось избежать опасности утрирования того, чему он подражает, и чрезмерного расточения заимствованных красок» («Современная трибуна», стр. 24).

«Я шел от дерева к дереву, а он рассказывал мне: «Здесь нет ни дорог, ни городов, ни монархий, ни королей, ни людей, и я, дабы проверить, утвердился ли в своих прирожденных правах, обратился к деяниям воли, что раздражало моего проводника, который в глубине души считал меня сумасшедшим». Не знаю, но боюсь, что это столь живое чувство прирожденных прав и эти безымянные деяния воли не более чем реминисценции антиобщественных мечтаний Руссо и некоторых страниц «Эмиля». Великий писатель пока что оставался лишь копиистом» («Современная трибуна», стр. 53).

«Сперва он побывал на острове Гернси, потом на Джерси, этом древнем убежище, к которому в наши дни вынужден был причалить другой изгнанник, обладатель драгоценного и могучего поэтического духа, которым он, быть может, чрезмерно злоупотребил, вызывая в своих стихах к угнетающей власти, что подавляла его» («Современная трибуна», стр. 62).

«В январе 1791 г., спустя год после волнений в Париже во время Конституанты, г-н де Шатобриан принял решение и, собрав денег, отправился в дальнейшее путешествие. Столь упорное намерение свидетельствовало, вне всяких сомнений, о силе воли молодого человека, благодаря чему раскрылся его талант; однако, быть может, мы обнаружим больше тщеславия, нежели искренности в воспоминании, которое он сохранил от этого первого своего предприятия и которое через сорок лет истолковал следующем образом: «Я был тогда, — пишет он в своих «Записках», обращаясь к 1791 г., — как и Бонапарт, ничтожным, никому не ведомым младшим лейтенантом. Из безвестности мы вырвались одновременно; я, добывая себе известность в одиночестве, он — славу среди людей.

Правдиво ли это противоположение? Не слишком ли амбициозна подобная параллель? И в одиночестве вы ищете славу среди людей. Единственно, каков бы ни был блеск литературного таланта, такое противопоставление двух имен, принадлежащих одному столетию, такое соизмерение в славе несколько удивит грядущие века. Тит Ливий не пытался соперничать с великими полководцами своей «Истории» («Современная трибуна», стр. 37).

«Мы с сожалением отмечаем, что хотя г-н де Фонтан, бывший пятнадцатью годами старше великого писателя, был его единственным другом, он, как нам кажется, в награду за дружбу не удостоился ни сердечной, ни даже справедливой памяти. «Г-н де Фонтан, — пишет г-н де Шатобриан, — вместе с Шенье был последним писателем старшей ветви классической школы». И далее: «Если что-то и могло быть неприятно г-ну де Фонтану, то лишь моя манера письма. С меня началась вместе с так называемой роман-

тической школой революция во французской литературе. Тем не менее мой друг, вместо того чтобы возмущаться моим варварством, восхищался им. Он понимал язык, на котором не говорил.

Какого Шенье имеет здесь в виду г-н де Шатобриан? Несомненно, не Жозефа Шенье. Подобный выбор был бы мало обоснован; классическая форма Жозефа Шенье, его поэзия, его язык не обладают строгой чистотой и элегантной изящностью г-на де Фонтана, и сверх того вкус Шенье был непримирим не только к недостаткам, но и к красотам автора «Аталы». Если же, напротив, имеется в виду Андре Шенье, юношеское восхищение которым сохранил г-н де Фонтан, то хотя тот был куда более робким подражателем античности, мы не поколеблемся сказать, что автор «Картезианского монастыря», «Дня мертвых» и стихов «Евхаристия» являет некие общие черты с куда более новой и дерзкой оригинальностью автора элегии «Юная больная» и стансов к м-ль де Куаньи. Но тогда не следует удивляться, что *при тех же самых основах* воображения и гармонии г-н де Фонтан был благосклонен к той блистательной и яркой прозе, которую Андре Шенье также увенчал бы хвалами и цветами, тем не менее не признавая за ней чистоты своих древних эллинов.

Г-н де Шатобриан совершенно напрасно кичится тут своим варварством и напрасно благодарит друга за то, что тот варварством этим восхищался. Никто, и наша память тому свидетель, не выказывал большего раздражения, чем г-н де Фонтан, иными варварскими или не варварскими неестественностями, которые портили «Аталу» и «Рене», но красотами восхищался, потому что нужно не только любить, но и судить» («Современная трибуна», стр. 73).

«Но... когда г-н де Фонтан, столь же яркий собеседник, столь же большой любитель приключений, сколь и безукоризненный писатель, так вот, когда г-н де Фонтан, чье воображение было заполнено Вергилием и Мильтоном, преклонявшийся перед Боссюэ, как преклоняются перед великим поэтом, бродил со своим младшим другом по лесам, соседствующим с Темзой, когда он *в полном одиноче-*

стве обедал в какой-нибудь гостинице Челси и когда, продолжая долгую беседу, они вдвоем возвращались в их скромную обитель...» («Современная трибуна», стр. 74)

Итак, Фонтан обедал один.

«Он (Люсьен) должен был поискать в оттисках главу о королях-атеистах, включенную в издание, начатое в Лондоне, но которой не оказалось в парижском; это все, чем он мог послужить или досадить политике консула во Франции и в Европе; остальное мало заботило его...» («Современная трибуна», стр. 92)

«Ученый прелат...»

В примечании: кардинал Феш.

Не знаю, был ли он ученым, но это еще один пример любви к перифразе.

«Не без волнения славы смотрел он на последние почести, отдаваемые Альфиери, и на возлежащее в гробу тело великого поэта...»

Что такое волнение славы?

«Незадолго перед этим он посетил в Коппе г-жу де Сталь, чья ссылка уже началась, чтобы впоследствии еще более ужесточиться. Обе опалы периода Империи отозвались самым пламенным протестом в сердце женщины, которая, будучи наиболее слабой, чувствует себя наиболее угнетенной. Он же чуть ли не выговаривал г-же де Сталь за то, что она так горько страдает в своем роскошном уединении и всего лишь оттого, что лишилась шума и суеты парижских салонов, без чего сам он с удовольствием обходился» («Современная трибуна», стр. 145).

«К этому первому кругу, обступившему умирающего, примыкал второй ряд молчаливых и взволнованных зрителей, и среди них недвижно простоявший всю ночь на деревянной ноге военный министр бесстрашный Латур-

Мобур, инвалид Лейпцигской битвы, благородно объединившийся здесь с храбрецами Вандеи» («Современная трибуна», стр. 258).

«Он (Карл X) принял и благословил стоящих у изножья смертного ложа двух юных девушек, рожденных в Англии от одной из любовных связей, заполнявших его изгнание» («Современная трибуна», стр. 259).

«Не могу забыть мрачное утро 14 февраля 1820 г., зловещий слух, дошедший до меня с пробуждением, мою печальную поспешность увидеться с министром, у которого я был одним из незначительных помощников на достаточно важном посту» («Современная трибуна», стр. 260).

«...тема эта (жизнь де Рансе) не была до конца раскрыта, несмотря на свойства таланта, меланхолическую пресыщенность, возраст и одиночество, которые, казалось бы, наилучшим образом отвечают ей. Можно лишь сохранить несколько блестящих страниц, *которые справедливо похвалила строгая духовная критика*» («Современная трибуна», стр. 546).

Ничего невозможно понять. Еще один пример перифразы.

«И однако та же самая рука продолжала тогда писать или исправлять «Замогильные записки», привнося в них утрированные и фальшивые тона, которые так и хочется оттуда изъять» («Современная трибуна», стр. 549).

«Внезапная утрата унесла у него г-жу де Шатобриан» («Современная трибуна», стр. 552).

«Несколько моряков несли гроб до края великого Бея...»

Он принял остров за турка.

«Имя, драгоценное для науки и словесности, г-н Ампер, путешествующий эрудит, поэт по сердцу и уму, про-

изнес возвышенное слово о человеке, чьим учеником и другом он был».

Имя, которое произносит слово.

«Значительный и звучный голос (*примечание: г-н де Ноай*) произнес похвальное слово от имени благовоспитанного общества (*что всего лишь означает образованное общество*) в Ученом собрании».

Несомненно, во Французской академии.

«Красноречивый воспитатель юности...»

В примечании: г-н Сен-Марк Жирарден.

«Эредиа видит падение Ниагары, этой живой пирамиды пустыни, которую в ту пору окружали бескрайние леса» («Очерк о гении Пиндара», стр. 580).

Он возвратился в Мехико, сперва был адвокатом, потом поднялся до почетных должностей в суде. Став мужем и отцом семейства, он тем более ужасался бурной неустойчивости американского Востока...» («Очерк о гении Пиндара», стр. 585)

«Сто дней»

Цель произведения «Сто дней», как и прочих творений г-на Вильмена, прежде всего продемонстрировать, что он знал значительных персон, заставить их произносить длинные речи в духе Тита Ливия, воспринимая диалог как серию академических диссертаций и, наконец, неизменное прославление парламентского режима.

К примеру, речь маршала Нея в Парижской судебной палате, о которой г-н Вильмен сообщает нам, что «Монитор» дал усеченный и искаженный пересказ ее. Право же, весьма длинная речь! Следует полагать, что молодой Вильмен ее застенографировал, когда так надежно погрузил в

борозды своей юной памяти, колы сохранил ее вплоть до 1855 г.

«На время перерыва в заседании все покинули галерею. Я устремился в Люксембургский сад, в самый дальний его уголок, чтобы обдумать наедине с собой то, что сейчас услышал; с волнением в сердце я погружал в борозды своей юной памяти эти слова, исполненные героической скорби и несправедливого гнева, которые мне казались горькими, как сама смерть» (День 22 июня 1815 г. «Сто дней», стр. 315).

Относительно речи Манюэля в Палате депутатов, внушенной Фуше, *в особняке которого тот запросто жил*, Вильмен, вместо того чтобы сказать: «Его вкрадчивый голос», — пишет: «Вкрадчивость его голоса» (стр. 386).

Отставка Шатобриана

А вот что Вильмен называет литературным анекдотом, и сейчас мы увидим, как он рассказывает анекдот. Анекдот на пятнадцать страниц. Г-жа де Дюрас верила в прочный союз Виллеля и Шатобриана.

«В Сен-Жермене в изысканном доме на террасе, *что открывает* столь приятный для глаза пейзаж, в салоне дамы, пользующейся всеобщим уважением, знаменитой подруги г-жи де Сталь и талантливого человека, допущенного к власти, в первую субботу июня собрались многие политические мужи, как говорили тогда (*и как говорят по сю пору*), послы и ученые: г-н Поццо ди Борго, пользующийся неизменной доверенностью Александра, Каподистрия, находящийся у него в немилости, но уже близкий к тому, чтобы возвыситься с возрожденной Грецией, лорд Стюарт, опытный дипломат, чья вольная манера изъясняться была наименее официальной в сравнении с остальными собравшимися, благоразумная и деликатная леди Стюарт, полная ему противоположность, несколько других англичан, тосканский министр, страстный любитель искусства, прославленный Гумбольдт, человек глубокой учености, равно как

и *быстротечных новостей* (выходит, есть и долговечные новости), самый французский из присутствующих иностранцев, столь же пылко влюбленный в свободу, как и в науку; был также граф де Лагард, французский посол в Испании перед войной; Абель де Ремюза, остроумный и скептический ориенталист, еще один литератор, не столь известный (*надо полагать, скромник Вильмен*), и юная Дельфина Гэ со своей матушкой.

Когда после разговора за ужином, перемежаемого еще кое-какими анекдотами об обеих палатах, собравшиеся перешли на террасу, уселись перед *зеленым ковром, сотканным вершинами лесных деревьев*, и вдохнули *прохладное тепло* июньского вечера, политические темы отпали сами собой; все настойчиво принялись упрашивать м-ль Дельфину Гэ почитать свои стихи. Однако юная красавица, с улыбкой извинившись за то, что не завершила ничего нового, продекламировала нежным, мелодичным голосом стансы одного секретаря посольства (*академическая манера называть Ламартина*), очень молодого, но великого, по ее уверению, поэта:

Душа моя, покой к тебе пусть снизойдет.
Так странник, что живет надеждой неустанной,
Присядет отдохнуть у городских ворот
И воздух вечера вдохнет благоуханный».

Лорд Стюарт взял слово и сказал, что таковой отдых ненадолго прельстит поэтов, уже имевших однажды прикосновенность к государственным делам; он весьма надеется, что министерство устоит и останется монолитным.

Можно догадываться о некоторой симпатии съера Вильмена к лорду Стюарту, которая, возможно, объясняется, если не полностью определяется, высказыванием Шатобриана, утверждавшего, что лорд сей был всегда крайне развязан, нечистоплотен и не платил девицам.

Затем слово в манере Тита Ливия взяла г-жа де Дюрас; ей хотелось отойти от политики, и она поинтересовалась у Каподистрии, «не увидел ли он в «Мучениках» и «Путешествии» небо своей отчизны, душу античности и в то же время горизонты и поэтичность Греции».

Каподистрия, как в Тите Ливии, взял слово и высказал ту истину, что Шатобриан — не Гомер, что юность начинается не только для отдельного человека, но и для всего мира, но тем не менее Шатобриан, не будучи эпическим поэтом, не обделен величием, что картины, представляющие Диоклетиана, Галерия и римский мир, выглядят проческими и подлинными; когда эти картины былого вспыхивают перед глазами, «издалека на страницах «Мучеников» признаешь портрет и осуждение того, что должно быть низвергнуто».

Мне нет нужды повторять, что выражение «как в Тите Ливии» используется только для того, чтобы охарактеризовать манию г-на Вильмена, поскольку каждый его персонаж, выходя на сцену, разглагольствует, как сам Вильмен в Сорбонне.

Еще один глубокий голос, «столь же глубокий, сколь мягок и вкрадчив был голос Каподистрии», провел параллель между «Мучениками» и «Телемаком» и отдал преимущество последнему; речь эта заняла две страницы.

Четвертый оратор сообщил, что «Телемак» — «прекрасная нравственная книга, хотя иные описания в ней чересчур откровенны для юношеского воображения. «Телемак» — очаровательная реминисценция античных поэтов, корзина с цветами, что срывались повсюду. Но какой интерес будет представлять для грядущего эта мирская мифология, спиритуалистская уже в самом замысле, но без всякой смены формы, вследствие чего книга не является ни языческой, ни христианской».

И вновь слово берет Каподистрия, чтобы сообщить, что «Фенелон был первым, кто в XVII веке выразил желание увидеть Грецию, освободившуюся от своих угнетателей и возвращенную изящным искусствам, философии и свободе, родиной каковых она и является». Шатобриан достиг совершенства в описаниях варварского мира, но... Каподистрия *Велледе* предпочитает *Антиопу*.

Все это на целую страницу.

Подобная сдержанность столь тонкого мыслителя придала смелости пятому оратору. Он тоже восхищается «Телемаком», а вот «Мученики» несут на себе мету века упадка (*вечно этот упадок!*). Произведение, сплошь состоящее из

пересказов, искусная мозаика из заимствованного прямоком у Гомера, Вергилия, Стация и нескольких варварских хроникеров. И к тому же анахронизмы: Блаженный Августин родился спустя семнадцать лет после смерти Константина, который тут представлен сотоварищем его развлечений, — сравнение Эвдора с Энеем, Кимодокеи с Паулиной. Ужасное — это отнюдь не патетическое (белоснежная шея дочери Гомера, раздираемая окровавленными клыками тигра) и прочая, и прочая.

Слово опять берет первый оратор (Дельфина Гэ); ей кажется, будто она слушает кощунства Оффмана: «Прошу вас, оставьте свои ученые придирки. Какой смысл в любви к древности, если она мешает почувствовать такие прекрасные вещи, рожденные подражанием ей?» Одним словом, она единственная, кто говорит более или менее здраво, но вся беда в том, что, возревновав к предыдущему оратору, наговорившему две с половиной страницы, она принялась распространяться *«о мучениках наших дней, о эшафотах наших семейств, о добродетели наших братьев и отцов, приносящих себя на площадях в жертву во имя Бога и своего короля»*. Ровным счетом три страницы.

«Кружок рассеялся, все передвинулись на террасе на несколько шагов поближе к виду Парижа и теням, что отбрасывали старинные зубцы замка Сен-Жермен».

Краткое отступление о последнем из Стюартов. Наконец *голос* просит м-ль Дельфину сказать, «на что вдохновила ее картина Ораса Верне».

«Юная девушка, чья бесхитростная и горделивая грациозность равнялась ее таланту, в ответ начала гармоническим голосом песнь «Друидессу», посвященную великому живописцу, который только что завершил картину «Велледа». Выпрямившись, с прядями белокурых волос, выбившимися под дуновениями легкого ветерка той летней ночи, юная Муза, как она сама называла себя в ту пору, усиливала собой впечатление от своей напевной декламации и, казалось, полностью сливалась с прославленным ею воспоминанием».

Следуют стансы в банальном стиле времен Реставрации, завершающиеся так:

И будут знать века, что я была прекрасна.

Все были очарованы, восхищены, и сей безмерный талант был осыпан похвалами.

В Париж Вильмен возвращается поздно вместе с прославленным ученым (вероятно, с Гумбольдтом), «чьи речи еще более разнообразили возбуждение, переполнявшее меня на террасе в Сен-Жермене». Засыпает он в три ночи с головой, забитой гомеровой поэзией, христианским рвением, династическими революциями и геологическими катастрофами.

Назавтра он перечитывает послания св. Иеронима, богословский трактат Мильтона и планирует уехать из Парижа поразмышлять «о схожести воображения, скорби и гнева этих двух пламенных и поэтических душ, разделенных столькими веками», как вдруг встречает г-на Фризеля, который сообщает ему об отставке Шатобриана. Следует рассказ об объявленной Виллелем отставке в точности, как о том написано в «Замогильных записках», что занимает еще три страницы, а все целиком — шестнадцать.

Как можно догадаться, анекдот состоит в следующем: когда во дворце готовили отставку Шатобриана, многие его друзья беседовали о литературе и политике на террасе в Сен-Жермене. Все остальное не более чем бессмысленное пустословие.

Смерть Герцога Беррийского

Смерть герцога Беррийского — еще один странный образец повествования, истинное упражнение школяра, сочинение ребенка, жаждущего получить премию, пример конкурсного стиля. Вильмен в нем главным образом защищает г-на Деказа, у которого он был одним из незначительных помощников на достаточно важном посту. Был он, как я знаю, молодой человек (если можно довериться *борздам его юной памяти*), которому было поручено трудиться над представлением основ бесконечного избирательного зако-

на. Чувство, подвигнувшее Вильмена на защиту Деказа, выглядит более чем похвальным, не выражайся оно с таким лакейским энтузиазмом.

(Просмотреть мои предыдущие заметки на сей счет.)

Отступление об обновлении литературы

Третья глава «Современной трибуны» открывается одиннадцатистраничным отступлением о *различных эпохах и обновлении литературы*. Это, несомненно, прекрасная философская тема, способная возбудить интерес. Я, как доверчивый глупец, заинтересовался, но вывеска лавочки не соответствует товару, который в ней продается, а Вильмен никакой не философ. Он даже и не ритор, каким тщится прослыть. Начинает он с заявления, что «влияние окрестностей на воображение поэта не подлежит сомнению».

Возьмем, говорит он, Гомера и Геродота.

«Греция от Фермопил до Марафона, зеленые холмы Пелопоннеса, долины Фессалии, остров Крит и остров Лемнос (перечислению нет конца) — какая разнообразная и живописная сцена!»

Итак, греки были наделены гением, потому что у них были красивые пейзажи.

Согласимся. Мысль крайне понятная.

Римская поэзия воспроизводит латинские пейзажи. «Империя, ставшая, с одной стороны, варварской, а с другой, восточной, являла взору бесконечное разнообразие климатов, племен, обычаев и т. п.»

Индия: «Хаос фантазий и описаний, перенасыщенный красками».

Прелестное заключение. Видимо, было слишком много разных пейзажей, чтобы оставаться классицистами.

Христиане изучают внутреннего человека; тем не менее «картина Творения сияет в их душах и словах».

«Греческое христианство, облаченное пламенами знойной природы от Нила до Оронта, от Иерусалима до Киренаики».

«Данте, первый поэтический гений, возвысившийся над средневековьем (так ли уж это точно?), был восторженным живописателем природы».

Тассо воспевает людские подвиги и заблуждения. Природа для Тассо, Ариосто, равно как и для Лафонтена, становится аксессуаром.

Камознс, Эрсилья являются свидетельством того, что «может дать облагороженная природа человеческой мысли, а дух открывательства — вдохновенному уму».

«Корнель, Расин, Мильтон, Вольтер — передышка из-за усталости от воздействия природы».

Затем небольшое вынужденное отступление о Шекспире, который ввел пейзаж в драму; Шекспир явно неудобен в этой вымученной систематизации искусства.

Возвращение к природе. Оно выражается через прозу: Бюффон, Руссо, Бернарден де Сен-Пьер. Делиль, талант светский и неестественный. Согласны. Несколько весьма суровых слов о бедняге Делиле. У г-на Вильмена нет права так относиться к нему.

Восточный характер Байрона, странствующего *скептика*.

А потом вдруг Вильмен нам объявляет:

«...явится небывалый блистательный гений, проложит себе путь среди мировых потрясений, соберет сокровища воображения на руинах умирающего общества, переоценит все, что вскоре должно быть низвергнуто, и благодаря избытку воображения возвратится от заблуждений к истине, от грез о будущем идеале к культу прошлого».

Вот так объясняется, почему дочка у вас немая, то бишь почему Шатобриан, не отправься он в Америку, не был бы Шатобрианом.



ГОДОВЩИНА ШЕКСПИРА

Главному редактору «Фигаро»

Сударь,

Мне случалось читать «Фигаро», и не раз я испытывал негодование при виде бесстыдства бездарности, которая, к сожалению, составляет неприменную часть таланта ваших сотрудников. Если говорить начистоту, этот бранчливый литературный жанр, так называемые «заметки», не представляет в моих глазах ничего увлекательного и всегда задевает во мне чувство справедливости и деликатности. Однако каждый раз как я сталкиваюсь с явной глупостью или чудовищным лицемерием, которые наш век плодит в неиссякаемом изобилии, я тотчас осознаю всю необходимость «заметок». Итак, вы видите — я сам готов признать свою неправоту, со всем моим расположением.

А посему я почел уместным разоблачить пред вами одну из таких несообразностей и диковинных нелепостей прежде, нежели она вызовет неизбежный взрыв.

23 апреля — такая дата, когда, уверяют, даже Финляндия будет вынуждена чествовать трехсотлетие со дня рождения Шекспира. Не знаю, то ли для Финляндии есть некий тайный интерес в прославлении поэта, рожденного за ее пределами, то ли она жаждет поднять в честь английского драматического поэта какой-либо злокозненный тост. На худой конец, можно понять, что литераторы всей Европы хотят слиться в едином порыве восторга пред гением, дабы его величие (подобно величию множества других прославленных поэтов) обрело всемирный размах; однако мы могли бы заметить мимоходом, что если люди вправе чествовать чужеземных поэтов, то было бы куда

справедливее, если б каждая страна чествовала прежде всего собственных. У каждой веры — свои святые, но я с горечью отмечаю, что мы доселе мало пеклись о том, чтобы отпраздновать годовщину Шатобриана или Бальзака. Мне возражают, что их слава еще слишком молода. Ну, а слава Рабле?

Но вот что несомненно. Мы предполагаем, что все писатели Европы, движимые внезапной признательностью, возжелали почтить память Шекспира вполне чистосердечно и без задних мыслей.

Неужели парижских писателей и впрямь увлекло столь бескорыстное чувство? Не подчинились ли они, пусть безответно, влиянию одной мелкой клики, преследующей свою, сугубо личную цель, не имеющую к Шекспировой славе ровно никакого отношения?

Мне передали несколько острот и жалоб по поводу этой темы, и я охотно с вами поделюсь.

В одном месте — неважно, где именно — состоялось собрание. Вероятно, в состав комитета вошел Гизо. В его лице, несомненно, предполагали оказать честь человеку, поставившему свою подпись под весьма жалким переводом Шекспира. Подписался под переводом и Вильмен. Он и прежде с грехом пополам высказывался об английском театре. Что ж, предлог вполне достаточный, хотя, сказать по правде, эта бездушная мандрагора только и годится на то, чтобы ее нелепый вид послужил контрастом образу самого пылкого в мире поэта. Не знаю, была ли там подпись Филарета Шаля, немало сделавшего для распространения у нас английской литературы, но я в этом сильно сомневаюсь, и у меня есть на то веские основания. Здесь, в Версале, в нескольких шагах от меня, живет старый поэт, небезызвестный в истории романтического течения; я говорю об Эмиле Дешане, переводчике «Ромео и Джульетты». Так вот, представьте, сударь, что его имя вызвало возражения! а почему — вы никогда не догадаетесь. Дело в том, что Эмиль Дешан довольно долго занимал одну из высших должностей в министерстве финансов. Правда, он давно вышел в отставку. Но можно ли ждать справедливости, если господа фактотумы от демократической литературы не дают себе труда вникнуть в суть; эта кучка ничем

не примечательных юнцов настолько занята обстрепыванием собственных делишек, что, случись им узнать, что такой-то старичок, которому они, кстати, многим обязаны, все еще не умер — для них это настоящее открытие. Вряд ли вас удивит, что Теофиля Готье едва не отлучили от общего праздника как «соглядатая» («соглядатай» — термин, так определяют автора, пишущего статьи о театре и живописи для официальной правительственной газеты). И я ничуть не удивлюсь, да и вы, разумеется, не удивитесь, если имя Филоксена Буайе вызовет яростные нападки. Буайе — поистине блестящий ум, в самом лучшем смысле слова. Гибкое, величественное воображение, богатейшая эрудиция — в свое время он прокомментировал произведения Шекспира в непревзойденных импровизациях. Все это — неопровержимая истина, но увы! — бедняга не раз выказывал в стихах излишне пылкую преданность монархии. Вне всякого сомнения, он и в этом был вполне искренен; так что же! В глазах этих господ его злополучные оды полностью зачеркивают его заслуги перед Шекспиром. А что касается Огюста Барбье, переводчика «Юлия Цезаря», и Берлиоза, автора «Ромео и Джульетты», — тут мне ничего не известно. О Шарле Бодлере, чье пристрастие к англо-саксонской литературе общеизвестно, просто забыли. Эжену Делакура посчастливилось: он уже умер. В противном случае, не сомневаюсь, у него перед носом захлопнули бы дверь, и не попал бы он на торжество — он, своеобразный переводчик «Гамлета», но также и подкупленный член муниципального совета; он, аристократ и гений, простирали свою подлость до того, что был вежлив с врагами! Но зато мы там увидим демократа Бьевиля, подымающего тост, хотя и с оговорками, за бессмертие творца «Макбета»; увидим восхитительного Легуве; и гнусного угодника бездарных юнцов Сен-Марка Жирардена; и другого Жирардена, первооткрывателя «симпатического влечения»... среди улиток; и подписку, по одному су с носа, в пользу прекращения войны!

Но верх нелепости, *пес plus ultra* всего, что ни есть самого смехотворного, явная печать лицемерия на всем этом действе — так это назначение Жюля Фавра членом комитета. Жюль Фавр — и Шекспир! Улавливаете ли вы всю чу-

довищность подобного сопоставления? Несомненно, Жюль Фавр достаточно образован, чтобы понять прекрасное у Шекспира, и в этой роли он вправе прийти на торжество; но если у него есть хоть на грош здравого смысла, если он не хочет унижить старого поэта — ему остается лишь отказаться от незаслуженной чести. Жюль Фавр — в Шекспировском комитете! Да это еще нелепей, нежели какой-нибудь Дюфор в Академии!

Но, по правде говоря, у господ-организаторов скромного праздника есть дела поважнее прославления поэзии. Два поэта, заседаая на первом собрании, о котором я вам только что рассказал, тщательно проследили, чтобы не был забыт такой-то и такой-то, а также чтобы непременно было исполнено то-то и то-то; разумеется, их заботы касались исключительно литературных интересов; но каждый раз кто-нибудь из мелкой пишущей братии возражал: «Вы не понимаете, в чем суть дела».

Все было сделано для того, чтобы торжество получилось как нельзя смешнее. Разумеется, Шекспира необходимо чествовать в театре. Когда речь заходит о спектакле в честь Расина, обычно, после подобающей случаю оды, играют «Сутяг» или «Британика»; если юбилей Корнеля — играют «Лжеца» и «Сида»; если Мольера — играют «Пурсоньяка» и «Мизантропа». Так вот, некий директор крупного театра, человек редкой кротости и умеренности, беспристрастный сторонник и козы и капусты, недавно говорил поэту, которого обязали сочинить что-нибудь на годовщину английского трагика: «Постарайтесь вставить в стихи похвалу французским классицистам; а потом, дабы оказать Шекспиру как можно больше почета, мы сыграем «Ни в чем нельзя поклясться». Это одна из пьес-пословиц Альфреда де Мюссе.

Поговорим немного об истинной цели великого юбилея. Вам, сударь, известно, что в 1848 году возникла незаконная связь меж литературной школой 1830 года и демократией — связь чудовищная и странная. Оlympio отверг знаменитую доктрину *искусства для искусства*, и с тех пор он сам, его семья и ученики непрестанно проповедуют народу, говорят за народ и при всяком удобном случае выступают в роли друзей и усердных заступников народа. «Нежна и глубока любовь к народу». И с тех пор всё, что

они способны любить в литературе, принимает революционную, филантропическую окраску. И Шекспир — социалист. Правда, сам он никогда не замечал за собой ничего подобного, но это и не важно. Некая разновидность парадоксальной критики пыталась и раньше перерядить Бальзака-монархиста, преданного трону и алтарю, в ниспровергателя основ и разрушителя. Мы уже свыклись с этой разновидностью мошенничества. Итак, сударь, вы сами знаете, что мы переживаем время разделения и существует целый класс людей, у которых так и застряли в глотке тосты, речи, выкрики, и вполне естественно желание этих людей найти им применение. Я знавал и таких, что внимательно следили за всеми траурными извещениями, особенно о кончинах знаменитостей; они назойливо врывались в дома усопших и на кладбища с одной целью — превознести покойников, с которыми даже не были знакомы. Обращаю ваше внимание на Виктора Кузена: он подлинный принц среди этой породы.

Любой банкет, любое торжество — прекрасный случай утолить французскую жажду пустословия; чего-чего, а ораторов у нас хватает; и кучка прихвостней нашего поэта (в ком Господь Бог, чьи пути воистину неисповедимы, перемешал глупость с гением) рассудила, что настал благоприятный миг, когда можно пустить в ход нашу неуёмную манию поразглагольствовать, особенно ради целей, о которых я скажу ниже; а Шекспир? Ну, при чем тут Шекспир; предлог, и не боле:

1) подготовить и раздуть успех книги В. Гюго о Шекспире; как во всех книгах Гюго, в ней немало и прекрасных мест, и глупости; она, вероятно, огорчит самых искренних его почитателей;

2) провозгласить тост за Данию. Вопрос весьма животрепещущий, и мы, безусловно, должны оказать Гамлету эту услугу, поскольку он самый известный из принцев Датского королевства. Впрочем, гораздо уместнее поднять тост за Данию, нежели за Польшу, что произошло, как мне сказали, на банкете в честь Домье.

Засим, воспользовавшись случаем и особым, *crescendo*, нарастанием глупости, свойственной толпам, сбившимся в одном месте, — провозгласить тосты за Жана Вальжана,

за отмену смертной казни, за уничтожение нищеты, за Всемирное Братство, за распространение просвещения, за *истинного* Иисуса Христа, *законоучителя христиан*, как говорили в старину, за Ренана, Авэна и пр. ... — словом, за все несуразности, присущие XIX веку, в котором мы имеем нелегкое счастье жить, и я думаю, что каждый из нас, детей своего века, лишен естественного права — выбирать себе братьев.

Забыл сказать вам, сударь, что на праздник не пустили женщин. Прекрасные плечи, прекрасные руки, прекрасные лица и ослепительные наряды могли бы повредить торжественной демократической суровости. И все же я думаю, что устроители напрасно не пригласили нескольких актрис — хотя бы затем, чтобы навести их на мысль сыграть что-нибудь из Шекспира и оспорить лавры всевозможных Смитсон и Фоси.

Если вам угодно — оставьте мою подпись; но если вы находите, что она не представляет ценности — уберите ее.

Примите, сударь, уверения в моих самых глубоких чувствах.



НАБРОСКИ ПИСЬМА К ЖЮЛЮ ЖАНЕНУ

I

*Господину Жюлю Жанену.
В связи со статьей (за подписью Эраст)
о Генрихе Гейне и Юности Поэтов*

Сам он тоже «умел петь и плакать, знал улыбку, увлажненную слезами, и т. д.».

Не правда ли, как странно, что человек является человеком?

Катилина, перед тем как взяться за оружие, написал сенатору Квинту Цецилию: «Поручаю тебе мою дорогую жену Орестиллу и мою милую дочь...»

Мериме (*сам Мериме!!!*) замечает: «Испытываешь некоторое удовлетворение и некоторое удивление, обнаруживая человеческие чувства у подобного чудовища».

Как странно, что человек оказывается человеком!

Что же касается всех цитат из мелких французских шалостей, которые сравниваются с поэзией Генриха Гейне, Байрона и Шекспира, то это производит такое же впечатление, как сравнение шарманки или спинета с могучим оркестром. Среди приведенных вами фрагментов из Генриха Гейне нет ни одного, что не был бы бесконечно выше всех тех пасторалей и беркинад, которыми вы так восторгаетесь. Итак, автор «Дохлого осла» и «Гильотинированной» не желает и слышать об иронии; он не желает, чтобы при нем говорили о Смерти, о кратковременности людских чувств: «Избавьте меня от мрачных образов, хватит этого зубоскальства! Дайте мне переводить Горация и упиваться им в свое удовольствие; Горация, истинного

любителя уличных песенок, славного *словоплетельщика*, чтение которого в отличие от современных расстроенных лир не действует болезненно на нервы».

В завершение мне было бы любопытно узнать, действительно ли вы убеждены, что Беранже был поэт? (Я-то думал, что больше никто не посмеет говорить об этом человеке.)

— Действительно ли вы убеждены, что пышные похороны являются подтверждением таланта или порядочности покойного? (Я думаю совершенно противоположное, то есть, что пышных порохов удостаиваются лишь прохвосты либо дураки.)

— Вы убеждены, что Дельфина Гэ — поэт?

— Вы убеждены, что томный Мюссе — *хороший* поэт?

— Небезынтересно было бы также узнать, как оказалось смехотворное имя Вьенне рядом с именем Банвиля?

— И рядом с Огюстом Барбье, Эжезиппом Моро *отвратительное ничтожество*, распаленное грязным сладострастием и бельгийской ненавистью к священнослужителям.

Наконец, почему имя г-на Леконта де Лиля вы пишете как Леконт Делиль, тем самым путая его с ничтожным автором «Садов»?

Милостивый государь, если бы я захотел вполне излить ярость, какую вы возбудили во мне, я написал бы вам полсотни страниц и доказал бы, что, вопреки вашему утверждению, в несчастной нашей Франции не так уж много поэтов и нет ни одного, кого можно было бы противопоставить Генриху Гейне. Но вы не любите правды, не любите соразмерности, не любите справедливости, не любите композиции, не любите ни ритма, ни размера, ни рифмы: ведь они, чтобы добиться их, требуют слишком больших усилий. Так сладко засыпать на подушке *расхожего мнения!*

Известно ли вам, милостивый государь, что вы излишне легковесно судите о Байроне? Ему присущи ваши достоинства и ваши недостатки: чрезмерная избыточность, чрезмерная изобильность, чрезмерное многословие, но также и то, что *делает* поэта — демоническая личность. Поистине вы возбуждаете у меня желание защитить его.

Сударь, я часто получаю оскорбительные письма незнакомцев, иногда даже анонимные; их, вне всяких сомнений,

пишут люди, у которых бездна времени, чтобы впустую тратить его. Сегодня вечером я готов потратить время и хочу применительно к вам последовать примеру давателей советов, которые нередко одолевают меня.

В некотором смысле я принадлежу к вашим друзьям; было время, когда я восхищался вами. Я основательно познал французскую глупость и однако же, когда вижу французского литератора (имеющего влияние *в обществе*), позволяющего себе необдуманно высказывания, меня еще больше охватывает ярость, которая может извинить все, даже анонимное письмо.

Обещаю, что при следующем визите, который я буду иметь удовольствие сделать вам, я буду перед вами каяться, но не в своих мнениях, а лишь в своем поведении.

II

Милостивый государь, я постоянно читаю ваши статьи в газете «Эндепананс», которой иногда недостает уважения к вам и которая порой проявляет к вам определенную неблагодарность. Предваряющие статьи в манере Бюлоза. Огюст Барбье в «Ревю де Пари». Неприятие. У «Эндепананс» убеждения, не позволяющие ей сочувствовать несчастьям королей. Словом, я вас читаю; ведь в определенном смысле я отношусь к вашим друзьям, если только вы полагаете, как и я, что восхищение порождает своеобразную дружественность.

Но вчерашняя ваша статья привела меня в неопишуемую ярость. Хочу объяснить почему.

Итак, Генрих Гейне был человеком! Катилина тоже, оказывается, был человеком. А ведь он — чудовище, так как ради бедных устроил заговор. Генрих Гейне был зол, как все чувствительные люди, раздраженные тем, что им приходится жить среди сброда; под *сбродом* я подразумеваю тех, кто не смыслит в поэзии (*genus irritabile vatum*).

Исследуем же сердце молодого Генриха Гейне.

Фрагменты, которые вы цитируете, очаровательны, но я прекрасно вижу, что вас шокирует — печаль, ирония. Если бы Ж. Ж. был императором, он законом запретил бы

при своем царствовании плакать, вешаться или смеяться определенным образом. «Когда Август пил и т. д.»

Вы счастливый человек. Я сочувствую вам, сударь, оттого что вам так легко быть счастливым. Может ли человек пасть столь низко, чтобы поверить, что он счастлив? Но, возможно, это лишь сардоническая вспышка, и вы улыбаетесь, чтобы скрыть лисенка, который грызет вас. Если это так, то это прекрасно. Если бы мой язык смог произнести подобную фразу, он остался бы навсегда парализованным.

Вы не любите несозвучности, диссонанса. Долой бестактных, что нарушают дремотность вашего счастья! Да здравствуют ариетки Флориана! Долой громогласные жалобы рыцаря Тангейзера, *жаждущего страдания!* Вы любите музыку, которую можно понять, не слушая, и трагедии, которые можно начинать с середины.

Долой всех тех поэтов, в чьих карманах кинжалы, желчь и пузырьки с лауданумом! Этот человек печален, он возмущает меня! У него нет Марго, да никогда и не было. Да здравствует Гораций, попивающий птичье молоко, я хочу сказать фалернское, и шиплющий Лизетту за ее прелести, как и подобает добропорядочному человеку, славному словоплетельщику без всякого там демонизма, ярости и oestrus!

Упомянув прекрасные похороны, вы, я полагаю, имели в виду похороны Беранже. Убежден, ничего прекрасней и быть не могло. Префект полиции сказал, что увильнул от них. Что может быть прекрасней, чем г-жа Коле, расталкивающая полицейских. И только Пьер Леру нашел подходящие слова: «Я всегда предсказывал ему, что он провалит свои похороны».

Беранже? Уже высказано несколько истин об этом игривом шалуне. Продолжать можно было бы до бесконечности. Так что лучше промолчим.

Де Мюссе. Есть поэтические способности, но не слишком радостный. Противоречие вашему тезису. Поэт, впрочем, плохой. Сейчас его стихи можно увидеть у девиц ря-

дом со стеклянными собачками, песенником «Погребка» и фарфоровыми безделушками, выигранными в Аньере в лотерею. Томный плакальщик из погребальной конторы.

Сент-Бев. О, вот тут я вас остановлю. Можете вы объяснить этот род прекрасного? Вертер-кавалерист. Итак, опять противоречие вашему тезису.

Банвиль и Вьенне. Грандиозная катастрофа. Безукоризненно добропорядочный Вьенне. Доблесть уничтожения поэзии. Но Рифма! А также Разум! Я знаю, вы никогда не действуете из корысти... Что же тогда подвигнуло вас?

Дельфина Гэ! — Леконт де Лиль! Положа руку на сердце, вы и впрямь находите его таким весельчаком, как раз по вашему вкусу? — А Готье (sic)? А Вальмор? А я? — Мой фортель.

Я привел тут парафразу насчет *genus irritabile vatum* не только для защиты Гейне, но и всех поэтов. Этих бедолаг (которые суть венец человечества) оскорбляют все, кому не лень. Когда они испытывают жажду и попросят стакан воды, всегда сыщется какой-нибудь Тримальхион, который обзовет их пьяницами. Тримальхион вытирает руки о волосы своих рабов, но стоит какому-нибудь поэту высказать желание иметь в своей конюшне нескольких буржуа, обязательно найдется масса людей, которые возмутятся этим.

Вы пишете: «Вот они эти красоты, которые я никогда не пойму... Неокритики...»

Оставьте этот старческий брюзгливый тон, который вам ничего не прибавит, даже во мнении сьера Вильмена.

Жюль Жанен более не хочет огорчительных картин.

А смерть Шарло? А поцелуй в круглое окошко гильотины? А Босфор, такой восхитительный, если любоваться им, будучи посаженным на кол? А Бурб и капуцины? А язвы, дымящиеся при прикосновении раскаленного железа?

Когда дьявол стареет, он становится... пастырем. Так пасите же своих белых овец.

Долой самоубийства! Долой злых балагуров! При вашем правлении никто никогда не посмеет сказать: «Janino Imperatore, повесился Жерар де Нерваль». У вас даже будут специальные полицейские, инспекторы, которые станут загонять обратно в дома людей, на устах у которых не обнаружат счастливой гримасы.

Катилина был умный человек, так как у него имелись друзья во враждебной партии, что непостижимо только для бельгийца.

Вечно Гораций и Маргошка! Вы постереглись выбрать Ювенала, Лукана или Петрония; Петрония с его ужасающими непристойностями и печальным шутовством (признайтесь, вы с удовольствием приняли бы сторону Тримальхиона, *потому что он счастлив*); Лукана с его скорбью по Бруту и Помпею, с его воскресающими мертвецами, с фессалийскими колдуньями, заставляющими луну танцевать над травами опустелых равнин; Ювенала с его взрывами смеха, исполненными гнева. Ведь вы не преминули отметить, что Ювенал всегда гневается в пользу бедного и угнетенного. Ишь, грязный невежа! Да здравствует Гораций и все те, к кому благосклонна Бабетта!

Тримальхион глуп, но *он счастлив*. Кичлив до того, что даже его собственные слуги умирают от смеха, но *счастлив*. Низок и отвратителен, но *счастлив*. Выставляет роскошь напоказ, притворяется, будто знает толк в изящном, нелеп, но *счастлив*. Ах, простим *счастливым*. Не правда ли, *счастье* — прекрасное и всеобъемлющее *извинение*?

Ах, вы, сударь, счастливы. Да еще как! Скажите вы: я добродетелен, мне по крайней мере было бы понятно, что под этим подразумевается: я меньше страдаю, чем кто-то другой. Но нет, вы — *счастливы*. Итак, вам легко удовлетвориться малым, да? Я весьма сочувствую вам и считаю свое скверное настроение куда более достойным, чем ваше блаженство. Я дойду даже до того, что задам вам вопрос: удовлетворяют ли вас картины, что открываются на этой земле? Но нет, вам никогда не приходило желание *уйти отсюда*, ради того только, чтобы сменить зрелище! У меня

весьма серьезные основания сострадать тому, кто не любит Смерть.

Байрон, Теннисон, По и Ко.

Меланхолический небосвод новейшей поэзии. Звезды первой величины.

Почему все изменилось? Вопрос важный, хотя у меня нет времени объяснять его вам. Но ведь вам никогда не приходило в голову задать его себе. А все изменилось, потому что должно было измениться. Ваш друг сьер Вильмен шепнул вам на ухо словцо: «Упадок». Словцо крайне удобное для пользования невежественными педагогами, зыбкое словцо, за которым кроется наша лень и наше нелюбопытство к закономерности.

Но почему одна только радость? Возможно, чтобы развлечь вас. А почему не может быть красоты в печали? И в ужасе? Да во всем. Да в чем угодно.

Я зайду повидать вас. Я знаю, к чему вы клоните. Возможно, вы решитесь заявить, что нельзя класть черепа в супницы, что крохотный трупик новорожденного — это ужасно... (Да, шутка эта была произнесена, но, увы, то были добрые старые времена!) Тем не менее на этот счет можно было бы многое сказать. Вы уязвляете меня в самых заветных моих убеждениях. В этих материях главная проблема — соус, то бишь талант.

А почему поэт не может быть изготовителем ядов, равно как и кондитером, не может разводить змей для сотворения чудес и для представлений, не может быть заклинателем этих гадов, влюбленным в них и наслаждающимся ледяной лаской их колец так же, как ужасом толпы?

Две равно нелепых стороны вашей статьи. Непризнание поэзии Генриха Гейне и поэзии вообще. Абсурдный тезис о юности поэта. Поэт — не старец и не юноша. Он такой, каким хочет быть. Девственник, он воспевает разврат, умеренный в питье — пьянство.

Ваша отвратительная любовь к радости вынуждает меня вспомнить г-на Вернона, жаловавшего на *огорчительную* литературу. Ваше пристрастие к добропорядочности происходит всего лишь от сибаритства. Г-н же Вернон высказался вполне простодушно. Несомненно, «Вечный Жид» опечалил его. Он ведь тоже вздыхает по спокойным и не тревожащим переживаниям.

Кстати, о юности поэта: «Истинные книги, истинные стихи».

Справьтесь на сей счет у г-на Вильмена. Невзирая на свою неискоренимую любовь к солецизмам, сомневаюсь, что он это проглотит.

Байрон, многословие, излишества. Кое-какие из ваших качеств, сударь. Но зато те высокие недостатки, что творят великого поэта. Меланхолия, извечно неотделимая от чувства прекрасного, и пламенная, демоническая натура. Дух, подобный саламандре.

Байрон. Теннисон. Э. По. Лермонтов. Леопарди. Эспронседа. Но они не воспевали Марго. Как! Я не упомянул ни одного француза. Франция бедна.

Французская поэзия. Поток, иссякший при Людовике XIV. Возродившийся с Шенье (Мари Жозефом), поскольку второй был краснодеревщиком Марии Антуанетты. Наконец возрождение и взрыв при Карле X.

Ваши французские припевки. Спинет и оркестр. Неглубокая поэзия. Амур Томаса Гуда.

Ваш набор поэтов, связанных попарно, как таксы и борзые, как жирафы и куницы.

Проанализируем их одного за другим.

А Теофиль Готье? А я?

Леконт Делиль. Ваша рассеянность. *Жан Фарон*. Фарамон. *Жан Бодлер*. Не пишите *Готтье*, если хотите исправить свою забывчивость, и не подражайте вашим издателям, которые столь малосведущи, что коверкают его фамилию. Версификация прозаического произведения. Это вы изрядно. Манья Вильфранша.

Прирожденная мания. Вильфранш и Аржантейль.
Гасконь. Франш-Конте.
Нормандия. Бельгия.

Вы счастливый человек. Этого вполне достаточно, чтобы утешиться при всех заблуждениях. Вы ничего не смыслите ни в архитектуре слов, ни в пластике языка, ни в живописи, ни в музыке, ни в поэзии. Утешьтесь, Бальзаку и Шатобриану ни разу не удалось сочинить хотя бы сносного стихотворения. Правда, они умели распознавать хорошие.

Начало. Моя ярость. Пьер в моем саду, верней, в нашем саду.

(В статье *Жанен.*) Жанен превозносит Цицерона, мелкая проделка журналиста. Быть может, чтобы умаслить съера Вильмена. Цицерон-филиппист. Гнусный тип выскочки. «Это наш Цезарь, по нам». (Де Саси).

У Жанена, вне всяких сомнений, есть причина назвать Вьенне среди поэтов. Точно так же, как есть несомненная причина превозносить Цицерона. Цицерон не является членом Академии, но тем не менее можно сказать, что он входит в ее состав благодаря Вильмену и шайке орлеанистов.



АКТЕР РУВЬЕР

Рувьера я знал давно... *Филибер* Рувьер никогда не давал мне подробных сведений о своем рождении, образовании и т. п. Я написал в иллюстрированном сборнике, посвященном ведущим актерам Парижа, статью о нем. Но в статье этой не найти ничего, кроме обоснованной оценки его таланта, таланта причудливого до крайности, сотканного из рассудочной деятельности и нервической преувеличенности; этот последний элемент обычно и вел его.

Главные роли Рувьера: Мордаунт в «Мушкетерах», тип, суть которого — концентрированная ненависть, слуга Кромвеля, преследующий в гражданской войне единственную цель: свою личную и вполне законную месть.

В этой роли Рувьер вызывал ужас и отвращение. Он весь был — *из стали*.

Карл IX в другой пьесе Дюма. Все были восхищены этим *воскрешением*. Впрочем, Рувьер был художник, такие фокусы давались ему куда легче, чем кому бы то ни было.

Аббат Фариа в «Монте-Кристо». Эту роль Рувьер сыграл всего один раз. Директор Остен и Александр Дюма **НИКОГДА ТОЛКОМ НЕ ПОНИМАЛИ** манеру игры Рувьера.

«Гамлет» (Мериса и Дюма). Огромный успех Рувьера. Но он играл южного Гамлета, Гамлета неистового, нервного и стремительного. Гете, утверждавший, что Гамлет белокур и тучен, вряд ли был бы доволен им.

Мефистофель в отвратительном «Фаусте», переделанном Деннери; в нем Рувьер был откровенно плох. Он был

очень умен и искал тонкие нюансы, которые причудливо выделялись на фоне его характера южанина.

«Мэтр Фавийа» Жорж Санд. Небывалый успех! Рувьер, который всегда *играл* характеры желчные, жестокие, иронические, свирепые, великолепно исполнил роль нежного, любящего, идиллического отца. И тут, на мой взгляд, приоткрывается одна из малоизвестных сторон его натуры: любовь к утопии, к революционным идиллиям — культ Жан Жака, Флориана и Беркена.

Роль врача в «Графе Германне» Александра Дюма. Дюма вынужден был признать, что в некоторые моменты Рувьер был неподражаем.

Отелло — в «Отелло» де Виньи. Рувьеру превосходно удалось выразить утонченную, выпренную учтивость, неотделимую от неистовости восточного рогоносца.

И множество других ролей, которые я сейчас уже не помню.

Внешне он был невысокий, смуглый, нервный, до самого конца сохранил южный выговор, в беседах демонстрировал неожиданную тонкость... Он не был лицедеем и вообще бежал от лицедействующих. Тем не менее, поскольку был любителем приключений, как-то присоединился к странствующим акробатам, чтобы изучить их нравы. Человек он был в высшей степени светский, хотя и актер, чрезвычайно красноречивый.

Нравственно — ученик Жана Жака Руссо. Вспоминаю забавный выговор, который он мне сделал, когда однажды застал меня стоящим перед витриной ювелирного магазина.

«Хижина, — заявил он, — очаг, стул, полка, чтобы положить на нее моего божественного Жан Жака, вот и все, что мне нужно. Роскошь любят люди бесчестные».

Он был художник, ученик Гро.

Несколько месяцев назад Рувьер заболел, слег, а так как он был крайне беден, друзья задумали устроить аукцион его картин, но он не имел успеха.

И однако мне помнится очаровательная картина «Гамлет, воспрещающий матери смотреть на портрет покойного

короля». Ультраромантическое полотно, купленное, как мне сказали, г-ном де Гонкуром.

У г-на Теофиля Сильвестра есть прекрасные рисунки Рувьера. Уже давно г-н Люке (компаньон Годара) выставил на продажу в качестве работы кисти Жерико картину («Жирондисты в тюрьме»), в которой я тут же распознал руку Рувьера... Большая композиция, дикая и неумелая, даже, можно сказать, детская, но исполненная огня.

Эжен Делакруа восхищался Рувьером как актером.

Г-н Шанфлери написал о нем любопытный этюд в форме новеллы «Актер Трианон».





Эссе Дневники



ИЗБРАННЫЕ УТЕШИТЕЛЬНЫЕ МАКСИМЫ О ЛЮБВИ

Сочиняющий максимы шаржирует собственный характер: молодые гримируются, старики любят себя сами собой.

Мир — это громадная система противоречий, в которой ценится все, что устарело, — быстренько нарисуем себе углем морщины — чувства при этом не очень притупляются — и украсим сердце ленточками, наподобие фронтисписа.

К чему это? Если уж вы не настоящие мужчины, будьте, по крайней мере, настоящими животными. Будьте наивными — и кому-нибудь вы непременно станете нужны, или кому-то — приятны. Мое сердце — кажется, оно слева — конечно же найдет тысячу товарищей по несчастью среди трех миллиардов существ, пасущихся в крапивных зарослях чувств.

Я начинаю с любви, потому что любовь для всех — сколько бы это ни отрицали — самая важная вещь в жизни.

Вы, пожираемые неким ненасытным стервятником, поэты гофмановской школы, для которых звук губной гармонике — словно танец в хрустальных сферах, а скрипка — все равно что клинок, рвущий сердце на части, непреклонные и алчные созерцатели, в которых даже зрелище самой природы порождает опасные восторги, — пусть любовь станет вам успокоением.

Поэты спокойствия, поэты *объективности*, благородные приверженцы метода, архитекторы стиля, политики, перед которыми стоит задача быть журналистами, — пусть любовь станет для вас раздражителем, укрепляющим силы

снадобьем, гимнастикой наслаждения и призывом действовать!

Одним — снотворное, другим — алкоголь.

Те, с которыми природа обошлась жестоко, для коих время драгоценно, — пусть любовь послужит вам лекарством, обжигающим и возрождающим.

Итак, необходимо уметь выбрать себе любовь.

Не будем отрицать того, что бывает *удар молнии* — посмотрите хотя бы главу XXIII книги первой «О любви» Стендаля, — но, надо полагать, фатальность обладает все же некоторой гибкостью, зовущейся человеческой свободой.

Точно так же, как для богослова свобода состоит скорее в том, чтобы избежать искушения, нежели в борьбе с ним, так и в любви должно избегать опасных женщин — опасных именно для вас.

Возлюбленная, ваша небесная женщина, будет указана вам, вашим естественным вкусом, с помощью Лафатера, живописи и скульптуры.

Физиогномические признаки здесь оказались бы незаменимыми, если бы все они были нам хорошо известны. Я не могу сейчас перечислить все те физиогномические признаки женщин, которые подошли бы тому или иному мужчине. Быть может, когда-нибудь мне удастся довести до конца эту непомерную работу — в книге, которую я назову «Катехизис о любимой женщине», но я совершенно уверен в том, что каждый с помощью своих властных и смутных симпатий, ведомый наблюдательностью, сможет через некоторое время найти необходимую ему женщину.

К тому же наши предпочтения не столь уж опасны: природа, как в гастрономии, так и в любви, редко наделяет нас стремлением к тому, что нам противопоказано.

Поскольку я подразумеваю здесь любовь во всех возможных смыслах этого слова, мне придется написать несколько отдельных максим, трактующих о весьма деликатных вещах.

Северянин, пламенный мореплаватель, заблудившийся в стране туманов, искатель северных сияний, более прекрасных, чем солнце, неустанно жаждущий идеала, — любите холодных женщин. Любите их, ибо это великий и

упорный труд, — и вам будет оказан большой почет на том Суде Любви, что созван где-то там, в голубой вечности!

Южанин, чья ясная природа не склонна к тайнам и чудесам, легкомысленный человек из Бордо, Марсея или Италии, — с вас довольно страстных женщин; движение и темперамент — вот ваша истинная империя, империя забав.

Юноша, мечтающий стать великим поэтом, берегитесь парадоксов в любви; пусть подростки, опьяненные гордостью, выкурив свою первую трубку, во все горло поют хвалы толстым женщинам, оставьте эту ложь неофитам псевдоромантической школы. Если полная женщина — это порой очаровательный каприз, то женщина худая — кладь сумеречных наслаждений.

Никогда не возводите хулу на величие природы — и, если она послала вам безгрудую возлюбленную, скажите себе: «У меня есть друг с бедрами!» — и идите в храм, дабы вознести благодарность богам.

Умейте найти хорошие стороны даже в чужой уродливости (что касается вашей — то это совсем уж легко); каждому известно, что Тренк *Обожженное Лицо* был обожаем женщинами*, даже *собственной женой!* Но вот вещь еще более редкая и прекрасная — тем не менее *ассоциация идей* явит вам ее легкой и естественной. Представьте себе: ваш кумир болен. Ее красота исчезла под струпьями оспы, словно зелень под тяжестью зимнего льда. Вы смущены, вы долго тревожились, думали о возможных последствиях болезни. И вот вы с грустью смотрите на эти несмываемые стигматы на теле бедной больной, и внезапно у вас в ушах начинает звучать *умирающая* скрипка, мелодия, сыгранная безумным смычком Паганини, — и этот трогательный мотив повествует словно бы именно о вас, пересказывает вам всю вашу тайную поэму о несбывшихся надеждах. И отныне следы оспы на лице женщины станут частью вашего счастья и, взглянув на них, вы каждый раз будете вспоминать таинственную мелодию Паганини. Они станут при-

* Мы могли бы привести в пример Мирабо, но это уже стало банальностью. К тому же его уродливость, судя по всему, была сангвинической — а это вызывает у нас особенную антипатию.

чиной не только нежного сочувствия, но и физического наслаждения — если вы, конечно, одна из тех тонко чувствующих натур, для которых красота — это прежде всего *обещание* счастья. Именно ассоциация идей заставляет нас любить дурнушек, поскольку, если ваша щедушная возлюбленная изменит вам, вы сильно рискуете найти успокоение лишь в объятиях другой щедушной женщины.

Для некоторых более любознательных и пресыщенных умов наслаждение уродливостью возникает из еще более таинственного чувства: жажды непознанного, тяготения к ужасному. Каждый носит в себе более или менее развитый зародыш этого чувства, именно оно влечет некоторых поэтов в аудитории, где учатся студенты-медики, и в больницы, а женщин — в толпу, глазеющую на публичную казнь. Мне будет искренне жаль того, кто не сможет это понять, — арфу, лишенную струны печали.

Что же касается орфографических ошибок, которые некоторым глупцам представляются одним из слагаемых морального уродства, то нелишне будет объяснить, каким образом они могут превратиться в истинно простодушную поэму, полную воспоминаний и наслаждений. Как мило заикался очаровательный Алкивиад! На какой божественной тарабарщине говорит детство! Юный адепт сладострастия, не вздумайте учить вашу подругу французскому языку — сие простительно лишь в том случае, если вам нужно превратиться в ее преподавателя французского, чтобы стать ее любовником.

Есть мужчины, которые начинают стыдиться своей любви к женщине, когда обнаруживают, что она глупа. Это самовлюбленные спесивцы, созданные для того, чтобы поедать самые поганые сорняки мироздания — или домогаться благосклонности какого-нибудь синего чулка. Глупость часто служит оправой для красоты, это она придает глазам сумеречную прозрачность темных водоемов и зеркально-гладкое спокойствие тропических морей. Глупость — это вечный страж красоты, она предохраняет от морщин, это божественная косметика, оберегающая наших кумиров от шрамов, которыми способность размышлять награждает нас, скверных мудрецов!

Есть и такие, кто осуждает своих любовниц за расточительность. Это либо скряги, либо республиканцы, не имеющие ни малейшего понятия об основных принципах политической экономии. Пороки великой нации являются ее главнейшим богатством.

Другие, степенные люди, здравомыслящие и умеренные деисты, закоренелые педанты, приходят в ярость, если их жены становятся слишком религиозны. О, растяпы, которые никогда не сумеют научиться играть ни на одном инструменте! О, трижды глупцы, не понимающие, что самые обольстительные формы, какие только может принять религия, — это именно их жены! Обратить собственного мужа — какое восхитительное яблоко, какой дивный запретный плод, какое ужасное богохульство! — ненастной зимней ночью, с огнем в камельке, с вином и трюфелями... О, безмолвный церковный гимн домашнего счастья, победа, одержанная над самой сутью благочестия, которое, очевидно, оскорбительно для богов!

Я никогда бы не завершил сей труд, если бы захотел перечислить все красоты и достоинства того, что принято называть пороками и моральным уродством; однако самые сердечные и умные люди нередко попадают в одну и ту же тяжелую и мрачную, — словно трагедия, ситуацию. Это случается, когда они оказываются перед выбором: с одной стороны — унаследованное от предков стремление к морали, а с другой — стремление к женщине, которую должно презирать. Многочисленные и недостойные измены, привычка к посещению злчных мест, постыдные тайны, внезапно явленные свету, — все это заставляет вас относиться с ужасом к предмету вашей страсти, и порой даже радость повергает вас в дрожь. Все это сильно расшатывает ваши платонические умопостроения. Добродетель и гордость кричат вам: «Беги от нее!» Природа шепчет вам на ухо: «Куда от нее убежишь?» Жуткая альтернатива, перед лицом которой самые сильные души могут наглядно продемонстрировать, сколь недостаточно наше философское воспитание. Самые изобретательные, обнаружив, что природа принуждает их до бесконечности повторять историю Манон Леско и Леоне Леони, выпутываются из этой ситуации, говоря, что отвращение может отлично сосуще-

ствовать с любовью. Но я вам сейчас дам очень простой рецепт, с помощью которого вы не только освободитесь от этих постыдных оправданий, но и сможете не покидать свою возлюбленную без ущерба для вашей *кристаллизации* *.

Предположим, что героиня вашего сердца, употребив во зло *fas et nefas*** , оказалась на краю гибели, после того как — последняя измена и самая страшная пытка — попыталась соблазнить своими прелестями собственных тюремщиков и палачей***. Откажетесь ли вы так легко от вашего идеала? Или, если природа толкнет вас, сохранившего верность и плачущего, в объятия этой бледной мученицы, — скажете ли вы тогда, да еще с оскорбительным оттенком покорности судьбе: «Отвращение и любовь в родстве между собой!»? Разумеется, нет, ибо подобные парадоксы годятся для робких душ и темных умов. Говорите смело и с наивным простодушием философа: «Мой идеал, будь он менее мерзким, не был бы вполне идеальным. Созерцая его, я ему покоряюсь; ибо одна великая Природа ведаёт, что было у нее на уме, когда она сотворила эту всеильную плутовку. Счастье и высший разум! Совершенство! *Сходство* противоположностей! Ормузд и Ариман, вы суть одно!»

Таким образом, благодаря более широкому взгляду на вещи, восхищение совершенно естественно приведет вас к чистой любви, к этому солнцу, чье сияние вбирает в себя все пятна.

Запомните следующее: в любви нужно прежде всего избегать противоречий. Только наивность спасительна, только ваша наивность сделает счастливой вашу возлюбленную, пусть даже она уродлива, как старуха Моб, царица ужасов. Вообще, для светских людей (по выражению одного хитроумного моралиста) любовь есть всего лишь любовь к игре, любовь к поединку. Это неверно по существу: любовь должна быть любовью; игра и поединок могут быть позволены в любви лишь как политические средства.

* Мы знаем, что все наши читатели прочли книгу Стендаля.

** Закон и беззаконие (*лат.*).

*** Как в романе «Мертвый осел».

Самая серьезная ошибка современной молодежи — это стремление *выдать желаемое за действительное*. Многие молодые влюбленные на самом деле — мнимые больные, без устали принимающие лекарства и выкладывающие немалые деньги г-ну Флерану и г-ну Пургону, и нет у них ни удовольствий, ни привилегий истинной болезни. Заметьте при этом, что они расстраивают свои внутренние органы бесполезными снадобьями; в результате любовь теряет способность переварить самое себя.

Хотя и надо быть вровень с веком, не пытайтесь подражать великолепному Дон Жуану, который, кстати, по мнению Мольера, был не более чем прожженным плутом, хорошо сложенным и знающим толк в любви, преступлениях и словесных уловках, потом, благодаря г-дам Альфреду де Мюссе и Теофилю Готье, превратился в *артиста*-фланера, ищущего путь к совершенству в самых неподобающих местах, а в конце концов оказался просто-напросто постаревшим денди, уставшим от своих путешествий, и самым большим глупцом на свете вместе со своей честной женой, влюбленной в собственного мужа.

Общее и основное правило: если вы влюблены, бегите *луны и звезд*, бегите Венеры Милосской, озер, гитар, веревочных лестниц — и всех и всяческих романов, даже лучшего из лучших, даже если его автор — сам Аполлон!

Но любите — сильно, бесстрашно, с восточной страстностью — ту, которую вы любите; пусть ваша любовь — таящая в себе гармонию — не будет мучением для чужой любви, и пусть ваш выбор не возмутит государство. У инков была принята любовь к родной сестре — довольствуйтесь вашей кузиной. Никогда не влезайте на балконы, не оскорбляйте государственную власть, не отнимайте у вашей возлюбленной нежной веры в Бога, и, когда вы вместе с ней войдете в церковь, благопристойным образом окуните пальцы в чистую и свежую воду кропильницы.

Поскольку всякая мораль свидетельствует о доброй воле ее приверженцев, поскольку религия является высшим утешением для всех скорбящих, поскольку каждая женщина является частью женщины *абсолютной* и поскольку любовь является единственной вещью, ради которой стоит напи-

сать сонет и надеть чистое белье, — я чту все это больше, чем кто бы то ни было, и объявлю лжецом всякого, кто вознамерится отыскать в этих лохмотьях морали повод для крестного знамения — и пищу для скандала. Блистательная мораль, не правда ли? Быть может, цветные стекла слишком радужно окрашивают сияющий внутри вечный светильник истины? Нет, вовсе нет. Если бы я хотел доказать, что все к лучшему в этом лучшем из миров, читатель имел бы право сказать мне, словно некоему гению: ты злой дух. Но я ведь хотел доказать, что пока все к лучшему в этом худшем из миров. А следовательно, мне многое будет прощено, ибо я очень любил... моего читателя... или мою читательницу.



ДНЕВНИКИ

Фейерверки

I

Фейерверки

Даже если бы Бога не существовало, все равно религия была бы Святой и *Божественной*.

Бог — единственное существо, которому, чтобы всевластвовать, даже нет надобности существовать.

Созданное духом живее, чем материя.

Любовь — это вкус к проституции. Вообще нет такого возвышенного удовольствия, которое нельзя было бы возвести к Проституции.

На театральном представлении, на балу каждый услаждает себя всеми.

Что есть искусство? Проституция.

Удовольствие быть в толпе — это таинственное выражение радости, возникающей от умножения числа.

Все — это число. Число заложено во *всем*. Число заложено в индивидууме. Опьянение — это число.

У зрелого человека на смену тяге к рассеянию должна прийти тяга к плодотворной сосредоточенности.

Любовь может проистекать от такого великодушного чувства, как склонность к проституции, но собственническая страсть вскоре портит ее.

Любовь хочет выйти за пределы самое себя, слиться со своей жертвой, как победитель с побежденным, но все-таки сохранить преимущества завоевателя.

Содержатель предается наслаждениям, которые сродни и ангелу-хранителю, и собственнику. Милосердие и жестокость. И то, и другое равно не зависят от пола, красоты и животного начала.

Зеленые сумерки летних сырых вечеров.

Огромная глубина мысли в простонародных речениях — дыры, прорытые поколениями муравьев.

Охотничьи рассказы незримыми нитями связаны и с жестокостью, и с любовью.

II

Фейерверки

О женственности церкви как истоке ее всемогущества.
О фиолетовом цвете (затаенная, скрытная, сокровенная любовь, цвет канониссы).

Священник велик, ибо заставляет поверить в множество удивительных вещей.

Церковь хочет быть всемогущей и вездесущей, потому что таков закон разума человеческого.

Народы обожают власть.

Священники — слуги и фанатики воображения.

Трон и алтарь: революционная максима.

Э. Г., или **ОБОЛЬСТИТЕЛЬНАЯ АВАНТЮРИСТКА.**

Религиозное упоение больших городов. Пантеизм.
Я емь все. Все суть я.

Вихрь.

III

Фейерверки

Кажется, я уже писал в своих заметках, что любовь очень похожа на пытку или хирургическую операцию. Но эту мысль можно развить в самом безрадостном духе. Даже если оба возлюбленных как нельзя более полны страсти и взаимного желания, все равно один из двоих окажется равнодушнее и холоднее другого. Он, или она, — хирург, или палач, а другой — пациент, или жертва. Слышите вздохи, прелюдию к трагедии бесчестья, эти стоны, эти крики, эти хрипы? Кто не издавал их, кто не исторгал их из себя с неудержимой силой? И чем, по-вашему, лучше пытки, чинимые усердными палачами? Эти закотившиеся сомнамбулические глаза, эти мышцы рук и ног, вздувающиеся и каменеющие, словно под воздействием гальванической батареи, — ни опьянение, ни бред, ни опиум в их самых неистовых проявлениях не представят вам столь ужасного, столь поразительного зрелища. А лицо человеческое, созданное, как верил Овидий, чтобы отражать звезды, — это лицо не выражает более ничего, кроме безумной свирепости, или расслабляется, как посмертная маска. Ибо я счел бы себя святотатцем, применив слово «экстаз» к этому процессу распада.

— Чудовищная игра, которая неизбежно принуждает одного из игроков терять власть над собой!

Однажды при мне рассуждали, в чем состоит наибольшее любовное наслаждение. Кто-то, естественно, сказал: в том, чтобы получать, а другой — в том, чтобы отдавать себя. Тот заявил: утеха гордыни! — а этот: сладость самоуничужения. Все эти похабники рассуждали, словно «*Подражание И[исусу] Х[ристу]*». Нашелся даже бесстыжий утопист, уверявший, будто наибольшая утеха любви состоит в том, чтобы производить граждан для родины.

А я сказал: единственное и высшее наслаждение в любви — твердо знать, что творишь зло. И мужчины, и женщины от рождения знают, что сладострастие всегда коренится в области зла.

IV

Планы. Фейерверки. наброски

— Комедия в духе Сильвестра.

Барбара и барашек.

— Шенавар создал некий тип сверхчеловека.

— Мое пожелание Левайяну.

— Предисловие, смесь мистики с игривостью.

Сны и теоретическое их обоснование в духе Сведенборга.

Мысль Кемпбелла (the Conduct of Life*).

Сосредоточенность.

Могущество навязчивой идеи.

— Полнейшая искренность, способ быть оригинальным.

— Высокопарно рассказывать о смешном.

Фейерверки. Догадки

Когда человек сляжет в постель, почти всем его друзьям тайне хочется, чтобы он умер; одни этого хотят из стремления доказать, что здоровьем они куда крепче, нежели он, другие — в бескорыстной надежде изучить весь ход агонии.

Арабески — самые спиритуалистические из рисунков.

V

Фейерверки. Догадки

Писатель колеблет ценности и придает вкус интеллектуальной гимнастике.

Арабески — самые идеальные из рисунков.

Мы тем сильнее любим женщину, чем более она нам чужда. Любить высокоумных женщин — утеха педераста. Между тем скотство исключает педерастию.

Шутовской склад ума не исключает милосердия, но такое сочетание встречается редко.

* Жизненное направление (англ.).

Энтузиазм, вызванный чем-либо кроме абстракций, есть признак слабости и хвори.

Худоба более гола, более непристойна, чем дородность.

VI

— *Трагическое небо*. Эпитет абстрактного порядка, приложенный к материальному веществу.

— Вместе с атмосферой человек впивает свет. Поэтому в народе верно говорят, что ночной воздух вреден для работы.

— Народ — прирожденный огнепоклонник.

Фейерверки, пожары, поджигатели.

Если придумать некоего прирожденного огнепоклонника, к тому же *прирожденного парса*, можно сотворить нечто новое.

Ошибки, связанные с неузнаванием знакомых лиц, возникают из-за помрачения реального облика некой галлюцинацией, рожденной в этот самый миг.

Узнай же радости суровой жизни; и молись, молись без конца. Молитва — вместилище силы. (*Алтарь воли. Нравственная динамика. Чародейство таинств. Гигиена души*).

Музыка углубляет небо.

Жан Жак говорил, что даже в кафе входит с некоторым волнением. Для робких душ театральный билетер слегка похож на судилище в преисподней.

В жизни есть только одно истинное очарование; это очарование *Игры*. Но что, если нам безразлично, выиграть или проиграть?

VII

Догадки. Фейерверки

Нации производят на свет великих людей, но только против собственной воли — точь-в-точь как семьи. Они прилагают все усилия к тому чтобы таких людей не было. Посему великому человеку, чтобы существовать, требуется обладать большей наступательной силой, чем сила сопротивления, оказываемая миллионами двуногих.

По поводу сна, зловещего ежевечернего приключения, можно сказать, что люди изо дня в день засыпают с отвагой, которая казалась бы неизъяснимой, не зная мы, что она проистекает из неведения опасности.

У иных кожа покрыта панцирем, и наказать их презрением невозможно.

Много друзей, много перчаток. Те, кто меня любил, были все люди презираемые, я бы даже сказал — презренные, если бы мне хотелось польстить порядочной публике.

Жиарден заговорил на латыни! *Pecudesque Locutae* *.

Обществу неверующих было естественно послать Робера Удена к арабам, чтобы посеять в них неверие в чудеса.

VIII

Эти большие и прекрасные корабли, чуть заметно покачивающиеся (переваливающиеся с боку на бок) на водной глади, эти могучие корабли всем своим видом говорят, что им здесь нечего делать, что они тоскуют и словно спрашивают нас на языке немых: когда же мы пустимся в путь навстречу счастью?

В драме не забыть о чудесах, чародействе и обо всем романтическом.

* И скоты заговорили (лат.).

Все повествование должно быть погружено в среду, атмосферу. (Посмотреть «Дом Ашеров» и сослаться на него относительно глубинных ощущений от гашиша и опиума.)

Бывают ли математические упомешательства, бывают ли сумасшедшие, считающие, что два плюс два равно трем? Иначе говоря, может ли галлюцинация — если такое выражение не слишком режет слух — распространяться на отвлеченные понятия? Если какой-либо человек до такой степени привык к лени, пустым мечтам, безделью, что вечно откладывает на потом наиважнейшие дела, и если другой человек в одно прекрасное утро поднимет его ударами бича и будет безжалостно хлестать, куда тот, не умея трудиться ради удовольствия, не станет трудиться из страха, — разве этот бичующий не есть на самом деле его друг и благодетель? К тому же можно утверждать, что удовольствие придет позже, и это куда резоннее, чем утверждение, будто любовь приходит после брака. То же и в политике: истинный святой — тот, кто бичует и избивает народ для его же блага.

Вторник 13 мая 1856

Взять экземпл[яры] у Мишеля.

Написать Манну

Уиллису

Марии Клемм

Послать к Мад. Дюмэ

— узнать насчет Миреса...

В чем нет легкого уродства, то кажется бесчувственным; из этого следует, что неправильное, то есть неожиданное, необыкновенное, удивительное — есть важнейшая часть и характернейшее свойство красоты.

IX

Заметки. Фейерверки

Теодор де Банвиль — не материалист в точном смысле слова; он пронизан светом.

Его поэзия — это отражение часов счастья.

Получив письмо от кредитора, пишите всякий раз пять-десять строк на какую-нибудь вселенскую тему — и будете спасены!

Широкая улыбка на прекрасном лице гиганта.

О самоубийстве и маниакальной тяге к самоубийству, рассмотренных в связи со статистикой, медициной и философией.

Бриер де Буамон.

Найти место:

Жить рядом с существом, питающим к вам одно только отвержение...

Портрет *Серена*, написанный *Сенекой*, и *Стагира*, написанный святым *Иоанном Златоустом*.

*Acedia**, болезнь монахов.

*Taedium vitae***.

Фейерверки

Перевод и парафраз: *Страсть все возводит к себе самой.*

Духовные и физические наслаждения, даруемые нам грозой, электричеством и молнией, набат угрюмых воспоминаний о давно минувшей любви.

Х

Я нашел определение Прекрасного — моего Прекрасного. Это нечто пылкое и печальное, нечто слегка зыбкое, оставляющее место для догадки. Если вы не возражаете, я приложу это свое определение к осязаемому предмету, например к самому интересному из всех существующих в человеческом обществе — к лицу женщины. Обольстительное, прекрасное — я говорю все о нем, о женском лице, — оно навеивает мысли, пусть и смутные, но исполненные

* Угрюмость (лат.).

** Отвращение к жизни (лат.).

одновременно меланхолии, усталости, даже пресыщенности, или, напротив того, распаляет пламень, жажду жизни, смешанную с такой горечью, какую обычно рождают утрата и отчаяние. Тайна и сожаление тоже суть признаки Прекрасного.

Красивому мужскому лицу нет нужды выражать — возможно, не с женской точки зрения, но уж безусловно с мужской — ту идею сладострастия, которая сообщает лицу женщины такую привлекательность, особенно если оно проникнуто меланхолией. Но это мужское лицо тоже будет отмечено пылкостью и печалью — духовными исканиями, таимыми в глубинах души честолюбивыми замыслами — грозной силой, не находящей себе применения, — подчас мстительным бесчувствием (поскольку такое бесчувствие весьма существенно для идеального типа Денди), подчас также — и это один из самых интересных признаков красоты — тайной и, наконец (коль скоро я набрался храбрости признаться, каким модернистом чувствую себя в области эстетики), — *Горем*. Я не утверждаю, будто Радость не может сочетаться с Красотой, но, по-моему, Радость — одно из ее самых вульгарных украшений, меж тем как меланхолия, так сказать, — ее благородная спутница, поэтому я не в силах вообразить (быть может, мой мозг — заколдованное зеркало?) тип красоты, которая не была бы пронизана *Горем*. Опираясь на эти мои мысли, кое-кто, пожалуй, скажет: он одержим этими мыслями, — действительно, трудно не прийти к выводу, что для меня наиболее совершенный тип мужской Красоты — это *Сатана* в манере Мильтона.

XI

Фейерверки

Самообожествление

Обдуманная уравновешенность характера.

Соразмерность характера и способностей.

Обряд веры (магия, заклинание духов).

Жертва и обет — точнейшие формулы и символы об-
мена.

Два основных литературных достоинства: супернатурализм и ирония.

Индивидуальный взгляд, ракурс, в котором предстает перед писателем действительность, далее — сатанинский склад ума. Супернатуральное включает в себя общий колорит и оттенки, то есть интенсивность, звучность, прозрачность, искрометность, глубину и способность отзываться в пространстве и времени.

Бывают в жизни мгновения, когда время и протяженность делаются глубже, а ощущение жизни невероятно усиливается.

От магических призывов, обращенных к духам великих усопших, — к восстановлению и укреплению здоровья.

Наитие всегда нисходит к человеку, когда оно желанно, но не всегда покидает его, когда он того пожелает.

О языке и манере письма, понимаемых как магические заклинания, как волшба, вызывающая духов.

Выражение женских лиц.

Прелестные выражения, составляющие их красоту, таковы:

Пресыщенное

Скучающее

Ветреное

Бесстыдное

Холодное

Самоуглубленное

Величественное

Повелительное

Злое

Болезненное

По-кошачьи ласковое,

детски-шаловливое, смесь равнодушия с хитростью

При некоторых почти сверхъестественных состояниях души вся глубина жизни приоткрывается в самых обыденных вещах, попадающих вам на глаза. Они становятся символами.

Когда, переходя бульвар, я с некоторой суетливостью увертывался от экипажей, ореол не удержался над моей головой и упал в грязь, на мостовую. К счастью, я успел его подобрать; но тут же на ум мне пришла зловещая мысль, что это дурная примета; и вот с той минуты мне

было не отделаться от этой мысли: она весь день не давала мне покоя.

От культа собственного «я» в любви — к соображениям здоровья, гигиены, туалета, духовной возвышенности и красноречия.

*Self-purification and anti-humanity**.

В акте любви заметно большое сходство с пыткой или с хирургической операцией.

В молитве заложено магическое действие. Молитва — одна из величайших сил интеллектуальной динамики. Ее можно уподобить электрической индукции.

Четки — это связующее звено, проводящая среда: это молитва, сделавшаяся общедоступной.

Труд, сознательная приумножающая сила, подобно капиталу, приносит проценты как в смысле плодов этого труда, так и в смысле способностей.

Как бы плодоносна ни была игра, ведущаяся пускай даже по правилам науки, но всегда от случая к случаю ее все равно одолеет труд, даже самый скромный, зато постоянный.

Если поэт испросит у государства права держать у себя в конюшне нескольких буржуа, все очень удивятся, а вот если буржуа попросит себе на обед зажаренного поэта, все воспримут это как должное.

Эта книга не повергнет в смущение ни моих жен, ни дочерей, ни сестер.

Недавно он испросил позволения поцеловать у ней ножку и, пользуясь случаем, поцеловал эту прелестную ножку в тот самый миг, когда контуры ее четко вырисовывались на фоне заката.

* Самоочищение и антигуманность (англ.).

Кошечка, киска, котяра, мой котик, волчонок, обезьянка моя, обезьяница, удав ты мой, печальный мой ослик.

Подобные языковые причуды, повторяемые слишком часто и упорно клички, заимствованные из животного мира, свидетельствуют о сатанинском начале, присущем любви: разве черти не принимают звериный облик? Верблюд Казота — это и верблюд, и дьявол, и женщина.

Некий человек вместе с женой приходит в тир. Он прицеливается в куклу и говорит жене: «Я представляю себе, что это ты». Зажмуривается и разносит куклу вдребезги. Потом, целуя спутнице руку, говорит: «Ангел мой, как я тебе благодарен за свою меткость!»

Когда я внушу всему свету гадливость и омерзение — тогда я добьюсь одиночества.

Эта книга не предназначена для моих жен, дочерей и сестер. — Этого добра у меня не много.

У иных людей — шкура как панцирь: презирая их, не испытываешь ни малейшего удовольствия.

Много друзей, много перчаток — из опасения подхватить чесотку.

Те, кто меня любил, были людьми презираемыми, я бы даже сказал — достойными презрения, захоти я польстить *порядочным людям.*

Бог есть соблазн, приносящий доход.

ХII

Фейерверки

Не презирайте людской чувствительности. Чувствительность любого человека — это его добрый гений.

Только в двух местах мы платим за право расходовать: в общественной уборной и у женщин.

Пылкая внебрачная связь приобретает для нас все то блаженство, которым наслаждаются юные новобрачные.

Раннее влечение к женщинам. Запах мехов я путал с запахом женщины. Помню... В конечном счете я любил мать за ее элегантность. Значит, я рано сделался денди.

Предки мои, слабоумные или маньяки, в парадных по-коях, обуреваемые гнусными страстями.

В пуританских странах недостает двух элементов, необходимых порядочному человеку для счастья, — галантности и набожности.

Смесь гротескного и трагического приятна уму, как диссонанс — пресыщенному уху.

В дурном вкусе есть свое упоение: это изысканное удовольствие доставлять неудовольствие.

Германия выражает мечтательность линией, а Англия — перспективой.

При зарождении всякой высокой мысли происходит нервная встряска, отдающаяся в мозжечке.

Испания вкладывает в веру всю свирепость, от природы присущую любви.

Стиль.

Вечно звучащая нота, вечный, не ведающий границ и рубежей стиль. Шатобриан, Альф. Рабб, Эдгар По.

ХІІІ

Фейерверки. Догадки

Почему демократы не любят котов, догадаться нетрудно. Кот красив; он наводит на мысли о роскоши, чистоте, неге и т. д...

Фейерверки

Работа, пусть и небольшая, но повторенная триста шестьдесят пять раз, приносит триста шестьдесят пять раз деньги, пусть и небольшие, но в сумме образующие целое состояние. А заодно *одаряет и славой*.

Точно так же множество маленьких радостей слагается в счастье.

Штампы создают гении.

Я должен создать штамп.

Словесные блески — шедевр.

Тон Альфонса Рабба.

Тон соержанки (*Моя красавица! Ветреный пол!*).

Вечный Тон.

Краски грубые, рисунок резко очерченный.

Примадонна и подручный мясника.

Моя мать — это нечто невероятное: надо ее бояться и угождать ей.

Надменный Хильдебранд.

Цезаризм Наполеона III. (Письмо Эдгару Нею.)

Папа и император.

XIV

Фейерверки. Догадки

Предаться Сатане — что это?

Что может быть абсурднее Прогресса, коль скоро каждодневно подтверждается, что человек всегда неизменен и равноценен любому другому человеку, то есть как был, так и остался дикарем. Что значат опасности, подстерегающие в лесу и на равнине, по сравнению с повседневными потрясениями и войнами в недрах цивилизации? Сжимает ли человек свою одуроченную добычу в объятиях на бульваре или пронзает дичь в глухом лесу — разве это не тот же

неизменный человек, то есть самое совершенное из всех хищных животных?

— Говорят, что мне тридцать лет, но если бы в одну минуту я прожил три... мне было бы девяносто, не так ли?

..... Быть может, труд — это особая соль, на долгий срок сохраняющая души-мумии?

Начало романа, приступить к сюжету с какого угодно места, а чтобы не исчезло желание довести дело до конца, начать с самых красивых фраз.

XV

Фейерверки

Я полагаю, что безмерное и таинственное очарование, которое кроется в созерцании корабля, особенно плывущего, объясняется, во-первых, тем, что правильность и симметрия суть, наряду со сложностью и гармонией, главные потребности ума человеческого, а во-вторых, последовательным умножением и воспроизведением всех тех воображаемых линий и фигур, которые описывают в пространстве реальные части предмета.

Это движение, претворяемое в линиях, рождает в нас некую поэтическую идею, некую гипотезу об огромном, необъятном, сложном, но гармоничном существе и взыскующем всего, чего взыскуют и к чему неустанно стремятся люди.

Цивилизованные народы, вы, в тупости своей постоянно твердящие о *дикарях* и *варварах*, — очень скоро, как сулит д'Оревилли, *вам не по плечу станет даже идолопоклонничество!*

Стоицизм — это религия, ведающая лишь одно таинство: самоубийство!

Придумать канву для лирической или феерической буфонады, для пантомимы, и претворить потом в серьезный роман. Погрузить все это в атмосферу неправдоподобия и сновидения — в атмосферу великих дней. Пускай это бу-

дет нечто убаюкивающее — даже в самой страсти безмятежное. Область чистой поэзии.

Взволнованный новой встречей с наслаждением, таким похожим на воспоминания, растроганный мыслью о дурно прожитом минувшем, о стольких ошибках, стольких распрях, стольких проступках, которые нужно было друг от друга скрывать, он заплакал; и горячие слезы в потемках закапали на обнаженное плечо его дорогой и по-прежнему желанной возлюбленной. Она вздрогнула: она тоже была тронута, тоже расчувствовалась. Потемки служили надежным укрытием ее тщеславию, ее дендизму холодной женщины. Эти два существа, опустившиеся, но все еще сохранявшие остатки благородства и поэтому способные страдать, внезапно заключили друг друга в объятия, мешая в дожде слез и поцелуев горести минувшего со столь зыбкими надеждами на будущее. Вероятно, никогда наслаждение не было исполнено для них такой нежности, как в эту ночь, источавшую печаль и сострадание, — наслаждение, напитанное болью и угрызениями совести.

Сквозь ночную темень он вглядывался в глубь годов, оставшихся позади, потом бросился в объятия своей грешной подруги с надеждой, что она простит его, как он ее простил.

— Гюго часто думает о Прометее. Он прижимает воображаемого грифа к груди, которую пощипывают лишь полынные сигары тщеславия. Галлюцинация все усложняется, развивается, прогрессируя согласно описанной врачами схеме, и вот он уже воображает, будто *по воле* Провидения остров Джерси превратился в остров Святой Елены.

В этом человеке так мало элегического, так мало воздушного, что он внушил бы отвращение даже нотариусу.

Жрецы, блюдущие культ Гюго, ходят всегда склонив головы — да так низко, что не видят ничего, кроме собственных пупов.

Кто только не зовется ныне жрецом? Юнцы — и те сплошь стали жрецами, по уверениям самих юнцов.

И что только не именуют нынче молитвой! Испражняться — тоже молиться, если верить тому, что говорят, испражняясь, демократы.

Г-н де Понмартен всегда выглядит так, словно только что прибыл из родной провинции...

Человек — имею в виду всех и каждого — *от природы* настолько испорчен, что менее страдает от общей приниженности, чем от установления разумной иерархии.

Земной мир придет к своему концу. Единственная причина, по которой он мог бы существовать и далее, состоит в том, что он существует. Но как зыбка эта причина в сравнении с теми, что предвещают обратное, в частности, например, вот с такой: осталось ли у земного мира хоть какое-нибудь предназначение во вселенной? — Ибо, пускай он по-прежнему будет существовать в материальном смысле, останется ли его существование достойно этого слова и упоминания в историческом словаре? Я вовсе не утверждаю, что мир скатится до шутовских уловок и неразберихи южноамериканских республик, что даже, быть может, мы снова превратимся в дикарей и с ружьем в руках пойдем через поросшие травой руины нашей цивилизации искать себе пропитание. Нет, ибо такая судьба и такие приключения все же предполагали бы некую жизненную энергию, отголосок древнейших времен. Новейшие образчики и новейшие жертвы неумолимых нравственных законов, мы погибнем от того самого, в чем видели средство выжить. Нас настолько американизирует механика, а прогресс настолько атрофирует в нас духовное начало, что с его положительными результатами не сравнится ни одна кровожадная, кошунственная или противоестественная греза утопистов. Пусть кто-нибудь из мыслящих людей назовет мне хоть что-то, поныне уцелевшее от живой жизни. Что до религии, полагаю бесполезным толковать о ней и выискивать ее остатки, ибо снисходить до отрицания Бога — вот единственное, чем можно соблазниться в подобных вопросах. Собственность исчезла, видимо, одновременно с отменой права первородства; но придет час, ког-

да человечество, подобно людоеду-мстителю, вырвет последний кусок изо рта у тех, кто считает себя наследниками революций, и это будет еще не худшим из зол.

Человеческое воображение без особого труда может представить себе республики или другие управляемые обща государственные устройства, достойные даже некоторой славы, коль скоро там во главе власти стоят священные персоны, истинные аристократы. Однако всеобщий крах, или всеобщий прогресс, проявится более всего не в политических учреждениях, ибо мне не так уж и важно, что как называется. Он проявится в одичании сердец. Надо ли говорить, что ничтожные последыши-политиканы станут жалко барахтаться в объятиях всеобщего озверения и что правители, желая удержаться у кормила власти и создать призрак порядка, будут вынуждены прибегнуть к средствам, которые заставили бы содрогнуться нынешнее столь очерствевшее человечество? — Вот тогда сын сбежит из родного дома не в восемнадцать лет, а в двенадцать, повинувшись зову своей всеядной преждевременной зрелости, и сбежит не в поисках героических приключений, не ради того, чтобы освободить красавицу, томящуюся в башне, не ради того, чтобы обессмертить каморку на чердаке возвышенными помыслами, а чтобы основать свое дело, обогатиться и составить конкуренцию собственному подлому папаше, основателю и акционеру газеты, которая будет распространять просвещение и в сравнении с которой тогдашний «Съкль» покажется оплотом достоверности. И тогда заблудшие, опустившиеся женщины, успевшие переменить по несколько любовников, те, кого иногда благодарно именуют Ангелами за то легкомыслие, что, подобно блуждающему огоньку, озаряет их существование, логичное, как само зло, — вот они-то и предстанут воплощением беспощадной мудрости, мудрости, которая безоговорочно осудит все, кроме денег, все, даже *обман чувств!* Тогда любое свойство, сходное с добродетелью, — да что я говорю! — все, что не есть прямая приверженность Плутосу, будет считаться пределом бессмыслицы. Правосудие — если в те благодатные времена еще уцелеет правосудие! — объявит недееспособными тех граждан, которые не сумеют сколотить себе состояния. — Твоя супруга, о Буржуа! — твоя

целомудренная половина, чья законность в твоих глазах овееяна поэзией, ибо узаконивает безупречную мерзость, — бдительная и нежная охранительница твоего сейфа, станет, наконец, совершенным образцом содержанки. Твоя дочь, в ребяческой своей зрелости, в колыбели станет грезить о том, как она продаст себя за миллион. А ты сам, о Буржуа — будучи еще в меньшей степени поэтом, чем ныне, — ты не усмотришь в этом ничего дурного; ты не пожалеешь ни о чем. Ибо в человеке одно укрепляется и разрастается по мере того, как другое истончается и сходит на нет, и со временем, благодаря прогрессу, внутри у тебя ничего не останется, кроме кишок! — Времена эти, быть может, совсем недалеки, возможно даже, что они уже пришли, и лишь ожирение наших чувств препятствует нам оценить атмосферу, которой мы дышим!

Ну а я, подчас ощущающий в себе нелепую чужаковость пророка, — я знаю, что никогда мне не удастся обрести человеколюбие врача. Затерянный в этом гнусном мире, затертый и помятый людскими толпами, я подобен измученному человеку, который, озираясь назад, в глубь годов, видит лишь разочарование да горечь, а глядя вперед — грозу, не несущую в себе ничего нового, ни знания, ни скорби. Ввечеру, украв у судьбы несколько часов радости, убаюканный пищеварением, забывший — насколько возможно забыть — о минувшем, довольный настоящим и смирившийся с будущим, упоенный своим хладнокровием и своим дендизмом, гордый тем, что не опустился так низко, как те, что проходят мимо, человек этот говорит себе, созерцая дым от своей сигары: «Какое мне дело до того, куда идут эти поденщики?»

Пожалуй, я отвлекся на то, что у профессионалов называется вставным эпизодом. Все же оставляю эти страницы, ибо хочу обозначить дату своей ярости (печали).

Гигиена

I

Фейерверки. Гигиена. Наброски

Чем больше желаешь, тем лучше желаешь.

Чем больше трудишься, тем лучше трудишься и тем больше хочешь трудиться. Чем больше производишь, тем становишься плодовитее.

После загула всегда чувствуешь себя более одиноким, более заброшенным.

И нравственно, и физически я всегда ощущал близость бездны — не только бездны сна, но и бездны действия, воспоминания, мечты, желания, печали, раскаяния, красоты, множества и т. д.

С наслаждением и ужасом я пестовал свою истерию. Теперь у меня все время кружится голова, а сегодня, 23 января 1862 года, мне было дано странное предупреждение, я почувствовал, как на меня повеял ветер, поднятый крылом безумия.

Гигиена. Мораль

В Онфлер! Как можно скорей, пока не скатился еще ниже.

Сколько предчувствий и сколько знамений, ниспосланных мне Богом, свидетельствуют, что поистине пришло время действовать и пора наконец осознать, что нынешняя минута — это наиболее важная из всех минут, пора превратить мою привычную пытку, то есть Труд, в беспредельное наслаждение!

II

Гигиена. Поведение. Мораль

Нас ежеминутно гнетут идея и ощущение времени. И есть только два способа избавиться от этого кошмара, забыть о нем: наслаждение и труд. Наслаждение изнуряет нас. Труд придает сил. Давайте выбирать.

Чем дольше прибегаем мы к одному из этих способов, тем большее отвращение испытываем к другому.

Только используя время, можно забыть о нем.

Все совершается только мало-помалу.

Фейерверки

Рассуждать меня научили де Местр и Эдгар По.

Долгий труд — это такой труд, к которому не осмеливаешься приступить. Он превращается в кошмар.

Гигиена

Откладывая на потом то, что следует сделать сейчас, рискуешь так никогда и не суметь это сделать.

Не обратившись на путь истинный сразу, подвергаешься опасности погубить свою душу.

Чтобы исцелиться от чего угодно, от нищеты, болезни и меланхолии, недостает только одного — Вкуса к Труду.

III

Драгоценные записи

Изо дня в день делай, что велят долг и благоразумие.

Если будешь работать изо дня в день, жизнь сделается для тебя более сносной.

Работай шесть дней, не давая себе передышки.

Чтобы найти сюжеты, *γνωθι σεαυτον**. (Список моих пристрастий.)

Всегда оставайся поэтом, даже в прозе. Высокий стиль (ничего нет прекраснее общих мест).

Прежде всего начни, а далее прибегай к логике и анализу. Любая гипотеза требует вывода.

Обрести ежедневное лихорадочное рвение.

IV

Гигиена. Поведение. Мораль

Две части:

Долги (Ансель)

Друзья (мать, друзья, я сам).

Итак, 1000 фр. следует разделить на две части по 500 фр. каждая, и одну часть — на три доли.

* Познай самого себя (*греч.*).

В Онфлере:

Пересмотреть и разложить по порядку все мои письма (два дня).

И все мои долги (два дня). (Четыре категории: векселя, крупные долги, мелкие долги, друзья.)

Разобрать гравюры (два дня).

Разобрать записи (два дня).

V

Гигиена. Мораль. Поведение

Слишком поздно, быть может! — Мать и Жанна. — Мое здоровье — из милосердия, из чувства долга! — Болезнь Жанны. Нemoшь и одиночество матери.

— Неукоснительно исполнять свой сегодняшний долг, а в том, что касается завтрашнего, полагаться на Бога.

— Единственный способ заработать денег состоит в том, чтобы трудиться бескорыстно.

Мудрость в кратком изложении. Утренний туалет, молитва, труд.

— Молитва: милосердие, мудрость и сила.

— Без милосердия я лишь кимвал бряцающий.

— Мои унижения были милостью Божией.

— Окончилась ли для меня фаза эгоизма?

— Способность откликаться на сиюминутную необходимость, короче говоря, неукоснительная точность, безусловно, будет вознаграждена.

«Затянувшееся до бесконечности горе действует на душу, как старость на тело: человек уже не в силах шевельнуться; он ложится...

С другой стороны, ранняя молодость бывает поводом для всяческих отсрочек; когда у человека в запасе много времени, он уговаривает себя, что впереди у него годы и годы, которые можно беспечно растрчивать в ожидании грядущих событий.

Шатобриан».

Гигиена. Поведение. Метод

Жанне 300, матери 200, мне 300. 800 фр. в месяц. Работать с 6 утра до полудня натошак. Работать вслепую, без цели, с одержимостью сумасшедшего. Поглядим, что из этого выйдет.

Мне кажется, что судьба моя зависит от того, сумею ли я ежедневно и неотрывно трудиться по несколько часов.

Все поправимо. Время еще есть. И даже — кто знает! — будут еще и новые радости?..

Слава, расплачусь со всеми долгами. *Благоденствие* Жанны и матери.

Я еще не изведал радости, которую приносит исполнение плана. Могущество навязчивой идеи. Могущество Надежды.

Привычка к исполнению Долга прогоняет страх. Надобно хотеть мечтать и уметь мечтать. Заклинание вдохновения. Магическое искусство. Немедля сесть за стол и писать. Я чересчур много рассуждаю.

Сиюминутный труд, даже неумелый, все равно ценнее погружения в грезы.

Череда малых волевых усилий приносит значительные плоды.

Каждое послабление воли — это частичка утраченной субстанции. До чего же расточительно колебание! Подумать только, какие огромные усилия приходится совершать впоследствии, чтобы покрыть такие потери!

Человек, совершающий ввечеру молитву, — все равно что офицер, выставляющий часовых. Он может спать спокойно.

Сны о Смерти и предупреждение.

До сих пор я наслаждался своими воспоминаниями только в полном одиночестве. Нужно наслаждаться ими вдвоем. Обратить сердечные услады в страсть.

Ведь я понимаю, что такое жизнь, достойная славы; я чувствую, что способен прожить ее. О Жан Жак!

Труд — хочешь не хочешь — порождает добронравие, умеренность и нравственную чистоту, а значит, и здоровье, богатство, последовательный и постоянный рост дарования и милосердие.

Age quod agis*.

Рыба, холодные ванны, душ, мох, в случае надобности пастилки; первым делом исключить все возбуждающее.

Исландский мох 125 г.

Белый сахар 250 г.

Вымачивать мох в течение 12 — 15 часов в достаточном количестве холодной воды, затем эту воду слить.

Кипятить мох в 2 литрах воды на слабом огне, пока два литра не уменьшатся до одного; один раз снять пену; затем добавить 250 граммов сахара и варить, пока не загустеет до консистенции сиропа.

Остудить. В день принимать по три большие столовые ложки утром, днем и вечером. Если приступы учащаются, дозу можно превышать.

VII

Гигиена. Поведение. Метод

Клянусь самому себе, что следующие правила сделаются отныне незыблемыми правилами моей жизни:

Каждое утро возносить молитву Богу — вместилищу всей сущей силы и справедливости, и моим заступникам — отцу, Мариетте и По; молить их о ниспослании мне силы, достаточной для исполнения моего долга, и о даровании матери моей такого долголетия, чтобы она дождалась моего перерождения; трудиться целый день или по крайности столько, сколько позволят силы; в осуществлении моих планов положиться на Бога, то есть на воплощенную Справедливость; каждый вечер снова молиться, испрашивая у Бога жизни и сил для матери и для меня; всякий зарабо-

* Делай, что должен делать (*лат.*).

ток делить на четыре части — одну на каждодневные нужды, одну кредиторам, одну друзьям, а одну матери; повиноваться правилам самой строгой воздержанности, из коих первое — это отказ от всех возбуждающих средств, каковы бы они ни были.

VIII

Гигиена. Поведение. Метод

(Извлечение из «The Conduct of Life»* Эмерсона)

Великие люди... не были хвастунами и фиглярами, но ужас жизни был внятн им, и они мужались перед его лицом.

«Судьба есть не что иное, как поступки, совершенные в предыдущем существовании».

«То, чего мы желаем в молодости, с избытком приходит к нам в старости», чем слишком часто бывает омрачено исполнение наших желаний; следовательно, нам ниспослано торжественное предупреждение о том, что, коль скоро мы наверняка получим желаемое, следует быть на чеку и желать лишь по-настоящему великих вещей.

Единственное правило благоразумия в жизни есть сосредоточенность; единственное зло — рассеяние.

Поэт Кемпбелл говорит, что «человек, привычный к труду, способен успешно исполнить всякую задачу, какую он перед собой поставит, и если говорить о нем самом, стрекалом для его музы была необходимость, а не вдохновение».

В наших повседневных делах надобно бывает принять решение — по мере возможности наилучшее; но какое угодно решение все-таки предпочтительнее, чем отсутствие решения.

Если характер слабеет — на то есть дисциплина, власть обычая и привычка.

Среди добродетельных людей больше таких, кто пришел к этому путем упражнения, чем тех, кто добродетелен от природы, говорит Демокрит.

* «Жизненное направление» (англ.). Нижеследующие выдержки из Эмерсона приведены Бодлером по-английски. (Примеч. пер.).

Мирабо говорил: «Какое право имели бы мы назвать себя людьми, если бы мы не стремились всегда и во всем добиваться успеха? Никогда ни о чем не говорите: *«Это дело не стоит моих усилий»*, и не думайте, будто оно вам не по плечу. Нет невозможного для человека, который умеет хотеть. *Необходимо ли это? Без этого не обойтись.* Таков единственный *Закон успеха*».

Мы обретаем силу, когда делаем над собой усилие.

Герой — это тот, кто неизменно сосредоточен.

Главное различие между людьми состоит, видимо, в том, что одни способны принять на себя обязательства, на исполнение которых можно рассчитывать, а другие этого не делают. *Тот, кто не имеет внутреннего закона в душе, не может быть ни к чему привязан.*

Если хотите быть могущественным — притворитесь могущественным.

Ты ищешь великих деяний? Не ищи!

Жизненное направление:

— Великие люди не были... великих вещей.

— Его сердце было престолом воли.

— Жизнь есть стремление к могуществу.

— Не бывает добросовестных поисков, которые остались бы без вознаграждения.

— Стремление к успеху следует рассматривать как неотъемлемую черту нашей натуры.

— Единственное правило благоразумия... а не вдохновение.

— Решение... утверждал Демокрит.

— *Pecunia alter sanguis**.

— Мирабо говорил... неизменно сосредоточен.

— Ваши теории и жизненные планы законны и похвальны;

— Но будете ли вы им следовать?

— Если вы... могущественным.

* Деньги — разновидность крови (*лат.*).

Мое обнаженное сердце

I

О разрежении и сгущении моего «я». Всё — в этом.

О некоем чувственном наслаждении, испытываемом в обществе сумасбродных людей.

(Я думаю приступить к «Моему обнаженному сердцу»; не зная, с чего и как начать его, я предполагаю продолжать свою работу изо дня в день, смотря по вдохновению и в зависимости от обстоятельств, лишь бы только это вдохновение было достаточно сильно.)

Первый встречный имеет право говорить сам о себе, лишь бы это было занятно.

Я понимаю, что можно быть дезертиром одного дела, чтобы узнать, что испытываешь, служа другому делу.

Наверное, есть своя особенная прелесть в том, чтоб быть попеременно то жертвой, то палачом.

II

Глупости Жирардена.

Мы привыкли брать быка за рога. Ухватимся же за окончание речи (7 нояб. 1863).

Итак, Жирарден считает, что рога у быка растут из зада. Он путает рога с хвостом.

Пусть, прежде чем подражать Птолемеям французской журналистики, бельгийские журналисты потрудятся поразмышлять над вопросом, который я всесторонне изучаю вот уже тридцать лет, доказательством чему послужит книга, которая скоро выйдет в свет под заглавием «Проблема прессы»; пусть же они не торопятся называть *в высшей степени смешным** мнение, которое так же верно, как то, что Земля вращается, а Солнце не вращается.

Эмиль де Жирарден

* «Есть люди, утверждающие, будто ничто не мешает нам считать, что небо неподвижно, а вот Земля вращается вокруг своей оси. Но эти люди не чувствуют, насколько — при всем том, что происходит вокруг нас, — их суждения *в высшей степени смешны* (πανυ γελοιοτατων)». (Птолемей, Альмагест, кн. I, гл. VI).

III

Женщина — прямая противоположность Денди.

Значит, она должна вызывать ужас.

Женщина голодна — и она хочет есть. Она чувствует жажду — и хочет пить.

Ею овладевает похоть — и она хочет отдаться.

Блестящая заслуга!

Женщина *естественна*, то есть отвратительна. К тому же она всегда вульгарна, а значит, она — прямая противоположность Денди.

Относительно ордена Почетного Легиона

Тот, кто стремится получить крест, как бы заявляет: если меня не наградят за то, что я исполнил свой долг, в следующий раз я не стану исполнять его.

Если человек имеет действительные заслуги, зачем награждать его? Если же у него их нет, можно и наградить, ведь это придаст ему блеск.

Согласиться на награду — значит признать за государством и правителем право судить вас, отличать вас и т. д.

Впрочем, если не гордыня, то, по крайней мере, христианское смирение запрещает носить орденский крест.

Выкладки в пользу Бога

Ничто не существует без цели.

Тогда и у моего существования есть цель. Какая цель? Это мне неизвестно.

Значит, не я ее определил.

Значит, это сделал кто-то другой, гораздо мудрее меня.

И значит, надо просить этого другого, чтобы он просветил меня. Пожалуй, это разумнее всего.

* Бессмысленный набор латинских слов.

Денди должен стремиться к неизменно возвышенному состоянию духа; он должен жить и спать перед зеркалом.

IV

Анализ антирелигий, пример: священная проституция. Что такое священная проституция?

Нервное возбуждение.

Мистичность язычества.

Мистицизм — дефис между язычеством и христианством.

Язычество и христианство выявляют друг друга.

Революция и культ Разума выявляют идею жертвенности.

Суеверие — вместилище всех истин.

В каждой перемене есть нечто одновременно постыдное и приятное, нечто схожее и с вероломством, и с переездом на новое место жительства. Это в достаточной степени объясняет французскую революцию.

V

Мое опьянение в 1848 г.

Какова была его природа?

Жажда мести. *Естественная* радость разрушения.

Книжное опьянение; воспоминание о прочитанном.

15 мая. — Все та же жажда разрушения. Жажда вполне законная, если все, что естественно, — законно.

Ужасы июня. Безумие народа и безумие буржуазии. Врожденная любовь к преступлению.

Моя ярость во время государственного переворота. Сколько раз я лез под пули. Этаким новым Бонапарт! Какой позор!

Тем не менее все улеглось. Разве у президента нет права обратиться с воззванием?

Что из себя представляет император Наполеон III. Чего он стоит. Найти объяснение его природе и его провиденциальности.

VI

Быть полезным человеком мне всегда казалось невероятно гнусным.

1848 г. был забавен хотя бы потому, что каждый в это время строил утопии, как воздушные замки.

1848 г. был очарователен — но лишь благодаря избытку смехотворного.

Робеспьера ценят только за то, что он произнес несколько красивых фраз.

Своими жертвоприношениями Революция утверждает суеверие.

VII

ПОЛИТИКА.

У меня отсутствует то, что люди моего века называют убеждениями, потому что я лишен честолюбия.

Во мне самом нет основы для какого-либо убеждения.

Есть некая боязливость, или, вернее, некая вялость, присущая порядочным людям.

Убеждены одни только грабители — в чем? — в том, что они должны преуспеть.

И они преуспевают.

Почему же я должен преуспевать, если у меня нет никакого желания даже попытаться?

Можно основать великие империи на преступлении и исполненные благородства религии — на лжи.

Между тем у меня есть несколько убеждений — в более возвышенном смысле, который моим современникам непонятен.

Чувство *одиночества*, с самого моего детства. Несмотря на близких — и особенно в кругу товарищей — чувство вечно одинокой судьбы.

В то же время — сильная жажда жизни и удовольствий.

VIII

Почти всю нашу жизнь мы тратим на удовлетворение любопытства по пустякам. Между тем есть вещи действительно важные, те, что должны были бы интересовать нас в высшей степени. Но, судя по нашему образу жизни, они нам совершенно безразличны.

Где наши умершие друзья?

Зачем мы здесь?

Откуда мы пришли?

Что такое свобода?

Может ли она сочетаться с законом предопределения?

Конечно или бесконечно число душ?

А число миров, пригодных для обитания?

И т. д. и т. п.

Нации порождают великих людей лишь вопреки себе самим. Следовательно, великий человек — победитель собственной нации.

Смешные современные религии:

Мольер.

Беранже.

Гарibaldi.

IX

Вера в прогресс — вот доктрина лентяев, доктрина *бельгийцев*. Ее смысл: человек рассчитывает на то, что сосед выполнит его работу.

Не может быть прогресса (истинного, т. е. морального), который не заключался бы в самом человеке и не осуществлялся бы им самим.

Но мир полон людей, которые мыслят только сообща, толпой. Именно так, как *Бельгийские общества*.

Есть и другие люди — те, которые развлекаются только стадом. Истинный же герой развлекается в одиночестве.

Вечное превосходство Денди.
Что такое Денди?

Х

Мои суждения о театре. Что мне всегда, и в детстве и теперь, казалось самым прекрасным в театре, так это люстра — прекрасный, сверкающий, хрустальный, сложный, круглый, симметричный предмет.

Однако я совсем не отрицаю достоинства драматургии. Я только хотел бы, чтобы комедианты ходили на каблуках повыше, носили маски выразительнее, чем человеческое лицо, говорили в рупор и, наконец, чтобы женские роли исполняли мужчины.

Вообще же люстра мне всегда казалась главным актером — не важно, с той или с другой стороны лорнета ты на нее смотришь.

Работать надо если не из трудолюбия, то хотя бы с отчаяния, поскольку, по правде говоря, работа не так скучна, как развлечения.

XI

В каждом человеке всегда живы одновременно два стремления: одно — к Богу, другое — к Сатане. Обращение к Богу, или одухотворенность, — это желание подняться как бы ступенью выше; призывание Сатаны, или животное состояние, — это радость падения. Именно к этой последней должны быть отнесены любовь к женщинам и ласковые разговоры с животными — собаками, кошками и т. д.

Те радости, что мы получаем от этих двух видов любви, имеют с ними общую природу.

Опьянение Человечества.
Дать широкую картину:

Милосердие.
Распутство.
Литература и актерство.

XII

Допрос (пытка) как искусство выяснять истину — глупость и варварство. Это применение материального средства для достижения духовной цели.

Смертная казнь — порождение мистической идеи, которую в наше время уже никто не понимает. Цель смертной казни совсем не в *спасении* общества, тем более в материальном смысле. Ее цель — *спасти* (в смысле духовном) и общество, и преступника. Чтобы жертвоприношение было совершенным, необходимо добровольное и радостное согласие самой жертвы. Дать хлороформ приговоренному к смерти было бы знаком неуважения, ведь это значило бы отнять у него сознание своего величия как жертвы и лишить его шанса попасть в Рай.

Что же касается пытки, то она возникла из низменных сторон человеческого сердца, алчущего сладострастия. Жестокость и сладострастие, собственно, одно и то же, так же как нестерпимый жар и нестерпимый холод.

XIII

Мои мысли о голосовании и об избирательном праве.
О правах человека.

В любой деятельности есть нечто мерзостное.

Денди ничего не делает.

Можете ли вы представить себе Денди, произносящего речь перед народом? — разве только для того, чтобы поиздеваться над ним.

Одна лишь аристократия способна править разумно и надежно.

Монархия или республика, основанные на демократии, одинаково безумны и слабы.

Бесконечная мерзость афиш.

Есть лишь три существа, достойные уважения:

Священник, воин, поэт. Знать, убивать и творить.

Остальные созданы для оброка и барщины, их место на конюшне, то есть там, где можно заняться так называемой *профессиональной деятельностью*.

XIV

Отметим, что те, кто требует отмены смертной казни, должны быть более или менее *заинтересованы* в этом.

Нередко это просто гильотинеры. Они рассуждают так: «Я хочу, чтобы у меня было право отрезать тебе голову, но ты не тронешь мою».

Те, кто хочет отменить душу (*материалисты*) непременно отменяют и *ад* — уж в этом-то они безусловно заинтересованы.

Во всяком случае это люди, которым *страшно воскреснуть*, — лентяи.

Госпожа де Меттерних, хоть она и княгиня, забыла ответить мне по поводу того, что я сказал о ней и о Вагнере.

Нравы XIX века.

XV

История моих переводов *Эдгара По*.

История «Цветов зла», унижение из-за непонимания — и судебный процесс.

История моих отношений со всеми современными знаменитостями.

Портреты дураков во всей красе:

Клеман де Рис.

Кастаньяри.

Портреты судейских, чиновников, главных редакторов газет и т. д.

Вообще портрет художника.

О главном редакторе и мелкой посредственности. Безмерная страсть всего французского народа к посредственности и диктатуре. Это вечное: «Если б я был королем!»

Портреты и анекдоты.

Франсуа — Бюлоз — Гуссе — знаменитый Руи — де Калонн — Шарпантье, исправляющий авторские тексты на основании равенства, дарованного всем бессмертными принципами 89-го года, — Шевалье, образцовый главный редактор в духе Империи.

XVI

О Жорж Санд

Означенная женщина Санд — это Прюдон безнравственности.

Она всегда была моралисткой.

Только раньше она творила антимораль. И к тому же никогда не была художником.

Она пишет знаменитым *гладким стилем*, который так ценят буржуа.

Она глупа, тяжеловесна, болтлива, а в вопросах морали обнаруживает тонкость и глубину суждений, достойные консьержки или содержанки.

Что она говорит о своей матери.

Что она говорит о поэзии.

Ее любовь к рабочим.

А то, что нескольких мужчин угораздило втюриться в эту засранку, лишь доказывает, как измельчали в наш век мужчины.

Посмотрите предисловие к «Мадемуазель Ла Кентини», где она заявляет, что истинные христиане не верят в Ад. Эта Сандиха — за *Бога хороших людей*, Бога консьержек и плутоватых слуг. У нее есть свои причины желать, чтобы Ада не было.

XVII

Дьявол и Жорж Санд

Не надо думать, что дьявол искушает только гениев. Он, конечно, презирает дураков, но и не пренебрегает их помощью. Больше того: он возлагает на них большие надежды.

Взгляните на Жорж Санд. Она прежде всего и более всего *набитая дура*; но при этом она еще и одержима. Это дьявол убедил ее верить в ее *доброму сердцу и здравому смыслу*, чтобы она, в свою очередь, убедила всех остальных набитых дураков верить в их добрым сердцам и здравому смыслу.

Я не могу думать об этом тупом создании не вздрагивая от ужаса. Если бы я повстречался с ней, то, наверное, не смог бы удержаться и швырнул дароносицу ей в голову.

Жорж Санд — одна из тех уже состарившихся инженерю, что никак не хотят расстаться со сценой.

Я недавно прочел одно предисловие (предисловие к «Мадемуазель Ла Кентини»), где она заявляет, что истинный христианин не может верить в Ад.

У нее есть свои причины желать, чтобы Ада не было.

Религия этой женщины Санд. Предисловие к «Мадемуазель Ла Кентини». Эта женщина Санд заинтересована в том, чтобы верить, что Ада нет.

XVIII

Мне скучно во Франции, прежде всего потому, что здесь все похоже на Вольтера.

Эмерсон забыл Вольтера в своих «Представителях человечества». Он мог бы написать замечательную главу под названием *Вольтер, или Антипоэт*, король зевак, принц верхоглядов, антихудожник, проповедник для консьержек, папаша Жигонь для редакторов «Съкль».

В «Ушах графа Честерфилда» Вольтер потешается над бессмертной душой, проведшей девять месяцев среди испражнений и мочи. Вольтер, как и все лентяи, ненавидел таинственное*.

Будучи не в силах уничтожить любовь, Церковь решила, по крайней мере, провести ее дезинфекцию — и изобрела бракосочетание.

XIX

Портрет литературной сволочи.

Доктор Трактириус Гадинус Педантиссимус. Его портрет в манере Праксителя.

Его трубка.

Его мнения.

Его гегельянство.

Его скардность.

Его мысли об искусстве.

Его желчность.

Его завистливость.

Изображение современной молодежи во всей красе.

Φαρμαχοτριβης ανηρ και των τους οφεις ες τα Θαναματα τρεφοντων**.

XX

Теология.

Что такое падение?

Если это единство, ставшее двойственностью, значит, пал Бог.

Иначе говоря, не было ли творение — падением Бога?

* Мог ли он, по крайней мере, угадать в таком местопребывании души насмешку, а может, и издевку Провидения над любовью, а в способе размножения — знак первородного греха. Ведь на самом деле мы занимаемся любовью именно посредством органов, служащих для испражнения.

** Аптекарь из тех людей, которые выращивают змей, чтобы извлекать из них чудодейственные вещества (*греч.*).

Дендизм

Что такое выдающийся человек?

Это не специалист.

Это человек, имеющий свободное время и широко образованный.

Быть богатым и трудолюбивым.

Почему умный человек любит шлюх больше, чем светских женщин, хотя они одинаково глупы? Найти ответ.

XXI

Есть женщины, похожие на ленту ордена Почетного Легиона. Их не хотят больше, потому что они замарались о мужчин известного сорта.

По этой же причине я не надел бы штаны больного чесоткой.

Самое скучное в любви то, что по сути она — преступление, в котором невозможно обойтись без сообщника.

Изучение тяжелого Заболевания — ужаса перед определенным местом жительства. Причины Заболевания. Его прогрессирующее развитие.

Возмущение бесконечным самодовольством всех классов, всех существ обоих полов и любого возраста.

Человек настолько привязан к людям, что, даже бежав из города, он снова ищет толпу, то есть как бы вновь превращает деревню в город.

XXII

Речь Дюрандо о японцах (Я — прежде всего француз!). Японцы — обезьяны, мне об этом сказал Даржу.

Речь врача, друга Матёе, об искусстве не производить на свет детей, о Моисее и бессмертии души.

Искусство — это средство цивилизации (Кастаньяри).

Физиономия здравомыслящего человека и его семьи, пьющей кофе с молоком на пятом этаже.

Господин Накар-отец и господин Накар-сын.

Как Накар-сын сделался советником в апелляционном суде.

XXIII

О любви и тяготении французов к военным метафорам. Здесь каждая метафора носит усы.

Воинствующая литература.

Остаться на посту.

Высоко нести знамя.

Крепко держать поднятое знамя.

Броситься в бой.

Один из ветеранов.

Вся эта трескучая фразеология обычно относится к хаммам и лентяям, завсегдатаям забегаловок.

Французские метафоры.

Солдат судебной прессы (Бертен).

Воинствующая пресса.

Добавить к военным метафорам:

Поэты борьбы.

Литераторы авангарда.

Эта привычка к военным метафорам обнаруживает не воинственный дух их авторов, но их склонность к дисциплине, то есть конформность духа прирожденных лакеев, этих бельгийских умов, умеющих думать только сообща.

XXIV

Любовь к удовольствиям приковывает нас к настоящему. Забота о спасении души бросает нас в неизвестность будущего.

Тот, кто цепляется за удовольствия, то есть за настоящее, напоминает мне человека, катящегося по наклонной плоскости, который, пытаясь ухватиться за кусты, вырывает их и увлекает за собой.

Прежде всего — Быть великим человеком и Святым перед самим собой.

О ненависти народа к красоте.

Примеры.

Жанна и мадам Мюллер.

XXV

ПОЛИТИКА

В итоге перед историей и французским народом громкая слава Наполеона III послужит доказательством тому, что любой проходимец, овладев телеграфом и государственной типографией, может править великой нацией.

Глупцы те, кто думает, что такие вещи могут происходить без согласия народа, — так же как и те, кто считает, что слава может зиждиться только на добродетели.

Диктаторы — всего-навсего лакеи народа (дерьмовая же роль, однако, а слава — результат приспособления одного ума к национальной глупости).

Что такое любовь?

Потребность вырваться за пределы собственного «я».

Человек — животное, умеющее обожать.

Обожать — значит приносить себя в жертву и prostituirовать себя.

Таким образом, всякая любовь является проституцией.

Когда молодой писатель первый раз держит корректуру своего произведения — он счастлив, как школьник, впервые подцепивший сифилис.

Не забыть написать большую главу об искусстве гадания на воде, по картам, по руке и т. д.

Женщина не различает души и тела. Она примитивна, как животные. Сатирик бы сказал: это потому, что у нее есть только тело.

Написать главу об

Уходе за собой

Мораль Ухода за собой.

Счастье Ухода за собой.

XXVIII

О хамстве

профессоров

судей

священников

и министров

Хороши же великие люди нашего времени:

Ренан.

Фейдо.

Октав Фейе.

Шолье.

Издатели газет, Франсуа, Бюлоз, Гуссе, Руи, Жирарден, Тексье, де Калонн, Солар, Тюржан, Даллоз.

— Перечень сволочей. С Соларом во главе.

Быть великим человеком и святым *для самого себя* — вот то единственное, что важно.

XXIX

Надар — удивительнейший образец жизненной силы. Адриен говорил мне, что у его брата Феликса было двойное количество всех внутренних органов. Я завидовал ему, ведь у него так хорошо получалось все, что не было абстракцией.

Вейо так груб и настолько враждебен искусству, что можно подумать, будто в его груди укрылась вся *Демократия* мира.

Развитие этого образа.

Главенство чистой идеи как у христиан, так и у коммунистов-бабувистов.

Фанатизм смирения. Даже не попытаться понять Религию.

Музыки.

О рабстве.

О светских женщинах.

О шлюхах.

О судейских.

О таинствах.

Писатель — враг всего света.

О бюрократах.

XXX

В любви, как и почти во всех других делах людей, согласие сердец — результат недоразумения. Этим недоразумением является удовольствие. Мужчина восклицает: «О, мой ангел!» Женщина воркует: «Мама! Мамочка!» Дурак и дура — они оба убеждены, что мыслят согласно. Непреодолимая бездна несоединимости так и осталась непреодоленной.

Почему созерцание моря всегда доставляет бесконечное удовольствие?

Потому что море дает нам понятие одновременно и о движении и о безмерности. Шесть или семь лье представляются нам отблеском бесконечности. Такая уменьшенная бесконечность. Ну и что? — ведь этого достаточно, чтобы дать нам представления о бесконечности абсолютной. Двенадцать или четырнадцать лье (в диаметре), двенадцать или четырнадцать лье волнуемой влаги — этого достаточно, чтобы внушить самое высокое понятие о прекрасном, какое только доступно человеку в его временной земной обители.

XXXI

На земле нет ничего интересного, кроме религий.

Что такое Всемирная Религия? (Шатобриан, де Местр, александрийцы, Капе.)

Есть Всемирная Религия, созданная для Алхимиков Мысли, Религия, существующая отдельно от человека, которого она рассматривает, как записную книжку Бога.

Сен-Марк Жирарден изрек фразу, которая останется в веках: *Будем посредственными.*

Сравним ее со словами Робеспьера: Те, кто не верит в бессмертие души, — воздают себе по заслугам.

В изречении Сен-Марка Ж[ирардена] заключена безмерная ненависть к возвышенному.

Тому, кто видит, как С[ен]-М[арк] Ж[ирарден] идет по улице, он моментально напоминает большого гуся, очень самодовольного, но напуганного и удирающего от дилижанса.

XXXII

Теория истинной цивилизации.

Ее суть заключается не в газе, не в паре, не в столоверчении — она в сглаживании следов первородного греха.

Народы-кочевники, пастухи, охотники, земледельцы, даже людоеды — все они по своему достоинству и энергии могут оказаться выше наших западных рас.

А эти последние, возможно, будут уничтожены.

Теократия и коммунизм.

Я вырос, отчасти, благодаря тому, что имел время для досуга. И это мне очень повредило, потому что досуг без богатства лишь увеличивает долги и, следовательно, умножает унижения. Но это же мне и очень помогло в смысле развития чувств, умения мыслить, склонности к дендизму и дилетантизму.

Прочие литераторы — по большей части неутомимые гнусные кроты, притом настоящие невежды.

XXXIII

Молоденькая девица глазами издателей.

Молоденькая девица глазами главных редакторов.

Молоденькая девица как пугало, чудовище, убийца искусства.

Молоденькая девица какова она на самом деле.

Дурочка и потаскушка; величайшая глупость и величайшая испорченность.

В ней как бы слились воедино мерзость хулигана и примерного школьника.

К сведению некоммунистов:

Все — общее, даже Бог.

XXXIV

Француз — животное со скотного двора, так хорошо прирученное, что боится выйти за пределы любой изгороди. Посмотрите на его вкусы в области литературы и искусства.

Это животное латинской породы, его не раздражают нечистоты в его собственном хлеву, а что касается литературы, то здесь он и вовсе скатофаг. Он просто приходит в восторг при виде экскрементов. Литераторы из забегаловок называют это *гальской солью*.

Замечательный образец французской низости — и это нация, которая считает себя более независимой, чем другие.

Приводимого ниже отрывка из прекрасной книги г-на де Волабелль будет достаточно, чтобы представить себе, какое впечатление произвело бегство Лавалетт на самую невежественную часть роялистской партии.

«Увлечение роялизмом в эти дни второй Реставрации доходило, так сказать, до безумия. Юная Жозефина де Лавалетт воспитывалась в одном из крупнейших парижских монастырей (Аббе-о-Буа), она покидала его стены лишь для того, чтобы обнять своего отца. Когда она вернулась в обитель после бегства из нее и когда стало известно, что она мало чему научилась в монастыре, поднялся общий вопль возмущения поведением этого ребенка; монахини и ее подруги избегали ее, и многие родители заявили, что они заберут своих детей, если ее не выгонят. Они говорили, что не хотят, чтобы их дети общались с молодой особой, которая отличается таким поведением и подает такой пример. Когда мадам де Лавалетт через шесть недель после этого получила свободу, она была вынуждена забрать свою дочь».

XXXV

Государя и поколения

Равно несправедливо приписывать царствующим особам и достоинства, и пороки народа, которым они правят.

Эти достоинства и пороки почти всегда — как это можно доказать с помощью статистики и логики — зависят от общей атмосферы предыдущего правления.

Людовик XIV наследует людей Людовика III. Слава!

Наполеон I наследует людей эпохи Республики. Слава!

Луи Филипп наследует людей Карла X. Слава!

Наполеон III наследует людей Луи Филиппа. Позор!

Именно предыдущее правительство всегда несет ответственность за нравы последующего, если только правитель-

ство вообще может нести ответственность за что бы то ни было.

Резкие перемены в образе правления, происходящие по тем или иным причинам, приводят к тому, что этот закон действует не всегда одинаково, в зависимости от эпохи. Невозможно точно определить, когда именно перестает ощущаться то или иное влияние, но оно будет сказываться в целом поколении, воспринявшем это влияние в молодости.

XXXVI

О ненависти молодых к любителям приводить цитаты. Любитель цитат для них — враг.

Я даже орфографию отдал бы в руки палача. (Т. Готье).

Прекрасная тема: Литературная Сволочь.

Не забыть написать портрет Форга — Пирата, Литературного Пенкоснимателя.

Непреодолимая тяга человеческого сердца к блуду порождает страх одиночества. Человек хочет быть *вдвоем*. Гений же хочет быть *один*, то есть быть одиноким.

Истинная слава: пребывать *в одиночестве* и предаваться блуду, особым образом.

Именно этот страх одиночества, желание забыть свое «я» в плоти другого патетически называют *жаждой любви*.

Две милые религии, бессмертные надписи на стенах, вечные наваждения толпы: член (античный фаллос) — и «Да здравствует Барбес!» или «Долой Филиппа!» или «Да здравствует республика!»

XXXVII

Изучить во всех формах, и созданиях природы и в человеческих творениях, всеобщий и вечный закон последовательных изменений, происходящих еле-еле, мало-пома-

лу, но со все большим нарастанием, подобно сложным процентам в финансовом деле.

То же самое относится к *литературной и артистической сноровке*, то же самое относится к ненадежному сокровищу — *воле*.

Толпа мелких литераторов, которые на похоронах лезут ко всем с рукопожатиями и заискивают перед газетчиками-хроникерами.

О похоронах знаменитостей.

Мольер. Мое мнение о «Тартюфе» заключается в том, что это не комедия, а памфлет. Даже атеист — если он просто хорошо воспитан — подумает в связи с этой пьесой, что никогда нельзя доверять решение важных вопросов сволочи.

XXXVIII

Восславить культ изображений (моя великая, единственная, моя первейшая страсть).

Восславить бродяжничество и то, что называют богемностью, культ обостренной чувственности, нашедшей выражение в музыке. Сослаться на Листа.

О необходимости бить женщин.

Можно покарать того, кого любишь. Например, детей. Но в этом заключается и боль — почувствовать презрение к тем, кого любишь.

О ношении рогов и рогоносцах.

Боль, испытываемая рогоносцем.

Она возникает из ущемленной гордости, ложных рассуждений о чести и счастье и из любви, по глупости отвернувшейся от Бога и обратившейся к его созданиям.

Так всегда животное, стремящееся к обожанию, ошибается в выборе кумира.

Анализ наглости дураков. Клеман де Рис и Поль Периньон.

XXXIX

Чем больше человек просвещается в искусстве, тем меньше в нем похоти.

Он как бы дает развод разуму и зверю, живущим в нем, и это чувствуется все сильнее.

По-настоящему похотлив только зверь, а совокупление — лирическое самовыражение простонародья.

Совокупляться* — это пытаться проникнуть в другого, а художник никогда не выходит за пределы своего «я».

Я забыл имя этой шлюхи... Ах! ба! — я узнаю его на Страшном суде.

Музыка дает представление о пространстве.

То же — в большей или меньшей степени все искусства, ибо все они — *число*, а число — это истолкование пространства.

Каждый день стремиться быть величайшим из людей!!!

Ребенком я хотел стать то папой римским (но военным папой), то актером.

Наслаждения, которые я испытывал от этих двух наваждений.

XL

Совсем еще ребенком я ощутил в своем сердце два противоречивых чувства: ужас жизни и упоение жизнью.

* В подлиннике употреблен нецензурный глагол. (*Примеч. пер.*).

Это присуще лентяю со слабыми нервами.

Нации порождают великих людей вопреки самим себе.

По поводу актера и моих детских грез — написать главу о том, чем является в душе человека признание актера, слава актера, существование актера и его положение в мире.

Теория Легуве. Не был ли Легуве мрачным шутником вроде Свифта, решившим проверить, не проглотит ли Франция еще одну нелепицу.

Его выбор. Хорошо в этом смысле, что Самсон — не актер.

Об истинном величии парий.

Быть может, добродетель лишь вредит талантам парий.

XLI

Коммерция по сути своей — *порождение Сатаны*.

Коммерция — это «одолжи-верни», это одолжение, при котором подразумевается: *Верни мне больше, чем я тебе даю*.

Разум любого коммерсанта насквозь порочен.

Коммерция *естественна*: значит, она *гнусна*.

Из всех коммерсантов наименее гнусен тот, кто говорит: «Будем добродетельны, чтобы получить гораздо больше денег, чем те глупцы, что погрязли в пороке».

Для коммерсанта даже честность предмет спекуляции.

Коммерция — порождение Сатаны потому, что она — одна из разновидностей эгоизма, самая низкая и самая гнусная.

Когда Иисус Христос говорит:

«Блаженны алчущие, ибо они насытятся», — Иисус Христос делает расчет вероятностей.

XLII

Мир движется лишь в силу Недоразумения.

Именно благодаря всемирному Недоразумению все в мире приходит к согласию.

Ибо, если бы мы, к нашему несчастью, поняли друг друга, согласие стало бы невозможным.

Умный человек, который никогда и ни с кем не будет в согласии, должен научиться любить болтовню дураков и чтение дрянных книг. Он извлечет из них наслаждение горечи, которое будет ему достойной наградой за усталость.

Какой-нибудь чиновник, министр, директор театра, главный редактор газеты может порой быть человеком, достойным уважения, но уж никак не богоизбранным. Это лица без личности, существа, лишённые своеобразия, созданные для отправления должности, то есть для общественного прислужничества.

XLIII

Бог и его глубина.

Можно быть достаточно умным — и находить в Боге сообщника и друга, которых всегда недостает. Бог — вечное доверенное лицо в этой трагедии, где каждый — герой. Быть может, есть ростовщики и убийцы, говорящие Богу: «Господь, сделай так, чтобы мое предприятие удалось». Но молитва этих мерзавцев не оскверняет возвышенности и радости моей молитвы.

Любая идея сама по себе наделена бессмертием, так же как личность.

Любая форма, даже если она создана человеком, бессмертна. Ибо форма независима от материи и состоит она не из молекул.

Анекдоты по поводу Эмиля Дуэ и Константина Гиса, уничтожающие их творения, или, скорее, лишь создающие видимость уничтожения.

XLIV

Невозможно, просматривая какую-нибудь газету — все равно, от какого числа, месяца или года, — не обнаружить в каждой строчке признаков самой жуткой человеческой испорченности, и в то же время — поразительного *бахвальства* собственной честностью, добротой, милосердием и донельзя наглых заявлений по поводу прогресса и цивилизации.

Любая газета, с первой до последней строчки, как бы соткана из ужасов. Войны, преступления, кражи, бесстыдства, пытки, преступления государей, преступления наций, преступления частных лиц, какое-то опьянение всеобщей жестокостью.

И вот этот-то отвратительный аперитив культурный человек поглощает каждое утро за завтраком. Ото всего в этом мире воняет потом преступления — от газеты, стены, человеческого лица...

Я не понимаю, как можно чистыми руками коснуться газеты, не вздрогнув от отвращения.

XLV

Выявленное философией могущество амулетов. Просверленные монетки, талисманы, безделушки, с которыми у каждого связаны какие-то свои воспоминания.

Трактат о Нравственной Динамике.
О благодати Таинств.

С самого детства я тянулся к мистике.
Мои беседы с Богом.

О Наваждении, об Обладании, о Молитве и о Вере.
Нравственная динамика Иисуса.

(Ренан находит смешным то, что Иисус верит во всемогущество — даже материальное — Молитвы и Веры).

Таинства суть средства этой Динамики.

О гнусности книгопечатания — великого препятствия для развития Прекрасного.

Эка невидаль — заговор с целью уничтожения еврейского рода.

Евреи, *хранители Книг* и свидетели *Искушения*.

XLVI

Все эти дураки буржуа, без конца повторяющие «безнравственно», «безнравственность», «нравственность искусства» и прочие глупости, напоминают мне Луизу Вильдые, пятифранковую шлюху, которая однажды, придя со мной в Лувр, где она прежде не бывала, вдруг начала краснеть, прятать лицо, поминутно дергать меня за рукав и при виде бессмертных произведений скульптуры и живописи спрашивать, как можно было выставить на всеобщее обозрение такие непристойности.

Фиговые листочки господина Нывекерке.

XLVII

Чтобы закон прогресса существовал, было бы необходимо, чтобы каждый захотел его существования; то есть когда все личности приложат усилия для собственного развития — тогда, и только тогда, человечество начнет прогрессировать.

Эта гипотеза может послужить объяснением единства двух противоположных понятий — свободы и предопределения. Единство свободы и предопределения будет проявляться не только в отношении прогресса — это единство существовало всегда. Это единство — *история*, история наций и личностей.

Этот сонет надо привести в «Моем обнаженном сердце». Также процитировать пьесу о *Роланде*.

Прекраснее, чем день, я ночью видел сон:
Филлида ожила. О, призрачное тело!
Она хотела быть моей. Она хотела,
Чтоб тень ее ласкал я, словно Иксион.
Фантом ее в постель мою, разоблачен,
Скользнул. Я обнял то, что облаком белело...
И слышу: «Вот и я. Ведь я похорошела
За столько лет в юдоли тьмы, о мой Дамон...

Ты лучше всех. Тебя явилась целовать я.
И пусть я вновь умру, упав в твои объятия...»
Но вот мой пыл угас — и призрак прошептал:

«Прощай! Я уйду к подземной тьмы пределам.
Ты хвастался, что встарь с моим спознался телом.
Ну что ж, гордись: теперь и душу ты познал.

Сатирический Парнас

Я думаю, что этот сонет написан Менаром.
Маласси утверждает, что Раканом.

Мысли, афоризмы

[В альбом Филоксена Буайе:]

Среди прав, о коих толковали в последнее время, есть одно позабытое, а между тем в его провозглашении заинтересованы *решительно все* — это право себе противоречить.

[В альбом Надара,

следует за девизом *Vitam impendere vero* *, под которым подпись Луи Блан:]

Я знаю троих, взявших себе этот девиз: Жана Жака, Луи Блана и Жорж Санд. Жозеф де Местр где-то сказал (по-

* Отдать жизнь за правду (*лат.*).

моему, в «Размышлениях о Франции»): «Если писатель избирает для себя девизом *Vitam impendere vero*, смело можно биться об заклад, что он враль».

[*В альбом Эдуарда Гарде:*]

Не правда ли, дражайший Гарде, румяна сами по себе превосходная штука: они преображают и приукрашивают природу, да к тому же еще и понуждают нас целовать дам не в лицо, а в прочие места. Уверен, что не оскорблю этими словами вас, мой друг, полагающий так же, как я, что блюсти собственное достоинство необходимо во всех случаях, кроме как с любезной сердцу бабенкой.

Ш. Бодлер

[*В блокноте Асселино:*]

Если торгош не мошенник, он просто-напросто дикарь. Педерастия — единственное звено, связующее судебное ведомство с человечеством.

Стоицизм — религия, признающая лишь одно таинство: *самоубийство*.

Воздержанность — мать чревоугодия: она его опора и *советчица*.

Всякий кот — слащавый вурдалак.

Нелепица — благодать усталых людей.

Если бы И[исус] Х[ристос] во второй раз сошел на землю, г-н Фран-Карре сказал бы: мы столкнулись с рецидивом.

Пукни кто-нибудь прямо в нос г-ну Абу, он сочтет, что в этом заложена некая идея.

Если религия исчезнет в мире — она отыщется в сердце атеиста.

Ничто не докажет мне тщеты добродетели убедительней, чем, например, Ламадлена.

Узнать — значит войти в противоречие с самим собой; иной раз логические выводы столь безупречны, что превращаются в прямую ложь (Кюстин): излюбленная фраза Бодлера.

[*На наброске интервью Надара:*]

Неизбежное следствие всякой революции — массовые убийства невинных.

КОММЕНТАРИИ

В настоящее издание вошла лишь часть прозаических произведений Бодлера: его книга «Искусственный рай», а также почти полный свод работ Бодлера, посвященных творчеству Эдгара По; избранные статьи о литературе (преимущественно французской), эссеистические наброски о современниках; наконец, его максимы, афоризмы и дневники. За пределами издания вынужденно остались статьи Бодлера о живописи, работы по эстетике и многое другое: составитель ставил своей целью представить русским читателям Бодлера как писателя и как человека, причастного прежде всего к литературе. За исключением ставшего классическим (хотя и не совсем полного) перевода В. Лихтенштадта («Искусственный рай», 1912), а также переводов Г. Мосешвили, печатаемых по изданию: Шарль Бодлер. Цветы зла (М.: «Рипол-классик», 1997, Бессмертная б-ка), остальные переводы выполнены специально для данного издания.

Составитель приносит благодарность переводчикам, а также г-ну Герману Ильину (Марсель) за оказанную помощь в составлении примечаний и выяснении дат жизни множества упоминаемых Бодлером лиц.

ИСКУССТВЕННЫЙ РАЙ

Полностью все произведения, составившие эту «наркологическую книгу» Бодлера, впервые были собраны под одной обложкой в июне 1860 года.

С. 7. *Брийя-Саварен* — Ансельм Брийя-Саварен (1755—1826) — выдающийся писатель-кулинар.

С. 8. *Лафатер* — Иоганн-Каспар Лафатер (1741—1801) — швейцарский романист и драматург, теолог.

Бероальд де Вервиль — Франсуа Бероальд де Вервиль (1556—1629) — французский поэт-эзотерик XVII века. «Средство преуспеяния» вышло в свет в 1600 году.

С. 12. *Пактол* — по античной легенде, река в Индии, к которой Дионис отправил царя Мидаса, дабы тот избавился от дара

превращать в золото все, к чему прикоснется; с тех пор Пактол стал золотоносным.

С. 13. ...*стрянно Дроллинга*... — Мишель-Мартен Дролинг (1789—1851) — французский живописец, преимущественно портретист.

С. 16. ...*достойные Кина и Фредерика*... — имеются в виду Эдмунд Кин (1787—1833), актер-романтик, прославившийся ролями в пьесах Шекспира, и Фредерик Леметр (наст. имя Антуан Луи Проспер Леметр, 1800—1876), актер, выступавший в парижских «театрах бульваров».

С. 29. *Ж. Ж. Ф.* — предположительно Жюльетта Жекс-Фагон, посетительница салона мадам Сабатье, где в 1850-е годы бывал и Бодлер.

С. 33. ...*как говорит автор «Лазаря»*... — почти наверняка имеется в виду поэт Огюст Барбье (1805—1882), среди поэтических книг которого есть сборник «Лазарь» (1837); во входящем в этот сборник стихотворении «Джин» есть строки: «Это двери в рай, а не питье, / Горемык бездомных забыть!» (перевод П. Антокольского).

С. 34. *У нас есть уже обстоятельное исследование об опиум...* — т. е. «Исповедь английского опиомана» Томаса де Квинси (1785—1859).

С. 45. «*Горе приносящему соблазн!*» — парафраза слов из Евангелия от Матфея: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам...» (Мф., 18, 7).

С. 49. ...*в первый раз на представлении «Эсфири»*... — вероятно, имеется в виду «Эсфирь» (1705), опера-оратория Георга-Фридриха Генделя (1685—1759).

Месонье — правильнее Мейсонье, Жан-Луи-Эрнест (1815—1891) — французский художник, преимущественно баталист, число фигур на больших полотнах которого действительно исчисляется тысячами; манера письма его (раньше именовавшаяся «натурализмом») отличается мельчайшей проработкой деталей.

С. 58. ...*супруг Лигейи*... — см. рассказ Эдгара По «Лигейя» (1838).

...*любовник прелестной Беренисы*... — точнее, Береники; героини рассказа Эдгара По «Береника» (1835), который Бодлер перевел на французский язык.

С. 59. ...*нервный Август Бедло*... — (в русском переводе Ф. В. Широкова — Огастес Бедлоу) персонаж рассказа Эдгара По «Повесть скалистых гор» (1844).

С. 62. *Фурье и Сведенборг* — Жан-Батист-Жозеф Фурье (1768—1830) — французский физик и математик; Эммануэль Сведенборг (1688—1772) — шведский философ-визионер.

С. 68. *Не напоминает ли вам это Жана Жака*... — т. е. Жана-Жака Руссо (1712—1778), чью «Исповедь» Бодлер постоянно высмеивает.

С. 70. *Мельмот* — персонаж романа «Мельмот Скиталец» (1820) Ч. Р. Мэтьюрина (1780—1824).

С. 71. *Луи Ламберт* — точнее, Луи Ламбер, персонаж одноименной автобиографической книги Оноре де Бальзака, изданной в 1836 году.

С. 71. *Эль-Агуат* — город в Алжире.

С. 74. *Аполлон Франкавиллы, Альбрехта Дюрера, Гольциуса...* — Пьер Франкавилла (Франшвилль) (1548—1616) — французский скульптор; Альбрехт Дюрер (1471—1528) — великий немецкий живописец и график; Генрих Гольциус (1558—1617) — голландский художник и гравёр.

С. 80. *Доктор Джонсон* — Сэмюэль Джонсон (1709—1784), английский писатель, лексикограф и автор книги «Жизнь поэтов» (1779—1781).

С. 82. ...«его плеча / Атланта бремена обширных царств / могли б снести»... — Дж. Мильтон, «Потерянный рай», песнь II (перевод А. Штейнберга, изд.: ЛЮЦИФЕР (Вондел и Мильтон). М., 2000, с. 269).

С. 83. ...*семь спящих дев*... — т. е. Плеяды, семь дочерей Атланта и Плейоны, после смерти взятые Зевсом на небо в качестве созвездия.

С. 99. ...*pharmakon népentès*... (греч.) — лекарство от скорби; упоминается в «Одиссее» Гомера.

С. 101. *Грассини* — Джузеппина Грассини (1773—1850) — оперная певица, возлюбленная императора Наполеона I.

С. 111. *Как будто великий художник*... — строки из стихотворения Перси Биши Шелли «Восстание ислама»; следуя французской традиции, Бодлер переводит стихи прозой, что повторено в настоящем издании, за исключением отдельно оговоренных случаев.

С. 113. ...*книгу Рикардо*... — Давид Рикардо (1772—1823) — английский экономист.

С. 117. ...*при Марстон-Муре, Ньюбери и Незби*... — места сражений Кромвеля с войсками Карла I.

...*при дворе Георга IV*. — Георг IV (1762—1830), английский король с 1820 года.

С. 118. ...*Павел Эмилий или Марий*... — Павел Эмилий (погиб в 216 г. до Р.Х. в битве при Каннах) — римский полководец, сражавшийся с Ганнибалом; Гай Марий (155—86 до Р.Х.) — римский полководец.

С. 125. ...*кровосмесительница-мать*... — т. е. богиня Гея, Земля.

С. 127. *Иеремия Тэйлор* (1613—1667) — английский теолог.

С. 128. «*Заполнен угрожающими лицами...*» — цитата из финала «Потерянного рая» Джона Мильтона; в переводе Арк. Штейнберга: «...а в проеме врат / Виднулись лики грозные, страха / оружьем огненным» (ук. соч., с. 604).

С. 130. ...*мы приводим важнейшие*. — Бодлер перечисляет по названиям книги Томаса де Квинси: «Исповедь английского опиомана», «Вздых из бездны», «Цезари», «Литературные воспоминания», «Эссе о поэтах», «Автобиографические наброски», «Памятки», «Записная книжка», «Теологические эссе», «Письма к молодому человеку», «Памятники классической письменности, расшифрованные и разгаданные в размышлениях над германскими сказаниями и иными повествованиями», «Клостерхайм,

или Маска», «Логика политической экономии» (1844), «Скептические и противоскептические эссе по проблемам забытого или непонятого».

С. 131. *Понмартены...* — Арман де Понмартен (1811—1890) — французский критик.

Бюффон — Жорж Луи Леклер Бюффон (1707—1788) — французский естествоиспытатель, автор «Всеобщей и частной естественной истории».

С. 132. *...великий Рене...* — Франсуа Рене Шатобриан (1768—1848) — автор «Замогильных записок».

С. 135. «*Сладостно омывающей...*» — из написанного на латыни стихотворения Бодлера «FRANCISCAE MEAE LAUDES» («Похвалы моей Франциске»), перевод Адриана Ламбле, см. в книге «Обломки».

С. 137. *Очевидно, летом же срывали колосья в поле апостолы.* — Мф. 12, 1, а также Мк., 2, 23.

С. 150. *Саванна-ла-Мар* — город на Ямайке, где умер брат Т. де Квинси, Ричард.

С. 151. *Sanctus* (лат.) — здесь: трижды святое (слова молитвы).

С. 152. «*Лучше бы мне никогда не видеть лица вашего*» — вернее, «Я никогда не знал вас!» (Мф. 7, 23).

ОЧЕРКИ ОБ ЭДГАРЕ ПО

С. 160. «*Ибо я чувствую...*» — Бодлер переводит стихи Эдгара По прозой, в т. ч. и одиннадцатую строфу «Ворона» прозой, согласно французской традиции.

«*На троне бронзовом...*» Перевод М. Квятковской.

С. 161. «*Взрыв с черепахою...*» Перевод М. Квятковской.

С. 162. *Один прославленный писатель...* — Альфред де Виньи (1797—1863). Замечание, процитированное Бодлером, содержится в книге Альфреда де Виньи «Стелло, или Визиты к черному доктору» (1832).

...a money making author... (англ.) — процветающий автор.

С. 163. «*Как пахнет мелочной лавкой!*» — *говоря словами Жозефа де Местра.* — Жозеф-Мари де Местр (1753—1821) — французский писатель, философ, политический деятель. Приведенная цитата — из книги де Местра «Петербургские вечера» (1821), написанного в Санкт-Петербурге.

Руфус Гризволд (1815—1857) (первый биограф Эдгара По) сразу после смерти Эдгара По опубликовал в «Daily Tribune» статью, подписанную «Людвиг» (9 октября 1849 г.), и в 1850 г. в «Metoig» повторил отдельные места этой статьи, полные злословия и клеветы. Он же, согласно завещанию По, был назначен его душеприказчиком и издателем полного собрания сочинений Эдгара По.

Джордж Грехэм (1813—1894) — в открытом письме к Виллису, опубликованном в «Graham's Magazine» в марте 1850 года, обличает Гризволда во лжи и упрекает его в «бессмертной подлости».

С. 163. *Натаниэл Паркер Уиллис (Виллис)* (1806—1867) — поэт и журналист. Отозвался на смерть Эдгара По некрологом (13 октября 1849 г., «Home Journal»). Там же он 20 октября встал на защиту Эдгара По против «Людвига» и раскрыл псевдоним Гризволда.

С. 164. ...*selfsame*... (англ.) — здесь: неизменное.

С. 165. ...*проповедницу сострадания, из любви к роду человеческому упраздняющую Ад*... — т. е. Жорж Санд (1804—1874), которую Бодлер не переносил.

...или философа от математики, предлагающего систему страхования... — имеется в виду Эмиль Жирарден (1806—1881), директор «La Presse», также находившийся во враждебном Бодлеру лагере.

Его дед с материнской стороны служил... — ошибка: Эдгар По был сыном этого генерала.

...*quartermaster-general*... (англ.) — генерал квартирмейстерской службы.

С. 166. ...*родился в Балтиморе в 1813 году*. — Ошибка, ибо Эдгар По родился в Бостоне 19 января 1809 года.

В Шарлотсвильском университете, куда он поступил в 1825 году. — Эдгар По поступил в 1826 году в университет штата Вирджиния.

С. 167. *Итак, он отправился в Грецию*. — Этот факт, как и сообщенный ниже факт пребывания в Санкт-Петербурге, документально не подтверждены, хотя и не опровергаются со всей достоверностью.

...он изъявил желание поступить в Вест-Пойнтскую военную школу... — Эдгар По учился в ней с 1827 по декабрь 1828 года.

С. 171. *Ut declamatio fias!* (лат.) — Чтобы стать темой декламации! (Ювенал, сатира X).

С. 172. ...*наш писатель*... — имеется в виду Жерар де Нерваль (1808—1855), повесившийся в парижском переулке.

Один знаменитый журналист... — вероятно, Луи Вейо, иронически отозвавшийся о Нервале в статье от 3 июня 1855 г., опубликованной в «L'Univers». Но возможно, Бодлер имел в виду своего постоянного врага Жюля Жанена или даже Александра Дюмаю.

С. 173. ...*сердце госпожи Клемм*. — Мария Клемм (1790—1871) — тетушка и теща Эдгара По, его «добрый ангел».

С. 177. ...«*The literati of New York*» (англ.). — «Литераторы Нью-Йорка». (The literati — итальянизм; подразумеваются образованные литераторы.)

С. 180. ...*a worm that would not die* (англ.) — «червь, которому не дано умереть» (Э. По. «Морелла»; перевод Ф. В. Широкова). Образ «червя неусыпающего», одной из кар, которой будут подвергнуты грешники на Страшном суде, восходит к святоотеческой традиции (ср. Patrologiae Graecae, Tomus XL, p. 966.).

С. 187. «*The literati*» (sic) — см. прим. к стр. 177.

С. 191. *Goodness, godness!* (англ.) — Игра слов: великолепно, божественно.

С. 192. *Было ему тогда двадцать три года.* — Эдгару По в этот момент было 26 лет. «Необыкновенные приключения некоего Ганса Пфааля» были напечатаны в «Южном литературном вестнике» в июне 1835 года.

...переве́з злосчастных «Животных на Луне»... — Бодлер вспоминает о басне Лафонтена «Животное на Луне».

Господин Лок — В 1835 г. журнал «New York Sun» опубликовал ряд статей, автором которых предположительно был Ричард Адамс Лок; статьи опирались якобы на наблюдения астронома Гершеля.

С. 193. *Mare Nubium, Mare Tranquilitatis, Mare Fecunditatis* — Море Облаков, Море Спокойствия, Море Изобилия.

...плагиа́т летучих островитян *Питера Уилкинса*. — Речь идет о романе Роберта Полтека (Robert Pultock) «Питер Уилкинс» (1751), героиня которого, полуженщина-полуптица, известна как Юварки. Руки ее распахиваются вместе с крыльями, тело одето шелковистым опереньем. Живет она на острове, затерянном среди антарктических вод; там ее обнаружил потерпевший кораблекрушение Питер Уилкинс и женился на ней. Юварки — из породы крылатого племени «гламов». Уилкинс обращает их в веру Христову, и, когда умирает его жена, ему удается вернуться в Англию.

С. 194 ...квадратные листки *Жан-Поля*... — подобно Паскалю, Жан-Поль (Жан-Поль Рихтер) нанизывал свои отдельные заметки на шнурок (Cl. Pichoi, «L'image de Jean-Paul Richter dans les lettres francaises», p. 93—96).

...пау́тину правки на гранках *Бальзака*... — гранки произведений Бальзака, исчерканные правкой, часто напоминают паучи тетета.

С. 196. *Чего только не делал Гофман, чтобы обезоружить судьбу!* — Бодлер имеет в виду не всегда достоверные факты из жизни Гофмана, помещенные в биографии последнего, написанной переводчиком Гофмана на французский язык Леви-Веймаром.

С. 197. ...душа *Вовенарга*... — Люк де Клапье де Вовенарг (1715—1747) — французский философ-моралист.

Свой пес кусает их... — цитата из Теофиля Готье (перевод М. Квятковской).

Альфред де Виньи написал книгу... — речь идет о книге «Стелло...» (см. прим. к стр. 162).

С. 198. *Впрочем, некий критик...* — выдержка из статьи Джона Монкюра Дэниэла, автора нескольких статей об Эдгаре По.

...один из его друзей... — там же.

«*Make money, my son, honestly, if you can, but make money*». — Из пьесы Бена Джонсона (1572—1637); букв. англ.: «Делай деньги, не переставай делать деньги, а каким способом — не важно!»

«*Что за дух...*» — см. прим. к стр. 163.

...по поводу *Локка*. — Джон Локк (1632—1704) — английский философ-материалист.

С. 200. ...на дочери *английского адмирала*... — не на дочери, а на сестре; Бодлер берет сведения из статьи Джона М. Дэниэла.

- С. 201. «*Самые ранние воспоминания...*» — цитируется по изд.: Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов. (М.: Наука, 1970. С. 201. Лит памятники.) (перевод В. Рогова).
- С. 203. ...*peine forte et dure* (лат.) — в долгих и тяжких муках. ...«*Dominie*»... (лат.) — господина, учителя.
- С. 204. ...*outré*... (фр.) — слишком. ...*exergues*... (фр.) — оттиск. «*Oh, le bon temps, que ce siècle de fer!*» (фр.) — «Прекрасная цена — железный этот век!» (Вольтер)
- С. 205. ...*в Виргинский университет*... — в Шарлотсвилле; до сих пор сохранилась комната, которую занимал Эдгар По. ...*в Грецию*. — Путешествия в Грецию и Россию Эдгара По — по всей видимости, такая же легенда, как путешествие самого Бодлера в Индию.
- С. 206. ...*биограф Эдгара По*... — Джон М. Дэниэл.
- С. 207. ...*но не разошелся*. — Это был третий сборник Эдгара По; ранее были изданы «Тамерлан и другие стихотворения» (1827, анонимно) и «Аль Аараф, Тамерлан и мелкие стихотворения». ...*Мистер Лоуэлл* — Джеймс Рассел Лоуэлл (1819—1891) совместно с Н. П. Уиллисом (1806—1867) написали статью к двухтомному изданию Гризволда; Дэниэл написал о ней в «Южном литературном вестнике». Бодлер цитирует Лоуэлла по статье Дэниэла; это Дэниэл, а не Лоуэлл, сопоставляет стихотворение «К Елене» с антологическим греческим стихом. ...*у врат Смерти*. — Буквальный перевод фразы из статьи Дэниэла.
- С. 208. «*Gentleman's magazine*» (англ.) — «Журнал для джентльменов». «*Graham's magazine*» (англ.) — «Журнал Грехэма». «*The Tales of the grotesque and arabesque*» (англ.) — «Гротески и арабески» (на титульном листе книги обозначен 1840 год, но издана она в ноябре 1839 года). «*Brodway-Journal*» (англ.) — «Бродвейский журнал».
- С. 209. ...*у него delirium tremens* (лат.) — белая горячка. ...*заступничеством его матери*... — Бодлер имеет в виду тетку Эдгара По Марию Клемм, на чьей дочери, Виргинии, он женился.
- С. 210. ...*будет говорить о принципе поэзии*. — «Поэтические принципы». Бодлер еще не читал текста самого Эдгара По и приводит отрывок по статье Дэниэла. ...*work houses* (англ.) — работные дома.
- С. 212. ...*на некую вдову*... — Сара Эльмира Ройстер Шелтон (умерла в 1888 г.). ...*прообразом его Линор*. — Есть сведения, что Бодлер этого стихотворения не читал и говорит тут с чужих слов. ...*супруг одной дамы*... — Дэниэл называет имя г-жи Ст. Леон Лауд. ...*в возрасте тридцати семи лет*. — В действительности Эдгару По исполнилось 40 лет.
- С. 213. ...*следующий отрывок*... — отрывок из статьи Уиллиса, приложенной к изданию произведений По, приложен к статье Дэниэла; это замечание о стиле По Бодлер приводит в начале статьи.

С. 217. ...*причинные связи*. — Описание черепа Эдгара По и применение френологической терминологии Бодлером целиком заимствовано у Дэниэла.

...*имя которого я забыл*... — Р. Пендлтон Кук. Эти строки процитированы в некрологе Томпсона.

С. 220. *Антуан де Сент-Аман* (1594—1661) — французский поэт.

Эммануил Шапель (1626—1686) — французский поэт.

Гийом Кольте (1598—1659) — французский поэт.

Пиндар (521—441 до Р.Х.) — древнегреческий поэт.

Ретиф де ла Бретон (1734—1806) — французский писатель-романист.

Луи Себастьян Мерсье (1740—1814) — французский писатель.

С. 222. ...«*Великого человека из провинции в Париже*». — Второе название романа — «Утраченные иллюзии».

С. 223. *Матюрен Ренье* (1573—1613) — французский поэт-сатирик.

С. 225. «*Так что же он — материален?*» — «Нет». — Бодлер приводит текст своего перевода в сокращенном пересказе.

С. 227. «...*взыскующего Господа*». — Цитируется по изд.: Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов (М.: Наука, 1970. Лит. памятники) (перевод В. Неделина).

С. 229. «...*и объяснить его нелегко*». — Там же, «Береника» (перевод В. Неделина).

...*incitamentum*... (лат.) — предмет, провоцирующий навязчивую идею.

С. 230. ...*мадемуазель Салле*... — Мари Салле (1707—1756) — французская балерина. Приведенная цитата (фр.) означает: «Все ее шаги были чувственными».

«*Dicebant mihi sadales...*» (лат.) — «Товарищи говорили мне, что если я пойду на могилу моей подруги, печаль моя уменьшится». Бодлер приписывает эти слова поэту Ибн Зайату.

С. 232. ...«*Учебник конхиолога*»... — книга эта является компиляцией, что даже послужило поводом для обвинения Эдгара По в плагиате. *Конхиология* — коллекционирование морских раковин.

С. 235. «...*светлые надежды на спасение*». — «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима».

С. 240. ...*один опрометчивый критик*... — Жюль Барбе д'Оревилю (1808—1889).

...*in his on way* (англ.) — по-своему.

С. 241. ...*в авторе «Влюбленного дьявола»*... — Жак Казотт (1720—1792).

«*Marginalia*» — «Маргиналии».

С. 243. *На Востоке первосвященник* — Шарль Фурье, на Западе — Орас Грили... — Фурье Шарль (1772—1837) — французский социалист; Орас Грили (1881—1872) — директор «Нью-Йорк Трибьюн» с 1841 г. Прославился тем, что советовал незанятым людям: «Ступайте на Восток!»

С. 244. ...*мумия Аламистакео*... — персонаж новеллы «Разговор с мумией». В русском переводе И. Бернштейн это имя передано как «Бестолково».

С. 244. ...*Italiam fugientem* (лат.) — «убегающий край Италийский» (Вергилий. «Энеида». С. 628; перевод С. Ошерова).

...*обличая порочное животное...* — так Руссо определяет человека, составляющего часть общества.

С. 245. ...*господин Белгариг...* — автор сочинения «Женщины Америки» (1853).

С. 246. *Фицли-Пуцли* (иначе Вицлипуцли) — ацтекский бог войны.

...*культ Тевтата..* — Тевтат — древнее кельтское божество. Его культ требовал человеческих жертв.

С. 250. «*Genius irritabile vatum!*» (лат.) — «Чувствительная порода поэтов!» (Гораций. «Послания», II, II, стих 102).

С. 256. ...*удивительность леонинского стиха...* — средневековый леонинский стих — форма новолатинской поэзии, в которой цезуры строки рифмуются с ее окончанием.

СТАТЬИ О ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

С. 265. *Жан де Фалез* (Филипп де Шанньвер) — нормандский писатель середины XIX века, чьи книги Бодлер неоднократно и с похвалой упоминает.

...*сочинений г-жи де Скюдери.* — Мадлен де Скюдери (1608—1701) — французская писательница.

С. 266. *Эдгар Кине* (1803—1875) — французский историк.

С. 268. *Дезожье* — Марк Антуан Дезожье (1772—1827) — французский поэт-песенник.

С. 271. ...*vade tecum...* (лат.) — буквально: «следуй за мной», т. е. учебник, руководство.

С. 272. *Эжен Сю, Поль Феваль...* — Эжен Сю (собств. Мари-Жозеф Сю, 1804—1857) — французский романист; Поль Феваль (1817—1887) — также романист; первый — автор романа «Парижские тайны» (1842—1843), второй — автор романа «Лондонские тайны» (1844), отсюда «логогрифы» (см. ниже).

Логогриф — загадка, по условиям которой из одного слова получается другое путем добавления или отбрасывания буквы или слога.

...*vae victis...* (лат.) — «Горе побежденным» (Тит Ливий. «История», V, 48, 9).

С. 275. ...*в фельетонах г-на Ж. Жанена.* — Жанен Жюль-Габриель (1806—1874) — французский писатель, литературный и театральный критик. Представитель «неистового романтизма»; ср. со статьей Бодлера на стр. 287.

Г-н Гранье де Касаньяк — Адольф Гранье де Касаньяк (1806—1880), литературный критик, главный редактор журнала «Глоб».

...*к примеру, Эдуар Урлиак* — Эдуар Урлиак (1813—1848) — французский критик и журналист, поэт, друг Теофиля Готье и Жерара де Нерваля.

...*primo—secundo—tertio—etc* (лат.) — во-первых—во вторых—в третьих— и т. д.

С. 279. *Он, самая умнейшая голова...* — имеется в виду Эдуар Урлиак (см. прим. к стр. 275).

С. 281. *...предисловие к «Величию и падению Цезаря Бирото»...* — роман (1837) Оноре де Бальзака (1799—1850).

...а фамилией третьего лица... — т. е. именем Жерара де Нерваля.

Второй друг был... — имеется в виду Теофиль Готье.

...ожерелый осейджей... — осейджи (осаги) — индейское племя в Северной Америке, прежде жившее в штате Оклахома.

С. 283. *Рассказы Шанфлери...* — Шанфлери (наст. имя Жюль Юссон, 1821—1889) — французский писатель и искусствовед, теоретик реализма.

С. 284. *...возревновал к Анри Монье.* — Анри Монье (1799—1877) — французский художник, писатель и актер.

С. 287. *Жюль Жанен* — см. прим. к стр. 275.

С. 288. *Sustulerunt soepius pedes* (лат.). — Здесь: высоко поднимают ноги.

С. 289. *Эмиль Ожье* — Гийом Виктор Эмиль Ожье (1820—1889) — французский драматург.

С. 290. *...или г-на Мальтуса* — Томас Роберт Мальтус (1766—1834) — английским экономист, создатель теории необходимости сокращения населения в силу иссякающих возможностей прокормить его.

Блистательное предисловие к «Мадемуазель де Мопен»... — «Мадемуазель де Мопен» — роман Теофиля Готье.

С. 291. *«Что обусловило успех «Жерома Патюро», этого отвратительного падения Куртиля...* — Куртиль — курортное предместье Парижа, где имелся не один театр; «Жером Патюро в поисках социального положения» (1842) и «Жером Патюро в поисках лучшей из Республик» (1848) — произведения французского писателя и публициста Луи Рейбо (1799—1879), которого ниже Бодлер и называет «автором «Жерома Патюро».

С. 292. *Миролюбивейший Пьер Леру...* (1791—1871) — французский философ и социалист-утопист, политический деятель известен как человек, введший в обиход слово «социализм» (1834).

Прудон — тот писатель... — Пьер Жозеф Прудон (1809—1865) — видный деятель европейского революционного движения, один из основателей анархизма.

Виолле-ле-Дюк — Эжен Виолле-ле-Дюк (1814—1879) — французский архитектор, историк и теоретик архитектуры. Реставратор готических соборов и замков.

С. 293. *...всевозможных Лусто и Люсьенов...* — Этьен Лусто и Люсьен Рюампре — персонажи нескольких романов (в частности, «Блеск и нищета куртизанок») «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака.

...прожужжал мне все уши Беркеном. — Арно Беркен (1747—1791) — французский детский писатель, от его имени в литературе остался термин «беркинада» (примитивное оптимистическое морализаторство).

С. 294. *...sine que non...* (лат.) — без которого нет.

С. 294. *Монтион* — см. ниже.

Гийом Виктор Эмиль Ожье (1820—1889) — французский драматург; премию Монтиона получил за драму «Габриэлла».

Леон Фоше (1803—1854) — французский экономист, министр общественных зданий в правительстве Луи Наполеона.

...только что смертельно ранил литературу своим дьявольским декретом в пользу добропорядочных пьес. — Указом Фоше от 12 октября 1851 г. назначалась денежная премия драматургам, «пишущим о трудящихся».

...получить премию Монтиона — премия, которую учредил французский филантроп Жан-Батист Оже Антуан барон де Монтион (1733—1820) за лучшие научные работы и литературные произведения, опубликованные во Франции (существовало несколько номинаций).

С. 296. «*Сова философ*» — Сова-Философ — один из псевдонимов Бодлера. Статья не предназначалась для публикации; перед нами как бы «проспект намерений» Бодлера, большинству из которых не было суждено было осуществиться.

Гюстав Планш — Жан-Батист-Гюстав Планш (1808—1857) — критик, писавший в основном о живописи (Курбе и т. д.).

...доверить Монселе... — Шарль Монселе (1825—1888) — журналист; к нему обращено стихотворение Бодлера «Веселый кабачок по пути из Брюсселя в Юккль» (см. «Осколки Цветов зла»).

С. 297. *Например, о Мерсье, Бернардене де Сен-Пьере...* — Мерсье Луи Себастьян (1740—1814) — французский писатель-утопист. Жак Анри Бернарден де Сен-Пьер (1737—1814) — французский писатель-руссоист.

С. 299. *Первый визит к Курбе.* — Гюстав Курбе (1819—1877) — художник, чью манеру принято считать реалистической (что далеко не всегда соответствует истине).

...в историческом понимании Мишле. — Жюль Мишле (1798—1874) — французский историк романтического направления.

...сюжеты Курбе и Бонвена. — Франсуа Бонвен (1817—1887) — художник-реалист.

Переводчик Гебеля. — Имеется в виду Иоганн Петер Гебель (1760—1826), швейцарско-немецкий писатель (писал также на алеманском диалекте), автор знаменитой новеллы «Каннитферштан» (1809), основой которой послужил анонимный французский рассказ «Мсье Каниферстан» (1782).

С. 300. ...if at all... (англ.) — здесь: если вообще нужно [знать].

С. 306. ...sui, generis (лат.) — своеобразный.

С. 308. *Нейи* — город во Франции (на Сене); «История Нейи и его замков» (1855) — первое серьезное исследование истории города; именем аббата Белланже названа улица в Нейи.

Начиная со святой Изабеллы... — Св. Изабелла Французская (1225—1270) — дочь короля Франции Людовика VIII, сестра Св. Людовика IX, основавшая в Лоншане (где родилась) «Монастырь Смиренной Девы Марии» (ок. 1260 г.).

С. 310. Биографию *Пьера Амбруаза Шодерло де Лакло* (1741—1803) Бодлер излагает с известной степенью неточности; в частности, Бодлер опускает всю биографию Шодерло де Лакло пос-

ле 1791 года: в 1792 году писатель снова поступил на военную службу, при Наполеоне дослужился до генерала, участвовал в немецкой и итальянской кампаниях, умер в Италии.

С. 313. *Femina simplex...* (лат.) — независимая женщина.

С. 323. ...*г-н де Кюстин...* — Астольф де Кюстин (1790—1857), в России известен почти исключительно своей книгой о путешествии в Россию.

Г-н д'Орвейи... — Жюль Барбе д'Оревилли (1808—1889).

С. 324. *Чуть раньше г-н Шарль Барбара...* — Шарль Барбара (1822—1886) — один из родоначальников французского «полицейского» романа, друг Бодлера.

...*за Фредериком Сулье...* — Фредерик Сулье (1800—1847) — французский писатель, автор многочисленных романов и драм. Наиболее известные исторические романы «Виконт де Безье», «Граф Тулузский» и восьмитомный роман «Мемуары дьявола» (1837—1838), рисующий самые мрачные стороны жизни Парижа.

...*замешанные на Байроне или Бульвере...* — имеется в виду Эдвард-Джордж Бульвер-Литтон (1803—1873) — английский романист и политический деятель.

...*незатейливого Поль де Кока...* — Поль Шарль де Кок (1793—1871) — французский писатель, автор мелодрам.

С. 331. ...*subcurrent...* (англ.) — подтекст, подоплека.

С. 333. *Сочинение Шарля Асселино* — Шарль Асселино (1820—1874) — французский писатель и библиофил; друг Бодлера, о котором оставил воспоминания. «Двойная жизнь», первая значительная книга Асселино, вышла в свет в 1858 году (т. е. уже после суда над «Цветами зла» в 1857 году).

Homo duplex (лат.) — здесь: человек раздвоенный.

...*touched with pensiveness...* (англ.) — здесь: страдающий меланхолией.

С. 334. *Deux ex machina...* (лат.) — «бог из машины».

С. 337. *Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis* (лат.). — «Сам я за варвара здесь: понять меня люди не могут» (Овидий. Скорбные элегии, кн. V, 10, 37; перевод С. В. Шервинского).

Е. Витковский

Бодлер познакомился с Теофилом Готье в 1845 г., и знакомство переросло в дружбу. В 1857 г. он, как известно, посвящает Готье «Цветы зла», а 13 марта 1859 г. публикует в журнале «L'Artiste» настоящую статью. Бодлер работал над ней с сентября 1858 г.; публикация несколько задержалась, потому что руководство журнала хотело, чтобы текст получил одобрение Готье, путешествовавшего в это время по России. Позже статья «Теофиль Готье» вышла отдельной брошюрой у издателей Пуле-Маласси и де Бруаза; Бодлер обратился к Виктору Гюго с просьбой о письме-предисловии, которое должно было придать изданию дополнительный интерес. Приводим текст этого письма.

«Г-ну Шарлю Бодлеру

Отвиль-хауз, 6 октября 1859.

Ваша статья о Теофиле Готье, сударь, — это страницы, дающие мощный толчок мысли. Побуждать к размышлениям — ред-

кая заслуга, дар немногих избранных. Вы не ошиблись, предвидя, что между вами и мной обнаружатся некоторые разногласия. Понимаю всю вашу философию (ибо в вас, как во всяком поэте, сидит философ); более того, не только понимаю, но и принимаю ее — но остаюсь при своей. Я никогда не говорил: «Искусство для Искусства», я говорил всегда: «Искусство для Прогресса». В сущности, это одно и то же, и вы, с вашим пронизательным умом, не можете этого не чувствовать. «Вперед!» — таков клич Прогресса; но это и клич Искусства. В этом все поэтическое слово. Ите.

Что вы делаете, когда пишете поразительные строки — «Семь стариков» и «Семь старушек», — посвященные мне, и за которые я вас благодарю? Что вы делаете? Шагаете. Идете вперед. Вы обогащаете небосвод искусств неуловимо зловещим сиянием. Вы творите неведомый доньше озноб.

Искусство не поддается совершенствованию, я сказал это, кажется, одним из первых, уж мне-то это известно; никто не превзойдет Эсхила, никто не превзойдет Фидия, но с ними можно сравняться, а чтобы сравняться с ними, надо раздвигать горизонты Искусства, подниматься выше, идти дальше, шагать вперед. Поэт не может идти один, надо, чтобы человек тоже продвигался вперед. А значит, шаги Человечества — это шаги самого Искусства. Следовательно, слава Прогрессу.

Ради Прогресса я терплю ныне муки и готов умереть.

Теофиль Готье — большой поэт, и вы хвалите его, как младший брат, — вы и есть его младший брат. У вас благородный ум, сударь, и щедрое сердце. Вы пишете глубоко и, как правило, беспристрастно. Вы любите Прекрасное. Жму вашу руку.

Виктор Гюго»

С. 339. «*Капризы и зигзаги*» — под таким заглавием Т. Готье опубликовал в 1852 г. сборник статей.

С. 340. ...*о драматических постановках, появившихся в последнюю неделю...* — с 1836 г. Готье вел театральную рубрику в газетах «Пресс» (часто в соавторстве с Жераром де Нервалем), а затем «Монитор».

...*отчеты о Салонах...* — Готье начинал как художник и последовательно интересовался живописью, писал о ней. В 1855 г. вышел его сборник статей о живописи «Изящные искусства в Европе» (издатель Мишель Леви).

С. 341. ...«*Альбертус*, или Душа и грех, богословская легенда» (1832), «*Дон Жуан*, *Комедия смерти*» (1838) — поэмы Т. Готье; «*Испания*» — поэтический цикл (1845).

С. 342. *Ламартин*, Альфонс Мари Луи де (1790—1869), поэт, публицист, и *Виктор Гюго* (1802—1885), поэт, прозаик, драматург, публицист, были начинателями романтического движения во Франции.

«*Ода колонне*», «*Ода Триумфальной арке*» — имеются в виду стихотворения из первого поэтического сборника Гюго, «*Оды и баллады*», — «*К триумфальной арке на площади Звезды*» (кн. 2, VII) и «*К колонне на Вандомской площади*» (кн. 3, VII).

«Жалобы» (1833) — цикл стихотворений французского поэта *Огюста Барбье* (1805—1882).

С. 343. ...*дутая репутация*. — То обстоятельство, что власти второй Империи относились к Готье благосклонно, вызывало к нему неприязнь части либеральной оппозиции. Так, в «*Gazette de Paris*» в январе 1859 г. публиковалась серия статей Теодора Пеллоке, озаглавленная «Дутые репутации», где содержались нападки на «кавалера ордена Почетного легиона, поэта, романиста, журналиста» Теофиля Готье.

Шатобриан, Франсуа Рене де (1768—1848), *Бальзак*, Оноре де (1799—1850) — французские писатели. Бодлер последовательно приравнивает героя своего очерка к наиболее знаменитым из его старших современников.

Я пришел к нему от имени двух отсутствующих друзей... — Готье в предисловии к изданию «Цветов зла» 1868 года пишет, что впервые увидел Бодлера приблизительно летом 1849 года в отеле «Пимодан», где в то время жил. Однако известно, что Готье квартировал там лишь в 1845 году и первая встреча могла произойти именно тогда, и не позже. Нет уверенности и в том, о каком томике стихов идет речь и какие друзья имеются в виду.

С. 345. «*Мадмуазель де Мопен*» — первый роман Т. Готье (1835).

С. 346. *Сент-Бев*, Шарль Огюстен (1804—1869), *Альфред де Виньи* (1797—1863) — французские писатели-романтики; *Корнель*, Пьер (1606—1684) — драматург, один из столпов французского классицизма; *Андре Шенье* (1762—1794) — французский предромантический поэт, считавший себя наследником античной поэзии и стремившийся воплотить в своих произведениях ее красоту; казнен якобинцами; *Альфред де Мюссе* (1810—1857) — еще один французский романтик — поэт, прозаик, драматург; *Александр Дюма* (1802—1870) — один из самых плодовитых французских авторов эпохи, романист и драматург.

«*О сгинувший восторг! О солнце, что ушло за темный горизонт!*» — последняя строка стихотворения В. Гюго «Прошлое» из сборника «Внутренние голоса» (1837).

С. 347. «*Собор Парижской Богоматери*» (1831) — один из самых известных романов Гюго, оказавший, в частности, влияние на творчество Т. Готье.

«*Молодая Франция*» (или «Младофранцузы») — заглавие книги новелл Готье, опубликованной в 1833 г., героями и адресатами которой были его друзья, члены романтического кружка, собиравшегося у Жана Дюсеньера (самые известные из них — Т. Готье, Жерар де Нерваль, Петрюс Борель).

«*Слеза дьявола*» (1839) — первая театральная пьеса Т. Готье.

«*Шагреновая кожа*» (1830—1831) и «*Поиски Абсолюта*» (1834) — романы Бальзака, вошедшие в цикл «Философские этюды».

С. 348. ...*доктрина неразрывности Красоты, Правды и Добра...* — Эту доктрину с 1815 по 1821 гг. развивал в своих лекциях философ Виктор Кузен (1792—1867); позже он изложил ее в трактате «О Правде, Красоте и Добре».

С. 352. *О мой поэт, люблю тебя!* — Полностью эта строка из комедии французского драматурга Эмиля Ожье (1820—1889) «Габриэлла» (1850 г., поставлена в 1853 г.) звучит так: «Глава семьи, о мой поэт, люблю тебя!»

...*один прославленный писатель, из наиболее уважаемых...* — Имеется в виду французский историк Жюль Мишле (1798—1874); Бодлер несколько искажил мысль, сформулированную им в книге «Любовь» (1858).

Реймон Льюль (1235—1315) — испанский писатель, богослов, алхимик.

С. 353. ...*fatum...* (лат.) — рок, судьба.

С. 354. ...*последние очерки о Петербурге, о Неве...* «*Italia*» или «*Tra los montes*»... — В 1858 г., когда Бодлер работал над этой статьей, Готье находился в России, и его путевые заметки регулярно публиковались в «*Moniteur universel*». «*Италия*» — книга под таким заглавием опубликована в 1852 г.; в ней собраны заметки о путешествии Готье в Италию в 1850 г., первоначально печатавшиеся в газете «*La Presse*». «*Tra los montes*» — под таким заголовком были объединены в одном томе и изданы в 1843 г. очерки Готье об Испании, написанные под впечатлением о путешествии, которое он совершил в 1840 г. В дальнейшем эта книга была издана под заголовком «Путешествие в Испанию».

С. 358. *Г-н Кокле* — воплощение буржуа, персонаж, созданный Домье (никакой г-жи Кокле не было: герой Домье — холостяк). *Г-н Пипле* — персонаж романа Эжена Сю «Парижские тайны», комический привратник; его имя стало нарицательным.

Улица Ломбардцев — оживленная торговая улица в Париже, недалеко от Рынка.

С. 359. *Алкивиад* (450—404 гг. до н. э.) — любимый ученик Сократа, блестящий афинский полководец; часто менял политическую ориентацию и был не чужд авантюризма.

С. 360. ...«*истинная Психея, что вернулась из истинной Святой земли!*» — Цитата из стихотворения Э. По «К Елене»:

Ah, Psyche, from the regions wick
Are Holy-Land!

На *авеню Монтеня* в 1855 г. находилась Всемирная выставка. *Рейнолдс Джошуа* (1723—1792) — английский живописец. *Лоуренс Томас* (1769—1830) — английский портретист, ученик и продолжатель Дж. Рейнолдса. *Лесли Чарлз Роберт* (1794—1832) — английский исторический живописец. *Хант Уильям Генри* (1790—1864) — английский акварелист, изображавший главным образом цветы. *Хант Уильям Холман* (1827—1910) — английский художник, писавший на религиозные, литературные и символические сюжеты, один из основателей движения прерафаэлитов. *Маклис Дэниэл* (1806—1870) — английский исторический живописец, портретист и иллюстратор. *Миллес Джон Эверетт* (1829—1896) — английский исторический живописец и портретист, участник движения прерафаэлитов. *Шалон Джон Джеймс* (1778—1854) — английский пейзажист швейцарского происхож-

дения. *Ватто* Антуан (1684—1721) — французский художник, мастер «галантных сцен». *Клод* — имеется в виду французский живописец Клод Лоррен (1600—1682). *Грант* Френсис (1803—1878) — английский живописец, писавший портреты и сцены охоты. *Хук* Джеймс Кларк (1819—1907) — английский жанрист и маринист. *Лендсир* Э. — английский художник-анималист, член Королевской академии. *Пейтон* Джозеф Ноэль (1821—1900) — английский живописец; его картины на шекспировские сюжеты «Ссора Оберона и Титании», «Примирение Оберона и Титании», «Оберон и Титания», были удостоены премии Шотландской королевской академии. *Фюсли* Джон, или Иоганн (1741—1825) — английский художник, поэт, теоретик искусства, швейцарец по происхождению; в его творчестве присутствует стремление к фантастике, гротеску. *Каттермол* Джордж (1800—1868) — английский пейзажист и исторический живописец.

С. 361. *Кокрелл* К. Р. — английский архитектор, профессор, член Королевской академии. *Кенделл* Х. Э. — английский архитектор, автор работы «Архитектурная композиция», которую, по видимому, имеет в виду Бодлер. Некоторые приведенные здесь характеристики английских художников Бодлер воспроизвел, несколько расширив, в статье «Салон 1859 года».

С. 363. «*Дон Жуан, Комедия смерти*» — поэма Т. Готье (1838), в которую входит упоминающееся стихотворение «Тьма».

«*Vulnerant omnes, ultima necat*»... — обычная для средневековья надпись на циферблатах часов. Готье избрал ее эпитафией к стихотворению «Часы», которое вошло в его книгу «Испания».

С. 364. «*Эмали и камни*» — наиболее известный стихотворный сборник Готье, выдержавший шесть изданий при жизни автора; к моменту публикации статьи Бодлера вышло в свет третье (1858 г., издатели Пуле-Маласси и де Бруз).

С. 365. *Ното сум; humani nihil a me alienum puto*. — Это выражение принадлежит Теренцию (ок. 195—159 гг. до н. э.). «Сам себя карающий», I, 1. 25.

С. 366. «*Ночь Клеопатры*» — новелла Т. Готье (1838), «*Мертвая возлюбленная*» — новелла Т. Готье (1816).

Е. Баевская

О СОВРЕМЕННОКАХ

С. 373. *Леконт де Лиль* (1818—1874) — выдающийся французский поэт, уроженец острова Реюньон в Индийском океане (тогда — остров Бурбон), именно до этого острова доплыл Шарль Бодлер в своем несостоявшемся путешествии в Индию в 1841 году, что, видимо, импонировало Бодлеру: он считал, что знает «корни творчества» Леконта де Лиля, отсюда в первом же абзаце упоминание о креольском происхождении Леконта де Лиля (позднее упомянутое в знаменитом стихотворении Гумилева).

С. 378. *Эжезипп Моро* (1810—1838) — поэт, крайний политический экстремист («бабувист», участник боев на баррикадах в 1830 и 1832 годах). Единственная книга Моро «Незабудка» (объ-

единила в себе политические стихи и лирику); статья Бодлера о Моро напечатана после смерти автора.

С. 381. *Бартеlemi* — Огюст-Марсель Бартеlemi (1796—1867) — поэт-сатирик, славу которому, как и Моро, принесла революция 1830 года.

С. 385. *Леон Кладель* — Леон Кладель (1835—1892), французский писатель, писал романы и рассказы, идеализирующие патриархальный крестьянский уклад: «Мои крестьяне» (1869), «Босые» (1873). Роман «Жак Ратас» (издан в 1921 г.).

...*gentry*... (англ.) — нетитулованное дворянство.

С. 392. ...*г-на Сент-Бева*... — Шарль-Огюстен Сент-Бев (1804—1869) — критик и историк литературы, поэт; впрочем, во времена литературной деятельности Бодлера Сент-Бев как поэт был уже забыт. Один из его псевдонимов — «Жозеф Делорм» (см. стр. 393); именно к нему обращался Нодье с призывом выставить свою кандидатуру в Академию.

Шарль Нодье — Шарль Нодье (1780—1844) — прозаик, поэт, литературный критик, автор знаменитого романа «Жан Сбогар» (1818).

С. 394. ...*г-ну Тьеру*... — Адольф Тьер (1797—1877) — историк, позднее премьер-министр Третьей Республики во Франции.

...*справедливость Леону Гозлану*... — Леон Гозлан (1803—1866) — романист; во Французскую академию (по некоторым данным) не попал как еврей.

...*освободившегося кресла Лакордера*... — Жан Батист Анри Лакордер (1802—1861) — французский писатель.

...*г-ну Жюлю Фавру*. — Жюль Фавр (1809—1880) — французский оратор и политический деятель.

С. 395. *Г-н принц де Брольи* — Альбер де Брольи (1821—1901) — историк, автор трудов по истории дипломатии.

...*с отцом, старым графом де Сегюром*... — имеется в виду Филипп-Поль де Сегюр (1780—1873) — главный квартирмейстер Главной квартиры императора Наполеона I, граф, бригадный генерал.

С. 396. *Finis Poloniae* (лат.). — «Польше конец» (слова, приписываемые Т. Костюшко (1746—1817), руководителю Польского восстания 1794 г.).

С. 397. *Дух и стиль господина Вильмена* — Абель-Франсуа Вильмен (1790—1870) — историк литературы, политический деятель, министр просвещения; с 1821 года — академик, с 1834 года — неперемный секретарь Академии.

С. 403. *Поистине, это Делиль в прозе* — т. е. Жак Делиль (1738—1813), автор поэмы «Сады».

С. 406. *Мартенвиль* — французский журналист Альфонс де Мартенвиль (1776—1830).

...*относительно Лукана* — Лукан, Марк Анней; (39—65 гг. н. э.) — римский поэт. «Фарсалия, или Поэма о гражданской войне» — поэма Лукана.

С. 407. ...*гиперболы и суждения Мармонтеля*... — Жан Франсуа Мармонтель (1723—1799) — французский писатель, член Французской академии с 1763 года.

С. 407. «*Et verbum caro factum est*» (лат.) — «И Слово стало плотию» (Евангелие от Иоанна, 1, 14). Игра слов: фамилия г-на Кара и латинское слово «саго» (плоть) в данном случае омонимы.

С. 412. ...*изящностью г-на де Фонтана*... — имеется в виду Луи де Фонтан (1757—1821), поэт направления и школы Жака Делиля.

С. 417. *Абель де Ремюза* — Жан-Пьер-Абель де Ремюза (1788—1832) — французский синолог, среди прочего, член Российской академии наук.

...*юная Дельфина Гэ*... — собст. Дельфина де Жирарден (урожденная Гэ, 1804—1855) — дочь писательницы и светской дамы Софи Гэ, жена Эмиля де Жирардена. Как поэтесса даже во Франции известна по сей день больше благодаря романсу Чайковского на ее стихи; до сих пор представляют интерес ее «Парижские хроники» (изданы полностью в 1986 г.).

С. 424. *Вероятно, в состав комитета*... — т. е. Комитета по организации банкета в честь Шекспировского юбилея.

...*вошел Гизо*. — Гизо, автор «Жизни Шекспира», «обновил» старый перевод Летурнера, опубликованный в 1776—1783 гг.

...*об Эмиле Дешане*... — Эмиль Дешан (1791—1871).

С. 425. *Эмиль Жирарден* — см. прим. к стр. 165.

...*пес plus ultra*... (лат.) — здесь: дальше некуда.

С. 427. ...*провозгласить тост за Данию*. — 8 января 1864 года Бисмарк объявил Дании войну.

...*crescendo*... (ит.) — усиление звука от тихого звучания к громкому (музыкальный термин).

С. 431. ...*genus irritabile vatum* (лат.) — «раздражительное племя поэтов» (Гораций. «Послания», II, 2, 102; перевод Н. Гинзбурга).

С. 432. ...*oestrus* (лат.) — поэтический подъем, вдохновение.

С. 433. ...*sic* (лат.) — здесь: так!

А Вальмор? — Марселина Деборд-Вальмор (1786—1859) — французская поэтесса; современные исследователи видят в ней предшественницу Бодлера.

С. 434. «*Janino Imperatore*...» (искаж. лат.) — «Император Жанен». Janin — написание фамилии собственно Жюль Жанена, к которому обращена статья, здесь латинизировано. Жерар де Нерваль покончил с собой в 1855 году, его, повесившегося на садовой решетке в парижском переулке, обнаружили прохожие.

С. 436. *Леконт Делиль*. — Весь абзац — пародия Бодлера на невнимательность Жанена в написании имен.

С. 438. Сравните со статьей о Рувьере на стр. 302 наст. изд. Этот отрывок написан в качестве некролога актеру Рувьеру (Филибер — сценическое имя). Известен портрет Рувьера в роли Гамлета кисти Гюстава Курбе (1866). Рувьер умер незадолго до смерти Бодлера.

ЭССЕ. ДНЕВНИКИ

С. 445. ...*Тренк Обожженное Лицо*... — знаменитый в XVIII веке авантюрист барон Франсуа де Тренк, лицо его было изуродовано взрывом, который произошел по его же вине.

С. 447. *Леоне Леони* — герой одноименного романа Жорж Санд (1835).

С. 448. ...*старуха Моб...* — олицетворение смерти из поэмы в прозе Эдгара Кине «Агасфер» (1833).

С. 449. ...*г-ну Флерану и г-ну Пургону...* — персонажи комедии Мольера «Мнимый больной».

С. 454. ...*в духе Сильвестра*. — Теофиль Сильвестр (1823—1876) — журналист и художественный критик.

Шенавар — Поль Шенавар (1807—1895) — художник, участник парижского Салона.

С. 458. *О самоубийстве и маниакальной тяге...* — заглавие книги психиатра Бриера де Буамона (1856).

С. 462. *Верблюды Казота...* — эпизод из романа Ж. Казота «Влюбленный дьявол» (при первом явлении дьявол является герою в виде Верблюда).

С. 463. *Альф. Рабб* — Альфонс Рабб (1786—1829) — писатель и историк, высоко ценимый Бодлером.

С. 464. *Камменный Хильдебранд* — т. е. папа Григорий VII (пontiфикат (1073—1085), отлучивший от церкви императора Генриха IV).

С. 471. *Ансель* — Нарсис Дезире Ансель — юрист, с 1844 года — опекун Бодлера.

С. 472. «*Затянувшееся до бесконечности горе...*» — цитата из «Замогильных записок» Шатобриана.

С. 484. *Клеман де Рис* — Атаназ Руи Клеман де Рис (1820—1882) — критик и историк искусства.

Кастаньяри — Жюль Антуан Кастаньяри (1830—1888) — искусствовед и публицист.

С. 485. *Франсуа — Бюлоз — Гуссе — знаменитый Руи — де Калонн — Шарпантье...* — соответственно Фердинан Франсуа (1806—1868) — журналист; Франсуа Бюлоз (1803—1877) — редактор «Ревю де Монд», где одно время печатался Бодлер; Арсен Гуссе (1815—1896) — писатель, ему посвящен «Парижский сплин» Бодлера; Альфонс де Бернар де Калонн (1818—1902) — виконт, директор «Ревю компорантен»; Огюст Шарпантье (1809—?) — редактор нескольких журналов; все они в разное время требовали от Бодлера переделок, сокращений или просто отказывались его печатать.

Прюдом — герой романа Анри Монье «Мемуары Жозефа Прюдома» (1857).

С. 488. *Речь Дюрандо <...> Даржу*. — Эмиль Дюрандо и Альфред Даржу — карикатуристы; в 1864 г. флот союзников обстреливал японский порт Симоносэки.

С. 489. ...*друга Матьё...* — Густав Матьё — друг Бодлера, шансонье.

Накар-отец — лечащий врач Бодлера. *Накар-сын* был одним из судей на процессе по обвинению «Цветов зла» в безнравственности.

Бертен — Жан Луи Анри Бертен (1806—?) — юрист.

С. 491. *Дамьен* — Робер Франсуа Дамьен (1714—1757) покушался на убийство Людовика XV, был подвергнут пыткам и казнен.

С. 492. *Ренан. Фейдо. Октав. Фейе. Шолль.* — соответственно Жозеф-Эрнест Ренан (1823—1892) — писатель-востоковед, автор восьмитомной «Истории христианства» и «Жизни Иисуса»; Эрнест Фейдо (1821—1873) — писатель, автор романа «Фанни» (1858), над которым Бодлер издевался; Октав Фейе (1821—1890) — прозаик и драматург, соученик Бодлера; Орельен Шолль (1833—1902) — прозаик, журналист.

Тексье — Эдмон Тексье (1816—1877) — главный редактор «Иллюстрасьон», эссеист.

С Соларом во главе. — Аарон Эриаль Солар (1811—1870) — журналист и издатель нескольких газет.

С. 493. *Надар* (наст. имя Турнашон Феликс, 1820—1911) — живописец, карикатурист, известен своими полетами на воздушном шаре; друг Бодлера.

Вейо — Луи Вейо (1813—1883) — публицист, с католических позиций третиравший Бодлера.

С. 494. *Жирарден* — в данном случае Сен-Марк Жирарден (1801—1873), литератор и политик, друг Бодлера.

С. 496. *Приводимого ниже отрывка...* — далее в рукописи вклеена вырезка из книги Ашиля де Волабеля «История двух реставраций» (1844—1845).

С. 497. *...портрет Форга...* — Поль Эмиль Доран Форг (1813—1883) — журналист, писавший под псевдонимом «Old Nick» (англ. эвфемизм для обозначения дьявола).

«Да здравствует Барбес!» — Арман Барбес (1809—1870) — политический деятель, участник революции 1830 года, позднее эмигрант.

С. 499. *Клеман де Рис и Поль Периньон.* — Клеман де Рис — см. прим. к стр. 484; Поль Периньон (1800—1855) — адвокат, один из организаторов в 1844 году опеки над Бодлером.

С. 500. *Теория Легуве.* — Эрнест Легуве (1807—1903) — поэт, прозаик, драматург. Нелепицей Легуве Бодлер называет требование последнего награждать актеров орденом Почетного Легиона.

С. 503. *...господина Ньивекерке.* — Альфред Эмильен граф де Ньивекерке (1811—1892), скульптор и (с 1870 г.) генеральный директор музеев Франции; действительно требовал наложения «фиговых листков» на соответствующие места классических статуй.

С. 504. *«Прекраснее, чем день...»* — Бодлер цитирует сонет поэта-либертина Теофиля де Вио (1590—1626); во французском оригинале для современного уха финал сонета звучит весьма скабрёзно; (перевод сонета — *Георгий Мосешвили*).

Менар — Франсуа Менар (1582—1646) — французский поэт.

Ракан — Оноре де Ракан (1589—1670) — французский поэт.

Филоксен Буайе (1829—1867) — поэт и драматург, знакомый Бодлера.

Луи Блан (1811—1882) — французский публицист и историк.

С. 505. *...в нос г-ну Абу...* — Эдмон Абу (1828—1885) — литератор и публицист.

...например, Ламадлена. — Жюль де Ламадлен (1820—1859) — писатель.

Е. Витковский



СОДЕРЖАНИЕ

ИСКУССТВЕННЫЙ РАЙ

Перевод В. Лихтенштадта

Вино и гашиш	7
Искусственный рай	29
Поэма о гашише	31
Опиоман	75

ОЧЕРКИ ОБ ЭДГАРЕ ПО

Перевод М. Квятковской

Предисловие к «Месмерическому откровению»	157
Эдгар Аллан По, его жизнь и произведения	160
Предисловие к «Беренике»	186
Предисловие к «Философии обстановки»	188
Посвящение к «Необыкновенным историям»	190
Послесловие к «Необыкновенным приключениям некоего Ганса Пфааля»	192
Эдгар Аллан По, его жизнь и творчество	196
Новые заметки об Эдгаре По	238
Возникновение одного стихотворения	258
«Эврика». Заметки переводчика	261

СТАТЬИ О ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

«Нормандские рассказы» и «Пустычные истории». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	265
«Освобожденный Прометей». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	266
«Век». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	270
Советы молодым литераторам. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	271
Как платить долги, если вы гениальны. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	279
Рассказы Шанфлери «Шьен-Кайу», «Бедная Тромпетта», «Покойный Мьетт». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	283
Жюль Жанен и «Королевское печенье». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	287

Добропорядочные драмы и романы. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	289
«Сова философ». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	296
Поскольку реализм существует. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	299
Филибер Рувьер. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	302
«История Нейи и его замков». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	308
«Опасные связи». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	310
«Госпожа Бовари». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	321
«Двойная жизнь». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	333
Теофиль Готье. <i>Перевод Е. Баевской</i>	339

О СОВРЕМЕННОКАХ

Теофиль Готье. <i>Перевод Е. Баевской</i>	369
Леконт де Лиль. <i>Перевод М. Квятковской</i>	373
Эжезипп Моро. <i>Перевод М. Квятковской</i>	378
«Смешные мученики». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	385
Реформа в Академии. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	392
Дух и стиль господина Вильмена. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	397
Годовщина Шекспира. <i>Перевод М. Квятковской</i>	423
Наброски письма к Жюлю Жанену. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	429
Актер Рувьер. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	438

ЭССЕ. ДНЕВНИКИ

Избранные утешительные максимы о любви. <i>Перевод Г. Мосешвили</i>	443
Дневники	451
Фейерверки. <i>Перевод Е. Баевской</i>	451
Гигиена. <i>Перевод Е. Баевской</i>	469
Мое обнаженное сердце. <i>Перевод Г. Мосешвили</i>	477
Мысли, афоризмы. <i>Перевод Е. Баевской</i>	504
Комментарии	506



Литературно-художественное издание

БОДЛЕР Шарль

ПРОЗА

Перевод с французского

Составитель
ВИТКОВСКИЙ
Евгений Владимирович

Главный редактор *В. И. Галий*
Ответственный за выпуск *Л. И. Вакуленко*
Художественные редакторы *Б. Ф. Бублик, Л. Д. Киркач*
Технический редактор *Л. Т. Ена*
Компьютерная верстка *Е. Н. Гадиева*
Корректоры *Е. А. Волкова, Е. Ф. Донец*

ISBN 966-03-1454-X



Подписано в печать 30.05.2001. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага офсетная. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр-отг. 28,14. Уч.-изд. л. 26,2.
Тираж 5000 экз. Заказ № 1-327.

ООО «Фолио»,
61002, Харьков, ул. Артема, 8
Электронные адреса:
www.folio.com.ua
E-mail: foliosp@vlink.kharkov.ua
Интернет магазин «Книга — почтой»
www.bookpost.com.ua

Отпечатано с готовых позитивов
на книжной фабрике «Глобус»
61012, Харьков, ул. Энгельса, 11